

Хизри
Авшалумов



ИЗБРАННОЕ

Хузру Абдураҳмон





Хизгил
Авшалумов



Дагестанское
книжное издательство
Махачкала 2009

ББК 84.4 (Дар)-4
УДК 821.351

Составитель *Н.Х. Авшалумова*

Авшалумов Х.Д.

А-22 Избранное: новеллы, рассказы, роман/Сост. Н.Х. Авшалумова. — Махачкала: ГУ «Дагестанское книжное издательство», 2009 — 464 с.

В книгу народного писателя Дагестана вошли произведения, принесшие ему наибольшую известность: новеллы «Похождения хитроумного Шими Дербенди», рассказы и роман «Фамильная арка».

А $\frac{4803570100-132}{М 123-2009}$ 09

ISBN 978-5-297-01467-1

© Авшалумов Х., 2009

© Дагестанское
книжное

издательство, 2009

Предисловие

Перу народного писателя Хизгила Авшалумова принадлежат высокохудожественные сочинения разнообразных жанров: поэтические произведения, публицистические статьи, фельетоны, очерки, новеллы, рассказы, повести, пьесы, романы. В настоящем сборнике публикуются наиболее известные прозаические произведения писателя: роман «Фамильная арка», новеллы о хитроумном Шими Дербенди и юмористические рассказы.

Хизгил Давидович Авшалумов родился 16 января 1916 года в татском селении Нюгди, расположенном в 35 километрах от Дербента, в одном из самых живописных уголков Южного Дагестана.

Детство и юность будущего писателя сложились трудно. Мать умерла рано, когда мальчику было всего три года. Отца не стало, когда ему не было ещё и 14 лет. В обоих случаях знахари ускорили смерть родителей Авшалумова, настроив тем самым юношу против суеверий и вредных обычаев старины.

Как и все дети в советское время, Хизгил учился в школе, но уже в седьмом классе ему пришлось бросить учёбу, надо было кормить семью, оставшуюся без родителей. На его счастье в селении нашлись учителя-энтузиасты, занимавшиеся с мальчиком по программе средней школы.

Путь в литературу Хизгила Давидовича начался с рядовой критической заметки в татской республиканской газете «Захметкеш» («Труженик»), издававшейся в Дербенте. В селении Нюгди существовало поверье: у того, кто осмелится засеять пустошь рядом с селом, умрёт жена. Пустошь так и называлась «Смерть жёнам». Объявить: «Вот пойду и распашу тот участок» было равносильно угрозе убить жену. В своей заметке юный автор выступил против этого суеверия. Публикация была замечена, и вскоре Хизгила Авшалумова пригласили на работу в газету. Месяца через три после этого его направили на учебу в Дербентскую совпартшколу, где готовили сотрудников партийных и советских учреждений.

Работа в газете и учёба в совпартишколе способствовали расширению кругозора юноши, более глубокому пониманию происходящих в жизни процессов. Уже в тот период Хизгил Авшалумов пишет заметки, статьи, очерки и фельетоны.

В 1938-1941 годах Хизгил Авшалумов работает младшим научным сотрудником Института национальной культуры. В настоящее время это два академических института: Институт истории, археологии и этнографии и Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук. Как вспоминает писатель: «Наверно сам Алладин со своей волшебной лампой, оказавшись в подземном дворце, наполненном сокровищами, не испытывал того удивления и восторга, какой испытывал я, вчерашний деревенский паренёк, живший и выросший в глухом и лесном селении Нюгди, при виде старых книг. Я, как голодный на еду, накинулся на них, пожирая их одну за другой».

В Институте национальной культуры он собрал и издал сборник татского фольклора, составил русско-татский терминологический словарь.

Одновременно Х.Д. Авшалумов работает и ответственным секретарём Союза писателей Дагестана. В 1940 году он публикует в татском альманахе свою первую повесть «Влюблённые», в которой показывает, как молодые люди преодолевают на пути к счастью инерцию старых обычаев.

С первого же дня Великой Отечественной войны Хизгил Авшалумов находился в рядах защитников Отчизны. Окончив в сжатые сроки Сталинградское военно-политическое училище, он получает назначение в казачью кавалерийскую дивизию заместителем командира эскадрона, участвует в боях за Ростов и Кубань, где был дважды ранен. Закончил войну в Германии. Но и после победы Хизгил Давидович Авшалумов не спешит расстаться с армией. Он становится военным корреспондентом, работает в Белоруссии, на Северном Кавказе, в Баку и Средней Азии.

В 1955 году Хизгил Авшалумов вернулся в Дагестан, стал корреспондентом газеты «Дагестанская правда». В 1964 году перешёл на работу в Союз писателей Дагестана.

Хизгил Авшалумов писал одинаково хорошо на родном татском языке и на русском. Свои произведения, написанные на тат-

ском языке, он сам переводил на русский. Его произведения пользовались большой популярностью, их печатали в московских издательствах, переводили на иностранные языки. Сборники его новелл и повестей печатались в Махачкале и в Москве. Среди них повесть «Под чинарами» (в 1956 году она напечатана на татском языке, а в 1960 — на русском), «Как я воскрес» (1961), «Возмездие» (1965, 1978), «Невеста с сюрпризом» (1966), «Толмач имама» (1967), «Сказание о любви» (1972), «Возмездие» (1978) и «Фамильная арка» (1976, 1984, 2000), «Хитроумный Шими Дербенди» (1982), «Встречи у родника» (1989), «Похождения хитроумного Шими Дербенди» (1998).

Основное место в творчестве Х.Д. Авшалумова занимают жанры новелл и юмористических рассказов. Многие из них написаны на основе жизненных фактов. К примеру, в Хунзахском районе жена, учительница по профессии, уговорила мужа пойти за водой к роднику, тот пошёл ночью, во тьме споткнулся и упал, сломал ногу. Жене пришлось тащить на себе и мужа, и воду. Случай стал известен в ауле. Он лег в основу рассказа Х. Авшалумова «Встречи у родника».

Непринуждённость повествования, естественность комических ситуаций, в которые попадает герой, сочность и колоритность языка, лаконизм и простота композиции — таковы основные черты юмористических произведений Х. Авшалумова.

В своих рассказах Х. Авшалумов высмеивал пережиточные явления действительности, недостатки, свойственные обществу его времени: халтуру, казёнщину, бездушные чиновников, карьеризм. Писатель мог в юмористическом плане изобразить и рабочего, читающего по бумажке речь на похоронах друга, и писателя-верхогляда.

Художественной находкой Х. Авшалумова стал образ Шими Дербенди. Вначале Х. Авшалумов намеревался писать от имени своего давно умершего земляка Шелми Мемри и уже написал рассказы «Как я был царём», «Как я переселился» и др. Но данный персонаж ограничивал писателя, не давал ему возможности затрагивать многие животрепещущие проблемы современности. Поэтому был вызван к жизни вымышленный герой — Шими Дербенди.

Шими Дербенди — определённый социальный тип, собирательный образ представителя татского народа. Он выходец из Дер-

бента, где мы наблюдаем наиболее характерные проявления быта татов. В начале XX века основные массы татов Дербента работали на виноградных плантациях. Как и многие другие его земляки, Шими работал батраком, выполнял разнообразные поручения. В советское время он — пожилой колхозник, человек чудаковатый (в духе Моллы Насретдина), но уважаемый. Шими Дербенди — воплощение народного юмора, жизнелюбия и оптимизма. Он труженик, крепко связанный с землей. Человек честный и бесхитростный, хотя и говорится о нем как о «хитроумном Шими Дербенди».

Писатель любил своего героя и любовался им, доверял говорить ему за себя, хотя и не идеализировал его. У Шими свои слабости. Он грубоват, вспыльчив, может повздорить с женой из-за пустяка, выпить лишнее. Но все его «ошибки» и чудачества глубоко поучительны. Они обогащают читателя нравственным опытом, незаметно подводя его к восприятию той или иной истины.

В ряде произведений Х.Авшалумов проявил себя как великолепный лирик, автор социально острых рассказов и повестей о трудном прошлом татского народа (рассказы «Старики» и «Сказание о любви», повесть «Возмездие»).

В повести «Возмездие» писатель убедительно показал расслоение дореволюционной татской деревни, накопление в ней «взрывчатого материала» — ненависти к богатым в социальных низах, среди батраков и бедноты, рост их протеста против подлостей деревенской верхушки.

Историческое прошлое дагестанских народов показано в повести «Толмач имама». На ее основе создана драма «Толмач имама Шамиля», поставленная на сцене Кумыкского государственного музыкально-драматического театра имени А.-П.Салаватова и Татского народного театра. К слову сказать, комедия по мотивам новелл о Шими Дербенди также поставлена на сцене этих театров, а танец по сюжету рассказа Х.Авшалумова «Встречи у родника» украшает и по сей день репертуары ансамбля «Лезгинка», других танцевальных коллективов республики.

Самым большим по объему произведением Х.Авшалумова является роман «Фамильная арка», посвященный драматической судьбе татской женщины по имени Марал, ставшей трагической жертвой устоев, царивших в обществе.

Произведение это было опубликовано дважды (в 1976 и 1984 го-

дах) в виде повести на русском языке. Еще раньше, в 1971 году, оно было опубликовано на татском языке под названием «Жена брата». И что удивительно, Хизгил Давидович неустанно трудился, дорабатывая и перерабатывая свое любимое произведение. Менял даже имя главной героини: была Дженнет, стала Марал. Наконец, в 2000 году вышел окончательный вариант произведения — роман «Фамильная арка. Трагедия одной красавицы».

Автор расширил произведение эпизодами из истории гражданской войны, описанием прихода турецких войск в Дагестан в 1918 году. Расширил он также эпизоды, связанные с образом рассказчика. Некоторое эпизоды из жизни самого писателя довольно обстоятельно изложены во вступительной части романа и в эпилоге.

В этом отношении произведение напоминает автобиографический роман с огромной вставной новеллой о Марал, ее злоключениях в годы Первой мировой войны, гражданской войны и первые годы Советской власти...

Правдиво рассказывает писатель о том, что происходило в 1937 году в газете «Захметкеш», когда из-за досадной описки пострадали многие члены редакции.

В этом романе с захватывающим сюжетом, основанном на подлинных исторических событиях, рассказывается о жизни татского народа в предреволюционную эпоху и в период гражданской войны.

«Фамильная арка» — это поистине самое совершенное по форме произведение писателя, поэтому вполне закономерно, что оно нашло место в настоящем издании.

Творчество Х.Д.Авишалумова, одного из крупнейших дагестанских прозаиков, высоко оценили такие разные по масштабу таланта писатели, как В.Соболев, Р.Гамзатов, А.Абу-Бакар, Ю.Ханпалаев, В.Огнев, М.Годенко, Д.Трунов, М.Бахшиев.

Правительство Дагестана также высоко оценило творчество писателя. К его военным наградам (орден Отечественной войны 1 степени, боевые медали) прибавился орден «Знак Почета», ряд медалей, почетные грамоты Президиума Верховного Совета ДАССР, почетные звания заслуженного работника культуры ДАССР и РСФСР, народного писателя Дагестана.

Хизгил Давидович Авишалумов прожил славную жизнь, ничем не запятнав свою биографию.

Умер он 17 сентября 2001 года. Имя Х. Д. Авшалумова носит улица в г. Дербенте, школа в родном селении Нюгди. В Махачкале на доме, где жил и творил писатель, установлена мемориальная доска.

Настоящее издание, включающее лучшие произведения из творческого наследия писателя, является хорошим подарком для современного читателя.

С.Х. Ахмедов,

доктор филологических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки Республики Дагестан.

20.01.2009.

ПОХОЖДЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО
ШИМИ ДЕРБЕНДИ





НОВЕЛЛЫ



“Поздоровавшись с водкой, попрощайся с умом”¹

днажды Шими Дербенди, получив солидный аванс в счет своих трудовней в колхозе, в самом приподнятом настроении спешил к себе домой. Но когда он проходил мимо винницы, ему встретились двое случайных знакомых, любителей выпить и повеселиться за чужой счет. Узнав, что Шими сегодня при деньгах, они как банный лист пристали к нему и чуть ли не силком затащили в винницу. Пользуясь мягкостью Шими, они принялись заказывать бутылку за бутылкой, пока не обчистили его карманы до последней копейки.

Когда Шими вышел из винницы, было далеко за полночь. Он так опьянел, что уже ничего не соображал и забыл дорогу домой. Не в состоянии дальше двигаться, Шими прилег под деревом прямо на улице, положив папаху под голову, и сразу заснул мертвым сном.

Проснулся Шими от холода и, к ужасу своему, обнаружил, что он совершенно голый. Видно, уличные воры, пока он задавал храпака, раздели его догола, оставив лишь папаху под головой.

Шими поднялся с земли и, стыдливо прикрывая папахой наготу, стал торопливо оглядываться вокруг в надежде увидеть кого-нибудь из знакомых, чтобы послать к жене за одеждой. Как раз в это время сосед Шими с корзиной в руке спешил на базар за покупками.

— Эй, сосед! — завидев его еще издали, крикнул Шими. — Будь добр, вернись, пожалуйста, домой и скажи моей жене, что я совсем голый: какие-то бессовестные люди раздели меня и, как видишь, оставили в чем мать родила. Пусть немедленно принесет мне одежду.

Сказав это, Шими бегом пересек улицу и забежал в баню, которая, к счастью, находилась неподалеку.

Весь день, томясь, ждал Шими в бане жену с одеждой, но так и не дождался. А жена в свою очередь, собрав в узелок одежду Шими, сбилась с ног, ища мужа повсюду, спрашивая о нем каждого встречного-поперечного.

¹ Народная пословица.

Когда наступил вечер и стало совсем темно, Шими появился дома, закутанный в белый халат, в стоптанных чувяках на босу ногу — все это он одолжил у старухи банщицы. Узнав от жены, что она весь день искала его по городу, Шими очень возмутился.

— О женщина, да чтоб сгорел твой отец! — в сердцах закричал Шими. — Где это ты видела или слышала, чтобы голого человека искали на базаре или на майдане²?! Сколько лет прожила на свете, а не уразумела такую простую истину: “Пьяницу ищи в кабаке, голого — в бане”. Ей-богу, не жена — одно недоразумение!

— Ай, муж, да чтоб лопнуло чрево той, которая родила на мою несчастную голову такого олуха, как ты! — в тон мужу воскликнула разгневанная жена. — Сколько лет ты прожил на свете, а не уразумел такую простую истину: «Поздоровавшись с водкой, попрощайся с умом». Кто тебе виноват, если ты так усердно прикладывался к этому захриману³, водке, что потерял не только ум, но и штаны!..

Подарок жене



годами характер у жены Шими все больше портился. Из-за пустяка она сразу выходила из себя, принималась ворчать, браниться, портить мужу кровь. И так почти каждый божий день. Как ни старался Шими заставить ее замолчать, хоть немного придержать язык, ничего из этого не выходило.

Как-то Шими целую неделю провел на отдаленных колхозных виноградниках и там же ночевал вместе с другими колхозниками. Когда он вернулся домой, жена, вместо того чтобы обрадоваться, приветливо и ласково встретить мужа, сразу напустилась на него с упреками.

— Ай, жена, какая муха опять тебя укусила? — огорченно произнес Шими. — Зачем наш светлый день ты превращаешь в черную ночь? Я еще не успел переступить порог, а ты опять за свое?.. Скажи, чем ты недовольна, что тебе надо?

— Ай, муж, ты хоть бы постыдился! — еще пуще рассердилась

² Майдан — 1) площадь, где проходят сходки, собрания, митинги, а в торговые дни — базары;

2) древняя могила; курган, обычно раскопанный сверху.

³ Захриман — яд.

жена. — Ведь завтра сорок лет со дня нашей свадьбы. Другой бы, порядочный, любящий муж отметил этот день как праздник, сделал бы жене памятный подарок. А тебе, видно, и в голову не пришло, что завтра ровно сорок лет, как я, разнесчастная, стала твоей женой. Сразу видно, как ты меня любишь, уважаешь...

Она так разошлась, что, казалось, ее невозможно остановить.

— Моя дорогая, что ты зря сердишься, портишь и себе и мне кровь? — миролюбиво произнес Шими, желая загладить свою вину и утихомирить супругу. — Если все дело в подарке, то я сейчас же побегу в магазин, куплю тебе такой памятный подарок, какой, клянусь душой твоего отца, тебе и во сне не снился.

Жена, услышав эти слова и решив, что муж действительно хочет сделать ей необыкновенный подарок, сразу повеселела. Накормив Шими и угостив его вином, она ласково проводила мужа за обещанным подарком и стала с нетерпением ждать его возвращения.

Но прошло несколько часов, пока Шими наконец вернулся, запыхавшийся, весь мокрый, держа в руке огромный тяжелый замок, покрытый столетней ржавчиной.

— Ай, муж, что это? — с удивлением и досадой спросила жена, подозрительно косясь то на Шими, то на диковинный замок.

— Я же обещал тебе ради такого памятного дня — сорокалетия нашей свадьбы — купить такой подарок, который тебе и не снился. Вот он! — произнес Шими с довольным видом, гремя перед ней пудовым замком. — Правда, достался он мне нелегко. Я обошел все магазины в городе, но нигде такого замка, какой мне хотелось купить, не нашел. Тогда я, несмотря на усталость, на мои почтенные годы, поднялся на Джалганскую гору, к старинной ханской цитадели — Нарын-Кале, сорвал этот замок с ее железных крепостных ворот и еле притащился с ним домой. А ты еще говоришь, я такой-разэтакий...

— Ай, муж, камень на твою глупую башку, зачем мне твой замок, в своем ли ты уме? — воскликнула жена, испуганно пятясь назад, думая, что ее муж, который всегда казался ей странным, теперь и впрямь свихнулся.

— Как — зачем? Чтобы ты вешала его на свой длинный язык и молчала хотя бы час-два в сутки, — с отчаянием и мольбой произнес Шими.

Будуар для невестки Шими



В один из безрадостных дней наш почтенный Шими, надев на голову новую папаху, облачившись в атласный праздничный бешмет⁴ и захватив обручальное кольцо, пошел сватать невесту для своего младшего сына. Родители девушки, отец которой работал на торговой базе и слыл большим мошенником, а мать корчила из себя барыню, больше всего ценили в человеке хватку, умение каким угодно путем “добывать” деньги. Честность, благородство, знания они ни во что не ставили: деньги, мол, как одежда наготу, все прикроют: и природную тупость, и отсутствие совести, и даже душевную нечистоплотность. И бедный Шими боялся, как бы эти новые мещане дурно не повлияли на его сына, выросшего в доброй трудовой семье, где в человеке больше всего ценили добропорядочность, намус⁵, уважение к людям. Поэтому Шими шел на это сватовство, как вол под ярмо. И шёл только потому, что его легкомысленный сын, на свою беду и на горе старого отца, безумно влюбился в их дочь.

Дом сватов, куда пришел Шими, был высокий, с садом и бассейном во дворе, с собственной “Волгой” в гараже. Сняв обувь и оставив её у порога, старик тихо постучался в дверь и робко вошел в дом, в котором застал одну хозяйку, еще сравнительно молодую, но очень полную женщину, одетую в яркий разноцветный халат с широким воротом. Накрашенная и нарумяненная, подстриженная под мальчишку, она, сверкая бриллиантами, сидела в глубоком мягком кресле за низким полированным столиком, на котором стояла тяжелая хрустальная пепельница, доверху набитая окурками. Дымя сигаретой, хозяйка с увлечением рассматривала какой-то красочный журнал мод.

Когда Шими увидел эту курящую, размалеванную и по-мальчишески остриженную женщину, которую, если бы не ее выпуклые формы, с первого взгляда можно было бы принять за переодетого толстого мужчину, то первым побуждением его было, пока еще не поздно, дать задний ход. Но, опять-таки из любви к сыну, он заставил себя остаться. Стараясь как можно меньше глядеть на хозяйку, старик учтиво поздоровался, а затем коротко поведал ей о цели своего визита, не забыв при этом намекнуть, что их дети давно знают и любят друг друга.

⁴ Бешмет — верхняя мужская национальная одежда.

⁵ Намус — совесть, честь.

Хозяйке в свою очередь не понравился сват, одетый старомодно “по-азиатски”, наверное, с тощим карманом; очевидно, один из тех бедолаг, которые живут на скромную зарплату или маленькую пенсию. Она даже не предложила старику сесть. Не скрывая своего полного пренебрежения к нему, хозяйка в ответ, горделивым жестом указывая на богатое убранство своих комнат, сказала гостю, что ее девочка, которую он хочет сватать для своего сына, привыкла к красивой жизни и она сомневается в том, что он сможет обеспечить ей такую же. Затем, немного помолчав, с ехидной усмешкой добавила:

— У вас, наверно, нет даже будуара для невестки? А моей дочери, знаете, нужен будуар...

Старик Шими сроду не слышал такого слова, поэтому, понятно, не знал, что оно означает и что ответить хозяйке на этот счет. Но, чтобы не уронить себя в глазах спесивой женщины, Шими сказал, что подумает и самое большее через два-три часа вернется с ответом.

Выйдя от нее, Шими сразу пошел искать человека, знающего это загадочное слово “будуар”, которое он всю дорогу твердил как заклинание, чтобы, упаси бог, оно вдруг не выскочило у него из памяти. Очень скоро Шими напал на нужного ему сейчас до зарезу человека — интеллигентного вида худого длинноногого мужчину средних лет в соломенной шляпе и круглых очках с двойными линзами. Он, видно, шел не то со свадьбы, не то только что побывал в виннице, так как был навеселе. Выслушав просьбу Шими растолковать ему, что такое “будуар”, и узнав, почему это так сильно интересует старика, мужчина в соломенной шляпе еще больше развеселился. Покатываясь со смеху, он кое-как объяснил Шими, что “будуар” — это французское слово, которое означает отдельную, хорошо обставленную дамскую гостиную или приемную. Затем он, пьяно качаясь на журавлиных ногах и сверкая двойными линзами очков, с едва скрываемой насмешкой добавил:

— Я бы на вашем месте, дядя Шими, зная характер и вкусы вашей сватья, пообещал бы ей не только будуар, но и писсуар.

Шими, решив, что это тоже, наверно, нечто вроде отдельной комнаты для невесты, не стал тратить время на расспросы и, от души поблагодарив земляка за консультацию и “добрый совет”, поспешил к сватье с ответом.

— Так вот, дорогая сватья, — прямо с порога громко и торжественно произнес Шими, предварительно опять сняв обувь и оставив ее за дверью. — Считайте, что в моем доме есть этот самый... будуар для тво-

ей дочери, то бишь моей невестки. — И, желая еще больше обрадовать свою будущую родственницу и в то же время показать ей, что он, слава богу, не из тех, у кого ничего нет за душой, весело прибавил: — Если вы очень хотите и невеста не очень торопится, я выделю ей не только будуар, но и... писсуар.

Как только Шими произнес это слово, к его великому изумлению, хозяйка пришла в дикую ярость и ее жирно подведенные глаза вспыхнули недобрым огнем. Она, тут же схватив со стола хрустальную пепельницу, со всей силы швырнула ее в ошеломленного Шими. Старик, едва придя в себя, пулей вылетел во двор, точно из горящего сарая, от потрясения забыв про свои башмаки, оставленные у порога. Он в одних носках бежал во весь дух по улице мимо удивленных прохожих, так и не поняв, что же привело сватью в столь великую ярость.

Сватовство, конечно, не состоялось...

И она черная...



днажды Шими купил баранью ляжку и решил приготовить шашлык. Он разжег во дворе мангал, принес вертела и, вооружившись острым ножом, только собрался нарезать мясо на куски, как его черный дворовый пес, юлой вертевший у Шими, улучив удобный момент, прямо из-под носа хозяина утащил ляжку.

Бросив нож, Шими тут же схватил палку и погнался за собакой. Но пес, крепко зажав в зубах добычу, выбежал со двора на улицу и помчался так, что и пуля не догнала бы его. Усталый, запыхавшийся и злой как черт, Шими вернулся назад. Но, увидев возле ворот своего дома другую собаку, такую же черную, как и его, набросился на нее с палкой, срывая на ней сердце. На визг собаки прибежала жена. Увидев, что он бьет чужую собаку, она сказала ему:

— Ай, муж, что ты делаешь?! Не она же унесла мясо, зачем ты ее бьешь?

— Ай, жена, ты всегда лезешь не в свое дело! — с досадой в голосе произнес Шими. — Разве ты не видишь, что она тоже черная?!

Как Шими с женой поменялись обязанностями



Шими очень любил своих друзей и всегда был рад случаю увидеться с ними. Как-то раз, возвращаясь под вечер с работы домой, он встретил друга своей юности и пригласил его в гости. — Я сегодня на ужин заказал хинкал⁶ с курицей, — сказал Шими. — Прошу тебя, пойдем ко мне домой, тряхнем стариной, посидим, поговорим по душам, отведаем хинкала с чесноком и уксусом, выпьем по чарке вина на радостях.

Шими так настойчиво уговаривал друга, что тот, боясь обидеть его отказом, принял приглашение.

Предвкушая удовольствие от любимого блюда и приятного вечера в обществе старого приятеля, Шими, как только пришел домой, еще с порога весело возвестил:

— Ай, жена, да осенит радость наши дни, к нам пришел дорогой гость — друг мой юности! Встань, расстели скатерть, подай нам горячий хинкал, поставь кувшинчик вина.

Но когда жена с виноватым видом сообщила ему, что хинкала, к сожалению, не будет, потому что она не успела его приготовить, Шими сразу помрачнел и у него испортилось настроение. От стыда и неловкости перед гостем, которого он так настойчиво приглашал, Шими не знал, куда глаза деть.

Извинившись перед товарищем и едва выпроводив его за ворота, Шими, весь кипя от злости, поспешно вернулся в комнату и сразу набросился на жену с криком и бранью.

— Ай, жена, да чтоб сгорел твой отец! — в сердцах воскликнул Шими. — Что ты наделала?! Опозорила меня перед гостем!.. Весь день сидишь дома, бездельничаешь, даже хинкал на ужин тебе было лень приготовить. А я с утра до вечера тружусь в поте лица, копаю землю, а ты?!

— Хватит кричать на меня! — возмущенно перебила Шими жена. — Я тоже не сидела сложа руки. Весь день вертелась дома как белка в колесе и устала так, что с ног падаю, а у тебя еще язык поворачивается упрекать меня.

То, что жена не хотела признать себя виноватой, да еще огрызалась, окончательно вывело Шими из себя.

⁶ Хинкал — кавказское национальное блюдо.

— Хе!.. Да какая у тебя работа? Одно название! — с раздражением и насмешкой произнес он. — Всю твою домашнюю работу можно сделать в два счета. Это не то, что наша, мужская! Единственно, когда вам приходится нелегко, так это при родах. Да и то, кто знает! Может, ваша сестра больше притворяется, чем на самом деле испытывает эти самые родовые муки. Говорится же: “Женское притворство положили на телегу, запряженную двумя волами, и они не могли сдвинуть ее”...

Жене Шими было обидно и больно слышать такие упреки от мужа, с которым прожила много лет.

— Конечно, заставить тебя рожать вместо себя, чтобы ты почувствовал, испытываем ли мы, женщины, муки при родах или просто притворяемся, я не в силах, — с укором сказала жена, — но заменить своего хвастуна муженька на работе я вполне смогу. А вот ты попробуй справиться с моей женской работой, о которой так пренебрежительно отзываешься. Посмотри, как ты запоешь!

— Давай, я согласен, — с готовностью воскликнул Шими, втайне радуясь прекрасному случаю проучить строптивую жену.

На следующий день жена встала рано утром и принялась будить сладко храпевшего мужа.

— Ай, муж, поднимайся и слушай меня внимательно! — приказала жена. — Первым делом подои корову, да смотри не опаздывай, а то не успеешь выгнать ее в стадо. Присмотри за ребенком, вовремя накорми и уложи спать. Прибери в комнате, подмети пол мокрым веником. Постирай и высуши пеленки. Сбей масло, приготовь дуг⁷, а к моему приходу с работы свари хинкал на ужин...

Словом, перечислив по порядку все обязанности, которые надлежало выполнить Шими до возвращения ее с работы, жена, захватив узелок с чуреком⁸ и сыром, села верхом на осла и бодро подъехала к воротам. Но вдруг, вспомнив о чем-то, она остановилась и, не слезая с осла, громко крикнула:

— Ай, муж! Чуть не забыла: смотри за наседкой, не давай ей вставать с яиц, чтобы они не остыли. Иначе, сам знаешь, цыплята не выведутся. Сразу, как она закудахчет, дай ей зерна и воды!..

Как только жена выехала со двора, Шими, быстро надев штаны и захватив подойник, побежал в хлев доить корову. Едва он опустился на

⁷ Дуг — пахта.

⁸ Чурек — лепешка, тонкий хлеб.

корточки и первые струйки молока весело зазвенели о дно подойника, как в люльке проснулся ребенок и сразу поднял крик. Боясь, что, пока он будет возиться с младенцем, пастух угонит стадо, Шими, с досадой пнув животное ногой, выпустил его со двора, не выдоив утреннего молока.

Кое-как успокоив и уложив ребенка, предварительно заменив ему мокрые пеленки чистыми и сухими, Шими решил сначала все приготовить для хинкала: просеять муку, замесить тесто, нарезать курицу, которую жена перед уходом положила со связанными ногами возле печки, общипать и опалить ее.

С грехом пополам покончив с этим делом, Шими принялся за другое. Он принес нигре — пузатый глиняный кувшин с двумя ручками для сбивания масла и приготовления дуга — и поставил его посреди комнаты, возле люльки со спящим ребенком. Влив в кувшин несколько крынок кислого молока и столько же холодной воды, он, усевшись на пол, принялся, как это делала жена, обеими руками ритмично раскачивать кувшин. Но плач ребенка опять отвлек его. Шими не знал, что делать: качать младенца в люльке, пока он не уснет, или продолжать раскачивать нигре и не обращать внимания на плач. После короткого раздумья Шими, чтобы сэкономить время и успеть справиться одновременно с несколькими делами, привязал кувшин к спине, а люльку с ребенком повесил на шею и принялся подметать пол. Но не прошло и нескольких минут, как насадка в сарае, сидевшая на корзине с яйцами, громко, требовательно закудаhtала. Шими бросил веник и заспешил в сарай. Возвращаясь назад, чтобы опять заняться уборкой, он у самого порога столкнулся со своей дворовой собакой. Она, воровато и пугливо озираясь на хозяина, быстро прошмыгнула мимо него, держа в зубах ошипанную курицу, которую Шими приготовил для хинкала.

От охвативших его беспокойства и ярости Шими забыл, что у него за спиной кувшин, в котором болталась пахта, а на груди качается люлька с ребенком, и с криком кинулся на собаку, чтобы отнять у нее добычу, но, споткнувшись, растянулся возле двери. Кувшин с грохотом разбился, и все его содержимое разлилось по полу. Люлька с ребенком перевернулась, и малыш от испуга поднял такой рев, что его уже невозможно было успокоить. Тогда Шими занёс люльку с плачущим ребенком в комнату и, тут же выскочив во двор, стал гоняться за спокойно разгуливающими курами, чтобы поймать одну из них и нарезать вместо той, которую унесла у него из-под носа собака. Но, испуганные его внезап-

ным налетом, куры, хлопая крыльями, с шумом разбежались в разные стороны. Некоторое время Шими в полной растерянности стоял посреди двора, не зная, как быть, а потом вдруг решительно направился в сарай. Схватив дремавшую на корзине наседку, он оторвал ей голову, чтобы ощипать ее и приготовить для хинкала. Но, тут же поняв, что натворил и что ему все равно не справиться с домашними делами до возвращения жены, Шими, махнув на все рукой, быстро спустил штаны и голым задом сел вместо наседки на осиротевшие яйца.

Вечером на закате жена вернулась с работы веселая, довольная, улыбающаяся. Но едва она въехала во двор, как ее изумленному взору предстала невообразимая картина. Теленок сосал только что вернувшуюся из стада корову. В люльке, всхлипывая, тихо плакал совершенно обессиленный ребенок. На веранде, залитой дугом и измазанной маслом, лежали осколки разбитого кувшина. А куры во главе с красноперым петухом, словно на веселом пиру, окружив корыто, усердно клевали тесто, приготовленное для хинкала. Самого Шими нигде не было видно. Жена застала его в сарае, сидевшего без штанов на корзине с яйцами, с потухшим кальяном во рту и дремавшего от усталости.

— Ай, муж, накажи тебя Бог, что я вижу?! — горестно воскликнула жена. — Почему такой содом в доме? И почему ты сидишь на яйцах вместо наседки?

— Ай, жена, ты только, пожалуйста, не горячись и не ругайся, я сейчас тебе все объясню, — моргая сонными глазами, миролюбиво произнес Шими, не вставая с корзины. — Знаешь, пока я был занят делом, курицу, приготовленную для хинкала, утащил наш проклятый пес. А я вместо другой курицы по ошибке взял да зарезал наседку. А потом, когда спохватился, боясь, что яйца остынут, сам сел на них вместо нее. Ты же сама, уходя на работу, предупредила меня: не давать остынуть яйцам...

— И сколько же времени ты думаешь сидеть вот так на корзине вместо наседки? — с трудом сдерживая подступающие к горлу слезы, дрожащим от гнева голосом спросила вконец расстроенная жена.

— Да уж посижу сколько потребуется, недели две, а может, и три, пока цыплята не выведутся, — с покорным видом произнес Шими, печально вздыхая. И, чтобы как-то успокоить жену, прибавил бодрым голосом: — Зато цыплят, можешь мне поверить, я обязательно выведу. А ты за это время, моя дорогая, постарайся как-нибудь управиться за нас двоих: на работе в колхозе и дома по хозяйству...

Человек и обезьяна



Внимным вечером старик Шими сидел у горячей печки и попыхивал кальяном, а его двенадцатилетний внук-школьник, раскрыв перед собой книги и тетради, готовил уроки. — Деда! А дед! — отодвинув книгу, обратился внук к Шими. — А правда, что человек произошел от обезьяны?

— Вах! Что за чушь?! — возмущенно воскликнул Шими, сурово нахмурив седые брови. — Тогда выходит, по-твоему, что блаженной памяти мои деды и прадеды были этими самыми длиннохвостыми и длинноволосыми маймунами⁹? И как только такая дурная мысль могла прийти тебе в башку, харамзаде¹⁰? По тебе, видно, палка плачет!..

— А при чем тут я?! — обиделся мальчик, чуть не плача. — Я, что ли, это выдумал? Учитель нам говорил.

Услышав это, Шими промолчал, а про себя подумал: “Муалим¹¹, хоть и ученый человек, но, конечно, спорол чушь, наверно, был под мухой, а спьяну всякое может взбрести человеку на ум”. Внуку Шими сказал, что завтра непременно пойдет поговорит с его учителем насчет маймуна...

В тот же вечер случилось Шими вместе с членами своей многочисленной семьи смотреть по телевизору какую-то певицу. Старик был явно шокирован ее внешностью и поведением на сцене. Платье на ней было чуть ли не до пупа, грудь и спина совсем открыты, а растрепанные волосы торчали во все стороны, как иглы на дикообразе. Свое пение гостя сопровождала разными ужимками, кривлянием и непристойными телодвижениями. Да и пение ее как-то неприятно резало слух. Оно напоминало Шими то рев бешеного быка, то крик лесного зверя, то мяуканье дикой кошки.

Шими приказал домочадцам немедленно выключить телевизор. А сам, отправляясь спать, невольно подумал про себя: “Да-а... Действительно, у этой женщины много сходства с бесстыжей и безобразной обезьяной”.

Наутро внук, собираясь идти в школу, на всякий случай спросил у Шими:

⁹ Маймун — обезьяна.

¹⁰ Харамзаде — негодник.

¹¹ Муалим — учитель.

— Дед, ты и вправду хочешь идти со мной к учителю?..

Шими, вспомнив вчерашнюю певицу, нахмурился, почесал затылок, потом твердо сказал:

— Нет, сынок, я раздумал. Твой учитель, видно, все-таки прав. Я теперь понимаю, каких людей он имел в виду, когда говорил вам, что человек произошел от обезьяны...

Радость Шими

 первые годы после вступления в колхоз Шими все еще жил в старом ветхом домишке, который кишел клопами, блохами и прочими паразитами. Жена его, то ли по лени, то ли по беспечности, нисколько не заботилась о том, чтобы вывести насекомых и очистить от них дом. Зато каждый вечер, когда уставший за день Шими, потушив свет, ложился спать, она тут же будила мужа и, жалуясь на то, что эта пакость не дает ей спать, заставляла давить клопов и блох. И так каждую ночь.

Из-за этого бедняга Шими обычно приходил на работу с большой головой, сонный и вялый и во время коротких перекуров, как только садился, начинал тут же с кальяном во рту клевать носом. Колхозники, не зная причины такой сонливости Шими, нередко подшучивали над ним:

— Ай, Шими, ты, видно, вместо того чтобы вовремя ложиться спать, слишком долго милуешься с женой?!

— Честное слово, никогда бы не подумал, что ты, немолодой уже мужчина, а такой женолюб!

— Хе-хе-хе, про таких, как ты, наверно, говорится: “Седина в бороду, бес в ребро...”

Степенному Шими были не по душе эти скабрзные шутки, вгонявшие его в краску, но он молча сносил их, скрывая от товарищей свою беду.

И вот однажды перед заходом солнца Шими, усталый, понуро возвращался с колхозных виноградников, неся на плече бил¹². Вдруг в самой людной части города он увидел жену, с плачем и воплями бежавшую ему навстречу. Шими страшно испугался, думая, что дома произошло что-то непоправимое.

¹² Бил — лопата из кованого железа с острым узким концом и длинной деревянной ручкой.

— Ай, жена, что случилось?! — с тревогой спросил Шими, едва они приблизились друг к другу.

— Горе нам, о муж! По моей вине сгорел наш дом и мы остались без крова! — заголосила жена в ответ.

У Шими сразу отлегло от сердца. Он сбросил с плеча бил и, щелкая пальцами, принялся на виду у всех плясать, то и дело громко и весело восклицая:

— Охош¹³! Охош! Джан охош!..

Изумленная жена, глядя на него, перестала причитать и накинута на него с упреками и бранью:

— Ай, муж, камень на твою голову! Что ты делаешь?! Дом наш сгорел, нам негде приклонить голову, а ты радуешься, танцуешь посреди улицы на виду у всех людей, как все равно на свадьбе или словно клад шаха Аббаса нашел. Охош, говоришь?

— Ай, жена, — продолжая прищелкивать пальцами и плясать, со смехом произнес Шими. — Как же мне не радоваться, не веселиться: пусть сгорел наш дом, зато вместе с ним сгорели эти проклятые клопы и блохи!..

Горе Шими



Шими Дербенди околел осел, объевшись люцерной. Шими очень любил своего вислоухого и поэтому сильно расстроился. Охваченный неутешным горем, он опустился на землю посреди двора возле своего мертвого четвероногого друга и принялся бить себя в грудь, громко причитая, как плакальщица на похоронах:

— О ты, златокудрый, ясноокий и быстроногий мой джейран!.. Зачем ты так рано покинул этот белый свет, сверг нас в пучину скорби и печали!..

Соседи Шими, услышав его плач, решили, что у него, наверное, умер кто-нибудь из близких, поэтому сразу поспешили к нему во двор, чтобы выразить свое сочувствие и разделить его горе. Но когда они увидели, что Шими сокрушается по околевавшему ишаку, то, в душе посмеиваясь над ним и над его “безутешным горем”, стали дружески на-

¹³ Охош — восклицание, выражающее чувство большого удовлетворения.

ставлять и успокаивать его. Один из соседей, чтобы заставить Шими перестать плакать и не делать из себя посмешище, сказал ему:

— Ай, Шими, ты голову, что ли, потерял? Разве можно из-за того, что подох осел, так убиваться? У меня, к добру будь помянута, недавно померла теща, я и то не плакал, крепился, как подобает мужчине, а ты распустил нюни... И не стыдно тебе?

Шими, который пуще всего на свете не любил свою тещу за то, что она ни в грош не ставила его, считая шутом гороховым, пустомелей, и все время натравливала на него свою дочь, услышав слова соседа, разрыдался еще горше.

— В том-то и дело, дорогой сосед, — вытирая папайой слезы, произнес Шими. — У такого счастливца, как ты, теща умирает, а у несчастливца вроде меня осел поддыхает...

Шими в больнице



Шими, несмотря на свой преклонный возраст, очень редко болел. Но однажды он почувствовал себя так плохо, что решил лечь в больницу: спазмы в желудке не давали старику покоя. Однако в приемном отделении ему сказали, что сейчас в больнице мест нет, надо подождать. Огорченный и расстроенный, Шими хотел уже направиться домой, но один из работников больницы намекнул ему, что может, если он согласен, за сто рублей “купить” место в палате. И Шими, недолго думая, согласился.

Пройдя в палату, где лежало шестеро больных, Шими тепло поздоровался с ними, затем, прежде чем раздеться и лечь в постель, несмотря на колики в животе, внимательно, оценивающим взглядом осмотрел свою койку, которую нашел почти новой, пощупал двойные простыни, потрогал подушку, провел рукой по мягкому шерстяному одеялу и остался вполне доволен.

Через месяц, когда Шими поправился, его выписали домой. Но перед тем как выйти из больницы, Шими велел внуку принести длинную веревку, “на которой бабушка вешает белье во дворе”. Когда мальчик вернулся, Шими спокойно, не спеша, убрал с койки шерстяное одеяло, простыни и матрац, а затем на глазах у удивленных больных принялся разбирать койку. Все это он сложил в кучу и крепко перевязал веревкой.

Как раз в тот момент, когда Шими с помощью внука хотел взвалить себе на спину разобранную койку и постель, чтобы унести домой, в палату вошли врачи и медсестры во главе с заведующим отделением, совершавшие обход. Узнав о намерении Шими, они, ни сном ни духом не ведавшие о том, что ему пришлось выложить сто рублей, чтобы попасть в больницу, были, конечно, крайне удивлены этим поступком и в один голос принялись упрекать и стыдить старика.

— Ай, Шими, как только тебе не стыдно?! — запальчиво произнёс его лечащий врач. — Мы здесь тебя целый месяц лечили, ходили за тобой как за ребенком, беспокоились о твоём здоровье, а ты вместо благодарности хочешь захватить больничное имущество?..

Шими спокойно выслушал их, затем, почтительно сложив руки на груди, от души поблагодарил за лечение и заботу.

— А что касается постели и койки, — добавил он, — клянусь вам, это все мое собственное. Я за них расплатился в тот же самый день, когда меня положили в больницу...

И чтобы его не сочли неблагодарным, Шими, не ломаясь и не торгуясь, “продал” больнице свою койку и постельные принадлежности за ту же самую цену, за которую он “купил” их, поступая сюда месяц назад.

Шими откладывает свои похороны



Обычно всегда бодрый духом, несмотря на преклонные годы, веселый и насмешливый, Шими однажды в полдень вернулся домой очень расстроенный и, не сказав никому ни слова, лег в постель. Подошло время обеда — Шими наотрез отказался от пищи. То же самое произошло во время ужина.

— Ай, муж, да буду я жертвой тебе, скажи, что у тебя болит? Может, вызвать врача? — спросила встревоженная жена.

— Ничего не болит, я вполне здоров! — буркнул Шими. — Оставь меня в покое!

— Почему же тогда ты ничего не ешь?

— Хочу умереть, вот что! — сердито воскликнул Шими. — Я разочаровался в жизни, в людях! К черту все в этом живом и безумном мире! — И он повернулся на бок, не желая больше ничего объяснять жене.

Старуха, привыкшая за много лет совместной жизни к странным выходкам и причудам своего беспокойного супруга, не стала больше у него ничего допытываться, но на следующий же день сообщила о решении Шими детям и внукам. Те, встревоженные, собрались возле его постели и стали умолять старика отказаться от решения, уморив себя голодом, добровольно уйти из жизни.

Но Шими продолжал хранить упорное молчание.

Тогда один из его сыновей не выдержал и в запальчивости сказал:

— Ишь ты, отец, нашел тоже время умирать, когда все так ужасно дорого! Иные люди сейчас страшатся не столько смерти близкого, сколько расходов на его похороны и поминки. Откуда у нас, простых людей, такие деньги! Ты об этом подумал?..

И все остальные дети дружно поддержали его.

Слушая детей, Шими невесело усмехнулся. Он невольно вспомнил, как давно, много лет назад, когда был еще сравнительно молодым, вдруг тяжело заболел. Дети, мал мала меньше, боясь, что отец умрет, рыдая, в один голос умоляли его:

— Папа, не умирай, пожалуйста! Мы пропадем без тебя! Кто будет нас кормить?

И тогда они беспокоились не за него, а за себя. Сейчас, слава Богу, сыновья и дочери взрослые, семейные, но никто не скажет: “Отец, мы тебя очень любим. Ты самый дорогой для нас человек. Спасибо за то, что ты дал нам жизнь, за всё, что ты сделал для нас. Мы, твои дети, в неоплатном долгу перед тобой и готовы сделать для тебя все, только бы ты жил и здравствовал...”

Шими приподнялся в постели, молча оглядел своих детей и, печально вздохнув, грустно промолвил:

— Все не так на этом свете... Верно говорят: родители для детей а дети — для себя. Так уж и быть, мои дорогие, чтобы не причинять вам излишние хлопоты, я откладываю свои похороны до лучших времен... — И, обращаясь к своей старухе, прибавил: — Иди, гэри¹⁴, накрывай на стол!..

¹⁴ Гэри — старуха.

Как Шими перевоспитывал свою невестку



ими и его старуха, поженив и выдав замуж всех своих детей, сами на старости лет стали жить с младшим сыном и его молодой женой. Но сноха ничего не делала дома, жила на всем готовом и относилась к старикам без всякого внимания и уважения.

Как-то рано утром Шими, выйдя во двор, решил зайти в хлев и дать ослу сена, но, увидев жену, сиротливо сидевшую на камне, подперев рукой подбородок, подошел к ней.

— Ай, жена, что с тобой? Почему ты так пригорюнилась? — участливо спросил ее Шими.

— Ай, муж, как мне не горевать? — грустно промолвила жена. — Привела в дом невестку, думала: вот на старости лет будет помощница мне. А она, как ты знаешь, палец о палец не ударит: не моет, не стирает, не убирает. Вот двор захламлен, а убирать некому, все приходится делать самой. Не повезло нам со снохой.

Шими стало жаль свою старуху. Он тоже задумался, не зная, что делать, а потом, точно осененный счастливой мыслью, бодро сказал:

— Ай, жена, не падай духом. Клянусь прахом твоего отца, я придумал верный способ, чтобы исправить нашу невестку-бездельницу.

— Что еще за способ? — с сомнением спросила старуха.

— Вот послушай! — с воодушевлением принялся втолковывать ей Шими. — Как только наша невестка проснется и выйдет во двор, ты сразу возьми веник и делай вид, что собираешься подметать. А я в это время подскочу к тебе, схвачу веник и скажу нарочно: “Отдай мне веник! Ты старая, усталая, больная, пятое-десятое, я сам подмету вместо тебя!..” Но ты, гэри, смотри не отдавай мне веник, а держи его еще крепче и отвечай мне: “Нет, муж, Боже упаси, я этого не позволю! Ты мужчина, папаху на голове носишь, мне стыдно” и все такое прочее. А невестка, увидев и услышав наш спор с тобой, устыдится, волей-неволей отберет у нас веник и сама, как миленькая, вместо тебя возьмет да подметет двор. Как говорится, лиха беда начало...

Старухе пришлось по душе эта идея. Как только невестка проснулась и показалась на пороге, свекровь тут же схватила веник и, охая и вздыхая, принялась понарошку подметать двор. А Шими тотчас же подскочил к ней и ухватился за веник.

— Ай, жена, ради твоих покойников, отдай мне веник, я сам вместо тебя подмету двор, — горячо, умоляющим голосом произнес Шими. — Ты женщина старая, хвоя, не дай Бог, свалишься с ног. что будет тогда с нами? Все в доме пойдет прахом. Отдай!

Но старуха, еще крепче зажав веник в руках, громко запротестовала:

— Ай, муж, клянусь твоей жизнью, что ни говори — не отдам, умру, но не отдам. Ты мужчина, борода уже седая, соседи увидят — позору не оберешься. Не могу же я на старости лет осрамить честь твоей папыхи. Отстань!..

— Пусть говорят, кому что угодно, отдай мне веник, — настаивал на своем муж.

Одним словом, Шими и его старуха, шумно споря друг с другом, тянули веник каждый к себе. А невестка, уперев руки в боки, сначала удивленно и насмешливо наблюдала за этой сценой, а потом, когда ей надоел спор старика и старухи, подошла к ним и вырвала веник из их рук. Шими и его жена радостно переглянулись, что их вынужденная хитрость удалась как нельзя лучше. А невестка, держа веник в руке, искоса смотрела то на свекра, то на свекровь, что-то решая в уме. Потом невестка, неожиданно повернувшись к Шими, энергично вложила ему в руки веник и, одобрительно кивнув головой, с ободряющей улыбкой сказала:

— Ты, папаша, мо-ло-дец! Умница! Наплевать на то, что будут говорить другие, — подметаай сам!..

Шими на службе у государя императора



Когда Шими был молодым и очень бедным, он, как это нередко случалось с ним, оказался без работы и без гроша в кармане. Как-то раз, узнав от одного знакомого, что дербентский полицмейстер ищет подходящего человека из местных жителей, чтобы назначить его надсмотрщиком на фэхле-базари¹⁵,

¹⁵ Фэхле-базари — рабочий рынок в Дербенте, который существовал до революции и в первые годы Советской власти вплоть до конца 20-х годов. Здесь всегда былолюдно. Сюда приходили батраки и бедняки, чтобы наниматься на виноградники и рыбные промыслы, принадлежавшие дербентским богачам. Фэхле-базари служил также местом для встреч, обмена новостями, проведения досуга.

Шими, недолго думая, помчался к нему. Тот, оглядев его ладную коренастую фигуру и прочитав в глазах Шими беззаветную отвагу, остался им вполне доволен.

— Я вижу, ты подходящий для этого дела парень, — покровительственно похлопав Шими по плечу, с удовлетворением проговорил полицмейстер. И тут же, вручив Шими свисток и полицейскую дубинку, добавил: — Запомни, молодой человек, с сегодняшнего дня ты находишься на службе у его величества государя императора. Это большая честь, и ее надо оправдать. Вот мой наказ тебе: следи за порядком, гляди в оба и держи ухо востро. Если кто-нибудь из этого сброда, что каждый день слоняется на фэхле-базари, будет открыто или намеком оскорблять нашего царя и нас, царевых слуг, ругать власть или затеет галмагал¹⁶, немедленно волоки ко мне. Полицеймейстер обещал Шими приличное жалованье, а если он проявит должное рвение на службе — и награду.

Шими получил это назначение как раз за несколько дней до приезда в Дербент последнего русского царя Николая II¹⁷.

Местные жители этого небольшого, но очень древнего азиатского города, находящегося за тридевять земель от имперской столицы, где жил русский падишах со своим семейством и многочисленным тухумом¹⁸, мало что знали о его личности. И то, что было известно кое-кому из них, в том числе Шими, состояло из разных дурных хабаров¹⁹, изображавших царя в самом непривлекательном свете. Поговаривали, что он слабовольный и не очень умный. Жена, женщина злая и властная, держит его под каблуком, что недопустимо для мужчины, дорожащего честью своей папахи, а тем паче для падишаха. Больше того, в доме у него под видом святого безраздельно хозяйничает какой-то грубый, но очень хитрый, разгульный мужик с дремучей бородой, прозванный в народе Распутиным за его скандальные похождения и распутный образ жизни. А царь, вместо того чтобы отсечь ему башку или заточить в зиндон²⁰, чтобы его голоса и петух не слышал, боготворит этого пройдоху, во всем слушается его...

¹⁶ *Галмагал* — скандал.

¹⁷ Николай II побывал в Дербенте в 1913 г.

¹⁸ *Тухум* — род, семейство; родственники.

¹⁹ *Хабар* — рассказ, сказка; слух.

²⁰ *Зиндон* — глубокая подземная тюрьма, напоминающая колодезь, прикрытый сверху тяжелым жерновом.

Тем не менее Шими, придя на фэхле-базари и желая сделать своему начальнику приятный сюрприз, решил, не откладывая дела в долгий ящик, сегодня же отличиться на службе у государя императора, какой он ни на есть. Заметив в одном месте скопление людей, он сразу насторожился. Крепко сжав свисток в одной руке и полицейскую дубинку — в другой, Шими ринулся туда, как бесстрашный солдат на вражескую позицию. Бесцеремонно расталкивая всех, он протиснулся сквозь толпу и выступил вперед. В середине круга Шими увидел почтенного седобородого старика с длинным кальяном во рту, в старом чохо и с большой бараньей папахой на голове. Он сидел на камне и, добродушно улыбаясь, смотрел на обступивших его со всех сторон земляков. Шими сразу узнал в нем известного в народе ашуга²¹. Собравшиеся наперебой просили старика, чтобы он рассказал им какую-нибудь сказку или притчу.

— Ну что ж, друзья мои! Вижу, пока не расскажу, от вас не отвяжешься, — вынув кальян изо рта, шутливо проговорил он. — Так и быть, слушайте... В некоем царстве, в некоем государстве, — начал старик, — жил-был царь. Владения у него были бескрайние, сокровища в казне несметные, воины отважные, а сам он был глуп, как осел...

— Хоп! Дальше можешь не рассказывать — все ясно как Божий день, — сделав решительный шаг к сказителю, резко оборвал его новоиспеченный надсмотрщик. — Теперь не заставляй меня долго ждать, вставай и следуй со мной к моему начальнику — господину полицмейстеру!

— А что я такого сделал, сынок, чтобы тащить меня к полицмейстеру? — обеспокоенно произнес ашуг. — Побойся Бога, оставь меня, старика, в покое.

Но Шими был непреклонен.

— Нет! Ты сейчас же должен следовать со мной, пока я не применил силу! — потрясая дубинкой над головой старика, грозно предупредил Шими.

Сказитель волей-неволей был вынужден повиноваться. Но следом за ним потянулась и толпа людей, возмущенных несправедливым арестом старого ашуга. Они громко кричали, ругали на чем свет стоит ретивого надсмотрщика, посылая проклятия в его адрес. И чтобы заглушить их негодующие голоса, Шими время от времени пронзительно

²¹ *Ашуг* — певец, стихотворец, рассказчик.

свистел в полицейский свисток и грозил всем тюрьмой и Сибирью, если они не прекратят бунт против действий законных властей.

Когда возмущенная толпа подошла к зданию, где находился полицмейстер, Шими с видом человека, честно выполнившего свой долг, подбежал к начальнику, толкая перед собой насмерть перепуганного старика.

— Вы только полюбуйтесь на него, ваше превосходительство! — указывая на дрожащего от страха старого ашуга, гневно произнес Шими. — Он на фэхле-базари в присутствии всех людей — то есть сброда, как вы, давая мне наказ, изволили их назвать, — так обозвал, так оскорбил нашего обожаемого государя императора, что у меня язык не поворачивается повторить его мерзкие слова.

— Говори, не бойся, — приказал полицмейстер, довольный тем, что не ошибся, взяв Шими на службу, и тут же добавил: — Это нам нужно, чтобы установить степень вины этого преступника.

Шими немного помялся, а потом решительно, с готовностью произнес:

— Коли вы приказываете, мое дело — повиноваться. Он сказал, что наш царь — дурак и осел...

Но, увидев, как вытянулось лицо полицмейстера, а глаза полезли на лоб, Шими тут же стал успокаивать его.

— Вы, господин полицмейстер, ради Бога, не волнуйтесь, не принимайте это так близко к сердцу, — произнес он, преданно глядя в глаза своему начальнику. — Пусть наш царь дурак и останется таким на всю жизнь: кривое дерево не выпрямишь, а горбатого могила исправит; зато, слава Богу, вы, господин полицмейстер, я и другие царевы слуги не дураки. И что бы ни случилось, мы всегда сможем полицейской дубинкой с Божьей помощью заткнуть глотки таким смутьянам, как этот старый баламут...

Говорят, по приказу господина полицмейстера, которого чуть не хватил удар от этой “ободряющей” речи Шими, в тот же день за рвение на службе у государя императора дали ему заслуженную награду — всыпали сто горячих по известному месту, а затем с почетом в сопровождении жандармского конвоя отправили в городскую тюрьму.

Как Шими был певцом на “тайной свадьбе”



днажды, когда Шими еще был молодым и работал батраком, он пришел за расчетом к хозяину, на которого работал весь осенний сезон на виноградниках. Тот, то ли желая подшутить над батраком (говорится же: “Голодному — хлеб, богатому — причуды”), то ли решив наказать его, зная, что Шими остер на язык, любит высмеивать других, особенно богатых и знатных, прогнал его, не дав ему ни гроша за его труд. А в доме у Шими не было ни горсточки муки и ни копейки денег. Но ходить жаловаться на хозяина он считал бесполезным. “Хакимы²² все равно будут держать сторону хозяина, хоть он и не прав, — с горечью и гневом думал Шими, — потому что у него есть чем подмазать, а у меня — нет. А пустую руку, как говорится, и собака не лижет”.

Шими был так удручен, что, вместо того чтобы пойти к себе домой, пошел с горя куда глаза глядят. Вскоре он очутился за чертой города, в заброшенном саду, у старого, покосившегося от времени темного деревянного сарая. Шими зашел туда, устало опустился на пол и, предаваясь своим невеселым думам, незаметно задремал. Поздно вечером он внезапно проснулся, услышав поблизости чьи-то голоса, которые показались ему подозрительными.

В углу сарая стояла старая пустая бочка со ржавыми обручами, без крышки, с отверстием в середине для пробки. Недолго думая, Шими поспешно встал, влез в бочку и, затаив дыхание, стал прислушиваться, прильнув глазом к дырке. Вскоре дверь в сарае отворилась и вошел какой-то человек, неся за плечами большой узел, который он тут же опустил на пол. Вслед за ним вошел еще кто-то. В темноте Шими не мог разглядеть их, но появление этих людей в такое время и в таком месте сильно напугало его. “А вдруг они разбойники с большой дороги, забрались сюда среди ночи, чтобы поделить награбленное? — в тревоге подумал он. — Если они, упаси Бог, обнаружат меня здесь, для меня точно наступил ахир-заман²³”.

Пока Шими в сильном волнении рассуждал так сам с собой, в сарае вдруг вспыхнул свет — ночные пришельцы зажгли свечу. И в ту же минуту Шими чуть было не вскрикнул от крайнего удивления и охва-

²² Хаким — начальник.

²³ Ахир-заман — конец света.

тившей его бурной радости, когда увидел, что ночные разбойники — это (да чтоб он провалился!) его окаянный хозяин и какая-то пышнотелая молодая женщина, несомненно — ошне²⁴.

Хозяин, тяжело сопя, быстро опустился на колени и развязал узел. Сначала он извлек из него небольшой коврик, постелил его на полу, потом достал четверть красного вина, закуски, яблоки, гранаты — все это разложил на нем. Затем, поднявшись, богач радостно обнял свою возлюбленную.

— Моя пери²⁵, — смачно чмокнув ее в щеку, взволнованно произнес он, — прежде чем поужинаем, покейфуюем, давай-ка сначала разок станцуем с тобой, вообразим себя женихом и невестой перед венчанием...

И вот, когда весело улыбающаяся “невеста”, жеманно раскинув руки, пошла плавно кружиться в танце, радостно возбужденный “жених”, несмотря на то что был уже в почтенном возрасте и грузноват, потряхивая большим животом, пошел выделявать такие кренделя, что задрожали стены ветхого сарая — вот-вот рухнут.

Глядя на их веселье, Шими решил, что, хотя у него голос как у человека, о котором говорится в пословице: “Верблюд по красоте, осел по пению”, он непременно должен для них петь и хлопать. Какая же это свадьба без музыки и пения?!

Чтобы его не узнали, Шими быстро вывернул наизнанку свою старую дырявую шубейку и низко надвинул на глаза лохматую папаху. Поднявшись из бочки, он принялся усердно хлопать и горланить свадебную песню кейвони²⁶. Увидев его, “жених” и “невеста” с перепугу приняли Шими за шайтана, неожиданно вылезшего из пустой бочки. Первой с криком вылетела из сарая пышнотелая “невеста”. Тут же вслед за ней сломя голову бросился дородный “жених” и, сослепу ударившись лбом о дверной косяк, уронил на бегу высокую папаху.

На следующий день Шими, едва дождавшись утра, захватив папаху хозяина, явился к нему за деньгами. Тот было опять хотел прогнать его, как вчера, но, увидев свою папаху, которую Шими держал под мышкой, прикусил язык, сразу смекнув, что вчерашний “певец”, то бишь “шайтан”, был, оказывается, его батрак. И хозяин тотчас же, сменив гнев на милость, вынул из кармана толстый кошелек. Быстро отсчитав причитающиеся Шими деньги за работу, он отдал их ему и тут же протянул руку за папай.

²⁴ Ошне — любовница, любовник.

²⁵ Пери — сказочная красавица.

²⁶ Кейвони — повариха на свадьбе.

— Э-э-э, хозяин, так дело не пойдет! — еще крепче зажав папаху под мышкой, смеясь, шутливо пригрозил ему пальцем Шими. — Ты сперва заплати мне за то, что ночью я пел на твоей “свадьбе”, а потом я верну тебе папаху.

— Ты, сынок, скажи, сколько с меня причитается, я заплачу все, — с готовностью, ласково произнес хозяин, желая, пока жена и дети не узнали о цели такого раннего визита батрака, скорее отделаться от него.

— Лишнего, хозяин, я с тебя не возьму. Заплати мне столько, сколько платят обычно певцу на свадьбе, — скромно заметил Шими и тут же добавил: — Но поскольку твоя свадьба с ханум²⁷ была не такая, как у людей, а тайная, с тебя причитается двойная плата. Кроме того, хоть и говорят: “На голодный желудок не до песни и шуток”, мне, горемычному, пришлось петь и развлекать вас на пустой живот. А я, клянусь твоей головой, хозяин, был так голоден, что, попадись мне в тот момент свиная голова, забыв о грехе, наверно, откусил бы от нее. И последнее, — продолжал Шими серьезно. — Ты известный и уважаемый человек в городе и, конечно, захочешь, чтобы я эту историю о твоей “тайной свадьбе” не разглашал, не рассказывал никому. А хранить в себе долго такую тайну очень трудно, это стоит человеку здоровья...

Словом, Шими вернул хозяину его злополучную папаху лишь после того, как получил от него, кроме платы за работу, еще и четырехкратное вознаграждение: за то, что он пел им на “свадьбе”, за то, что она была не обычная, а тайная, за то, что пел на голодный желудок, и за то, что ему придется “в ущерб своему здоровью” держать эту тайну при себе до конца жизни.

Кинжал и хлеб



Когда Шими был бедняком и жил в крайней нужде, к нему однажды ночью забрался вор. Шаря в темноте, он нечаянно задел спящего Шими за ногу, и тот сразу проснулся. Вор, испугавшись, пулей вылетел наружу. Шими мигом вскочил с постели, поспешно взял из ниши в стене последний чурек, схватил старый ржавый кинжал и, как был, в одном нижнем белье, пустился вдогонку за вором.

²⁷ Ханум — госпожа.

— Стой! Стой! — кричал Шими среди ночи, гонясь за ним по пустынной улице, едва освещенной тусклым светом фонарей, одной рукой размахивая кинжалом, а другой — протягивая хлеб в сторону бежавшего во все лопатки вора.

Несмотря на то что Шими тогда был молод и силен, как он ни надрывал горло, как ни гнался за вором, не смог догнать его. Тот оказался очень резвым. Шими, с трудом переводя дух, усталый, злой, весь взмокший, вернулся домой. Положив хлеб обратно в нишу и повесив кинжал на стену, он лег в постель.

— Ай, муж, какой ты странный! Кто бежит за вором с хлебом? — спросила удивленная жена, которая с беспокойством ждала его возвращения.

— Ай, жена, ты ничего не понимаешь, — с досадой произнес Шими. — Все в городе знают, что я очень бедный человек и не то что ночью, в темноте, но и днем с огнем у меня ничего не найдешь, чтобы пожить-ся. Наверняка знал об этом и вор. Но даже несмотря на это, он все же забрался ко мне: видно, беднягу одолел голод. Вот я и хотел поймать его, накормить, а потом дать ему пару оплеух: знай, мол, сукин сын, к кому лезешь, — и отпустить на все четыре стороны.

— Ну, допустим, это так, — вроде бы согласилась жена, — зачем же тогда ты взял кинжал?

— А кинжал я взял, чтобы он, дурень, не отнекивался и принял мое скромное угощение: чем богат, тем и рад. Ведь нет более тяжкого греха, чем отпустить человека голодным из дома...

Как Шими замещал Худо²⁸

днажды, когда Шими был молодым, он, из-за чего-то повздорив с женой и сильно рассердившись на нее, ушел из дому. Наступил вечер, а Шими все еще продолжал дуться на свою половинку и не думал возвращаться. Бродя бесцельно по безлюдным уже улицам, Шими незаметно для себя очутился на окраине города, возле старого, давно не действующего нумаза²⁹ с невысокими ветхими стенами и плоской крышей.

²⁸ Худо — Господь Бог (татск.). В основу данной новеллы положен сюжет небольшой татской народной сказки "Косиб э нумаз" ("Бедняк в моленной доме"), по размеру и манере изложения близкой к анекдоту.

²⁹ Нумаз — моленный дом.

Шими без труда взобрался на крышу, искал место поудобнее и расположился спать, подложив папаху под голову. Только он сомкнул веки, как вдруг услышал чей-то жалобный голос, доносившийся снизу. Посреди крыши, над самым амвоном, откуда священник возносил страстные молитвы к Худо, было круглое отверстие. Шими тихонько подполз к нему и глянул вниз. В пустом, полутемном помещении нумаза, на самом амвоне, перед зажженной восковой свечой стоял какой-то босой человек с испитым, заросшим лицом и голодным блеском в глазах, одетый в рваное чохо и облезлую овечью папаху.

— Внемли, о Худо! Внемли моей мольбе к Тебе!.. — молитвенно простерев руки вверх, громко, со стоном повторял бедняк одно и то же.

“Должно быть, у этого человека большое горе, поэтому он на ночь глядя пришел сюда искать у Бога помощи и поддержки”, — подумал про себя Шими, и ему стало от души жаль бедняка. Чтобы узнать, какая беда привела его в такое время в старый нумаз, и попытаться как-нибудь утешить, подбодрить его, Шими решил, будь что будет, выдать себя за Всевышнего. При этом он был твердо уверен в том, что Бог, да святится имя Его, не только не разгневается на него за этот благомеренный поступок, наоборот, скорее всего, сочтет это за сугьоб³⁰. И Шими, воодушевленный этой мыслью, обращаясь к бедняку, таинственным голосом произнес сверху в отверстие на крыше:

— Я слушаю тебя, о Мое создание! Не бойся, говори, что ты хочешь от Меня, твоего Худо, всемогущего и всеблагого?!

— Ах, мой Худо! Слава Тебе во веки веков, аминь! Как я рад, что Ты наконец услышал голос раба Твоего! — задыхаясь от радостного волнения, громко воскликнул бедняк. — Сколько раз я отсюда зывал к Тебе, а Ты все не откликался на мой зов. И я, грешным делом, начал было думать: Ты уже ничего не видишь, ничего не слышишь и ничего не помнишь.

Бедняк на минуту умолк, чтобы немного справиться с волнением и перевести дух, а затем с печальной ноткой в голосе продолжил:

— Конечно, шутка ли сказать: годы-то у Тебя какие! Ведь когда Ты сотворил нашу грешную Землю и всю Вселенную, и тогда, надо полагать, был далеко не юношей. А с тех пор прошло много-много лет. Ты теперь, наверно, очень стар, мой Худо. И как всякий древний старик, больше дремлешь, чем бодрствуешь, и нет той бывлой всемогущей кара-

³⁰ Сугьоб — благодеяние, благочестивое и богоугодное дело.

ющей силы в деснице Твоей... И люди, грешные Твои создания, изменчивые, алчные и жестокосердные по природе своей, перестали бояться Тебя, слушаться Твоих священных заветов: не убий, не укради, возлюби ближнего своего... Поэтому в мире, созданном Тобой, царит полная неразбериха — одному достался плов, другому только аппетит, один с жиру бесится, не зная ни стыда, ни страха, творит зло, другой принижен, задавлен горем и нуждой, белый свет ему не мил...

Слушая излияния бедняка, Шими с беспокойством подумал, что им не будет конца и края, поэтому, прервав его, заметил с мягким укором:

— О Мое грешное создание! Веревка хороша длинная, а речь короткая. Чем считать Мои годы и колоть Мне глаза Моими “недостатками”, ты лучше скажи коротко: что тебе от Меня надо? Ведь работы у Меня непочатый край, почесаться некогда. Один этот иблис³¹ чего стоит: без конца шkodит, старается делать все Мне наперекор, совсем от рук отбился, окаянный!..

Бедняк согласно кивнул головой.

— Прости меня, о Худо, если я сказал что-нибудь лишнее, а может быть, и обидное для Тебя, — виновато произнес он. — Сказано же: “Голодный что попало ест, страдающий что попало говорит”... Я очень беден. Дома у меня куча детей. Сам знаешь: богачу везет на деньги, бедняку — на детей. И вот они, мои детки, сидят дома без куска хлеба, голодные, холодные, как осиротевшие птенчики в забытом гнезде. Я весь в долгах. Кредиторы грозят мне судом и расправой. Дети ноют — кушать просят. Жена как в трауре, не осушает глаз, плачет день и ночь. Прошу Тебя, сжался над рабом Твоим, дай мне денег, чтобы накормить голодных детей, расплатиться с моими безжалостными кредиторами, утешить горемычную жену.

Шими, услышав просьбу бедняка, почесал в затылке. Он не знал, что ответить ему. Сам он в то время жил в большой нужде.

— Не могу я тебе дать денег, у меня у самого в кармане ветер свистит, — забыв на какую-то минуту, что он Худо, и стыдясь своей беспомощности, извиняющимся тоном произнес Шими.

Бедняк, конечно, не поверил. Он решил, что Бог просто вздумал немного потешиться над ним, пошутить. А если сам Худо при всем Его величии и славе изволит шутки шутить, то это очень даже неплохо:

³¹ Иблис — дьявол.

видно, Он сейчас в хорошем настроении и, стало быть, дело его в шляпе. От этой мысли бедняк сразу повеселел и загорелся надеждой.

— Хе-хе, — скромно засмеялся бедняк, — Ты шутишь, конечно. Шути на здоровье, коли охота. Почему бы и нет! Даже мне, горемыке, когда у меня изредка бывает веселое настроение, хочется пошутить и спеть песенку, особенно если выпадает счастливый случай малость подвыпить и сытно поесть. А так веселое настроение всегда бывает у тех, у кого в кармане звенит монета, как праздничный колокольный звон на крыше армянского килисе³², и у кого денег куры не клюют.

Бедняк вдруг запнулся, вспомнив предупреждение Худо о веревке... От досады он сердито хлопнул себя рукой по лбу и виновато промолвил:

— Ай, Худо, пожалуйста, прости меня, грешного! Непослушный мой язык, чтоб он отсох, занес меня опять не туда, куда следует... А я хочу Тебе сказать: Ты все можешь. На то Ты и Худо, Царь Вселенной. Если Ты смог одним лишь словом своим “Да будет!..” из ничего сотворить Землю и небеса, солнце и звезды, растения и животных, моря и реки, что Тебе стоит сделать меня богатым? Для этого Тебе не надо даже пальцем шевелить, скажи только: “Да будет сей бедняк богатым” — и я вмиг стану таковым. И дело с концом!..

Слушая эти слова бедняка, Шими, при всем сочувствии к нему, его беде, чуть было не покатылся со смеху, но удержался.

— О Мое грешное создание, — произнес Шими, вновь обращаясь к нему. — Что Мне с тобой делать? В книге “Гэг-хисоб”³³, куда Я каждый раз перед Новым годом, пересчитав содержимое Своей казны, записываю: кому в этом году быть богатым, кому бедным, кому счастливым, кому несчастным, кто будет вознесен, а кто низвергнут, — для тебя Я не предусмотрел ни денег, ни счастья, ни славы. А сейчас, как ты знаешь, середина года, поэтому Я тебе ничем помочь не могу. Потерпи еще немного. На будущий год Я обязательно выполню твое желание.

Бедняк, услышав это, сразу сник, печально опустил голову, потом, медленно поднимая ее, сказал обреченно:

— О мой Худо, клянусь Тебе, терпеть у меня нет больше сил. Прощу Тебя, пришли Твоего ангела смерти Азраила, пусть возьмет мою душу — я не хочу жить...

“Богу” не понравились эти слова бедняка, и он стал журить его:

³² Килисе — церковь.

³³ Гэг-хисоб — счет-расчет.

— О ты, Мое грешное создание, Я не могу выполнить и это твоё желание, — произнес он. — В книге “Жон-дефдери”³⁴, которую Я тоже составляю в начале каждого года, записываю: сколько в Новый год родится, сколько погибнет, кто будет жить, кто умрет. А тебе Я в этом году смерть не назначил, поэтому отменить Свое решение и лишить тебя жизни раньше срока тоже не могу.

Бедняк на этот раз совсем пал духом и после долгого мучительного молчания произнес с отчаянием в голосе:

— О мой Худо! Коли Ты не можешь дать мне в этом году ни денег, ни смерти, то молю Тебя, яви Свою милость: до начала следующего года заведи меня к Себе. Мне страшно вернуться домой, к семье, страшнее, чем если бы неожиданно в темном переулке встретил меня на пути убийца с обнаженным кинжалом.

Шими, несмотря на свою молодость, в самом начале своего разговора с бедняком понял, что тот хоть и не глупый человек, но со странностями, у которого, можно сказать, не все дома. По всему видно, что бедняга твердо уверен в том, что разговаривает сейчас не с ним, неизвестным человеком, а с самим Богом, который при желании может запросто взять его живым и невредимым к Себе на небо.

Поэтому последняя просьба бедняка сначала повергла Шими в сильное замешательство. Но не прошло и минуты, как бедняк в ответ на свою просьбу услышал сверху бодрый, решительный голос “Всевышнего”:

— Это можно! Живо забирайся ко мне.

Бедняк невольно усмехнулся, стыдливо прикрыв рот.

— Неужто, о Худо, Ты из-за Своих преклонных лет в самом деле, как я, грешный, уже говорил, стал совсем забывчивым? — робко, с мягким укором произнес бедняк. — Я же не ангел с крыльями и не птица, как же я могу подняться к Тебе?..

Шими понял свою оплошность, но тут же быстро поправился.

— Я знаю, что у тебя нет крыльев, — поспешно произнес он, — поэтому Я сейчас спущу тебе веревку, а ты, Мое создание, крепко обвяжи себя вокруг пояса, и Я прямехонько подыму тебя на крышу... Ай, прости! Я хотел сказать — на седьмое небо. Это опять дьявол, пропади он пропадом, старается сбить Меня с толку, путается под ногами, окаянный...

³⁴ Жон-дефдери — Книга (тетрадь) о душах.

“Худо” печально вздохнул, но тут же бодро продолжил:

— А в награду за твои земные страдания Я помещу тебя в раю. А рай у Меня — чудесный сад, какого нет нигде на вашей грешной земле. Круглый год плодоносит. В раю у Меня текут реки из меда, молока и вина, пленительными голосами поют Мои ангелы. Поверь мне, самые ваши лучшие певцы и ашуги им в подметки не годятся. А сколько чернооких полногрудых райских дев в нем! И все, клянусь Своей бородой, такие красавицы — глаз не оторвешь. Я бы сам, — нескромно хихикнул Шими, то бишь “Худо”, — не будь таким старым, охотно приударил бы за ними. Их у тебя будет столько, сколько у турецкого султана Абдул-Гамида³⁵ и сколько у Моего любимца царя Соломона Премудрого. Ешь, пей, кейфуй за Мое почтение!..

Сказав все это, Шими быстро развязал веревку, которую он всегда носил с собой в расчете на то, что кому-нибудь может понадобится его услуга: отнести ношу, перетаскать тяжести, — и немного заработать на этом деле. Один конец веревки он опустил через отверстие вниз, а другой крепко держал в руке.

Поступая таким образом, Шими решил поднять бедняка к себе на крышу, а потом чистосердечно открыться ему и вдвоем подумать, как подсобить его горю. Хотя веревка была, как и латаные-перелатанные штаны на Шими, старой, со множеством узлов на оборвавшихся и перетершихся местах, но он был уверен, что с ее помощью без всякого риска для жизни и здоровья бедняка сможет поднять его на крышу, поскольку тот был такой худуший, почти невесомый, что, казалось, взмахни он руками, как крыльями, сразу взлетит. Но к большому огорчению Шими, все вышло не так, как он рассчитывал. Едва голова бедняка в облезлой папaxe, в мыслях уже видевшего себя в раю, коснулась края отверстия на крыше, как вдруг веревка оборвалась и несчастный с диким воплем полетел вниз. Шими испугался не на шутку: как бы бедняк после такого падения и впрямь не отправился в “рай”. Видя, что он жив, Шими очень обрадовался и решил вину за этот свой невольный промах взвалить все на того же дьявола.

— О Мое создание! — с горячим сочувствием воскликнул сверху “Худо”. — Я, честное слово, не хотел этого. Это дьявол, будь он трижды проклят, помешал Мне исполнить твое и Мое желание — забрать

³⁵ Султан Абдул-Гамид II (1842-1918) — предпоследний турецкий султан; имел в своем гареме тысячу жен. Столько же жен, по библейскому преданию, имел иудейский царь Соломон (Сулейман).

тебя к Себе на седьмое небо... Но ты крепись, старайся не падать духом, а Я обязательно выполню Свое обещание — дам тебе денег на следующий год.

Бедняк то ли догадался наконец, что кто-то над ним нехорошо подшутил, то ли, будучи действительно малость тронутым, все еще продолжал верить в то, что имеет дело с самим Богом. Злой и мрачный, он молча поднялся и неторопливо отряхнулся. Затем, осторожно потирая ушибленное место ниже пояса, голосом, полным обиды, горечи, разочарования и упрека, сказал:

— Ну тебя!.. Тоже мне Худо, “всемогущий и всеблагий”! Какой же ты всемогущий, если не можешь у себя под носом справиться с одним дьяволом, и какой ты всеблагий, если, кроме здорового синяка на заднем месте, ничего не можешь дать голодному бедняку?!

Как Шими испытал своего сына



Как-то Шими косил траву в колхозном саду. Его сын, подросток, которого он взял с собой, в это время, взобравшись на высокое черешневое дерево, лакомился спелыми ягодами. Вдруг Шими услышал душераздирающий крик мальчика. Он сразу понял, что сын упал с дерева и, наверное, разбился.

Шими в сильном волнении, бросив косу, быстро прибежал на место происшествия. Увидев распластанного на земле мальчика, Шими от потрясения и горя чуть не лишился рассудка. Он распахнул ворот своего бешмета и, подняв голову вверх, со слезами на глазах и отчаянной мольбой на устах, трижды обошел вокруг лежащего в бесчувствии сына.

— О мой Худо! — громко воскликнул Шими. — Прошу Тебя, возьми мою душу, но спаси моего сына: пусть я буду жертвой за него³⁶.

Вскоре, к бесконечной радости отца, мальчик очнулся, пришел в себя, но стонал и плакал от боли и обиды. Шими осторожно поднял его и взвалил себе на спину, решив, что больному будет легче, если он понесет его на себе, чем будет везти на осле.

Всю дорогу до дому, несмотря на жару и усталость, Шими утешал,

³⁶ Суеверные таты верили: если отец с такой мольбой трижды обойдет вокруг постели тяжело больного, умирающего сына, Бог исцелит больного, а вместо него он вскоре лишит жизни родителя.

подбадривал сына, говорил ему ласковые слова, чтобы вызвать у него улыбку и облегчить этим его страдания.

С тех пор прошло около семи лет. Теперь его сын, чтоб не сглазить, стал крепким, цветущим молодым человеком, выше отца и шире его в плечах.

И вот однажды случилось Шими с сыном работать в том же саду в период созревания черешни. Может, это случайное совпадение и навело отца на мысль испытать его.

Чтобы осуществить задуманное, Шими, нарочно отлучившись, направился к тому самому дереву, откуда некогда упал его сын. Он лег на спину под деревом и, раскинув руки в стороны, принялся истошным голосом кричать, призывая сына на помощь. Тот сразу прибежал на его крик и очень испугался, увидев стонущего отца с закрытыми глазами.

— Отец! Отец! Что с тобой? — в волнении спросил юноша.

Шими, с трудом открыв глаза, указал пальцем вверх на дерево.

— Хотел, сынок, немного полакомиться спелыми черешнями, но боком вышло мне это — упал с дерева. А-ах-ах!..

Сын осуждающе покачал головой.

— Э-эх, отец. Беда с тобой! Тебе ли в твоём возрасте лезть на дерево, как мальчишке-сорванцу?! — произнес он с укоризной, а затем, тяжело вздохнув, добавил: — Ладно уж, потерпи немного, посажу тебя на осла, повезу прямо в больницу.

— Ой, сынок, не надо! На осле не смогу, — жалобно взмолился Шими. — Я, видно, позвоночник себе повредил. Неси меня лучше на спине.

Юноше ничего другого не оставалось, как посадить отца себе на спину и двинуться в путь.

Дорога была длинная, Шими все время охал, стонал, а сын, тяжело дыша, угрюмо молчал, но покорно нес свою ношу.

— Сынок, ты бы или рассказал, или спел мне что-нибудь, чтобы отвлечь меня от мучительной боли, которую я сейчас испытываю, — попросил старик.

Сыну это очень не понравилось, больше того, крайне возмутило его.

— Да ты бы хоть помолчал, отец! — вскричал он. — Мало того, что я тащу тебя, как ишак, на своей спине, ты ещё хочешь, чтобы я развлекал тебя сказкой или песней!.. А может, ещё прикажешь для твоего удовольствия сплясать лезгинку посреди дороги? И придет же такая блажь тебе в голову!..

Шими тотчас велел сыну остановиться, сославшись на то, что ему уже хорошо, он выздоровел. Когда Шими опустился на землю, сын, отирая пот с лица, недоверчиво, но с тайным облегчением спросил:

— Хм, как это ты ни с того ни с сего вдруг выздоровел?

— Почему “ни с того ни с сего”? — пряча горькую усмешку, сказал Шими. — Ты сам, сынок, своим ответом вылечил меня лучше, чем любой врач... Спасибо тебе за это!

Как осел Шими отомстил своему хозяину за... критику



Как-то раз на закате солнца Шими верхом на своем ослике, с кальяном во рту возвращался с работы домой. Накануне прошел сильный дождь, на дороге местами блестели большие лужи. Шими был не в духе. Еще утром, отправляясь на работу, он поссорился с женой, а потом встреча с председателем колхоза окончательно испортила ему настроение. Дело в том, что на отчетно-выборном собрании, которое проводилось на прошлой неделе, Шими имел неосторожность подвергнуть его резкой, но справедливой критике. А сегодня вновь переизбранный председатель колхоза, человек мнительный и злопамятный, увидев его на работе, не только руки не подал, а прошел мимо, даже не поздоровавшись.

Сколько раз Шими давал себе зарок: держать свой непослушный язык на привязи, не вступать в пререкания с начальством, следовать известной поговорке: “Кто желает покоя, тот должен быть глухим, слепым и немым”. Но Шими ничего не мог поделать с собой, со своим беспокойным характером.

Усталый, погруженный в свои невеселые думы, Шими не заметил, как начал клевать носом. Его осел, воспользовавшись этим, потихоньку свернул с дороги, залез в лужу и, низко опустив голову, по примеру хозяина тоже задремал.

Когда Шими проснулся и увидел, что осел его стоит посреди лужи и непролазной грязи, то с криком пришпорил его. Но животное и ухом не повело, продолжая как ни в чем не бывало стоять в той же позе. Тогда Шими вышел из себя и начал всю поносить и ругать своего осла и весь его ослиный род на чем свет стоит.

— О распроклятый осел! — в сердцах воскликнул Шими! — Коли уж ты решил передохнуть и немного вздремнуть, почему ты для этого выбрал такое неподходящее место?.. Клянусь могилой своего отца, нет на свете животного глупее и безобразнее вашего брата. Не зря говорят: “Есть лекарство от всех болезней, кроме как от ослиной дурости”, “Если бы осел знал, что он осел, он бы себе брюхо распорол”, “Всевышний, на удивление и на смех всему миру, наградил осла великим срамом и ничтожным умом”...

Когда Шими, все больше распаляясь, продолжал распекать свою скотину, перечисляя его действительные и мнимые пороки и недостатки, в это время под самый хвост беспечно дремавшего осла забрался овод и стал нестерпимо жалить его. Животное сразу встрепенулось, хвост тотчас же поднялся дыбом, напряжился, как у разъяренного льва в момент нападения на свою жертву. Задрав голову и оглашая округу неистовым ревом, осел начал бешено плясать на месте, то и дело высоко подбрасывая круп и бешено брыкаясь задними ногами. Перепуганный Шими сразу прикусил язык и, потеряв равновесие, тут же шлепнулся в лужу.

Весь перепачканный, Шими поднялся на ноги. Решив, что осел нарочно сбросил его, разозленный Шими, не найдя ничего подходящего под рукой, схватил свой кальян с длинным чубуком и принялся колотить им осла, сердито приговаривая:

— Да чтоб злые волки загрызли твою дурную голову, тварь несчастная!.. И тебе, проклятому, видно, не нравится, когда тебе говорят правду в глаза!

Шими в роли ревизора

то произошло в годы правления старого балагура, путаника и выдумщика Никиты Хрущева, прозванного в народе “Кукурузником” из-за его чрезмерной любви к кукурузе. Одной из мер, предпринятых им для уничтожения пережитков частнособственнической психологии у советских людей, которым он обещал не позже чем через пятнадцать-двадцать лет построить коммунизм, было запрещение на владение в городах и рабочих поселках на правах личной собственности коровами, козами и прочей скотиной, а в

сельских местностях строгое ограничение их количества согласно уставу, принятому каждым колхозом.

И вот однажды в правление колхоза поступил сигнал о том, что один из колхозников, по имени Келе, в нарушение устава артели держит двух коров вместо одной, четырнадцать баранов вместо семи и, вообще, раздувает личное хозяйство в ущерб общественному. Проверить этот сигнал правление колхоза поручило члену ревизионной комиссии, старейшему колхознику Шими Дербенди.

Шими явился к Келе вечером, когда, по его расчетам, всех четырнадцать овец и двух его коров можно будет застать на месте. Но хитрый Келе, догадавшись о причине неожиданного визита колхозного ревизора, прежде чем провести его в хлев и показать наличие скота, уговорами и лестью затащил его к себе домой.

— У меня дома накрыт стол. Хотя мы с тобой, дядя Шими, не близкие друзья, но ведь и не враги, — сказал он. — Прошу тебя, не нарушай наш добрый обычай, не пренебрегай моим хлебом-солью. А животные, клянусь твоей почтенной бородой, пока мы поужинаем, никуда не денутся.

И чтобы у Шими на этот счет не оставалось никаких сомнений, он даже вручил ему ключи от хлева.

Шими после некоторого колебания, положив в карман ключи, принял приглашение.

Как только хозяин и гость сели за стол, Келе налил ему и себе по полному рогу вина и провозгласил тост в его честь.

— Дядя Шими! — встав с места и почтительно приложив руку к груди, торжественно воскликнул хозяин дома. — Я очень рад и безмерно счастлив видеть тебя, всеми уважаемого и почитаемого аксакала, в своем доме. Для меня это большая честь. Пью за твое здоровье!..

Расточая лесть и похвалу в адрес гостя, расчетливый Келе, не давая Шими передышки, подносил ему один полный рог за другим, пока старик окончательно не опьянел.

— Слушай, Келе, пощади, я больше не могу, — еле ворочая языком, взмолился наконец Шими, выставляя вперед, как щит, свою ладонь перед очередным рогом с вином, который протягивал ему хозяин. — У меня, будь я неладен, уже двоится в глазах. Вместо одного тебя вижу сразу двоих. И я не знаю, который из вас настоящий хозяин дома, а кто двойник его...

А Келе только этого и добивался. Поддерживая под руку шата-

ющегося гостя, Келе провел его в хлев и зажег свет. Шими, еле держась на ногах, принялся считать вслух заплетающимся языком находящихся в хлеву животных и насчитал четырнадцать баранов и двух коров.

На следующий день Шими с больной головой после вчерашней попойки пришел в колхозную контору, доложил председателю о том, что на месте проверил количество скота, имеющегося в личной собственности колхозника Келе, насчитал четырнадцать овец и двух коров, как было указано в письме на имя правления колхоза.

Потом Шими, печально вздохнув, виновато добавил:

— Только чур! За точность этой цифры я не ручаюсь.

— Как это так — не ручаетесь? — удивился председатель. — Вы же сами говорите, что были, видели своими глазами, подсчитали...

— Да, все это так, — согласился Шими, — видел своими глазами, подсчитал. Но дело в том, что вино, которым так усердно потчевал меня гостеприимный и сладкоречивый Келе-хилле³⁷, так сильно подействовало на мои старые мозги, что я под конец вместо одного Келе видел перед собой сразу двух. Возможно, что и при подсчете тоже я одну баранью морду принимал за две, как и плутовскую физиономию хозяина, разрази его!..

Человек-загадка



днажды в летний жаркий день Шими вместе со своими товарищами, такими же седобородыми стариками, сидел в прохладной тени раскидистой чинары и вел непринужденную беседу. Кто-то из них, вспомнив про памятное для многих жителей нашей республики землетрясение, спросил его:

— Ай, Шими, как ты думаешь: а правду ли говорят некоторые, что землетрясение посылает Бог, как наказание за грехи людей?

Шими подумал немного, а потом твердо сказал:

— Нет, по-моему, Бог тут ни при чем. — Затем, немного помолчав, добавил: — Я знаю одного большого грешника, которому никакое землетрясение не страшно. Если бы Бог послал его как наказание за грехи, то этот человек должен был пострадать в первую очередь. А ему и во время землетрясения было все нипочем.

³⁷ Хилле — плут, пройдоха, коварный.

Старики, заинтригованные словами Шими, наострили уши, ожидая, что он скажет дальше.

— Во время этого землетрясения, — продолжал Шими, — я как раз находился в гостях у своего давнишнего кунака³⁸ в одном небольшом поселке, сильно пострадавшем от стихийного бедствия. Великолепный дом этого грешника, о котором я говорю, представьте себе, не дал ни одной трещины, тогда как стоящие рядом дома, в том числе и дом моего дорогого друга, получили сильное повреждение или разрушились совсем.

— А что у него дом заколдованный? — недоверчиво спросил его другой старик.

— Ну, не заколдованный, но... особенный, — пояснил Шими. — Он его построил на мощных стальных каркасах, специально изготовленных по его заказу на заводе. Пусть земля ходит ходуном, а особняк его будет стоять, как стоял, целый и невредимый. Да и он сам, должен сказать вам, друзья мои любезные, тоже какой-то особенный, прямо, что называется, человек-загадка.

— Хе! А может, еще скажешь, минежиб³⁹?! — перебив Шими, иронически заметил тот же старик, недоверчиво усмехаясь в бороду.

— Хотя и не волшебник, — возражая ему, серьезно произнес Шими, — но, живя “на одну зарплату”, он ухитрился отгрохать великолепный собственный дом, да еще купил себе машину — раз, сыну-студенту — два, дочери-невесте — три, любовнице-красавице — четыре. Обстановка у него, как у турецкого паши. Жена вся горит в бриллиантах. А кое-кто даже восхищается им, говорит о нем: вот, дескать, мужчина-джигит, умеет жить!..

Изумленные старики начали возмущаться, заговорили наперебой:

— Какой он мужчина-джигит, порази его гром! Наверное, ворказнокрад! И никакой загадки-магадки⁴⁰ тут нет!..

— Или бессовестный торговец левым товаром, как его... “дафиситом”!

— А может, взяточник-вымогатель. Да чтоб он провалился!

А один из стариков, с трясущейся головой, недавно проходивший курс лечения в психиатрической больнице, крайне взволнованный рас-

³⁸ Кунак — гость. У кавказских горцев — лицо, связанное с кем-либо обязательством взаимной дружбы, защиты, гостеприимства; друг, приятель.

³⁹ Минежиб (или тилисимчи) — волшебник.

⁴⁰ Загадки-магадки — игра слов.

сказом, вдруг схватил Шими за ворот его бешмета и, тряся изо всей силы, закричал так истошно, точно на него среди бела дня напали вооруженные грабители:

— Ай, Шими, скажи мне: почему наши законы лежат на печи?! Почему милиция не схватит его?!

Все присутствующие в один голос поддержали товарища.

Шими с трудом оторвал от себя руки соседа, вцепившиеся в него как клещи, обвел всех недовольным, сердитым взглядом, а потом сказал:

— Астапирулла⁴¹! Какой вы, однако, бестолковый народ, старики! Ведь я только что сказал вам: этого человека даже землетрясение не берет, а что может с ним сделать милиция? Ну и на-а-арод!..

Шими и великий Фирдоуси



ак-то раз в руки Шими попала красиво оформленная книга с произведениями великих средневековых персидско-таджикских поэтов. С грехом пополам прочтя их, Шими сразу загорелся желанием попробовать написать стихи. Но прежде чем призвать Музу с горы Олимп, Шими решил вызвать из кухни свою покорную половинку, где она раскатывала тесто для хинкала, и посоветоваться с ней.

— Знаешь, гәри, язык фарси и наш родной татский родственны между собой, — начал Шими издали и в подтверждение своих слов добавил: — Вот, к примеру, когда иранцы или таджики говорят: “Занро муяш дураз, аглаш кутах”⁴², мы эту мудрую поговорку воспринимаем и произносим почти так же, как они.

— Ну и что из этого? — обиженно произнесла жена, которая в душе считала себя намного умнее своего странного, чудаковатого мужа.

Но Шими, сделав вид, что не заметил ее недовольства, продолжал:

— Вот послушай. Великий Фирдоуси, как пишется в книге, с которой я только что ознакомился, оказывается, тысячу лет назад создал

⁴¹ Астапирулла — в данном случае выражение крайней степени недовольства, удивления.

⁴² “У женщин волос долог, да ум короток” (фарси).

свой знаменитый дастан⁴³, а он, представь себе, до сих пор жив, вернее, сам Фирдоуси умер почти тысячу лет назад, но его доброе имя, стихи живут и поныне. Вот я сижу и думаю: если сей благословенный шаир⁴⁴ на своем фарси создал чудесное ожерелье из драгоценных камней, которым до сих пор восхищается мир, то неужели я, твой верный муж, не смогу на своем татском языке создать что-нибудь наподобие такого же ожерелья хотя бы из обыкновенного серебра?

— Ай, муж, — сказала жена, — не знаю, о ком ты говоришь, но я прошу тебя, не делай глупости, не твоего ума это дело. Поэтом надо родиться: “Подающий надежду птенчик и в яйце поет”⁴⁵. Если ты дожил до старости и не написал ни строчки, как же ты можешь вдруг стать поэтом?

Но Шими был непреклонен.

— Ты не права, жена, — вежливо возразил он супруге. — Неважно, что я за все свои годы не написал ни одной строки, а важно другое. Слово “ашуг”, сама знаешь, на нашем языке означает и “поэт”, и “влюбленный”. А любовь может нагрянуть к человеку любого возраста. Вот недавно в колхозном клубе какой-то лектор, дай бог ему долгие годы, читал нам, аксакалам (из молодых почему-то никого не было), лекцию “О любви и браке”. Хотя лектор был красноречив, как соловей, половина зала постыдно дремала. Но сейчас не об этом речь. Из всего того, что рассказал нам, старикам, лектор, мне особенно понравилось и больше всего запомнилось, когда он, ссылаясь на какого-то тоже знаменитого поэта, сказал: “Любви все возрасты покорны”. Учти: все возрасты! Теперь, жена, наберись немного терпения и послушай дальше. Из того, что сказал лектор, вернее, поэт, на которого он ссылался, можно заключить, что, начиная с моего годовалого внука-сосунка и кончая мной, старым дедом, каждый из нас может любить и быть влюбленным, а стало быть, и ашугом, поэтом.

Шими еще что-то собирался сказать в пользу своего довода, но, заметив на лице жены откровенную насмешку и явное нетерпение, сразу вспылал.

— Клянусь Богом, не зря блаженной памяти наши деды и прадеды говаривали: “Чем с женой советоваться, лучше положи папаху перед собой и советуйся с ней”, — закричал Шими на жену. — Иди, по-

⁴³ *Дастан* — поэма, сборник поэтических произведений.

⁴⁴ *Шаир* — поэт.

⁴⁵ Пословица.

жалуйста, на кухню и занимайся своей стряпней, а больше, я вижу, ты ни на что не годна.

Отослав жену и немного успокоившись, Шими уселся за стол, за которым его старший внук обычно готовил уроки. Водрузив на нос очки, взяв ручку и тетрадь, он принялся строчить. И как следовало ожидать, стихи получились бестолковые, что называется, курам на смех. Хотя Шими в душе сознавал это, однако назло своей старухе решил во что бы то ни стало добиться признания своего “таланта”. Для этого он, подхватив тетрадь со своей писаниной, уже собирался было пойти к своим друзьям-старикам, чтобы прочесть им свои стихи, когда к нему неожиданно заявились гости — главный винодел колхоза, пожилой грузный мужчина с красным лицом и крупным сине-фиолетовым носом, и ветеринар, молодой человек с красивыми, спокойными, круглыми телячьими глазами. Оба они возвращались со свадьбы, были навеселе, но по дороге решили заглянуть к старине Шими.

Их приход был весьма кстати. Шими усадил гостей за стол, а жене велел поскорее подать горячий хинкал и поставить бутылку водки.

Как только гости опорожнили содержимое бутылки и еще больше опьянели, Шими решил, что теперь в самый раз познакомить их со своими виршами.

— О-о-о! Оч-чень хо-рошие стихи, дядя Шими, — похвалил винодел, обладатель сине-фиолетового носа. — В них есть аромат муската, бархатистость кагора, медовый привкус ликера и, что безусловно, прозрачность наших прославленных дербентских коньяков. Вы, дядя Шими, истинный талант.

— Я скажу больше, — ерзая на месте, проговорил ветеринар с красивыми телячьими глазами. — В ваших стихах, дядя Шими, мне слышится бойкая перекличка петухов на рассвете, любовный призыв молодой кобылицы в разгаре весны среди зеленого луга, дружное блеяние сытых овец, возвращающихся к вечеру с тучных пастбищ в свои кошары... Вас, дядя Шими, мало назвать талантом. Вы — украшение и гордость нашего маленького народа, отец нашей, так сказать, пу-э-э-зии.

Гордый и польщенный похвалой гостей, Шими весело крикнул жене:

— Ай, жена, подавай дорогим гостям вторую бутылку!

Когда гости распили ее, они опять заговорили о стихах Шими.

— Я, знаете, получил огромное удовольствие от ваших стихов, —

произнес заплетающимся языком Сине-Фиолетовый Нос. — Они действуют на человека опьяняюще, как старое вино многолетней выдержки. Вы, дядя Шими, просто чудо! Машаллах⁴⁶! Машаллах!

С места вскочил Красивые Телячьи Глаза. Приложив руку к сердцу, он почтительно отвесил хозяину дома глубокий поклон, точно падишаху, и, размахивая рукой высоко над головой, воскликнул:

— Я скажу больше! Как принято считать орла царем пернатых, так вы, дядя Шими, царь нашей пуэ-э-зи-и!

— Ай, жена, подавай третью бутылку! — крикнул торжествующий Шими, гордо подбоченясь перед своей старухой: мол, знай наших!

Когда была распита третья бутылка, гости опять вернулись к главной теме своего разговора.

— Ни-и-ничего подобного я не читал и не-е слышал, — еле бормотал Сине-Фиолетовый Нос, почти засыпая. — Все наши поэты вместе взятые не стоят и твоего мизинца. Вы, дядя Шими, одновременно и солнце, и Эльбрус нашей поэзии. Еще и еще раз: ма-а-шал-лах!..

Как только Сине-Фиолетовый Нос умолк и, уронив голову на широкую грудь, тут же захрапел, Красивые Телячьи Глаза, резко отодвинув стул, упал на колени перед Шими и начал отбивать ему земные поклоны, как божеству.

— Я скажу больше! — нечленораздельно, почти с мычанием произнес он. — Царь, дядя Шими, вам и в подметки не годится. Вы бог, бог нашей пу-э-э-зии. Вы заслуживаете того, чтобы вам пели осанну!..

Удивленная, но вместе с тем обрадованная успехом мужа, жена, на этот раз не дожидаясь, пока он позовет ее, сама подошла к нему.

— Может, подать четвертую дорогим гостям? — ласково шепнула она ему в ухо.

Шими, пряча хитрую улыбку в бороду и насмешливо косясь на встелку пьяных гостей, тихо сказал жене:

— Ай, гэри, клянусь душой твоего покойного отца, вряд ли сам великий Фирдоуси, о котором я тебе говорил, слышал в свой адрес такие восторженные похвалы, какие я сейчас слышал от них. Поэтому хватит, зачем зря переводить бутылку?

⁴⁶ Машаллах — выражение чувства восхищения.

Чтобы плакать, тоже нужно настроение...

 семье Шими случилась несчастье — умерла его старая теща. Жена, убитая горем, безутешно плакала, рвала на себе волосы, а сам Шими вел себя очень спокойно, не расстраивался, не проронил ни слезинки, словно ничего и не случилось, и, как жена ни была поглощена своим горем, это не ускользнуло от ее внимания. И она затаила обиду на мужа. Едва дождавшись конца траура, жена сказала Шими:

— Ай, муж, какой ты бессовестный и бессердечный человек! Когда моя бедная мама умерла, ты не горевал, не плакал, даже слезинки не проронил. А ведь она была теща тебе, бабушка твоих детей. Так стыдно мне за твое поведение не только перед моими родными, но и перед соседями и близкими знакомыми, что хоть сквозь землю провались.

Шими начал оправдываться.

— Ай, жена, клянусь прахом твоего отца, ты зря на меня обижаешься, — миролюбиво произнес Шими. — Ты знаешь, чтобы плакать, тоже нужно настроение: или очень плохое, или очень хорошее, можно сказать, восторженное, то есть я хочу сказать, что человек плачет или от чрезмерного горя, или от чрезмерной радости. А я в тот день, когда умерла твоя мать, то есть моя бедная теща, бабушка моих детей, не испытывал ни большого горя, ни большой радости. Кроме того, как ты знаешь, я был занят более важным делом — подготовкой похорон твоей матери, и у меня просто не было времени для этого.

Но жена нашла доводы мужа не только неубедительными, а восприняла их как насмешку. После этого разговора она, еще больше обозлившись на мужа, стала все время ворчать на него, портить ему настроение. И Шими не знал, как искупить свою вину, чтобы жена перестала пилить его. И такой случай представился.

Спустя год Шими, чтобы сделать жене приятное, решил отметить ее день рождения. Он не скупился на расходы и подарки жене. Пригласил в гости всех ее родственников, соседей и близких знакомых, которые почтили память его покойной тещи своим присутствием на ее похоронах. Жена была очень довольна и рада, зато у Шими на душе кошки скребли, оттого что слишком много денег пришлось ухлопать, чтобы “замазать” ей рот. Но он старался не подавать виду.

В самый разгар веселья, когда все ели-пили за здоровье именинницы, Шими не выдержал — он вдруг встал, сорвал с головы папаху и, прикрыв ею лицо, принялся плакать навзрыд. Гости восприняли это по-своему и сразу умолкли. Они решили, что Шими, выпив лишку, совсем, видимо, расчувствовался, слушая много добрых слов и пожеланий в адрес именинницы — своей дражайшей половинки. Поэтому мужчины начали добродушно подтрунивать над ним, а растроганные женщины — всячески хвалить хозяина дома. Но Шими, слушая их и продолжая плакать, убрал папаху от лица и, бия себя в грудь, произнес прерывающимся голосом:

— Нет, мои дорогие гости, любезные мои, я плачу не из-за того, о чем вы сейчас говорите и думаете, нет, а по своей... покойной теще, бабушке моих детей, мир ее праху...

Гости, пораженные таким признанием Шими, пожимая плечами, с недоумением переглядывались, как бы спрашивая друг у друга: не рехнулся ли он slučajем? Но Шими, не обращая на это внимания, то и дело вытирая папашой слезы, продолжал:

— Вы все, здесь сидящие, свидетели: год назад, когда скончалась моя бедная теща, — я в тот день не плакал. У меня тогда для этого не было ни времени, ни настроения. Поскольку сегодня у меня есть и достаточно времени, и самое подходящее настроение для этого, я, друзья мои, тяжко скорблю и, как видите, горько плачу по-поводу дня рождения... то есть смерти моей тещи, царство ей небесное...

Дружба наполовину с водой, наполовину с уксусом

осед Шими каждый раз, встречая его на улице, по поводу и без повода любил уверять Шими в своей неизменной дружбе к нему, подкрепляя свои слова известной поговоркой: “Близкие соседи лучше дальних родственников”. И вот однажды у соседа Шими корова отелилась раньше, чем у него. И Шими попросил соседа, чтобы он прислал ему кувшин молока для детей, а сам обещал тому кувшин отличного вина, изготовленного им из своего винограда.

Но Шими был неприятно поражен и расстроен, когда узнал, что

молоко, которое дал ему сосед, разбавлено водой. Ничего не сказав, Шими, захватив пустой кувшин, зашел в погреб. Он наполнил его наполовину вином, наполовину уксусом и велел сыну отнести его соседу.

На следующий день сосед, встретив Шими на улице, хватаясь руками за живот, бросился к нему с упреками:

— Ай, Шими, как тебе не стыдно?! Ведь ты обещал мне хорошее вино, а вместо этого подсунул уксус. Разве так поступают с соседом-другом?

Шими с грустью посмотрел на него, а потом промолвил:

— Ничего не поделаешь, сосед. Пока наша дружба будет только на словах, а не на деле, она будет наполовину с водой, наполовину с уксусом.

Шими на свадьбе

ими пригласили на свадьбу. Когда Шими явился туда, она была в полном разгаре. В просторном дворе с небольшим, хорошо ухоженным садиком за накрытыми столами сидели гости, ели, пили, веселились, а музыканты то и дело играли танцевальные мелодии. Каждый, кто танцевал, бросал музыкантам деньги — ай шабаш — на разноцветный поднос, лежащий перед ними на узком столике, по рублю, по два, а иные и по три — смотря по своему карману.

Спустя некоторое время, сверкая золотыми зубами и большим бриллиантовым кольцом на указательном пальце, в круг вышел пухлятый, краснощекий и лупоглазый человек ниже среднего роста, о котором говорили, что он работает где-то заготовителем шерсти; люди за глаза называли его “золотым мешком”. С видом человека, сознающего свою силу и превосходство, “золотой мешок” небрежно запустил руку в широкий карман штанов и извлек оттуда две новенькие хрустящие сторублевые купюры. Горделиво покрутив их над головой, чтобы все видели, толстяк, потряхивая грузным животом, не прерывая танца, подошел к музыкантам и с такой же небрежностью кинул их им на поднос: мол, такие деньги для него просто тьфу!

Щедрая подачка привела музыкантов в дикий восторг. Бубнист от переполнявшей его радости и почтения к танцору даже вскочил с места

и, преданно пожирая толстяка глазами, принялся играть ему стоя, стараясь изо всех сил.

Но когда заготовитель “золотого руна” покинул танцевальный майдан, никто из гостей, несмотря на все усилия серпои⁴⁷, не решался заказать музыкантам танец. Гости, в большинстве своем люди простые, были шокированы, словно стали вдруг свидетелями какого-то грубого и непристойного зрелища: многие из них за целый месяц честной, добросовестной работы за станком, в поле или в учреждении не получали столько, сколько этот “непойманный вор” с легким сердцем швырнул музыкантам за здорово живешь. То же самое испытал и старик Шими. Но через несколько минут он с обычным для него спокойствием и чувством собственного достоинства первый подозвал к себе серпои и заказал популярный танец “Харц”.

Шими встал, степенно оглаживая на ходу свои пышные усы и бороду, и вошел в танцевальный круг. А когда серпои вывел танцевать с ним молодую и очень миловидную женщину, он, словно забыв о своих годах, заплясал с таким живым темпераментом, что многие молодые могли бы ему позавидовать. Люди, бывшие на свадьбе, хорошо знавшие и любившие своего чудаковатого, но замечательного земляка — хитроумного Шими, снова воспрянув духом, сразу повеселели и принялись дружно хлопать в ладоши, подзадоривая танцующих. Перед тем как покинуть танцевальный круг, Шими сунул руку в карман и легкой, танцующей походкой подошел к музыкантам. Он на минуту остановился перед бубнистом и не спеша вынул из кармана монету в двадцать копеек. Послунявив монету, Шими торжественно прилепил ее ко лбу бубниста, как это полагалось делать танцору по старинному, но уже вышедшему из моды обычаю. Заметив на постной физиономии музыканта выражение досады и откровенного недовольства, Шими нагнулся над его ухом, вроде собираясь сказать ему что-то по секрету.

— Ты, сынок, не обижайся на меня, старика, — произнес он нарочито громко, чтобы все услышали, и, указывая пальцем в сторону толстяка заготовителя, добавил: — Не обижайся, что я пожертвовал вам не такой жирный ай шабаш, как тот толстопузый, но зато у меня деньги, клянусь Богом, в отличие от его до единой копейки честно заработанные, трудовые...

⁴⁷ *Серпои* — распорядитель танцев на свадьбе.

“Похвальное” слово взяточнику



Внучка Шими, в добрый час, окончила среднюю школу и хотела поступить в институт, но не прошла по конкурсу. Девушка как большое горе переживала свою неудачу, ходила как потерянная. Чтобы вывести ее из такого состояния, вернуть душевное равновесие, решили по совету Шими устроить девушку на работу: на людях, мол, и горе не горе.

На другой день отец девушки пришел в швейную мастерскую, где работали одни женщины. Директор, рано облысевший мужчина лет сорока с аккуратно подстриженной густой смолистой бородкой и строгим начальственным взглядом, едва выслушав просьбу посетителя, энергично pokrutil головой и сердито воскликнул:

— Нет-нет, не могу взять вашу дочь на работу! У меня и так людей больше, чем полагается... Не могу — и все!

Сказав это, он, как будто тут же забыв о просителе, погрузился в чтение каких-то бумаг, лежавших перед ним на рабочем столе.

Обескураженный и расстроенный категорическим отказом, отец девушки с минуту постоял в раздумье, с тоской и обидой глядя на гладкую, как полированная доска, лысину директора, не зная, что делать. Потом, медленно запустив руку в карман и также медленно, страдальчески морщась и напрягаясь, точно вытаскивая что-то непомерно тяжелое и не совсем безопасное, вынул... сторублевую ассигнацию и нерешительно положил на край стола. И, тут же стыдливо закрыв сотню широкой ладонью, начал робко и осторожно, весь покрывшись испариной, придвигать ее все ближе и ближе к директору, с волнением и тревогой думая только об одном: как бы он, разрази его гром, не стал брыкаться, возмущаться, прогонять вон, а еще хуже — не вызвал милицию. Но у посетителя точно гора свалилась с плеч, когда он, к своей несказанной радости, увидел, что директор, мигом накрыв рукой сотню, точно кошка когтистой лапой пойманную мышку, тихо придвинул ее к себе и тут же быстро сунул в ящик.

Спустя месяца три после того, как внучка Шими была принята на работу, она познакомилась с хорошим парнем и дала согласие выйти за него замуж. Поскольку жених был из другого города, то по уговору родителей парня и девушки на второй же день после свадьбы она должна была уехать вместе с мужем по месту его жительства. Поэтому за день до свадьбы отец невесты опять пришел к директору. Теперь он просил

его, чтобы тот сегодня же освободил дочь от работы по семейным обстоятельствам и выдал ей трудовую книжку.

— Нет-нет, не могу, — покрутив головой, решительно произнес директор. — У меня сейчас на производстве не хватает рабочих рук, срывается план. Мы только что обучили вашу дочь специальности, приставили к делу, а вы — увольняйте, да еще требуете, чтобы я ей выписал трудовую книжку, когда она у нас работает без году неделя. Одним словом — не могу.

Как и во время своего первого посещения, отец девушки молча положил перед директором сотню, на этот раз без какого-либо опасения, и вопрос сразу разрешился к обоюдному удовлетворению.

Шими узнал обо всей этой истории, когда сын, довольный и торжествующий, вернулся домой с трудовой книжкой дочери, в которую рукой директора ей была записана благодарность “за ударный труд”.

— Почему ты с самого начала не устроил ее в другое место, а пошел, осел ты этакий, на поклон к этому вымогателю? — возмутился Шими.

— А что мне оставалось делать, если у меня не было другого выбора? — начал оправдываться отец девушки. — В другом месте за прием на такую же работу берут, говорят, не меньше трехсот. Еще спасибо скажи, что он взял с меня всего лишь сотню... А ты меня — “осел этакий”...

Шими, услышав это, промолчал, а потом, вроде бы соглашаясь с сыном, сказал примирительно:

— В таком случае, сынок, извини меня, старого глупца. Завтра пригласи своего директора на свадьбу как почетного гостя, а я, так и быть, обязательно скажу ему при всех “спасибо”.

На следующий день среди приглашенных на свадьбу на самом видном месте сидел директор. После первого традиционного тоста за здоровье молодоженов красноречивый тамада первым предоставил слово главе семьи — почтенному Шими Дербенди.

Сначала старик поблагодарил всех гостей за то, что они пришли на свадьбу его любимой внучки. Затем, обращаясь лично к директору, выразил ему особую благодарность за то, что в трудное для его внучки время он принял ее на работу, несмотря на то что в мастерской тогда не было лишних рабочих мест. А спустя три месяца после того, как она начала работать, опять-таки несмотря на то что на этот раз у него на производстве не хватало людей, он по просьбе отца невесты в тот же день уволил ее по семейным обстоятельствам, да еще выдал ей трудовую книжку с занесением в нее благодарности за ударный труд.

Веселые, празднично настроенные и после первого тоста слегка

охмелевшие гости начали дружно, с преувеличенным энтузиазмом кричать в один голос:

- Молодец, директор!
- Баракалла⁴⁸, директор!
- Чтобы ты сто лет жил, директор!

Польщенный словами почтенного Шими и единодушной похвалой присутствующих на свадьбе людей, довольный, сияющий директор встал с места и принялся раскланиваться перед гостями, как актер, с блеском исполнивший свою роль перед восторженными зрителями.

Шими подождал немного, пока утихли возгласы и аплодисменты в адрес директора, а потом, как бы выражая свое полное согласие с ними, добавил:

— Конечно, молодец, конечно, баракалла, если учесть то, что другой начальник за прием на такую же работу берет, оказывается, не меньше трехсот, а этот взял за устройство моей внучки всего лишь сто рублей и столько же — ни рубля больше — за увольнение...

После этих слов Шими в настроении гостей сразу произошла резкая перемена. Одни начали громко возмущаться поведением директора, другие визжали от смеха, третьи, потупив глаза, загадочно молчали.

У директора лицо и вся лысина, на которой заблестели крупные капли пота, вдруг стали пунцовыми. Он вновь вскочил с места и открыл рот, чтобы не то возразить Шими, не то протестовать, но так и не смог выговорить ни слова — язык онемел во рту.

Говорят, после “похвального” слова Шими директор по сей день так и ходит с открытым ртом: все пытается что-то сказать, но не может...

Петух-будильник

 езадолго до начала массовой уборки урожая в колхозных садах и на виноградниках Шими, чтобы вставать с рассветом, купил будильник. Но не прошло и недели, как он перестал работать. Шими не особенно огорчился, поскольку часы были с гарантией. Но, побывав на ремонте, часы вскоре опять забракли: стрелки на них то ползли с невероятной медлительностью, то бежали, точно резвый конь на ристалище. Поэтому они звонили и под-

⁴⁸ Баракалла (баркалла) — спасибо; выражение благодарности.

нимали Шими на ноги то слишком рано, среди ночи, то слишком поздно, когда люди давно на работе. Тогда вконец разозленный Шими, мысленно послав ко всем чертям и гарантийный лист, и часовщика-бракодела, решил купить новый будильник. Взяв у жены деньги, он вышел из дому. Но не прошло и часа, как Шими вернулся, держа под мышкой здорового огненно-красного петуха.

— Ай, муж, что ты за человек? Ходил за будильником, а купил петуха! — воскликнула удивленная жена. — Ты уж купил бы тогда курочку. Мясо у нее нежнее, вкуснее, а зачем нам петух?

Шими, услышав слова жены, недовольно нахмурился.

— О женщина, почему ты в петухе видишь только мясо для бульона или бугая для кур, а не видишь другие его природные качества? — произнес рассерженный Шими. — В далекую старину, если хочешь знать, когда еще и в помине не было часов, военачальники, говорят, отправляясь в поход со своими войсками, всегда брали с собой петуха. Привязав за ногу, они держали его в походной палатке возле своей подушки. Видно, они были не глупее, чем мы с тобой, коли поступали так?

— Ай, муж, горе на твою бестолковую голову! — в сердцах произнесла жена. — Я охотно верю, что они были намного умнее тебя, но скажи на милость, при чем тут древние военачальники и ты со своим злополучным петухом?

— Вот послушай, сейчас объясню, — наставительным тоном произнес Шими. — Когда мы будем держать этого петуха ночью у себя в комнате, сама убедишься, что лучшего будильника, чем петух, на свете нет. Он не нуждается ни в заводской гарантии, ни в ремонте таких недобросовестных мастеров-бракоделов, которые чинили наши часы. Притом петух своим громким криком точно возвещает, когда полночь, когда рассвет и когда утро. А ты еще говоришь: зачем нам петух?..

Осел на колодках



днажды Шими срочно понадобилась машина, чтобы отвезти в больницу беременную сноху, у которой раньше времени начались роды. И он обратился к соседу, у которого была своя машина.

— Ах, ах, какая досада! — с притворным сожалением вос-

кликнул сосед. — Я со вчерашнего дня машину поставил на колодки, произвожу ремонт, извини, пожалуйста, не могу!..

Шими-то видел, как сосед всего час назад с шиком въехал к себе во двор на машине, но промолчал и тут же побежал искать другую машину.

Случилось так, что спустя месяц сосед, у которого на этот раз машина действительно находилась на капитальном ремонте, попросил Шими “всего на часик” одолжить ему осла, чтобы перебросить на нем мешок муки из магазина домой.

Шими “с сожалением” покачал головой, а затем промолвил:

— Ах, ах, какая досада! Клянусь твоей головой, не только “на часик”, на целый день отдал бы своего осла в твоё полное распоряжение, но он у меня третий день стоит на колодках. Извини, дорогой сосед, не могу.

— Ай, Шими, не принимай меня за дурака! Осел не машина, его на колодки не ставят, чего ты ерунду городишь?

— Ай, сосед, как ты не понимаешь, — с невозмутимым видом произнес Шими, — когда хозяин не хочет одолжить своего осла, он может и его поставить на колодки, как ты в тот раз свою исправную машину...

Любовь и борода

(Первое письмо Шими автору)

ир тебе и здравие, сын мой! Пишет тебе твой старый друг Шими Дербенди. Должен тебе сказать, сын мой, хоть ты в своих хабарах обо мне (дай Бог, чтобы твоих ушей касались только добрые хабары) и величаешь меня “хитроумным”, но, как ты знаешь, сам я очень часто попадаю в такие скверные истории, что ни мой ум, ни моя хитрость, которой у иного ребенка больше, чем у меня, не помогают мне выбраться из них, как говорится, целым и невредимым. Со мной нередко случается как в известной поговорке: “Думаешь, поймал, амотришь — сам попался”.

Про свою новую беду, которая приключилась со мной, я, краснея от стыда, все же решил, будь что будет, поведать тебе. И вот почему.

Знаю (не в упрек тебе это говорю, сын мой, а в похвалу), стоит мне, Шими, где-нибудь чихнуть, тебе сразу об этом становится известно. А уж про эту скандальную историю: как я, извини, будучи сильно под мухой, пел любовную песню на поминках своего старого друга (мир праху

его) и как из-за этого (по правде сказать, не совсем из-за этого) рвали мне бороду — тебе наверняка уже рассказали. Но я не очень хотел бы, чтобы ты написал об этом в газетах и книгах. Не хочу на старости лет быть посмешищем в глазах твоих почтенных читателей (дай Бог им здоровья!), потерять их уважение. А для человека с намусом, сам знаешь, лучше лишиться жизни, нежели уважения добрых людей.

Но как это произошло, лучше меня самого, конечно, никто тебе не расскажет. Другой если и расскажет, то наверняка с пятого на десятое или смешает быль с небылицей, наврет тебе с три короба. Так вот, несколько дней назад я был на поминках своего друга (к добру будь помянут), с которым во времена нашей молодости мы батрачили на дербентских богачей — владельцев виноградников и рыбных промыслов, а потом многие годы работали в одном колхозе. Пришел я туда с некоторым опозданием, когда все гости уже сидели за накрытым столом, на котором было всего вдоволь. Они с божьей помощью, приступив к траурной трапезе, охотно пили и закусывали, громко и оживленно разговаривая между собой.

Соседом моим за столом, на беду мою, оказался сторож винзавода, известный в нашем городе выпивоха и пустомеля, одним словом, дурак. Вот где, дорогой друг, я на своем горьком опыте познал глубокую истину другой нашей поговорки: “Лучше с умным камни таскать, чем с дураком плов кушать”.

И вот, едва я уселся, как мой сосед, чтоб у него рука отсохла, сразу налил мне полный, как его... тилли⁴⁹ стакан захримана-водки и говорит мне заплетающимся языком:

— Дядя Шими, тебе полагается штрафное за то, что опоздал к трапезе. Если ты как надо чтить память покойного, то должен выпить этот стакан до дна.

Услышав это, я, конечно, сначала очень возмутился, хотел было как следует отчитать его: какое такое штрафное может быть на поминках, как будто здесь веселый пир или свадьба. Да и опоздал я, должен тебе сказать, не по своей вине. Перед тем как мне идти на поминки, жена хватилась нашей козы, а ее ни в хлеве, ни во дворе нет. И она, хорошо зная, куда я спешу, насильно отправила меня на поиски пропавшей скотины.

Когда ей, моей дражайшей супруге, взбредет что-нибудь на ум, ты хоть тресни, но возражать ей в это время так же без толку, как пытаться

⁴⁹ Тилли — граненый.

прошибить головой нашу дербентскую крепостную стену. Но если вместо ее любимой козы, пропади она пропадом, потерялся бы мой бедный осел, она и ухом бы не повела.

Но чтобы тебе долго не морочить голову, вернусь к моему соседу за траурной трапезой (чтоб собака его укусила). Я все же сдержал себя: чего, думаю, спорить с глупым человеком... И чтобы он не приставал ко мне, я, собравшись с духом, выпил этот захриман до дна. После этого, надо тебе сказать, я сразу опьянел, стал словно очумелый. Говорится же: “Кто пьет до дна, тот живет без ума”. А когда я уже был сильно под парами (может, под нажимом моего назойливого, как осенняя муха, соседа — разрази его гром вместе со мной — я опрокинул еще не один тилли стакан — не помню), к несказанной радости своей, я увидел... А ты не будешь смеяться надо мной, стариком?

Ну ладно, слушай, что произошло дальше. Когда я увидел в дверях старуху Сенем — свою первую любовь — и наши взгляды встретились, у меня сразу захватило дух, и все в голове и перед глазами перепуталось, перемешалось. Я сам себя перестал узнавать. Я сразу забыл, что мы оба старые, седые, что наши внуки и внучки, дай бог им счастья, ходят в женихах и невестах и что мы давно чужие друг другу... Э-эх, друг мой, если бы ты знал, как я любил эту Сенем!.. Но когда отец ее узнал, что я с согласия его дочери хочу послать илчи⁵⁰ сватать Сенем, он, говорят, точно ужаленный осой, вскричал: “За этого дуралея Шими? За этого пустого балагура, шута горохового?! Ни за что! Пусть даже не заикается!..” Но этот лукавый человек не захотел выдать за меня свою дочь-красавицу (чем нанес моему сердцу незаживающую рану) не потому, что я плохой и такой-разэ-такий. Все дело в том, что я был гол как сокол и не смог бы заплатить ему за дочь рэхь-пули⁵¹.

Да ты, по-моему, должен знать старую Сенем, о которой я говорю. Она у нас в городе славится как лучшая кейвони на свадьбах, а теперь, не рядом будь помянуто, и на поминках. Кроме того, если я не ошибаюсь, она приходится троюродной сестрой твоей почтенной теще... Да, кстати, сын мой, скажи, пожалуйста, она жива еще, твоя теща, или умерла? Если умерла — царство ей небесное (ничего не поделаешь, все мы смертны — так уж устроена жизнь); если жива, скажи: старина Шими низко кланяется ей.

⁵⁰ Илчи (илчигё) — сват, сваты, посол; большая дорога.

⁵¹ Рэхь-пули — калым (букв. выкуп за невесту).

Но вернусь к тому, что дальше приключилось со мной. И вот, после того как я увидел здесь эту самую Сенем, мне вдруг показалась, что я сейчас не на поминках своего друга, а на его свадьбе (да простит он мне мое невольное прегрешение). И что я опять, черт меня возьми, как когда-то, давным-давно, молод и влюблен, как соловей в весеннюю пору. И такое, знаешь, у меня блаженное состояние, чудесное настроение, будто я выпил здесь не это чертово зелье, а райский напиток — зем-зем, возвращающий человеку молодость и силу. А коли ты молод и влюблен и перед тобой стоит она, твоя любимая, и ты не на поминках, а на свадьбе своего друга, чего же тут не дать воли сердцу, которому тесно в груди?.. И я, широко раскинув руки в стороны, как птица крылья для полета, и пожирая Сенем глазами, запел во все свое хриплое горло песню одного из наших святых пророков, который любил песни, женщин и вино: “Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих... Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!.. Сильна, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее — стрелы огненные!..”

Я чувствовал себя как в чудесном сне, поэтому не помню, сын мой, сейчас, долго ли я пел эту песню, коротко ли. Но зато очень хорошо помню, как в самый разгар пения кто-то с возмущенным криком, точно злой жанавар⁵², набросился на меня и обеими руками вцепился в мою бороду.

— Да чтоб отсох твой поганый язык, греховодник и безбожник! — орал он вне себя, дергая изо всей силы меня за бороду. — Как можно, — говорит, — вместо того, чтобы скорбеть и читать святую молитву, петь на поминках песню, как все равно в кабаке, покарай тебя Бог!..

Это, оказывается, был муж старухи Сенем. Может, он был более трезвый, чем остальные, поэтому быстро спохватился: петь на поминках любовную песню, если даже она принадлежит самому пророку, не только стыдно, но и оскорбительно для памяти покойного (мир его праху). А может, кто знает, он просто приревновал меня к своей старухе? Поистине: “...люта, как преисподняя, ревность...”

Ты думаешь, на этом все кончилось? Куда там! Этот старый ревнивец, все больше распаляясь, так безжалостно рвал мою бороду, что я думал: вот-вот отдам богу душу. Поверишь ли, когда еще в мои молодые годы дербентский полицмейстер (чтоб ему пусто было на том свете) всыпал мне сто горячих по известному месту за то, что я непочтительно

⁵² Жанавар — дикий, кровожадный зверь.

отозвался о государе императоре (ты ведь, кажется, писал об этом случае), я, клянусь тебе, чтобы он не радовался, ни одного стога не издал. А тут, как ни стыдно признаться в этом, я взревел, как бык под ножом мясника. Если бы Сенем, спасибо ей, вовремя не подоспела на помощь, навсегда лишился бы ты своего друга или от моей бедной бороды ничего бы не осталось и я стал бы походить на кусе⁵³, о котором у нас говорят: “Лучше с утра встретить обезьяну, чем безбородого мужчину”.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел тебе написать.

Впрочем, знаешь, сын мой, так и быть: напиши обо всем, что я тебе рассказал. Хоть твои читатели и будут смеяться надо мной, как ты, наверное, сейчас смеешься, читая мое письмо (от этого никуда не денешься), но они, надо думать, все-таки меня поймут и, может, простят, потому что, положи руку на сердце, не один я виноват во всей этой некрасивой истории. А что касается того, чтобы поминки по усопшему превратили в некую свадьбу, пир с разнообразным угощением и обильным возлиянием, с той лишь разницей, что здесь не поют, не пляшут, не чокаются, пьют без застольных тостов, то этого не было в обычаях наших отцов. Об этом нигде не написано в Священном писании. Поверь мне, старику, слова “коньяк”, “водка” вообще в нем не встретишь. Обычай этот, должен тебе сказать, введен у нас в последние годы с легкой руки тех, у кого карман туго набит шальными деньгами и кто с жиру бесится, а на остальных им, извини, начхать. Этот безобразный обычай не только тяжкий и разорительный для многих семей со скромным достатком, но и оскорбительный для памяти покойного. Человек навсегда, на веки вечные ушел из жизни, из мира, лежит в могиле, а тут выходит, что по этому случаю пируют...

И знаешь что? Мне кажется, тебе даже не надо особенно ломать голову, чтобы сочинить свой очередной хабар обо мне, то есть об этой истории. Возьми мое письмо, приложи немного руку — не мне тебя учить, — поправь чин чином, где сочтешь нужным, — и, как говорится, делу конец!

Да! Не забудь, пожалуйста, передать от меня, старого Шими, нижайший поклон твоей теще, если, конечно, она еще жива; если умерла — царство ей небесное.

Остаюсь твой преданный друг по гроб жизни

Шими Дербенди

⁵³ Кусе — безбородый мужчина.

Интересная идея



Однажды жена Шими захворала, и у нее начался сильный жар. Что бы ни предлагал ей обеспокоенный и встревоженный муж, она от всего отказывалась. — Не могу ничего есть, душа не принимает, — жалобно проговорила она. — Если бы ты принес мне арбуз с базара, я бы, наверно, поела, остудила бы жар, что мучает меня внутри.

— Не то что арбуз, клянусь прахом твоего отца, если потребуется, со дна моря тебе жемчужину достану, лишь бы ты поправилась, встала на ноги, — с готовностью отозвался сердобольный муж.

Через час Шими, обливаясь потом, уставший, но довольный, возвращался с базара, неся под мышками два здоровенных арбуза. Но когда Шими зашел к себе во двор, то, вдруг охваченный какой-то мыслью, остановился в раздумье прямо у порога своего дома.

— В народе говорят: “Как нельзя вместить две любви в одном сердце, так и невозможно удержать два арбуза на одной руке”. А что, если я проверю на деле, насколько верна эта народная мудрость? — принял-ся глубокомысленно рассуждать вслух Шими. — Правда, мне уже на склоне лет не удастся испытать, можно ли две любви вместить в одном сердце, но попробовать, можно ли два арбуза удержать в одной руке, я могу прямо сейчас, не переступая порога своего дома.

Едва Шими приступил к своему опыту, как оба арбуза, скатившись у него с руки, упали на землю и, точно пушечные ядра, с грохотом разбились у его ног, смешавшись с грязью и пылью.

Когда сконфуженный и расстроенный Шими робко вошел в комнату к больной жене, та, увидев его с пустыми руками, спросила:

— Ай, муж, где же твой обещанный арбуз? Неужели сейчас, в сезон арбузов, на базаре не было ни одного?..

Шими ничего не оставалось, как откровенно признаться жене в том, что произошло со злополучными арбузами, которые он купил для нее.

— Ой, горе мне с тобой нескончаемое! — простонала жена, чуть не плача. — Скажи, Бога ради: есть ли на свете дурнее тебя человек после этого?

Услышав такой упрек жены, Шими тоже рассердился.

— Ладно уж, я, допустим, такой, но и ты хороша, нечего сказать! —

напустился он на больную жену. — Надо же было тебе заболеть и жаж-
дать этого проклятого арбузного сока не раньше и не позже, а именно
в то самое время, когда мне в голову пришла такая интересная идея!..

Как однажды волки в лесу приняли Шими за осла



Шими, осуждая пьянство, не раз наставлял других: — Пьянство — зло, а пьяный сродни сумасшедшему. Он, может сам того не ведая, нести всякий вздор, а еще хуже — натворить такое, чего никогда бы не сделал, будучи трезвым. Да и с ним самим может произойти что угодно. Поэтому мой совет вам: держитесь подальше от греха — не употребляйте хмельного. Но если случится, что невозможно избежать этого, то знайте, где пьете, когда пьете, с кем пьете и сколько...

Но случилось так, что однажды вскоре после такого нравоучения Шими сам оказался сильно под мухой и, как рассказывают, потерял не только своего любимого осла, но и сам едва не распрощался с жизнью.

Как-то в разгар весны Шими по заданию своего бригадира отправился верхом на своем осле в лес, чтобы изготовить таркалы⁵⁴ для виноградных лоз, шесты и подпорки — для сторожевых шалашей.

Когда Шими подъехал к лесу, то на его опушке он встретил двух незнакомых молодых мужчин, которые только что приступили к трапезе. На разостланной перед ними маленькой скатерти стояла еще не початая бутылка не то с самогоном, не то с водкой, лежали хлеб и нехитрая закуска.

Поравнявшись с ними, Шими вежливо поздоровался и, пожелав им приятного аппетита, хотел было проехать дальше, но те сразу вскочили с места и начали уговаривать его оказать им честь разделить с ними хлеб-соль⁵⁵.

Шими благодарил, но всячески отнекивался, ссылаясь на неотложные дела. В конце концов, не желая показаться неучтивым, он уступил их настойчивым просьбам.

Незнакомцы посадили Шими как почетного гостя между собой и,

⁵⁴ Таркалы — опоры для поддержания растений.

⁵⁵ По обычаю приветствовать встречного должен тот, кто едет верхом.

“от чистого сердца” поднеся ему чарку, попросили его выпить “за знакомство”. После первой чарки сотрапезники показали Шими очень милыми и приятными людьми, поэтому, когда они предложили ему вторую, на этот раз “за дружбу”, он счел неудобным отказаться от такого тоста. После второго бокала быстро охмелевший Шими, потеряв над собой контроль, пил уже безотказно, сколько бы его ни угощали.

Когда Шими, горячо обнимаясь и целуясь, расставался со своими новоприобретенными друзьями, он едва держался на ногах.

Как только Шими въехал в лес, где царили покой и тишина, а воздух был напоен лесными ароматами, он, уронив голову на грудь, сразу погрузился в сон, издавая громкий храп. А новые “друзья” Шими, оказавшиеся просто пройдохами, только этого и ждали. Бесшумно подкравшись к нему, они осторожно подняли его вместе с седлом и так же осторожно посадили на лежавший вблизи толстый ствол поваленного грозой дерева, а животное увели с собой.

Через некоторое время Шими проснулся, но продолжал еще находиться под винными парами. Уверенный в том, что сидит на осле, он открыл глаза — и тут же обмер, увидев себя верхом на... стволе, лежащем на земле. Хмель сразу выскочил у него из головы, и он тотчас же кинулся искать своего вислоухого. Думая, что он бродит где-то неподалеку и если услышит ослиный рев, то сейчас же отзовется и прибежит, Шими, не жалея глотки, начал изо всех сил реветь по-ослиному.

В то время когда Шими, надрывая горло, оглашал лес “ослиным ревом”, стая голодных волков, рыскавших в поисках добычи, прибежала на этот зов и окружила Шими со всех сторон, лязгая зубами. Увидев себя в окружении хищников, Шими онемел от ужаса.

Неизвестно, чем бы все кончилось для Шими, если бы по счастливой случайности в это время не оказался поблизости охотник. Увидев попавшего в беду старика, он выстрелами из ружья разогнал зверей, а потом, обратившись к нему, спросил:

— Скажите, пожалуйста, это вы ревели здесь по-ослиному?

— Да, я, — нехотя признался Шими, пряча от стыда глаза и скорбно вздыхая.

— Честное слово, вы так естественно и неподдельно подражали ослиному реву, — подавляя смех, произнес охотник, — что не только волки, но и я, извините, грешным делом подумал, что это действительно ревет ишак...

— Э-эх, сынок, не надо извиняться, — с досадой на себя грустно

промолвил Шими, — не будь я, разрази меня гром, настоящим ослом, разве стал бы так бездумно пренебрегать добрым советом, который я сам давал другим, чтобы потом на весь лес реветь по-ослиному!..

Модная невеста

Вотсутствие старика Шими Дербенди для его младшего сына сосватали какую-то модную девушку. Шими еще ни разу не видел в лицо свою будущую сноху, поэтому в один из воскресных дней он через сына пригласил ее в гости. Невеста пришла не одна, а в сопровождении своего брата и родственника, таких же юных, как она сама. Узнав об их приходе, Шими в приятном волнении, захватив заранее приготовленный для невесты подарок — кольцо, поспешно вышел во двор, чтобы как глава семьи первым встретить ее, потцовски обнять, поздравить, а затем любезно пригласить в дом.

Но Шими с первого взгляда никак не мог различить, кто из пришедших молодых людей невеста, кто ее брат и кто родственник. Все они были одинаково причесаны, в мужских брюках и рубашках, с кулонами на шее, да и лицом, как показалось старику, были очень похожи друг на друга.

Шими долго стоял перед ними в полном недоумении и растерянности, силясь угадать, кто же все-таки из этих троих его невестка. Он даже сдвинул на затылок папаху и водрузил на нос очки, чтобы лучше разглядеть их и решить, кого из них признать своей будущей снохой и кому вручить кольцо. А молодые люди тем временем стояли в небрежных позах перед Шими и с насмешливыми улыбками смотрели на него.

Так и не сумев различить, кто из гостей парни, а кто девушка, вконец разозленный Шими безнадежно махнул рукой и, поглубже спрятав в карман подарок, не сходя с места, громко крикнул сыну, находившемуся в доме:

— Ай, сын, порази тебя гром вместе со мной! Какую головоломную загадку ты задал мне, старику! Откуда мне знать, кто из этих троих, чтоб они провалились, твоя невеста, кто ее брат, кто сват, если все они на одно лицо: с одинаковой лошадиной гривой, в одинаковой одежде и с одинаковой нахальной улыбкой на бесстыжих физиономиях! Не только я, валлах-биллах, сам шайтан их не разберет!..

Импортный осел



Осёл Шими Дербенди, как почти все его собраты, был с придурью. Может, поэтому на родном языке Шими слово “хэр” (“осел”) одновременно означает и “дурак”. А что касается осла Шими, то этот, как казалось его хозяину, дуростью и упрямством превзошел всех своих сородичей. Дикими причудами он нередко доводил бедного Шими до слез. Стоило его ослу одной ногой увязнуть в грязи — считай, пропало. Ты ему хоть кол на голове теши, хоть разорвись — все без толку. Скорее гору Шалбуздаг можно было сдвинуть с места, чем заставить упрямое животное шевельнуться. В таких случаях Шими ничего другого не оставалось, как слезать с осла, покорно опускаться на четвереньки, залезать ему под брюхо и, призывая на его шальную голову тысячи бед и напастей, кое-как вызволять из лужи.

А иной раз и того хуже. Вот едет Шими с кальяном во рту тихомирно на своем осле, не подозревая ничего худого. А его скотина, будь это за городом или посреди улицы на виду у всех, едва почуяв за версту другого осла, особенно ослиху, тут же срывается с места и пускается в бешеный галоп. Сотрясая воздух ликующим ревом, он мчится во весь опор, то и дело вскидывая вверх задние ноги, и сбрасывает с себя насмерть перепуганного хозяина.

Словом, не осел, а сущий дьявол, божье наказание!

Вконец измученный дикими выходками своего сумасбродного осла, Шими решил, пока по его милости он еще не сошел с ума и не свернул себе шею, распрощаться с ним.

Как раз в то самое утро, когда Шими собирался отвести его за город и отпустить на все четыре стороны (хоть волкам в зубы, лишь бы с глаз долой!), кто-то подсказал ему, что его сосед, работник плодоовощной базы, хочет купить себе осла для своих нужд. Отказавшись от первоначального намерения, Шими привел свою негодную скотину к соседу во двор. Но едва старик заикнулся о цели своего визита, как сосед, сердито косясь на Шими, с явным неудовольствием воскликнул:

— Нашел дурака! Твой сумасшедший осел мне так же нужен, как язва в печени!..

Однако категорический отказ соседа купить его осла не обескуражил Шими. Он не раз слышал, что сосед питает чрезмерную слабость ко все-

му импортному и что даже подштанники предпочитает носить только “заграничные”. И Шими, чтобы сплавить ему своего ишака, решил прибегнуть к хитрости. Он сказал, что его осел не отечественный, а импортный, которого он купил случайно у одного чудаковатого фиренги⁵⁶-туриста, приезжавшего в их древний город, чтобы посмотреть на его исторические достопримечательности. И тот будто бы приезжал не один, а со своим четвероногим другом, ослом, к которому был так привязан, что даже во время своего недолгого путешествия не хотел с ним расстаться. А продал он его потому, что ему вдруг до зарезу понадобились деньжишки, чтобы скорее унести ноги, так как любвеобильный фиренги, не выдержав испытания недолгой разлукой с женой, попал здесь в сети к одной очаровательной пройдохе, обобравшей простофилю до нитки. А то, что его осёл якобы с причудами, так это вовсе не причуды, а нрав у него такой — легкий, игривый, свойственный импортным ослам.

Короче говоря, Шими удалось задурить голову помешанному на всем импортном соседу и сплавить ему свою скотину.

И вот с тех пор все злоключения, которые прежде происходили с Шими, теперь происходят с его соседом. Бедняга, и раньше не отличавшийся крепким умом, став благодаря Шими владельцем “импортного” осла, говорят, совсем свихнулся. Когда земляки при встрече, жалея его, советуют ему расстаться как можно скорее со своей “безобразной скотиной”, тот каждый раз в ответ на их дружеские советы с бессмысленной улыбкой на осунувшемся лице ласково проводит по длинной, тупой и нахальной морде своего осла и, заливаясь тихим радостным смехом, заученно отвечает:

— Хе-хе-хе, знаете, хоть он у меня и безобразный, как вы говорите, зато не наш, а им-порт-ный!..

Соломоново решение



редседатель колхоза, в котором с первого дня его создания работал наш почтенный Шими, неожиданно заболел и по совету врачей поехал в санаторий поправить свое пошатнувшееся здоровье. На время его болезни колхозники на общем собрании возложили обязанности председателя на Шими.

⁵⁶ Фиренги — европеец.

Став за председателя, Шими первым делом решил разделаться с двумя его родственниками — племянником и шурином. Оба они работали бригадирами и, пользуясь тем, что председатель — их родственник, держались с людьми заносчиво, на собраниях часто затыкали рты всем, кто высказывал критические замечания в его адрес. Многие колхозники были недовольны ими. Но как ни старался Шими найти подходящий предлог, чтобы наказать их, устранить от бригадирства, а когда придет председатель — поставить его перед свершившимся фактом, это ему не удавалось. Но вскоре, к большому удовлетворению Шими, совсем неожиданно подвернулся, как ему показалось, весьма подходящий для этого случай.

В то время в городе вели кампанию против совбола⁵⁷ как вредного пережитка байско-феодалного времени, который иные предприимчивые люди превратили в своего рода средство для наживы. В расчете на “большой совбол” они с купеческим размахом играли пышные свадьбы для своих сыновей и дочерей. Нередко эти свадьбы устраивались в рабочие дни, на них приглашалось как можно больше народу. Об одной такой свадьбе накануне как раз был напечатан хлесткий фельетон в местной газете. Шими каким-то образом узнал, что оба родственника председателя были на этой свадьбе и дали большой совбол.

Не откладывая это дело в долгий ящик, Шими на следующий же день созвал внеочередное заседание правления и вызвал на него обоих бригадиров. Первым стали обсуждать племянника председателя, который особенно задира л нос перед колхозниками.

— Ты был на свадьбе, о которой писали в газете “филейтун”? — с плохо скрываемым торжеством спросил Шими.

— Был, а что?

— Совбол давал?

— Все давали, и я дал, а тебе какое дело?! — огрызнулся председательский племянник. — Не из твоего же кармана дал, а из своего!..

Шими довольно усмехнулся и, не обращая внимания на его грубый и заносчивый тон, спокойно сказал:

— Так-то оно так. Но ты же знаешь, что у нас ведется борьба против совбола как вредного пережитка. А ты, наоборот, поддерживаешь этот старый обычай. И как можно после этого держать тебя на долж-

⁵⁷ Совбол — денежный подарок, подношение на свадьбе родителям жениха или невесты.

ности руководителя и воспитателя целой бригады, если ты сам подаешь другим плохой пример?

И правление колхоза по предложению Шими единогласно решило: освободить председательского племянника от бригадирства за то, что он дал совбол.

Затем приступили к обсуждению вопроса о председательском шурина. Тот, быстро смекнув, в чем дело и чем все это пахнет, в отличие от родственника своего зятя не стал отрицать, что был на свадьбе, поскольку многие видели его там среди гостей. Но то, что он давал совбол, категорически отрицал, а доказать, что он говорит неправду, было очень трудно. И председательский шурина, уверенный в том, что оставил лукавого старика с носом, словно хвастаясь, продолжал:

— Если хотите знать, хозяину этой свадьбы я сто рублей должен. Он приносил их мне на свадьбу моей дочери как совбол. А я, будучи на свадьбе его сына, должен был по праву вернуть ему долг, но я этого не сделал.

— Почему? — вяло спросил Шими, поняв с огорчением, что на этот раз просчитался.

— Да чтобы потом не упрекнули и меня в том, что я поддерживаю этот, как вы здесь говорите, вредный пережиток.

Озадаченный Шими почесал затылок. Он чувствовал, что бригадир хитрит, дурачит его, в душе посмеивается над ним, над его бессилием разделаться с ним. И это обстоятельство еще больше злило, расстраивало его.

Молчали и другие члены правления, в душе уже решившие, что, хочешь не хочешь, придется отпустить нахала с миром.

Вдруг Шими, прервав общее молчание, встал и гневно стукнул кулаком по столу, так что все поневоле вздрогнули от неожиданности.

— Ах ты бесстыдник! Ах ты нахал! Нашел чем похвастаться! — накинулся он на председательского шурина. — Где же твой мужской накус, яхь⁵⁸?! Был на чужой свадьбе, ел-пил за троих — я же знаю, какой ты обжора и не дурак выпить, — и не вернул человеку, кто бы он ни был, его долг, присвоил чужие деньги?! И как же можно тебя после этого держать на должности руководителя и воспитателя целой бригады?!

Словом, по предложению Шими, председательского шурина тоже

⁵⁸ Яхь — честь.

наказали — освободили от бригадирства, но в отличие от председательского племянника с другой формулировкой: за то, что он не дал... совбол на свадьбе.

Как Шими оправдался перед женой



Как-то раз артисты местного театра решили поставить спектакль о похождениях своего чудаковатого, но любимого в народе земляка и назвали его “Похождения хитроумного Шими Дербенди”. На премьеру в качестве дорогих и почетных гостей они пригласили Шими с женой.

Ради такого торжественного случая Шими надел праздничный бешмет, новую папаху, нацепил на грудь свои медали, долго и старательно расчесывал и распушивал перед зеркалом усы и бороду.

Когда Шими пришел в театр, зал уже был полон. Самого Шими и его старуху посадили в первом ряду для приглашенных.

Шими был явно польщен тем, что о нем, простом человеке из народа, поставили пьесу и рядом с ним сидят почетные люди города. Однако, сохраняя степенность, старик старался ничем не выдать своего волнения и радости. Но это длилось недолго. Как только на сцене начали играть пьесу и Шими увидел “себя”, свою “жену”, “модную невестку”, “соседа”, помешанного на всем импортном, которому он сплавил своего “импортного” осла, едва не сведшего его с ума своими дикими выходками, “знакомых”, а публика стала от души смеяться и аплодировать, старик не смог усидеть спокойно. Поддавшись общему настроению, он резким движением двинул на затылок папаху, начал то и дело вскакивать с места, смеяться громче всех и, азартно хлопая в ладоши, издавать одобрительные возгласы и отпускать шутки в свой адрес:

— Ай да Шими!.. Бес тебе в ребро! Ай да черт!.. Машаллах! Перед последним актом артисты и публика, усердно хлопая, стали требовать Шими на сцену. Глубоко растроганный и радостно возбужденный, Шими поднялся на сцену. Он сначала почтительно поклонился залу, а потом от избытка чувств принялся с жаром обнимать и целовать подряд всех артистов и актрис. Когда последней он целовал “модную невесту”, папаху у него вдруг слетела с головы и упала на пол, что вызвало всеобщий веселый смех и новый взрыв аплодисментов.

Шими вернулся домой в тот вечер, точно со свадьбы, где вдоволь веселился, кейфовал с друзьями, но, войдя в комнату и увидев, что у его старухи мрачный и надутый вид, сразу насторожился.

— Ай, жена, ради твоих покойников, скажи, что опять с тобой стряслось? — спросил ее Шими.

— Ничего! — сердито ответила жена, демонстративно отворачиваясь от него.

— Как — ничего?! Я по твоему лицу вижу, что ты недовольна! Жена повернулась к нему и, глядя на него с обидой и укором, так же сердито сказала:

— Ай, муж, как тебе не стыдно?! Разве можно мужчине, да еще в твоих почтенных летах, подниматься на сцену и целовать чужих женщин? Ты собственную жену никогда не целуешь, а тут разошелся вовсю. Когда ты с жаром чмокал эту молодую артисточку, до того забылся, что даже папаху уронил на пол.

Шими, глядя на жену, тяжело вздохнул и с горечью подумал: будь она немного поумнее, не стала бы из-за этого дуться на него и портить ему праздничное настроение. Но он понимал, что говорить ей об этом так же бесполезно, как запретить его ослу не выпускать ветры, когда он с тяжелой поклажей поднимается на высокую горку.

— Ай, жена, ей-богу, стоит ли тебе из-за этого злиться, расстраиваться и портить настроение? Поверь мне, окажись ты в этот момент на сцене, может, я в запале и тебя бы поцеловал....

Когда бедняк покупает курицу

огда Шими был бедняком и перебивался, как говорится, с гроша на копейку, он как-то раз купил на базаре живую курицу. Шими и его дети давно не пробовали мяса, а куриного тем более, в лучшем случае обходились вонючей требухой. Поэтому он, возвращаясь домой, от радости не чуял ног под собой. Один из знакомых Шими, такой же бедняк-горемыка, увидев Шими, спешащего домой, спросил:

— Ай, Шими, у тебя, видно, чтоб не сглазить, завелись денюжки, коли ты решил полакомиться в добрый час куриным мясом?

— Нет, — с улыбкой возразил Шими. — Видишь ли, курица очень

больная, ее хозяин, боясь, что она вот-вот подойдет, продал мне ее не торгуясь, почти задаром.

Случилось так, что несколько месяцев спустя тот же знакомый встретил Шими, опять возвращающегося с базара с курицей. Хотя Шими тогда был еще молодым, но шел он на этот раз очень медленно, еле передвигая ноги, поминутно кряхтя и охая, с низко опущенной головой, точно немощный старик, которого уже клонит к земле.

— Ай, Шими, ты опять с курицей? — завидую ему, с усмешкой произнес знакомый. — Зря таишься: у тебя точно появились деньги, иначе ты не стал бы опять покупать курицу. Куриное мясо не для тех, у кого в кармане пусто.

— Нет, — слабым голосом промолвил Шими. — Я сильно заболел, чувствую себя совсем плохо, меня еле ноги держат. Чтобы немного подкрепить свои силы, поправиться, доктор велел мне хотя бы несколько дней подряд пить куриный бульон.

Услышав это, знакомый Шими громко засмеялся, с сомнением покачивая головой, и недоверчиво произнес:

— Странно! Прошлый раз ты говорил, что купил курицу потому, что она была больная, а сейчас утверждаешь, что сам больной, поэтому и купил. Не пойму я тебя.

Шими поднял на него печальные глаза и с грустью промолвил:

— А что тут странного и непонятного, друг мой?! Разве ты не знаешь: “Если бедняк покупает курицу, значит, или курица больна, или бедняк болен”?..⁵⁹

Не всякую правду можно сказать жене



Когда Шими был бедняком и терпел крайнюю нужду, однажды, усталый и печальный, закутавшись в свою старую потрепанную шубенку, сидел он у себя дома, у тлеющего очага, предаваясь невеселым думам. Где-то в небе грохотал гром, во дворе лил дождь как из ведра, а через прохудившуюся глиняную крышу вода тонкими струйками лилась на голый пол, растекалась

⁵⁹ Народная поговорка.

по стенам. В полутемном углу, ежась от осеннего холода, сидела, понурившись, беременная жена. Ей скоро рожать, а у Шими нет денег, чтобы купить немного муки, масла и меду на хашил⁶⁰, расплатиться с мому⁶¹.

Погруженный в свои думы, Шими незаметно для себя заснул, и в это время ему приснился чудесный сон.

Копая лопатой в саду хозяина, у старого дуплистого орехового дерева возле ограды, он вдруг наткнулся на большой пузатый глиняный кувшин, полный блестящих золотых монет. Радости Шими не было границ. И первое что он сделал, став богачом, — обзавелся второй женой, которую взял из богатой и знатной семьи. Она была так юна и прекрасна, что Шими не пожалел заплатить за нее большой калым, который запросил за невесту ее отец. И то, что она оказалась смешливой и большой проказницей, тоже было ему по нутру. Жизнелюбивому и темпераментному Шими не нравилась вечно пасмурная, унылая физиономия жены, которая к тому же, несмотря на молодость, была какой-то холодной, бесстрастной, точно бесполое существо. Все это он по-настоящему понял и почувствовал только сейчас, когда ему неожиданно привалило богатство.

Шими теперь видел себя, как он живет в великолепном дворце, спит на высоких пуховых перинах в объятиях игривой, веселой молоденькой жены-раскрасавицы. Одевается как высокородный бек: в белую черкеску из тонкой шерсти с золотыми газырями, на поясе дорогой кинжал в серебряных ножнах, а голову его венчает лихо заломленная высокая каракулевая папаха. Он теперь даже по городу не ходит пешком, а ездит в собственном фаэтоне, и все с почтением и завистью глазуют на него. Сам полицмейстер, человек свирепый и надменный, щелкая каблуками и звеня шпорами, вытягивается перед ним в струнку и браво отдает честь, как все равно своему начальнику. А городской голова, который еще вчера не знал о его существовании, при виде Шими почтительно кланяется ему в пояс. Видные дербентские тузы: потомственный бек Сефтер Ахундов⁶², которого сам царь Николай II удостоил высокой

⁶⁰ Хашил — традиционное кавказское блюдо, приготовленное из поджаренной муки, жира и мёда. Им обычно кормили роженицу в течение семи дней после родов, чтобы подкрепить ее силы.

⁶¹ Мому — повивальная бабка.

⁶² Сефтер Ахундов — один из самых богатых и известных людей в Дербенте, щедрый благотворитель. В 1913 г., когда царь Николай II был в Дербенте, С. Ахундов

чести, побывав у него в гостях, именитые купцы, владельцы виноградных плантаций и рыбных промыслов Овроом Дадашев, Шомоил Ханукаев, Ханух-ага, на которых он батрачил, встречают и провожают его с почетом и лаской, как равного.

Словом, Шими видел и чувствовал себя наверху блаженства. Неизвестно, сколько еще продолжалась бы такая райская жизнь у Шими, не случись с ним такая история.

Как-то раз под вечер Шими побывал в бане, которую обычно посещали богатые люди города. Пока его там под веселые звуки восточного оркестра и чарующие голоса певцов старательно парили, массировали и умащивали благовониями, у него разыгрался аппетит. Поэтому, как только он вернулся домой, сразу набросился на еду, как все равно человек, перенесший длительный, изнурительный пост. Покушав и подвыпив всласть, омочив усы в терпком вине, Шими в наилучшем настроении отправился спать с молодой женой. Едва губы Шими коснулись медовых уст прелестной ханум, как у той в самый неподходящий момент появилось желание попроказничать. И она принялась вовсю щекоотать разомлевшего после бани полупьяного супруга. Шими, который очень боялся щекоотки, начал метаться, закатываться громким, сумасшедшим хохотом, визжать, умоляя озорницу прекратить дурачество, пока он не лопнул...

Услышав громкий безумный смех мужа и крайне встревоженная этим, беременная жена Шими кинулась к нему и принялась тормошить все еще спящего и хохочущего супруга. Шими с трудом открыл глаза и тупо посмотрел на "старую" жену и вокруг себя, плохо соображая: почему он здесь, а не в том прекрасном мире, в котором он только что жил, блаженствовал? Где его новая юная распрекрасная жена-проказница? Куда все вдруг подевалось?!..

— Увы мне! Ты, наверно, видел дурной сон, дьявол смешил тебя во сне?⁶³ — с сочувствием спросила обеспокоенная жена, ласково проводя рукой по его плечу.

устроил в его честь великолепный пир с приглашением музыкантов, певцов и танцоров. Им в сотовариществе с О.Дадашевым и братьями Ханукаевыми был построен огромный архитектурный комплекс реального училища, названного именем Николая II. Кроме того, он на свои средства выстроил прекрасное здание городской больницы. Все это было передано в дар городскому управлению в честь трехсотлетия царствования дома Романовых.

⁶³ Суеверные таты верили в то, что если человек смеется во сне, то это смешит его дьявол своими проказами и что встреча с ним не к добру.

Только сейчас, глядя на жену и слушая ее голос и слова, Шими понял: все, что приключилось с ним минуту назад, было лишь сном. И он вдруг почувствовал себя во сто крат печальнее и несчастнее, чем до того, как ему приснился этот сон.

— Ай, жена, клянусь душой твоего отца, то был не дурной сон, как ты думаешь, а чудесный, поэтому я так весело смеялся, как никогда, может быть, в своей жизни, — тихо, с грустью промолвил Шими.

Услышав это, жена пристала к Шими, чтобы он непременно рассказал ей про свой “чудесный сон”. Она, как многие суеверные люди, верила в то, что иногда сны сбываются. Кто знает, может, на их счастье сбудется сон, который только что видел муж.

Прямодушный и чистосердечный Шими привык говорить жене всегда правду, что бы ни случилось. Но про свой сон он все же не хотел рассказывать, и понятно почему. Но в конце концов, уступив ее настояниям, он рассказал ей все как на духу.

— И ты, бессовестный, называешь это “чудесным сном”?! — возмущенно, с угрозой в голосе воскликнула жена, едва Шими закончил свой рассказ. — Стоило тебе на миг стать богачом, как ты, неблагодарный, сразу обзавелся новой женой, чтоб ты с ней лежал рядом в одной могиле! — и я стала тебе не нужна?!

Побуждаемая ревностью и жгучей обидой на мужа, она, вне себя от ярости, с криком кинулась на Шими, стала, как кошка, царапать его, молотить кулаками. Шими, спасаясь от гнева разошедшейся жены, поспешно вскочил и сломя голову выбежал на улицу, под проливной дождь. Промокший до нитки и продрогший, он вскоре был вынужден вернуться, но войти в дом, однако, не решился. Шими прошел в хлев и лег спать на сырой, провонявшей навозом и ослиной мочой соломе, возле своего ишака, а вместо одеяла накрылся его грязной попоной.

Вспомнив, как всего час назад, во сне, он был богат и знатен, окружен почетом, жил во дворце, лежал на пуховых перинах в обнимку с молодой красавицей женой, а сейчас, лишившись даже своей убогой постели, вынужден провести ночь в вонючем хлеву рядом со скотиной, Шими, тяжело вздыхая, принялся в сердцах ругать себя вслух.

— Так мне и надо, ослу безмозглому! — чуть не плача от досады и обиды на самого себя, воскликнул Шими. — Сколько лет живу на свете, а до сих пор не постиг простую истину: не всякую правду можно говорить жене, если не хочешь провести ночь в хлеву рядом с ослом...

Ум и богатство



днажды в ненастный осенний день Шими, ежась от холода, вместе с такими же бедняками-горемыками, как и он сам, стоял на фэхле-базари в надежде на то, что кто-нибудь из владельцев виноградников или рыбных промыслов возьмет его на работу. Одежда на нем была худая: рваное чохо, облезлая папаха и истоптанные чарыки⁶⁴. Увидев Шими, к нему подошел разодетый, тучный, розовощекий и самодовольно улыбающийся богач, унаследовавший от своего отца несколько домов, обширный виноградник и много денег, известный в городе хвастун и пустомеля. Шими не раз отпускал по его адресу колкости и злые шутки, о которых знали многие в городе, да и сам богач тоже. Решив отомстить Шими, он, бесцеремонно оглядывая его с ног до головы и злорадно хихикая, заметил с ехидством:

— Ай, Шими, если ты такой умный, что позволяешь себе смеяться над нами, богатыми и знатными, почему же тогда ты такой бедный, что даже порядочных чарыков на тебе нет?

— Ты прав, господин: на мне даже порядочных чарыков нет, настолько я беден, — промолвил Шими, печально вздыхая. Потом, пристально глядя в самодовольное лицо богача, добавил: — Но мой ум, скажу тебе, тут ни при чем. Дело в том, что ум и богатство не всегда встречаются вместе. Зачем далеко ходить? Возьмем нас с тобой. У меня ум есть, а богатства нет, а у тебя, наоборот, богатство есть, а ума нет...

“Чужой покойник кажется спящим”⁶⁵



Когда Шими был бедняком, он как-то раз накануне какого-то праздника отправился на базар купить немного требухи, несколько пучков зелени, пару чуреков к праздничному столу, а на большее у него денег не было. Но, не доходя до базара, невольно остановился, увидев, как дюжий полицейский с огромными усищами гонит перед собой испуганного, худого, оборванного

⁶⁴ Чарыки — обувь.

⁶⁵ Пословица.

подростка с разбитым в кровь бледным лицом, то и дело подталкивая его пинками и ударами дубинки. Подросток упирался, как козленок, которого силой ведут на заклание, плакал, кричал истошно, повторяя одно и то же:

— У меня мама больная, отпусти меня! У меня мама больная!..

Шими подошел к полицейскому, спросил:

— Скажите, пожалуйста, чем провинился этот несчастный мальчик, что вы так обращаетесь с ним, и куда вы его ведете?

Полицейский неохотно остановился и, схватив на всякий случай подростка за руку, чтобы тот вдруг не вздумал бежать, когда он будет разговаривать, хмуро произнес:

— Он вор! Веду его в полицейский участок.

Шедшие на базар и возвращающиеся оттуда люди, привлеченные криками мальчика и грозной фигурой полицейского, собрались вокруг них, образовав целую толпу. Мальчик при виде столпившихся людей, многих из которых он знал в лицо, словно ища у них сочувствия и поддержки, стал кричать еще отчаяннее:

— Я не для себя украл!.. Не для себя я украл!.. Мама у меня больная, голодная!..

Из сбивчивой речи дрожащего от страха и волнения избитого мальчика Шими и другие дербентцы, присутствовавшие при этом печальном зрелище, поняли, что отца у него нет, а мать лежит тяжелобольная. Дома уже который день нет ни куска хлеба, ни копейки денег. Подгоняемый отчаянием мальчик, чтобы спасти больную мать от голодной смерти, решился стащить в хлебной лавке чурек, но его поймали, безжалостно избили и отдали в руки полицейского.

— Побойтесь Бога, какой он вор?! Отпустите мальчика! — произнес расстроенный Шими, обращаясь к полицейскому.

Толпа тотчас же дружно, многоголосо загудела, присоединяясь к просьбе Шими.

— Он вор! — повторил упрямый и неумолимый страж порядка. — “Укравший верблюда и укравший иголку оба воры”⁶⁶. А теперь все прочь, вон с дороги, дайте пройти!

Но люди, точно по молчаливому уговору, не двигаясь с места, плотной стеной окружили полицейского с мальчиком. Это окончательно вывело из себя стража порядка. Забывшись от охватившего его гнева, он

⁶⁶ Пословица

на какую-то минуту выпустил руку мальчика и, грозно шевеля усищами, изо всей силы принялся кричать, размахивая дубинкой перед ногами окружающих. А подросток, воспользовавшись моментом, сразу шмыгнул в толпу, как мышонок в норку, а потом со всех ног пустился бежать, только пятки засверкали.

Это зрелище так развеселило всех, что вызвало всеобщий хохот. Вконец взбешенный полицейский, желая сорвать свое зло, кинулся с дубинкой на Шими как на главного виновника этого происшествия и насмешек над собой. Но Шими, тогда еще молодой и крепкий, сумел вырвать из рук ретивого полицейского дубинку и с силой обрушил на его же голову. Тот как куль упал на мостовую, а испугавшиеся люди быстро разбежались в разные стороны.

Шими с огорчением понял, что его дело табак, тюрьмы или Сибири не миновать. И он от сильного расстройства уже не пошел на базар, а отправился прямо в духан, чтобы утопить свое горе и тревогу в вине. Вернувшись домой сильно пьяным, Шими кое-как растолковал жене о случившейся беде и предупредил: если за ним придут из полиции, то пусть она скажет им, что муж внезапно скончался...

Сказав это, Шими сразу кинулся в комнату. Собираясь “умереть”, он первым делом засветил лампу, поставил ее на пол в углу и завесил его белой простыней. Затем, быстро сбросив с себя всю одежду, Шими забрался за занавес и растянулся нагишом на полу, предварительно поставив лампу у себя в изголовье⁶⁷.

Не прошло и часу, как во двор стремительно ворвался, точно с цепи сорвавшись, полицмейстер в сопровождении того самого усаца полицейского, которого Шими бабахнул дубинкой по башке. Он был при форме, но без фуражки, вместо нее у него сейчас на голове белела большая повязка, похожая на чалму.

Услышав от безутешно плачущей “вдовы” Шими о том, что ее благоверный, как только вернулся с улицы, лег и тут же отдал богу душу, полицмейстер не поверил. Грубо оттолкнув ее, он вихрем влетел в дом. Подойдя к углу, где лежал Шими, он резким движением сорвал занавес и сразу приступил к осмотру “покойного”. Убедившись, что перед ним лежит не мертвец, а живой, знакомый ему молодой мужчина с завидным здоровьем и во всей своей мужской красе (которому по его прика-

⁶⁷ По обычаю татов, покойного до того, как его обмоют и зашьют в саван, раздевают и кладут на голый пол, а у изголовья ставят зажженную лампу. Угол с покойником занавешивают белой простыней.

зу уже однажды всыпали хорошую порцию горячих) и от него разит как от бочки, полицмейстер пришел в еще большую ярость.

— Собака! Разбойник! — зло выругался он, в сердцах ударив Шими острым носком сапога в голый бок. — Натворил дел, набезобразничал, а теперь спит, как ни в чем не бывало, налилавшись как свинья!..

Шими, поняв, что просчитался, и, боясь, как бы эти разъяренные господа не выволокли его за ноги в таком неподобающем виде на улицу на обозрение обывателей, если он сейчас же “не воскреснет”, сразу открыл глаза. Поднявшись со своего “смертного одра”, он искоса посмотрел на знакомое ему свирепое бульдожье лицо полицмейстера. Несмотря на свое безвыходное положение и на печальную участь, которая ожидала его впереди, и тем не менее желая подшутить над своей неудачной попыткой притвориться мертвецом, а заодно и над словами полицмейстера, Шими с горькой иронией промолвил:

— Э-э-эх, господин полицмейстер, господин полицмейстер! Будь я и на самом деле покойником, вы все равно приняли бы меня за спящего. Ведь “как чужое горе рассказывается навеселе, так и чужой покойник спящим кажется”...

Как Шими ехал на осле задом наперед

днажды земляки Шими, возвращающиеся на закате с работы домой, встретили его на дороге. Он ехал на осле, но почему-то сидел лицом к хвосту, низко опустив голову на грудь. И вид у него был невеселый, надутый. Люди, глядя на него, объясняли эту выходку Шими его странностями и от души хохотали над ним. Один из них любопытства ради подошел к нему и спросил:

— Ай, Шими, что это ты взял за манеру — ехать на осле задом наперед? Люди смотрят — смеются...

Шими, не подымая головы и не оборачиваясь, выкинул руку назад и, указав ею туда, где находилась голова осла, сердито пробормотал:

— Я с ним в ссоре и зол на него, поэтому не хочу видеть его противную морду. Так и объясни людям...

Сердце



Жена Шими, как-то отправляясь на базар, спросила мужа: — Иду на базар покупать мясо. Какое мясо купить: говядину или баранину? — Коли меня спрашиваешь, то купи, пожалуйста, сердце. Неважно какое: коровье ли, баранье, козлинное, лишь бы сердце.

Жена в тот день, как того хотел Шими, принесла с базара сердце, приготовила из него отличный соус с острыми приправами и угостила мужа. Но после этого случая всякий раз, когда она ходила за мясом, Шими наказывал ей купить только сердце. Наконец она однажды не выдержала и сказала ему:

— Ай, муж, какой ты странный человек! И чего ты так пристрастился к этому сердцу? Неужели оно нравится тебе больше, чем обычное мясо?

— Нет, не очень.

— В чем же дело тогда?

— А в том, моя дорогая, — со вздохом сказал Шими, — что ты своим вечным ворчанием, попреками, придирками по поводу и без повода до того извела меня, что мое сердце стало никудышным. И я решил почаще употреблять в пищу сердце в надежде на то, что оно хоть сколько-нибудь поможет мне укрепить мое.

Как Шими стал наполовину мужчиной, наполовину женщиной



Дочь Шими была замужем за человеком, который жил в соседнем селении. Шими и его жена решили съездить к ней и зятю, повидать внуков. Недалеко от того селения, где жила их дочь, протекала небольшая, но быстрая речка, дно которой было усеяно булыжниками. Чтобы не промочить штаны, Шими предусмотрительно снял их и взял под мышку. Лишь после этого он вошел в воду. Но когда дошел до середины реки, то неожиданно поскользнулся и упал, выронив при этом штаны. Течение сразу подхватило их и унесло, и Шими не смог угнаться за ними. Вышел он на противополож-

ный берег в одной рубашке, огорченный и раздосадованный случившимся. Но, вспомнив, что в мешке, который несла жена за спиной, кроме подарков и гостинцев, были и ее запасные юбки и платье, немного успокоился.

— Ай, жена, при моих почетных летах и солидной бороде я, конечно, все равно не могу появиться в чужом селении без штанов, с открытым срамом, как все равно трехлетний несмышленный карапуз, — сказал он супруге. — Достань, пожалуйста, из мешка твою красную юбку, я надену ее вместо штанов.

Жена стала возражать.

— Ай, муж, не делай этого, прошу тебя, — забеспокоилась она. — Люди, увидев тебя в таком странном одеянии — в красной женской юбке и папaxe, — будут смеяться над тобой, примут за ненормального. Ты в такой одежде будешь выглядеть наполовину мужчиной, наполовину женщиной, и все селение сбежится глазеть на тебя, как на шута. И детям нашим будет неловко и стыдно за тебя перед сельчанами.

— И что же ты мне предлагаешь делать? — недовольно спросил Шими.

— Ты лучше уж одевайся во все мое, а на голову повяжи платок и спрячь бороду. Тогда все подумают, что ты тоже женщина, и ты не будешь привлекать к себе лишнее внимание, — посоветовала жена.

Шими, который гордился, что он мужчина, носит на голове папаху, услышав слова жены, очень оскорбился.

— О женщина, горе на голову отца твоего! В своем ли ты уме? — сердито воскликнул он. — Пусть уж лучше я буду наполовину мужчиной, но с папaxой, чем целиком женщиной, без папaxи!..

Баран на шашлык



Старший внук Шими носил имя отца своей бабушки. И та питала к нему из-за этого особенную нежность и называла его всегда почтительно-ласково “бебелей ме” (“мой папусик”). Постепенно все в семье и во дворе стали называть его этим прозвищем.

Но от бабушкиного Папусика, кроме нее самой, никто не был в восторге: учился он из рук вон плохо, задира в школе девочек, не слушался

ни учителей, ни родителей, тайком баловался табаком, до позднего вечера пропадал на улице, вместо того чтобы сидеть за книгами, готовить уроки. А когда Шими или отец, недовольные и рассерженные его поведением, собирались задать ему взбучку, бабушка тут же заступалась за Папусика, не позволяя никому обижать своего любимчика.

И вырос Папусик лоботряс лоботрясом. Когда он кое-как, с грехом пополам, к большому облегчению всего коллектива учителей, окончил школу, Шими решил пристроить его к себе в колхоз, приучить к труду. Но сноха — мать Папусика — и жена подняли настоящий бунт.

— Ты что, хочешь, чтобы мой мальчик всю жизнь рыл землю, как ты?! — накинулась на него раздраженная сноха, подогреваемая свекровью. — Не будет по-твоему! Он должен получить диплом, неважно какой — доктора ли, юриста ли, лишь бы работа была легкая и он всегда был при деньгах.

Шими, оскорбленный ее словами и тоном, каким она позволяет себе разговаривать с ним, отцом своего мужа, хотел отругать ее как следует и приказать, чтобы она немедленно убиралась с его глаз, но сдержал гнев, решив по-хорошему втолковать ей и своей поглупевшей старухе, что всякий труд, в особенности труд земледельца, является почетным. Сам он, например, будучи рядовым колхозником, не раз был награжден, поощрялся денежными премиями, а портрет его и сейчас красуется на Доске почета. И что, если такие молодые люди, как его внук, не придут на смену старикам, кто же будет тогда выращивать хлеб, разводить скот, доить коров? Тем более у их Папусика нет ни охоты, ни способностей к умственным занятиям. От таких балбесов с дипломом потом бывает больше мороки и вреда для дела, нежели пользы. И если, не дай Бог, такой, как Папусик, станет врачом, то горе тому, кого он будет врачевать. Вместо того чтобы излечить недуг, спасти тяжелобольного от смерти, сам того не сознавая, станет помощником Азраила, чтобы как можно раньше отправить несчастного на тот свет. Станет судьей — будет судить вкривь и вкось. Одним словом, время, потраченное им на учебу, все их заботы и расходы на него пойдут псу под хвост.

Однако сноха и старуха не вняли разумному совету Шими. Вопреки его воле мать Папусика, женщина энергичная и упрямая, отвезла своего сына в другой город и сумела “протолкнуть” в один из техникумов.

Но случилось, однако, то, о чем предупреждал старик Шими. Не прошло и трех месяцев, как на его имя поступила от Папусика тре-

вожная телеграмма: “Дед! Караул!.. Нахватал двоек. Могут вытурить. Возьми барана и кувшин хорошего вина, приезжай немедленно. Хочу пригласить и угостить кого нужно. Папусик”.

Сноха и старуха, узнав о содержании телеграммы, страшно заволновались, подняли такой вой, точно кто умер в доме. Они слезами и мольбами заставили старика вывести из хлева самого жирного барана, взять кувшин красного вина и сразу же отправиться в дорогу, чтобы выручить “бедного Папусика”.

Через час Шими, с полным кувшином вина, привязанным к спине, и ведя большого барана с крутыми рогами за веревку, поспешно притащился на вокзал. В момент его прихода поезд уже стоял на перроне и с минуты на минуту ждал отправления. Шими, боясь, что не успеет на поезд, не стал заглядывать в кассу, тем более что там еще толпились люди в очереди, а подбежал к ближайшему вагону. И когда Шими, торопясь и волнуясь, хотел втащить в вагон свою скотину, женщина-кондуктор с сердитым лицом и мощной грудью, размахивая перед его носом свернутыми флажками в футляре, точно милицейской дубинкой, с возмущенным криком преградила ему дорогу.

— Вы что, дедушка, с ума сошли?! — раскричалась она. — Куда вы тащите своего вонючего барана?! Это вам не арба какая-нибудь, а пассажирский поезд.

Шими по-доброму хотел объяснить строгой кондукторше, что настоящий баран у него учится в техникуме, в другом городе, куда он должен поспешить как на пожар, а он хочет везти с собой просто живое мясо для шашлыка... Но только он открыл было рот, чтобы сказать все это ей, как вдруг взбунтовавшееся животное, у которого вся эта возня вызвала испуг и раздражение, начало пятиться назад, стараясь вырваться из рук хозяина. Когда же Шими еще сильнее зажал в руке веревку, чтобы удержать его, вконец разъярившийся баран тараном налетел на него, как на своего смертельного врага, и со всей силой ударил его рогатой головой в самый пах, отчего Шими, покачнувшись, упал со стоном на спину как подкошенный. Оглушенный грохотом разбитого кувшина и чувствуя острую боль в паху, Шими не смог сразу подняться. А баран, воспользовавшись этим, сорвался с места и, заливаясь громким прерывистым блеянием, пустился наутек во весь дух. Как только обескураженный и расстроенный Шими прибежал домой, обдавая всех встречных винным духом, который исходил от его насквозь промокнутой одежды, он первым делом заглянул в хлев в надежде найти там бегле-

ца. Видя, что там его нет, вконец расстроенный и разозленный Шими побежал на почту. Здесь он, с трудом переводя дыхание, продиктовал девушке-телеграфистке следующую весьма оригинальную, быть может, во всей истории существования не только отечественного, но и мирового телеграфного сообщения по содержанию и стилю телеграмму:

“Папусик, пес тебя укуси, караул! Кувшин с красным вином разбился... о твою глупую и несчастную голову. Баран для шашлыка убежал к чертям собачьим неизвестно куда. Беги и ты, сукин сын, от своих злополучных двоек, только знай куда. Дед”.

Могила хана

оворят, однажды утром старик Шими, как обычно, верхом на осле отправился за город, в колхозные сады. Но в одном месте через дорогу, по которой он ехал, была натянута веревка. Группа каких-то незнакомых ему людей, которую возглавлял интеллигентного вида парень в очках, вооруженная кирками, лопатами и прочими инструментами, усердно раскапывала, расчищала землю прямо посреди проезжей дороги.

Шими спешился, подошел к ним и, вежливо поздоровавшись, спросил:

— Какая была нужда копать здесь землю?

— Мы археологи, — произнес в ответ молодой человек в очках. — По нашим предположениям, на этом месте, где сейчас проводятся раскопки, должна находиться могила одного из дербентских ханов. Мы уже нашли кое-какие предметы, подтверждающие наши догадки.

Шими был очень удивлен. Всю жизнь он ходил-ездил по этой знакомой ему с детства дороге, но ничего подобного не помнил и не слышал. Ни отец, ни дед тоже никогда не рассказывали ему про могилу хана. Об этом он и сказал своему собеседнику.

— Ничего удивительного, — спокойно произнес тот. — Этот хан жил в такую далекую пору, когда не только вас, но и вашего отца и вашего прадеда на свете не было.

То, что сказал молодой человек, еще больше заинтриговало Шими.

— А скажи, пожалуйста, что за человек был этот хан? — спросил Шими. — Вы, ученые, должно быть, знаете об этом?

Его собеседник согласно кивнул головой и начал так:

— В отличие от многих своих предшественников, мудрых и справедливых правителей, которые пеклись о славе и могуществе древнего Дербента, благе его жителей, развитии ремесел, торговли, искусства, этот хан вел себя совсем по-другому. Казна его была полна сокровищами, а ему все казалось мало. И он, чтобы стать еще богаче, выходил во главе своих вооруженных нукеров⁶⁸ на караванные пути, безжалостно грабил и убивал купцов, приезжавших из чужедальних стран со своими товарами на знаменитый тогда во всем восточном мире дербентский рынок. Душил подданных непосильными налогами и поборами. Имея сто жен, он тем не менее отдавал приказ своим нукерам и сборщикам податей хватать каждую красивую девушку или молодую женщину, которая приглянется им, и доставлять в его гарем. А все свое свободное время любил проводить в оргиях. Это был развратник и злодей на троне. Поэтому во время его правления исчезла бывшая мощь города, потускнела его слава, пришли в упадок ремесла и торговля, народ бедствовал, жил в тревоге и страхе, проклиная день и час его рождения.

Шими задумчиво покрутил головой, а потом спросил:

— Извини меня, старика, пожалуйста, сынок, за чрезмерное любопытство: может, ты еще что-нибудь знаешь об этом хане (чтоб черти съели его на том свете!)?

— Знаю, — скромно улыбаясь, с готовностью ответил молодой ученый. — Этот хан к тому же был одержим властолюбием и, чтобы удержаться на троне, шел на любое преступление. Он, как и известный в истории шах Джахан⁶⁹, истребивший всех своих братьев и родственников по мужской линии, чтобы не было претендентов на его трон, отправил отца, дядю сбросил с высокой башни в каменную пропасть, брата сгноил в зиндоне — подземной тюрьме, родному сыну выколол глаза, перерезал горло всем своим двоюродным братьям и племянникам, чтобы прочно чувствовать себя на престоле. И вот прошли столетия, могила его сровнялась с землей, время предало его забвению, а там, где покоились останки хана, проходит дорога, и никто уже не знает о том, что здесь когда-то была его могила.

⁶⁸ *Нукер* — у горских народов Кавказа в XIX в.: воин личной охраны военачальника; слуга. В данном случае — охранники.

⁶⁹ *Шах Джахан* — Великий Могол (1592-1666), при котором был построен знаменитый Тадж-Махал. Свергнутый в 1658 г. своим сыном, до самой смерти находился в заточении в своих покоях.

Шими минуту молчал, потрясенный услышанным, а потом, вдруг улыбнувшись, ласково похлопал по шее своего осла и, обращаясь к молодому человеку, весело сказал:

— То-то, сынок, я теперь догадываюсь, почему мой умница осел, не раз подходя к этому месту, где, как ты говоришь, погребены ханские кости, останавливался, а потом, прежде чем с божьей помощью двинуться дальше, как следует орошал и удобрял его... А ты говоришь — никто не знал...

Любовное приключение Шими



Правда это или нет, говорят, в достопамятные времена НЭПа жил в древнем Дербенте некий богач средней руки по прозванию Хушбахд⁷⁰. Блаженной памяти его родители дали ему не только такое благозвучное, счастливое имя. Уйдя в лучший мир, они оставили своему единственному сыну виноградник, двухэтажный каменный дом и лавку в бойком торговом месте: живи — не тужи!

И Хушбахд, говорят, несмотря на то что непостижимая природа обошлась с ним не очень милостиво (при своем малом росте он имел тучное тело, на жирном, красном, точно охрой намазанном лице с приплюснутым носом фосфорическим светом блестели круглые, как у совы, глаза), и вправду чувствовал себя человеком счастливым, довольным собой и всем миром. Ни малый рост, ни тучная фигура не мешали этому жизнелюбу воображать себя бравым мужчиной-джигитом. Поэтому с особым форсом носил он высокую папаху, белую с серебряными газырями черкеску нараспашку и блестящие, мягкие, со шпорами сапоги, которые при каждом шаге его грозной фигуры издавали мягкие ритмичные звуки: “зии-и-ирт!”, “зи-и-ирт!”. Такие сапоги с музыкой, сшитые по особому заказу, были в моде у тогдашних щеголей. На шарообразном животе нашего героя, упрямо выпиравшем из-под малиновой шелковой рубашки, грозно торчал длинный кинжал с узорчатой костяной рукояткой. Предмет особой гордости Хушбахда составляли усы — пышные, длинные, — которые он время от времени нежно поглаживал мясистой рукой или с надменным выражением лихо подкручивал концами вверх.

⁷⁰ Хушбахд — радостный удел, благоприятная доля, счастливая судьба.

Ко всем своим достоинствам, Хушбахд самоуверенно считал себя еще и покорителем женских сердец. В доверительных разговорах или когда бывал в подпитии, он любил похвастаться приятелям своими любовными похождениями в больших городах, когда случалось ему ездить за мануфактурой и прочим товаром для своей лавки. И все же нельзя сказать, что жизнь Хушбахда была совсем уж безоблачной. Ему перевалило за сорок, а детей у него все не было. Он был трижды женат, но ни одна из жен не осчастливила его не только сыном, но даже на худой конец дочерью. И потому, кровно обиженный на них, двоим он дал талог⁷¹, а третья — сбежала сама. Теперешняя, четвертая жена, с которой он живет почти три года, чтоб не сглазить, и молодая, и красивая, под стать своему имени — Гюльсебах⁷², к тому же тихая и покорная, как овечка. Но и она, словно заговоренная, не рождает, хоть тресни. А жизнь уходит. В усах пробивается седина, как говорится: “На горных вершинах выпал снег — долго ли осталось до зимы, в бороду запала седина — долго ли осталось еще жить?”⁷³

Но как и большинство мужчин в подобных случаях, виновницами своего несчастья Хушбахд считал прежних жен и нынешнюю. В последнее время его все чаще навещали неотвязные мысли: не пора ли подыскать себе новую жену, пока он еще, можно сказать, мужчина в полном соку, хотя и жаль, очень жаль расставаться с теперешней.

Говорят, этот же вопрос, вернее, то, что у них с Хушбахдом нет детей, еще больше занимал и волновал саму Гюльсебах. Несмотря на то что она вышла за него замуж, покорясь своей участи (была круглой сиротой), не питая к нему никакой любви, все же прожить с ним молодая женщина собиралась до конца дней своих, оставаясь верной и послушной женой. Тем более Хушбахд, какой он ни на есть, относился к ней человечно: не грубил, не бил, не стремился проявить власть, как иные тогдашние мужья. Хотя он и не отличался ни ласковостью, ни нежностью, но и не был суров, придирчив и мелочен. При всей своей внешней павлиньей важности, был человеком незлобивым, доверчивым и благодушным, и Гюльсебах чувствовала себя дома полной хозяйкой, а нынешняя ее жизнь по сравнению с прежней казалась ей почти райской. Горькая сиротская судьба научила ее терпению, покорности, умению сдерживать, а порой и заглушать сердечные порывы и желания. Хотя муж годился ей в отцы, имел

⁷¹ Талогъ — развод.

⁷² Гюльсебах — утренний цветок.

⁷³ Народная поговорка.

если не отталкивающую, но все же смешную наружность, не выказывал сердечной теплоты, ей все равно и в голову не пришло бы думать о другом мужчине, если бы она наверняка не знала, что муж ею недоволен, что может поступить с ней как с прежними своими женами. О печальных последствиях подобной развязки беззащитная сирота боялась даже подумывать. Притом как бы молода, наивна и неопытна она ни была, но начинала понимать: если Хушбахд до сих пор не стал отцом, видимо, в этом не виноваты ни прежние жены, ни она сама.

Как раз в это время, когда молодая женщина денно и нощно с тревогой думала о своей дальнейшей судьбе, случилось ей встретиться с молодым батраком своего мужа — Шими, нанятым им для рытья коловца на винограднике, расположенном недалеко от города.

Никто не знает, при каких обстоятельствах произошла их первая встреча, о чем они говорили друг другу, но вскоре батрак повадился ходить тайком к жене своего хозяина, как лиса в знакомый курятник.

Да и Гюльсебах за короткое время так привязалась к Шими, что сильно тосковала, стоило ему день-два не появиться. Помимо желания иметь ребенка она нашла в Шими и то, чего недоставало ей в муже: ласку, сердечное тепло, молодой порыв. Но в то время ее не покидал страх: если, не дай Бог, о ее отношениях с батраком узнает муж — позора и изгнания ей не миновать, а возможно, и смерти.

А что до Хушбахда, он, напрочь разочаровавшись в Гюльсебах, настолько охладел к ней, что, несмотря на цветущую молодость и прелестную красоту жены, все больше чуждался ее. Последние два-три месяца молча, торопливо проглотив завтрак, отправлялся в лавку и возвращался лишь затемно, чтобы как можно меньше находиться дома.

Но случилось то, чего больше смерти опасалась молодая женщина. Однажды вопреки обыкновению Хушбахд пришел домой в середине дня за какой-то надобностью. И принесла же его нелегкая в то самое время, когда работник и молодая жена, уединившись, чувствовали себя наверху блаженства. Она первая услышала знакомые тяжелые шаги мужа, поднимающегося по лестнице, и от страха едва не лишилась чувств. Вскочив как угорелая, она в сильном волнении поспешно сгребла с ковра свое просторное цветастое поже⁷⁴, заодно нечаянно прихватив и перепачканные глиной шаровары Шими, и сломя голову побежала во внутреннюю комнату в ожидании самого ужасного.

⁷⁴ Поже — просторная длинная женская юбка из ситца или шелка.

Скрипя сапогами и тренькая шпорами, ничего не подозревавший Хушбахд, как обычно, спокойно, по-хозяйски, привычно закручивая усы, вошел в дом, но, увидев стоявшего как вкопанный посреди комнаты, в одних подштанниках, растерянного Шими, в первую минуту так и застыл на месте с раскрытым ртом. Едва он пришел в себя, как в одно мгновение его жирное красное лицо стало багровым, круглые совиные глаза вспыхнули зловеющим огнем, мясистая крепкая рука судорожно сжала рукоятку кинжала.

— Это что за тамоше⁷⁵?! — взорвался он, крича на своего работника дрожащим от гнева голосом. — Почему ты, негодяй, в одних подштанниках?! И почему ты в моем доме, когда меня здесь нет, а не там — на рытье колодца?!

Все больше распаляясь, Хушбахд в бешенстве выхватил кинжал из ножен, чтобы обрушить его на нечестивую голову осквернителя его домашнего очага. У Шими кровь отхлынула от лица, по спине пробежали мурашки. Но ему все же удалось пересилить страх и вовремя удержать поднятую руку разъяренного хозяина. И батрак, шумно дыша, принялся умолять разошедшегося ревнивца умерить свой гнев и выслушать, почему он сейчас оказался у него дома, да еще в таком непотребном виде. И когда Хушбахд, с трудом сдерживая клопочущую в нем ярость, все же согласился, Шими тотчас же начал отчаянно вкручивать мозги своему легковерному хозяину.

Мешая быль с небылицей, Шими, прерывистым от волнения голосом, рассказал хозяину о том, что как раз сегодня с Божьей помощью он наконец завершил рытье колодца. Но когда он дошел до самого дна и из-под стен колодца понемногу начала вытекать прозрачная, как хрусталь, прохладная вода — вышел курьез. Вдруг из самой его середины хлынул горячий, почти кипящий поток, да такой мощной силы, что грозил потопить его вместе с колодцем. Тогда он, Шими, недолго думая, стащил с себя шаровары и заткнул ими отверстие. После чего он с сознанием выполненного долга сразу поспешил к своему дорогому хозяину, надеясь застать его дома в добром здравии, сообщить ему обо всем этом, а заодно попросить у него в дополнение к плате за его добросовестный труд одни из его шаровар, поскольку те, которыми он заткнул отверстие, были у него единственными.

Все это время, трясясь всем телом как в ознобе, Гюльсебах стояла

⁷⁵ Тамоше — зрелище (в данном случае — безобразное).

за дверью, с тревогой вслушиваясь в напряженный разговор двух мужчин. Едва Шими закончил свою “защитительную речь”, как она, сразу осмелев, слегка приоткрыла дверь и как можно спокойнее и ласковее сказала супругу:

— Ай, муж, да чтоб твой конец был счастливым⁷⁶, батрак правду говорит. Но я не посмела дать ему шаровары в твое отсутствие и без твоего позволения...

Хозяин не только поверил выдумке Шими и своей супруги, но и, покатываясь со смеху, одобрительно и дружески похлопывал батрака по крепкой спине, радуясь не меньше, чем они, такой неожиданно счастливой развязке. По сему случаю он приказал жене выдать Шими одни из лучших своих шаровар, накрыть стол, подать вино и закуски.

Случилось так, что в том же году, к несказанной радости Хушбаха, жена, в добрый час, родила ему долгожданного сына.

Возможно, что вся эта любовная история Шими с женой хозяина и тайна рождения ее ребенка так и остались бы тайной, если бы сам Хушбад, известный своим легковерием, бахвальством и болтливостью, не разгласил ее. Он не раз, особенно когда бывал навеселе, самодовольно покручивая пышные седеющие усы, горделиво задвигая высокую папаху набок, к самому уху, с воодушевлением рассказывал эту историю. И каждый раз для пушшего веселья прибавлял от себя что-нибудь новое, смешное. И начинал он ее обычно так:

— В тот самый год, любезные мои, когда у меня, в добрый час, родился мой сыночек, да сохранит его Всевышний вместе с вашими милыми чадами, я однажды застал у себя дома своего батрака, этого самого шельмеца и пересмешника Шими, забодай его козел, и в чем вы думаете? В одних подштанниках, без шаровар, хе-хе!..

Люди, слушая Хушбаха, смеялись от души, хватаясь за животы. Вместе с ними всю гоготал и сам довольный и счастливый рассказчик.

С той поры много воды утекло, многое изменилось в нашей быстротечной и переменчивой жизни. Давно нет в живых ни веселого, потешного Хушбаха, ни его жены-красавицы. Они покоятся рядом в своих могилах на старом кладбище, за городом, у подножия хмурой, молчаливой горы, далеко от повседневной суеты живущих своими узки-

⁷⁶ Обычно с таким пожеланием обращались к мужчине, у которого вовсе нет детей или только дочери, чтобы у него родился сын.

ми интересами и мелкими страстями людей. Хушбахд умер вместе с НЭПом, когда у него отобрали дом и отдали его под какое-то государственное учреждение. Вскоре конфисковали и его виноградник. Он стал собственностью колхоза, в котором работали вчерашние безземельные бедняки и батраки. Лавку закрыли-запечатали агенты финотдела — тогдашней грозы нэпманской буржуазии и крупных собственников. И сердце Хушбахда, привыкшего к спокойной, размеренной и веселой жизни, в одночасье потерявшего все, не выдержало такого удара судьбы.

Однажды, заметно похудевший, полинявший, с беспомощно повисшими, словно крылья раненой птицы, и изрядно поседевшими усами, Хушбахд, проходя медленным, усталым шагом мимо своей бывшей лавки, на минуту остановился, чтобы взглянуть на нее. Вдруг он почувствовал сильное головокружение и в то же мгновение без крика и стона, точно подкошенный, замертво упал на черный асфальт тротуара.

Однако молва о любовном приключении Шими, которой Хушбахд, сам того не сознавая, дал начало, до сих пор живет среди его земляков. К тому же, говорят, в Дербенте и сейчас можно встретить как две капли воды похожего на почтенного Шими пожилого мужчину с бородой, родившегося “в тот самый год”... Когда Шими случайно сталкивается на улице или еще где-нибудь нос к носу с этим человеком, то он с нескрываемым волнением смотрит на него и словно видит себя в живом зеркале. И каждый раз у Шими появляется неодолимое желание кинуться ему на шею, заключить его в свои отцовские объятия. И мысленно всякий раз Шими обнимает ту женщину, которую когда-то любил, — его мать. Но тот, чувствуя сердечные порывы седобородого Шими, испуганно шарахается от него и чуть ли не пускается в бегство, чтобы не дать лишний повод для подтверждения все еще живущей молвы о том, что его мать зачала его от чужого мужчины. Этим он по-своему пытается уберечь, защитить честь своей покойной матери, а не в меньшей мере и свою. Ведь нет более тяжкого оскорбления для слуха и чести мужчины, чем слово “биж” (“незаконнорожденный”, “не сын своего отца”), которое глубже кинжальной раны и злее змеиного жала.

...Вот такая история. Может быть, кому-то она покажется комической, кому-то драматической, а кому-то и вовсе трагической. Может быть. С другой стороны, если трезво поразмыслить, разве, дорогой

мой читатель, вся наша жизнь, в сущности, не является сплошной трагикомедией, особенно та, в которой нам суждено с вами жить сегодня?..

Как Шими провел своих кредиторов-ростовщиков

дно время, когда Шими был бедняком, нужда так прижала его, что он, чтобы не умереть от голода, решил обратиться к ненавистным ростовщикам⁷⁷, взять у них деньги под проценты. Поскольку все его достояние составлял единственный осел, да и тот от бескормицы так отощал, что из-под облезлой кожи выпирали одни ребра, Шими знал, что никто из ростовщиков, даже если он трижды сдохнет от голода и отчаяния, не даст ему ни рубля, и поэтому решил прибегнуть к хитрости.

И вот, придя к одному ростовщику, Шими, пуская пыль в глаза, в доверительном тоне рассказал ему о том, что в селении Мамрач⁷⁸ у него живет любимый холу⁷⁹. А у этого холу есть мельница и каменный дом. Холу очень стар, к тому же бездетен, поэтому мельницу и дом он завещал ему, Шими, как своему единственному близкому родственнику

— Но сейчас мой бедный холу, — продолжал Шими плачущим голосом, придавая своему лицу выражение бесконечной скорби, — находится при смерти. Вот я и пришел к тебе с просьбой: дай мне денег в долг под двойные проценты, я поеду в Мамрач, похороню его, как полагается по обычаю и обряду, справлю поминки, а как только продам мельницу и дом, честь честью верну свой долг. И от Бога будет тебе награда за это, и от меня.

Ростовщик сначала хотел наотрез отказать Шими в ссуде, поскольку последний ничего не мог предложить ему в залог. Но после некоторого колебания, соблазнившись большими двойными процентами, все же согласился, тем более что сумма, которую просил Шими, была хоть не такой уж и маленькой, но и не очень большой.

⁷⁷ Ростовщики пользовались в народе дурной репутацией. Их ненавидели, считали живодерами. Простые люди верили, что на том свете им уготован ад за свою богопротивную профессию.

⁷⁸ Мамрач — бывшее татское селение в Касумкентском районе.

⁷⁹ Холу — дядя по матери.

Воодушевленный первым успехом, Шими с подобными объяснениями и просьбой обратился ко второму, а затем к третьему кредитору и получил от них такие же суммы на тех же условиях.

На деньги, взятые у кредиторов, Шими первым делом купил обновки для своей молодой жены и себя и необходимые припасы на целый год: муку, рис, сахар и два чувала⁸⁰ отборного ячменя для любимого осла. А когда пришел срок расплачиваться с долгами, Шими притворился тяжелобольным, а жене сказал:

— Ай, жена, распускай по городу хабар: я, твой горемычный муж, тяжело заболел, не сегодня-завтра отдам Богу душу. Остальное тебя не касается.

Вскоре о “болезни” Шими многие узнали в городе. Его кредиторы, услышав об этом, сильно беспокоились: как бы он не дал дуба раньше, чем расплатится с ними. И они, сговорившись между собой, поспешили к Шими, чтобы потребовать у него долги с двойными процентами.

Принял их Шими, лежа в постели, то и дело громко охая и стеная. Первым заговорил сам “больной”.

— Пути Господни, мои почтенные, неисповедимы: нередко переспелый плод продолжает висеть на дереве, а зеленый, несозревший — падает, — тяжело вздыхая, начал Шими замысловатым вступлением свою речь. — Я это говорю к тому, что мой холу, который лежал на смертном одре, не только выжил, поправился, да еще, старый хрыч, женился на молодухе, от которой ждет ребенка. А я вот, несчастный, молодой, в расцвете сил, умираю, даже врачи на меня махнули рукой...

И как ни “тяжело” было Шими продолжать разговор, он старался убедить своих кредиторов в том, что он, умирая, мучается не столько от сознания, что раньше времени покидает этот суетный мир, сколько из-за того, что уходит из жизни, оставшись должником. И чтобы он отошел к Богу со спокойной совестью, просит, чтобы его кредиторы великодушно простили ему долги.

Ростовщики долго и угрюмо молчали. Но, в конце концов поняв, что плакали их деньги и что требовать от Шими вернуть долг так же бесполезно, как ждать от козла молока, они скрепя сердце пробормотали, что прощают. Но “больной” этим не удовлетворился. Чтобы он поверил, что его кредиторы делают это без сожаления, искренне, “умира-

⁸⁰ Чувал — большой мешок из домотканой грубой шерсти.

ющий” просил, чтобы каждый из них по обычаю и традиции своей веры поклялся ему в этом. А из трех его кредиторов один был иудей, другой — армянин-христианин, а третий — мусульманин-шиит.

Иудей, молитвенно воздев руки и очи вверх, со священной дрожью в голосе громко произнес:

— Клянусь нашим праотцем Авраамом, который первым среди людей совершил священный обряд обрезания и через которого Бог передал завет Своему избранному народу: я прощаю этому человеку, то бишь Шими Дербенди, причитающийся с него мне долг: с двойными процентами. Пусть он ему будет халол⁸¹, как материнское молоко⁸². Аминь!

Вслед за ним заговорил армянин. Он вытащил нательный крестик, жарко поцеловал его и, трижды перекрестившись, в той же манере, как и иудей, воскликнул:

— Клянусь этим крестом и святым Григорием: я тоже прощаю этому человеку, Шими, его долг...

Мусульманин-шиит, который по закону своей религии вообще не имел права давать деньги в долг под проценты, поклялся халифом Абу-л' Аббасом⁸³, что тоже от чистого сердца прощает “бедняге Шими” его долг.

Через месяц Шими, бодрый, в самом лучшем настроении, верхом на осле, ставшем за это время таким резвым и ухоженным, что на нем бархатом блестела шерсть, привязав к седлу лопату, отправлялся на виноградники некоего хозяина, нанявшего его на работу.

Кредиторы, увидев Шими, с радостью и надеждой кинулись к нему.

— Ай, Шими, дай Бог, чтобы ты всегда был на ногах⁸⁴, — воскликнули они в один голос. — Ты теперь должен вернуть наши деньги, твои долги...

Шими сразу сделал вид, что крайне удивлен и возмущен их недостойным поведением.

— Какие деньги?! Какие долги? — закричал он на них. — Ведь вы все трое клялись именем своих святых, что прощаете мне мои дол-

⁸¹ Халол (хэлол) — впрок, на пользу, на здоровье; здесь — в смысле “простить долг (в денежном или натуральном выражении) без возврата”.

⁸² Материнское молоко считается в народе священным. Им благословляли или проклинали человека. Молочный брат считался таким же родным, как и кровный.

⁸³ Абу-л' Аббас Абдуллах — основатель Второй династии халифов.

⁸⁴ Пожелание человеку после выздоровления, чтобы он никогда не болел.

ги. Кто знает, может, несмотря на ваши тяжкие грехи, ваши искренние клятвы, услышанные Богом, спасли меня от смерти. А вы, безбожники этакие, выходит, жалеете об этом?!

На этом вся история и закончилась.

Азраил за рулем

анным майским утром старик Шими ехал на такси из Дербента в поселок Огни. Все вокруг цвело, благоухало и сверкало под ласковыми лучами весеннего солнца, радуя человека, настраивая его на праздничный лад. Но у самого Шими сейчас на душе было тяжело. У его старого кунака в автомобильной катастрофе погиб единственный сын, и Шими спешил разделить горе друга.

Кроме Шими, в машине не было других пассажиров. За рулем сидел шустрый, вертлявый парень с приметным шрамом на лбу и с чухой в голове. Как только миновали древние городские ворота Кирхляр-Капы, водитель так разогнал машину, что она у него, как метеор, понеслась по асфальту, обгоняя все другие машины, словно он совершал не обычный рейс, а участвовал в автомобильной гонке. Несколько раз птицы, пролетавшие над дорогой, ударялись о ветровое стекло и падали замертво.

Шими охватило беспокойство: как бы, не дай Бог, с ним самим не случилось несчастье. Водитель, заметив выражение крайней озлобленности и беспокойства на лице старика, решил развлечь его разговором. Он повернулся в сторону Шими и, обдавая его сивушным духом, шутиливо спросил о том, что первым пришло на ум:

— Дядя Шими, скажите, пожалуйста, вы верите в существование ангела смерти Азраила, который якобы отнимает у человека жизнь, или, допустим, в существование шайтана, который может калечить людей?

— Ай, сынок! — словно обрадовавшись его вопросу, сразу воскликнул Шими. — Если ты хочешь знать мое мнение на этот счет, то сделай одолжение, останови, пожалуйста, на минуту твой аэроплан.

Недогадливый водитель решил, что старику, наверное, срочно захотелось по нужде, и он тут же направил машину к обочине. Как только машина остановилась, Шими с силой толкнул дверцу и поспешно, точ-

но из горящего дома, выскочил из машины. Затем, спокойно приблизившись к водителю и доверительно склонившись над ним, громко, точно глухому, прокричал ему в самое ухо:

— Верю, сынок, верю! И в существование Азраила верю, и в существование шайтана тоже. Но с тех пор как на больших дорогах место тихих арб, дорогих фаэтонов, неторопливых верблюдов, резвых лошадей и юрких осликов заняли быстроходные машины, а вместе с ними появилось немало таких безответственных лихачей, шальных голов и любителей спиртного, как ты, Азраил и шайтан ушли на покой, возложив на вас свои черные обязанности.

Новое проклятие

оворят, в доме Шими Дербенди работники горжилуправления однажды начали делать капитальный ремонт как положено у нас по закону, — за счет государства. Но он так затянулся, что ему не видно было конца и края. За это время силами тех же людей, которые больше прохлаждались и под разными предлогами выманивали у Шими деньги на выпивку и закуску, будто на “недостающие” у них материалы, можно было бы выстроить дом в несколько этажей.

Никто не знал, что пережил и испытал Шими, пока у него происходил этот злополучный ремонт (он никому на это не жаловался — какой толк!), но зато все близко знавшие Шими люди с недоумением стали замечать странную перемену, которая произошла в его характере и поведении. Он потерял свой былой веселый нрав и общительность, стал раздражительным, ходил мрачнее тучи. Раньше Шими, почему-либо рассердившись на свою покорную половинку, срывая на ней сердце, кричал: “Ай, жена, да чтоб сгорел дом твоего отца!” Теперь же после этого печального события он ругался, правда, несколько длинно, но по-новому: “Ай, жена, да чтоб работники нашего горжилуправления произвели капитальный ремонт в доме твоего отца!”

Три коварных свойства вина



Как-то раз один из друзей Шими, такой же седобородый старик, как и он, пришел к нему поделиться своим горем, пожаловаться на своих сыновей. — Ай, Шими, у меня три сына, и все они трое вместе взятые, клянусь тебе, не стоят в моих глазах одной плешивой, но умной и скромной девушки — вот какой я разнесчастный отец, — произнес старик, чуть не плача.

Шими с недоумением посмотрел на друга, а потом спросил:

— Чем же они уронили себя в твоих глазах, что ты так дурно отзываешься о них?

Старик низко опустил голову, потом, глубоко вздохнув, начал так:

— Они, мои сыновья, будь у себя дома или в гостях, когда начинают пить вино, совсем теряют голову, будто их подменили. Самый младший мой — заика от рождения, поэтому он обычно молчит при людях, старается без нужды не вступать в разговор с посторонними и лишнего не говорить. Но как только вино ударяет ему в голову, у него сразу развязывается язык, он делается чересчур болтливым, надоедливым и не дает никому рта раскрыть. И люди не знают потом, как от него избавиться. Другой, средний, сам маленький, тщедушный (он в детстве много и тяжело болел), притом очень смирный и робкий. В трезвом виде, поверь мне, он и мухи не обидит. Даже собственная жена его не боится. А вот видел бы ты его, дурня, во хмелю. Ого-го! Сатанеет на глазах, бушует, как пламя на ветру, грозит каждому кости переломать. Один раз, будучи сильно пьяным, полез драться с известным пехлеваном⁸⁵. Видно, про таких, как мой глупец, говорится: “Напоили зайца вином, он и пошел драться со львом”. К счастью, силач оказался человеком благоразумным и великодушным, не поддался гневу и не причинил ему никакого вреда. Больше того, он схватил его и нес на руках, как младенца, и в целости-сохранности вручил негодника его жене. А самый старший, — продолжал гость свои сетования, — франт, чистоплюй. Но стоит ему напиться допьяна, он тут же валится под стол и ведет себя, извини, как настоящая свинья. На чужих сыновей смотрю — радуюсь, на своих смотрю — плакать хочется, — с отчаянием в голосе заключил старик.

— Много ли пьют твои сыновья? — поинтересовался Шими.

— Как тебе сказать, — произнес старик вздыхая. — Младший мой, заика, не очень, пьет всего один кубок вина; второй, тщедушный, роб-

⁸⁵ Пехлеван — богатырь, канатоходец; в данном случае — силач, борец.

кий, тот самый, который во хмелю пошел драться с пехлеваном, пьет самое большее два кубка, а старший, чистоплюй, не меньше трех.

Шими чувствовал, что друг пришел к нему не столько для того, чтобы рассказать о своей беде, излить душу, сколько получить от него совет, что делать, как образумить своих сыновей-негодников.

Шими подумал, а потом сказал:

— Я не знаю, как и чем помочь тебе, но мне известна одна старинная притча, в которой словно о твоих сыновьях речь идет. Может, если они узнают, о чем в ней говорится, устыдятся своей дурной привычки, будут вести себя как нормальные люди...

Гость, с надеждой схватив Шими за рукав бешмета, принялся умолять его:

— Случается, мудрое слово помогает лучше, чем самое сильное лекарство. Расскажи, пожалуйста, мне эту притчу.

И Шими начал так:

— Говорят, первый человек, который посадил виноградную лозу, был пророк Ной⁸⁶. И чтобы она хорошо прижилась на новом месте и дала желанные плоды, он сначала окропил почву вокруг лозы кровью соловья, потом оросил ее кровью быка, а в третий раз щедро полил кровью свиньи. И вот с тех пор, — продолжал Шими, — у того, кто пьет один кубок вина, изготовленного из виноградного сока, развязывается язык, и он становится “красноречивым”, как соловей, у того, кто пьет два кубка, появляется самонадеянность и буйство быка, а тот, кто пьет три и больше, ведет себя как свинья. Вот и вся разгадка, почему твои сыновья, будучи в нетрезвом виде, один уподобляется неугомонному соловью, другой — разъяренному быку, а третий, как ты говоришь, — безобразной свинье.

Почти как у Насретдина



В один прекрасный день Шими со своей старухой решили навестить старших сыновей, чтобы дать им родительское наставление и совет. Старикам не нравилось, что у их первенца один-единственный сын, которому уже шел девятнадцатый год, а у парнишки до сих пор нет ни братика, ни сестренки.

⁸⁶ Согласно библейскому сказанию, он первым из людей начал выращивать виноград и изготавливать вино.

Они хотели, чтобы сноха, пока еще не поздно, родила хотя бы еще одного ребенка.

Но когда Шими высказал это пожелание сыну, того сразу бросило в жар, он даже подскочил с места, точно ужаленный.

— Еще одного?! Боже упаси! — вскричал он, взмахивая руками, словно отбиваясь от какой-то надвигающейся на него опасности. — По милости одного только дитяти мне небо с овчинку кажется; если появится такое же второе, тогда мне хоть заживо в могилу ложись.

И первенец Шими начал жаловаться отцу на своего сына — что он у него большой лоботряс, совсем от рук отбился, учебу бросил, работать не желает, грубит родителям, вымогает у них деньги на разные сомнительные удовольствия. Но, видя, с каким удивлением и недовольством смотрит на него Шими, он еще больше забеспокоился.

— Ты, наверно, отец, думаешь, что я был недобр и невнимателен к своему сыну, поэтому он вырос у меня уродом? — угадав настроение Шими, с обидой воскликнул он. — Если бы ты только знал, что только я ни делал для него, негодника, при моих скромных возможностях! Джинсы тебе, сынок? Пожалуйста! Дубленку? Дорогая штука, правда, но раз тебе хочется — будет тебе дубленка, носи на здоровье! Машину хочешь? Она мне совсем не по карману. Но я залезу в долг, куплю тебе машину, катайся в свое удовольствие... И купил, представь себе, остался, как говорится, без рубахи, но купил... Без него, если хочешь знать, я даже не садился за стол, чтобы выпить рюмку. Сам, собственноручно наливал ему, думал, пусть пьет на здоровье, почувствует себя мужчиной, выработает характер... А он? Э-э-эх!..

Голос у первенца дрогнул, стал плачущим. Он на минуту умолк, стараясь справиться с волнением, потом, шмыгая носом, заговорил опять:

— А он, нечего сказать, отблагодарил меня за все мои заботы и траты на него, вырос свинья свинойей, мучает нас с матерью. Бить, наказывать тоже не могу, боюсь: он выше меня ростом и шире в плечах... Нет, дорогой отец, ругай не ругай меня, а я для себя твердо решил: чем иметь еще одного такого сына-негодника, лучше для утешения души заведу я себе барбоса. Он хоть и животное, но признательное существо, не то что мой сукин сын...

Шими долго молчал, печально кивая головой, с жалостью и укором глядя на поникшего сына. Затем, безнадежно махнув рукой, сказал:

— Ты прав! Заведи барбоса!..

Опечаленные и расстроенные, старики отсюда направились ко вто-

рому сыну. У того в отличие от старшего брата дом был полон детей. Шими и его жена в душе были очень довольны этим, но в то же время, хорошо зная, как нелегко сыну и невестке со столькими детьми, решили посоветовать им, чтобы они “остановились” на этом. Но когда сын и сноха начали говорить старикам о своих детях, о том, какие они у них все замечательные, распрекрасные и что они оба видят смысл своей жизни, свое счастье и богатство только в детях, поэтому будут рады им, пока “Бог дает”, растроганный их словами Шими пришел в восторг. Тяжелого чувства, с каким он пришел сюда от старшего сына, как не бывало. И он важно, с довольной и гордой улыбкой, степенно оглаживая бороду, радостно воскликнул:

— Вы правы, дети мои! Пусть будет по-вашему!..

Жена Шими, видя, что все произошло не так, как она заранее условилась с мужем, прежде чем посетить сыновей, и явно недовольная его поведением, сердито сказала:

— Ай, муж, горе твоему уму! Какой ты странный и непонятный человек! Нашему старшему сыну ты сказал, что он прав, лучше ему завести барбоса, чем иметь второго ребенка. Этим тоже говоришь, что они правы... А кто же тогда не прав, по-твоему?

Шими с лукавой улыбкой посмотрел на жену, а потом промолвил:

— Ай, жена, клянусь могилой твоего отца, на этот раз ты тоже права!..

Заграничный кунак Шими



Однажды в чудесную весеннюю пору в древний Дербент пожаловал какой-то журналист, представляющий одну из западных газет. Заморский гость, который оказался очень любопытным и подвижным человеком, с нескрываемым удивлением и восхищением осмотрел богатые исторические памятники города, его живописные окрестности, затем побывал на виноградниках колхоза, расположенных прямо за крепостными стенами. Здесь ему случилось встретиться и поговорить с нашим почтенным Шими Дербенди.

Гость был удивлен тем, что старик, несмотря на преклонный возраст, сохранил юношескую фигуру, выглядел бодрым и жизнерадостным.

— Не скажете ли вы, м... мистер Шими, в чем секрет вашей, так сказать, неувядаемой молодости? — шутиливо спросил его журналист.

— Я всю жизнь работал на свежем воздухе, часто ел мое любимое блюдо — хинкал с чесноком и уксусом, пил наше доброе дербентское вино, кроме того, я по характеру человек не жадный, не завистливый, а добрый, веселый, — с улыбкой ответил Шими.

Шими, польщенный вниманием приехавшего из далекой страны интеллигентного гостя к своей скромной особе, охотно рассказал ему о житье-бытье, о том, что колхоз давно уже проводил его с почетом на пенсию, на заслуженный отдых. У него есть собственный дом, двор, личное хозяйство, одним словом, живет не тужит. Но ему, старику, не сидится дома, хоть и достается из-за этого от старухи. Он часто приходит сюда, на колхозные виноградники, чтобы повидаться, поговорить со своими старыми друзьями-товарищами, посмотреть, как идет работа, поинтересоваться видами на урожай, и бывает очень рад, если его опыт виноградаря оказывается полезен для молодых колхозников.

Репортер внимательно выслушал Шими, затем, взяв из рук у одного из молодых колхозников, копавших землю вокруг кустов, лопату, передал ее Шими с просьбой показать, как он сам выполнил бы эту работу.

Шими широким жестом гордо оправил седую окладистую бороду и, энергично поплевав на заскорузлые ладони, принялся бойко орудовать лопатой. Журналист тотчас же направил на него объектив и несколько раз сфотографировал его за работой.

После этого иностранец с удовольствием принял любезное приглашение старика отведать в его доме хинкала с чесночной приправой и уксусом, а также доброго дербентского вина и в самом хорошем настроении отправился к Шими в гости.

Расстались хозяин и гость весьма довольные друг другом.

Спустя месяц кто-то прислал Шими заграничную газету, в которой был напечатан большой очерк его заморского кунака о Дербенте и о самом Шими. Сверху очерка была помещена фотография весело и довольно улыбающегося автора, в середине красовалась величественная панорама древнего ханского замка Нарын-Кала, а внизу помещен снимок, на котором Шими был показан с лопатой в руках во время работы.

Обрадованный Шими, захватив газету, немедленно отправился к знакомому учителю, хорошо владеющему родным языком автора очерка.

К удовольствию Шими, его кунак, не скрывая своего восхищения, увлекательно рассказывал о замечательных памятниках седой старины, ко-

которые довелось ему видеть в Дербенте, древней ханской цитадели, подобной которой нигде нет в Европе, а может быть, и в мире, о гигантских крепостных стенах с башнями и бойницами, тянувшихся “от самой горы до самого моря вдоль всего города, расположенного посреди живописной долины, в окружении бескрайних виноградников и садов”, о невиданном подземном водохранилище, “похожем изнутри на величественный раннесредневековый византийский храм”. Еще более подробно автор очерка посвящал своих читателей в тайны гаремов давно канувших в небытие сластолюбивых ханов, об их сексуальных увлечениях, о существовавшем у них обычае раз в неделю посещать дворцовую баню вместе со своими красавицами наложницами в сопровождении музыкантов и певцов...

Но Шими не дал учителю дочитать все, что рассказывалось о ханах и об их интимной жизни.

— Э-э, зачем мне, старику, сынок, — перебивая его, произнес Шими, — слышать, какие непристойности вытворяли ханы со своими женами и наложницами. Ты лучше опусти все это, а читай с того места, где пишется обо мне: доволен ли мой кунак моим гостеприимством, понравилось ли ему мое угощение — хинкал с чесноком и уксусом, наше славное дербентское вино?

Уверенный в том, что он сейчас услышит о себе похвальные слова, благодаря которым все земляки его кунака узнают о нем и что он за человек, старик, гордо подбоченясь, с довольной улыбкой выжидательно глянул на учителя. Но когда Шими узнал, что написал о нем его “дорогой заграничный кунак”, старика точно кто обухом ударил по голове.

“Встреча с Шими Дербенди, — говорилось в очерке, — неволью заставила меня с горечью подумать о том, что со времен наместников персидских шахов, арабских халифов, ширваншахов, в течение долгих веков правивших древним городом и расположенными вокруг него селениями, мало что изменилось в положении его населения, простого люда. Чтобы убедиться в этом, я приглашаю вас, любезный читатель, посмотреть на этот печальный снимок, один взгляд на который не может не вызвать глубокое сострадание в ваших сердцах к человеку, запечатленному на нем. Этот несчастный старик с седой бородой патриарха, несмотря на свой преклонный возраст, вынужден из-за куска хлеба с восхода до заката гнуть спину, выполняя самую тяжелую работу. Если в его годы и при такой каторжной жизни он еще не отправился к праотцам, то только потому, что у мистера Шими Дербенди, как у всех прирожденных идиотов, всегда бодрое, веселое настроение. Кроме того, он

ежедневно обжирается чесноком, который, несмотря на мерзкий запах, полезен как дезинфицирующее средство...”

Шими почувствовал себя оплеванным. Вырвав газету из рук учителя, он поспешил обратно домой. Но и дома он не находил себе места. И чтобы хоть сколько-нибудь отвлечься от тягостных мыслей и скверного настроения, вызванных вероломством его “заграничного кунака”, Шими, завернув в ту же самую газету мочалку, мыло и свежее белье, отправился в старую баню: авось на душе полегчает.

Мокрый, распаренный, Шими вышел в предбанник. Прежде чем одеться, он, подложив под себя газету, присел немного передохнуть, отдышаться. Но когда Шими встал, промокая насквозь страница с очерком “заморского кунака” прилипла к его голому задку. Шими брезгливо оторвал газету и швырнул ее в угол. Но обрывок с портретом самодовольно улыбающегося автора очерка так и остался на том же месте, словно приклеенный. Шими не стал отрывать его и начал демонстративно ходить с ним взад-вперед на виду у людей, находящихся в предбаннике.

В это время какой-то молодой человек, с трудом скрывая невольную улыбку, подошел к нему и тихо, чтобы другие не слышали, сказал:

— Дядя Шими, у вас, извините, на самом неприличном месте прилип кусок газеты с портретом...

Шими, готовый сорвать сердце на ком-нибудь, услышав слова молодого человека, сразу вспылал.

— Зачем ты, дурья голова, говоришь “неприличное место”?! — напустился он с криком и бранью на ошеломленного парня. И, ткнув пальцем в то самое место, где прилип этот портрет, запальчиво добавил: — Если хочешь знать, для этого господина, который красуется у меня вот здесь, это самое приличное и подходящее место!..

Шими-охотник

 один из воскресных дней Шими решил поразвлечься охотой. Благо по соседству жил известный охотник. Одолжив у него ружье и патроны, Шими верхом на осле рано утром отправился за город, в лес. Привязав осла к дереву на опушке, Шими углубился в чащу. Весь день он с ружьем в руке, перевязанный патронташем, бродил по лесу, но нигде не встретил ни одного зверя.

Когда уже день клонился к закату, Шими, усталый, измученный, вернулся к опушке, где оставил осла. Но на том месте, где стояло животное, лежали лишь одни его обглоданные кости: пока старик рыскал по лесу, волки напали на осла и разодрали его.

Перекинув ружье через плечо, Шими понуро побрел обратно в город — без добычи, без осла; как говорится: “Пошел за бородой, лишился и усов”. Но прежде чем пойти к себе домой, Шими сперва завернул к соседу. Вернув ему ружье и патроны, он, как ни в чем не бывало, сердечно поблагодарил его и, тепло попрощавшись, хотел было уйти, но сосед, видя, что все патроны целы, с улыбкой спросил:

— Ай, Шими, ты что... не убил?

Шими, не желая уронить себя в глазах бывалого охотника и обиженный, как ему показалось, его ухмылкой, гордо выпрямившись, воскликнул:

— Конечно, убил! Хм, зря, что ли, я охотился целый день!

— Кого же ты убил? — недоверчиво спросил сосед.

— Кого?! Своего осла! — произнес Шими и тут же хвастливо добавил: — Притом, клянусь твоей головой, без единого выстрела, даже не прицеливаясь... Это не то что вы, горе-охотнички: пуляете-пуляете в зверя — все без толку, а он убегает от вас целым и невредимым, пуская вам ветры навстречу...

Оставив соседа в крайнем недоумении, Шими с важным видом вышел от него. Но когда возле своего дома, у ворот, он увидел ожидавшую его жену, Шими сразу заволновался. “Если она узнает, что осел пропал из-за моей беспечности, мне от нее житья не будет”, — с беспокойством подумал он и сразу прикинулся больным. Нарочно хватаясь рукой за бок и сильно прихрамывая, незадачливый охотник принялся громко охать и стонать на всю улицу.

Увидев мужа в таком бедственном состоянии, жена в тревоге бросилась к нему навстречу.

— Горе мне, о муж! — воскликнула перепуганная женщина. — Ты же сегодня уходил из дому бодрым, здоровым; что вдруг с тобой стало? И почему ты идешь пешком, где твой осел?

— Ай, жена, заклинаю тебя памятью твоих покойных родителей, не напоминай мне сейчас о нем, не сыпь соль на мои раны, — страдальчески морщась, жалобным голосом проговорил Шими, а затем, застав еще громче, добавил: — Это проклятое животное чуть было не отравило меня на тот свет, а тебя не сделало черной вдовой: оно лягнуло

меня в бок, сломало ребро и сильно покалечило ногу, вай аман-аман⁸⁷!..

Услышав это и видя, как муж корчится от боли, жена в гневе принялась вовсю ругать и проклинать осла.

— О Боже! Да чтоб ему боком вышли все наши заботы о нем, тварь неблагодарная! Да чтоб злые волки загрызли его дурную голову! Да чтоб...

Шими, видя, что хитрость удалась и жена поверила его выдумке, тут же принялся “успокаивать” жену:

— Ай, жена, не расстраивайся. Бог внял твоей мольбе: злые волки не только загрызли его дурную голову, клянусь прахом твоего отца, — даже хвоста от него не оставили...

Средство от ожирения



Сноха Шими так раздалась, что называется, лопалась от жиру. Поскольку она приходилась родной племянницей жене Шими, свекровь очень жалела ее и носилась с ней как курица с яйцом. Она не только не пускала племянницу на работу, но даже дома все делала за нее. А сноха, избалованная чрезмерным вниманием и заботой сердобольной тетушки, только и знала, что за троих пила-ела и, ссылаясь на одышку и ломоту в пояснице, дрыхла целыми днями.

Но Шими, человек работающий и не терпящий безделья, смотрел с неприязнью на сноху-лежебоку. Вдобавок жена заставляла его водить нелюбимую сноху по разным врачам, чтобы они дали ей лекарство от ожирения и сняли боль в пояснице. Но сколько Шими ни пытался убедить жену в том, что самое лучшее и действенное средство растряссти жирок и вылечить поясницу — это заставить сноху-лентяйку работать дома, по хозяйству, да на колхозных виноградниках на свежем воздухе, — все напрасно. Да и бесконечные, бесполезные хождения по врачам осточертели старику, и он не знал, как от этой мороки избавиться.

И вот однажды после очередного визита к врачу Шими, как только вернулся домой, тотчас же пригласил в отдельную комнату жену и сына для тайного разговора. Но прежде чем промолвить слово, Шими, сняв с головы папаху, принялся бить себя в грудь и плакать навзрыд. Сын, по-

⁸⁷ Выражение боли, горечи.

чувствовал что-то неладное и тревожное, сразу побледнел, а перепуганная жена, схватившись руками за голову, горестно вопрошала:

— Ай, муж, горе нам! Скажи, какое несчастье обрушилось на наши головы?..

— Да еще какое несчастье — непоправимое! — еще громче рыдая и вытирая папашой слезы, произнес Шими. — Я сейчас был с нашей дорогой снохой у самого лучшего врача. Он сказал мне по секрету, что у нее очень тяжелая и неизлечимая болезнь. И что она — о горе нам! — не протянет даже и трех месяцев. Вот я и вызвал вас, чтобы предупредить: водить ее больше никуда не надо. Об одном только прошу вас: держите эту тайну про себя.

Не зря же говорится: “Тайна, известная троем, уже не тайна”. Как ни старались скрыть от снохи ее роковую болезнь, тайна каким-то образом коснулась ее ушей. И от страха, что она скоро отдаст Богу душу, женщина совсем потеряла сон и аппетит и стала таять на глазах как свеча.

По истечении трех месяцев, когда Шими увидел, что сноха заметно спала с тела, очень похудела, он вновь пригласил к себе сына, ее мужа, и свою жену для “тайного разговора”. На этот раз Шими, прежде чем промолвить слово, самодовольно улыбаясь, хитро посмотрел на них, а потом, что называется, поразил их в самое сердце своим неожиданным хабаром.

— Хочу обрадовать вас, мои дорогие, приятной новостью, — весело смеясь, произнес Шими. — Нашей снохе, слава Богу, ничего не грозит. Это все я выдумал...

Старуха, услышав это, несколько минут не могла вымолвить ни слова, точно язык прилип к гортани, а потом, едва придя в себя, вся красная от ярости, кинулась на мужа.

— Ай, муж, гром и молния на твою безумную голову! Кто такими вещами шутит?! — с плачем произнесла жена. — О Боже! С кем свела меня судьба, разнесчастную?!

Шими, видя, что дело принимает плохой оборот, начал усовещивать разошедшуюся жену.

— Ай, жена, почему ты так несправедлива ко мне? — произнес он с обидой. — Вместо того чтобы похвалить, поблагодарить меня, ты язык распустила, ругаешь!

— За что же тебя, окаянного, хвалить и благодарить?! — еще пуще разозлилась старуха. — За то, что ты своей дурацкой выдумкой чуть не загнал на тот свет мою бедную племянницу, а нас не свел с ума?!

— А за то, моя дорогая, — запальчиво произнес Шими, строго посмотрев на жену, — что я этой, как ты говоришь, “дурацкой выдумкой” помог растрясти жирок нашей невестке и снять боль в пояснице, чего не мог сделать ни один доктор. А чтобы ее опять не раздуло, как бурдюк, пусть не гоняет лодыря, а трудится. Это, клянусь прахом твоего отца, самое лучшее средство от ожирения.

Шими в командировке

 ак-то раз Шими поехал по делам своего колхоза в командировку в один небольшой город, расположенный в часе езды от Дербента. Поскольку у него здесь не было знакомых, он остановился в гостинице. Комната, которую ему отвели, оказалась, как и вся гостиница в целом, запущенной, обветшалой: стены и потолок обшарпаны, доски на полу местами прогнили, между ними образовались широкие щели, в которых можно запросто вывихнуть ногу, кремовый абажур над тусклой лампочкой весь загажен мухами. Шими сразу почувствовал себя очень неудобно и тоскливо, да вдобавок номер кишел клопами и блохами. Стоило Шими потушить свет и улечься спать, как они целыми полчищами, точно мамаево нашествие, кидались на него со всех сторон, кусали безжалостно, не давая сомкнуть глаз. Так, всю ночь, без сна и отдыха, ожесточенно провоевав с проклятыми насекомыми, Шими встретил утро.

На следующий день Шими, закончив свои дела, поскорее расплатился за ночлег и уже собирался уходить, когда в номер к нему вошел сам директор гостиницы; грузный, неопрятно одетый хмурый мужчина средних лет, с колючей, как у ежа, щетиной на толстых щеках, с настороженно-подозрительным взглядом. Он при Шими начал проверять наличие простыней, одеял, полотенец и других вещей. Не обнаружив никакой пропажи, директор на всякий случай предупредил Шими:

— Вы извините меня, уважаемый: если случайно, по ошибке захватили из номера то, что вам не принадлежит, пожалуйста, верните.

Как раз в этот момент у Шими нестерпимо зачесалось на спине и на животе. Запустив руку под рубашку, он, точно человек, пораженный чесоткой, принялся неистово скрести себя.

— Поверь мне, почтенный, — в тон ему произнес Шими, продол-

жая яростно чесаться, — если я и захватил что-нибудь из вашей “прекрасной” гостиницы, то только ваших клопов и блох, которых я охотно вернул бы вам, если бы мог...

Как Шими вместо овцы всучили пса



днажды в воскресный весенний день Шими пришел на базар покупать овцу к празднику. Какой-то молодой человек, узнав об этом, волоча по земле тяжелый мешок, крепко завязанный сверху веревкой, подошел к нему.

— Дядя Шими, если вы, в добрый час, пришли покупать овцу, я могу продать вам, — произнес он, а потом, беспокойно оглядываясь вокруг, тихо добавил: — Только товар свой я не могу показать вам: я его тайком утащил из нашего сарая, а мой папаша, узнав об этом, сейчас ходит по базару и ищет меня.

Шими не хотел покупать овцу, предварительно не осмотрев ее, а тем более украденную. Но, услышав совсем недорогую цену, он не устоял. Опустившись на корточки, Шими, не раскрывая мешка, на всякий случай принялся ощупывать овцу. И она показалась ему вполне подходящей: достаточно упитанной, крупной и шерстистой.

Заплатив стоимость овцы, обрадованный удачной покупкой, Шими, взвалив мешок на спину, сразу поспешил домой. Но не успел он пройти и ста шагов, как его покупка начала проявлять явное беспокойство: дрыгать ногами, вертеться и, что самое странное, грозно рычать. А еще минуты две спустя “овца” с громким захлебывающимся лаем, вырвавшись из мешка, как разъяренный тигр, прыгнула через голову ошеломленного и насмерть перепуганного Шими и пустилась наутек. Как говорится: “И теленок сбежал, и веревку унес”.

Любопытные прохожие, невольные свидетели этого необыкновенного зрелища, среди которых было немало молодых людей, сразу окружили Шими и стали расспрашивать его: что, мол, ему, старому человеку, была за нужда таскать на себе с базара здоровенного, но обыкновенного пса в мешке?

Сконфуженный и расстроенный, Шими, не оправдывая ни себя, ни свой поступок, открыто, с горечью рассказал им, как его бессовестно

надул какой-то незнакомый молодой человек, видно, базарный лоти⁸⁸ всучив ему пса вместо овцы.

Собравшиеся, выслушав эту историю, наперебой стали высказывать старику свои замечания и советы:

— Ай, Шими, как все-таки вы, при вашем уме и возрасте, могли дать себя так легко одурачить: соблазнившись на дешевку, купить “овцу” в мешке?

— Ни в коем случае, дядя Шими, это дело нельзя так оставить. Сегодня этот пройдоха, невзирая на вашу почтенную седину, надул вас, завтра он с такой же легкостью то же самое сделает с другим человеком!..

— Если вы простите ему это дело, люди перестанут уважать вас!..

Возмущаясь наглостью обманувшего Шими пройдохи, никто из присутствующих, однако, не выражал ни желания, ни готовности помочь старику разыскать его. Зато советы, упреки и наказания так и сыпались со всех сторон на голову Шими, как из рога изобилия. И он уже сам был не рад, что сказал им правду, и не знал, как от них отделаться. Неизвестно, сколько еще ему пришлось бы выслушивать их бесполезную и надоедливую болтовню вокруг этой злополучной покупки, если бы один, самый молодой из присутствующих не высказал самое “верное” предположение. Недаром же говорится: “Ум заключается не в возрасте, а в голове”.

— Вы, дядя Шими, слишком не расстраивайтесь. Этот молодой человек, о котором вы говорили, мне кажется, вовсе не мошенник, а просто шутник, — уверенно произнес юноша. — Ведь сегодня первое апреля. А на первое апреля — вы, наверное, слышали — существует обычай в шутку разыгрывать друг друга. Он пошутил с вами, поверьте мне. И теперь, довольный своей удачной шуткой, он непременно найдет вас и вернет вам ваши деньги.

Шими, услышав это, сразу почувствовал облегчение, у него словно камень свалился с души.

— Видимо, так оно и есть, сынок, — ухватившись за эту удачную мысль как за якорь спасения, с готовностью согласился он и, потрясая кулаком, с притворным гневом добавил: — Иначе, клянусь вам, молодцы, если бы эта история превращения овцы в пса не была “первоапрельской шуткой”, он черта с два ушел бы от меня безнаказанно!..

⁸⁸ Лоти — мошенник.

“Верь глазам, а не ушам”



Однажды поздно вечером сосед Шими, вернувшись домой на взводе, учинил скандал жене. Она принялась громко кричать, что муж бьет ее, и звать на помощь. Шими, услышав ее крики, сразу проснулся и быстро встал с постели. Но пока Шими впопыхах искал свои штаны, пока он оделся и выбежал во двор, драка между супругами, видно, прекратилась: не было уже слышно ни плача, ни криков соседки, ни тем более ее призыва о помощи. Шими, успокоившись, вернулся к себе в дом.

Но вскоре по жалобе соседки состоялся суд. И Шими был вызван свидетелем. На суде Шими подтвердил, что он действительно слышал, как сосед избивал жену и как она, крича, звала на помощь.

Но судья приходился родственником ответчику. И, как бы делая Шими выговор, он сказал, что для суда достоверно не то, что слышал свидетель, а то, что он видел своими глазами, поэтому, мол, и говорит-ся: “Верь глазам, а не ушам”. Судья даже не посчитал нужным хотя бы для острастки предупредить ответчика.

Шими, сконфуженный и огорченный, вернулся домой и рассказал жене, как судья выставил на посмешище его свидетельские показания.

Через несколько дней случилось тому самому судье выступать с лекцией на тему “Человек и закон” в колхозе, где работал Шими. Как и все другие колхозники, Шими был заранее предупрежден об этом. Перед тем как пойти на лекцию, он попросил у жены, чтобы она дала ему темные очки, которые летом носит их младший сын.

— Ай, муж, на что тебе, старику, темные очки? — поинтересовалась жена. — Ты их никогда в жизни не носил, тем более на дворе сейчас не лето, а осень! Да и от людей как-то неудобно, смеяться будут над тобой.

— Ты, конечно, права, — согласился Шими. — Но дело в том, что сегодня вечером наш уважаемый судья собирается читать нам лекцию. Не знаю, может, как судья он толковый, но как лектор никуда не годится. Многие, говорят, от скуки спят на его лекциях — уткнется в бумагу и бубнит себе под нос, жует мочало.

— Может, все это и так, но при чем тут темные очки? — спросила жена.

Шими недовольно посмотрел на жену.

— Умная жена должна с полуслова понимать мужа, а тебе надо все

разжевать и в рот положить, — с досадой проговорил Шими, но тут же примирительно добавил: — Ладно уж, коли ты такая несообразительная, так и быть, объясню. Во время его лекции я как почувствую, что и меня клонит ко сну, так я тут же надену эти темные очки, и судья не узнает, что я сплю.

Жена, поняв наконец, почему мужу понадобились темные очки, всерьез забеспокоилась.

— Ай, муж, неужели ты не знаешь, что стоит тебе смежить веки, как ты сразу начинаешь так громко храпеть, что покойник, не про нас будь сказано, и тот проснется? Судья сразу догадается, что ты постыдно дрыхнешь на его лекции. Кроме того, не во гнев тебе будь сказано, последнее время, когда ты спишь, сам того не замечая, частенько так сотрясаешь воздух, что хоть уши и нос затыкай. Так что, как только это случится, судья, не считаясь ни с твоим возрастом, ни с твоей седой бородой, заставит тебя продрать глаза и сделает выговор перед всем джамаатом⁸⁹...

Шими, озадаченный предупреждением жены, невольно задумался, а потом уверенно произнес:

— Ты, жена, не волнуйся. Пусть только он посмеет сделать мне за это выговор, я, клянусь могилой твоего отца, тут же осажу его.

— И как ты это сделаешь? — недоверчиво усмехнулась жена.

— А вот так. Я ему скажу: “Вы, почтенный судья, своими глазами не видели, да и не могли видеть, что я сплю, — на мне темные очки. Вы только слышали мой храп и то, как я сотрясал воздух. Разве не вы сами мне говорили на суде, отвергая мои честные показания по делу вашего милого родственника: “Верь глазам, а не ушам”?.. Нехорошо, тем более народному судье, говорить одно, а делать другое.

Старуха как в воду глядела. Со стариной Шими произошло точь-в-точь то, о чем она предупреждала его накануне. И случилось это с ним тогда, когда он сидел в темных очках перед самой трибуной и клевал носом во время лекции. В зале сразу поднялся шум, дружный смех, хохот, слышались шутки, остроты. Говорят, на этой почве между разгневанным судьей и стариком Шими возникла горячая и продолжительная перепалка, из-за которой лекция почти в самом ее начале была сорвана.

⁸⁹ *Джамаат* — сельская община, собрание односельчан.

Счастливым конц



огда Шими женился, у него несколько лет кряду рождались одни дочери, поэтому он считался хьомолом⁹⁰ — скорбным мужчиной, у которого нет сына. И он, согласно обычаю отцов, стал носить красный кушак — кишди хьомоли, — чтобы Бог обратил внимание на его печальную участь и даровал ему сына. Родственники, друзья и просто знакомые в разговоре с ним говорили ему, как это принято в обращении к хьомолу: “Да чтобы твой конец был счастливым!” — что означало пожелание, чтобы у него родился сын.

И вот однажды Шими появился на улице без красного кушака. Обрадованные друзья, знакомые Шими, решив, что у него родился сын, кинулись к нему с вопросом:

— Ай, Шими, дорогой, тебя можно поздравить со счастливым концом?

— Друзья мои, если считать “счастливым концом” то, что моя благоверная вообще перестала рожать, можете поздравлять меня, сколько вам угодно, — с горькой усмешкой промолвил Шими.

“Не всякий выпачкавшийся мукой — мельник”⁹¹



Один из близких кунаков Шими, проживающий в селении, пригласил его на свадьбу своего сына. Чтобы сделать кунаку приятное, Шими купил жениху в подарок дорогую каракулевую папаху с красным бархатным верхом и, взяв с собой сына, поехал на свадьбу. Как только Шими вступил в селение, какой-то парень, у которого сразу глаза загорелись при виде красивой дорогой папахи, неожиданно налетел на старика и, чуть не сбив его с ног, выхватил у него из-под мышки папаху и пустился наутек.

Шими и его сын, возмущенные наглой выходкой вора, погнались за ним. Похититель, заметив за собой погоню, пробежал через все село,

⁹⁰ Хьомол — мужчина, у которого есть дочери, но нет сына.

⁹¹ Пословица.

спустился в лошину, где стояла мельница, и скрылся в ней. Папаху он спрятал в бункер с пшеницей для помола, а сам выпачкался с ног до головы мукой, чтобы преследователи не узнали его. Но Шими, как только увидел вора, сразу разгадал его хитрость; вне себя от ярости, он схватил налетчика за шиворот.

— Или ты вернешь сейчас же папаху, или, клянусь небом, я вышибу из тебя дух вон! — замахнувшись на него кулаком, закричал Шими.

Но сын, тотчас же подскочив к отцу, схватил его за руку:

— Отец, не бей его! Разве ты не видишь, что перед тобой не вор, а мельник?!

Вор, воспользовавшись этим, вырвался из цепких рук Шими — и поминай как звали. Потеряв надежду вернуть папаху, взбешенный Шими кинулся на сына. Срывая на нем зло, он принялся колотить его, сердито приговаривая:

— Вот тебе, дурья башка, за то, что ты до сих пор не знаешь такой простой вещи: не всякий вымазавшийся сажей — кузнец и не каждый выпачкавшийся мукой, как этот проходимец, укравший наш подарок для жениха, — мельник!..

Нет лекарства от глупости



Как-то рано утром Шими, как обычно, зашел в хлев проведать своего осла и подложить ему корму. Но, увидев, что осел раскрыл мешок с ячменем, просунул в него голову и за обе щеки хрупают зерно. Шими кинулся было, чтобы устранить его от мешка, но осел, угадав намерение хозяина, развернулся к нему задом и с силой лягнул его копытом в бок. Шими, вскрикнув, упал и потерял сознание. На его крик прибежала встревоженная жена. Увидев распростертого посреди хлева мужа, она побежала к ветеринарному фельдшеру, который жил по соседству.

— Горе мне!.. Беда!.. Осел!.. На помощь! — только и смогла выкрикнуть с плачем взволнованная и растерявшаяся женщина.

Сосед, услышав ее голос, решил, что с ослом Шими случилось какое-нибудь несчастье. Захватив свои ветеринарные принадлежности, он поспешил во двор к соседям. Но, увидев, что с ослом все в порядке, а в помощи нуждается его хозяин, который лежит без чувств, ветеринар беспомощно развел руками и сказал жене Шими:

— Сестра, я бессилён помочь твоему мужу. Ослу его — пожалуй-ста, если бы с ним случилась беда, а ему, к сожалению, не могу. Пока не поздно, давайте вызовем “скорую помощь”...

Жена Шими, не выслушав до конца, почему он не может оказать ей мужу помощь, принялась в отчаянии рвать на себе волосы и громко причитать:

— О, горе нам! Для осла и то есть лекарство-чоре⁹², а для моего бедного несчастного мужа — нет!..

Шими как раз в это время пришел в себя. Услышав причитания жены и узнав, чем они вызваны, он произнес с горечью:

— Ай, жена, да чтоб сгорел твой отец! Осла-то, если он заболел, действительно можно вылечить, но глупость твою, как я вижу, излечить невозможно, если даже с того света придет сам Лукман-хаким⁹³...

“Электронный дьявол”

 родовольственный магазин, что находился в махале⁹⁴, где живет старина Шими, пользовался в городе дурной славой. Его работники, уверенные в своей полной безнаказанности, беззастенчиво обманывали покупателей, обвешивая и обсчитывая их. Больше всех отличался работник мясного отдела, недавний выпускник торгового училища, молоденький паренек с красивым, простодушным лицом, ясными, невинными, как у младенца, глазами, насмешливо прозванный посетителями магазина “ангелочком”.

Получив мясо, сей “труженик прилавка” не спешил с его реализацией. Он с обычным своим невозмутимым, благодушно-ангельским видом, скрестив руки на груди, ждал, пока соберется побольше народу. Делал он это далеко не с ангельским намерением: в толкотне и давке длинной и шумной очереди уставшего, затолканного и запарившегося покупателя легче надуть, объегорить.

Но после бесконечных жалоб горожан руководство горторга решило в порядке эксперимента установить в этом печально знаменитом ма-

⁹² Чоре — средство для лечения, избавления от беды, преодоления какой-либо трудности, препятствия; для осуществления чего-либо.

⁹³ Лукман-хаким — легендарный врач и мудрец.

⁹⁴ Махала — квартал, короткая улица.

газине имевшиеся в его распоряжении единственные, недавно приобретенные электронные весы, напроць исключющие обвес и обмер. Они, в отличие от обычных торговых весов с резко колеблющейся стрелкой на шкале, отчетливо и ярко, точно на экране, высвечивали на табло не только вес покупки до единого грамма, но и ее стоимость до единой копейки.

Частые посетители магазина, в том числе и старик Шими, были в восторге от нововведения, чего нельзя было сказать о продавцах, у которых оно вызвало крайнее замешательство и тревогу. И они в сердцах прозвали новые весы “электронным дьяволом”.

Говорят, в первый же день, когда в магазине были установлены электронные весы, его работники, охваченные паникой, проклиная на чем свет стоит эту “бесовскую штуку”, разбежались все до единого, не дожидаясь даже конца рабочего дня. Первым, говорят, дал деру “ангелочек”, сбрасывая с себя на ходу замызганный халат, а за ним и вся компания.

Когда Шими узнал о поголовном бегстве работников магазина и то, чем оно было вызвано, он, говорят, особенного удивления не выразил, но многозначительно воскликнул:

— Побольше бы в наших магазинах таких “дьяволов” и поменьше бы таких “ангелов”, как эта продувная бестия мясник и иже с ним, чтоб им пусто было!..

Как Шими приняли за сумасшедшего

 равление колхоза в торжественной обстановке вручило Шими за хорошую работу бесплатную путевку в один из лучших кисловодских санаториев. От нарзанных ванн и целебного горного воздуха за время приятного отдыха старик Шими заметно посвежел и помолодел. И он в наилучшем настроении уже собирался было выехать домой, как с ним приключилась удивительная история, которую трудно даже себе представить.

Поезд, на котором должен был ехать наш курортник, опаздывал. В ожидании его Шими бесцельно слонялся по привокзальной площади, дымя трубкой. В конце площади, в одном из по-курортному красивых и нарядных киосков, продавали лотерейные билеты. Шими

никогда не интересовался лотереей — не верил в лотерейное счастье, по крайней мере для себя. Но от нечего делать подошел к толпившимся возле киоска людям и с легкой усмешкой стал наблюдать со стороны.

Билеты, как заметил Шими, продавались здесь какие-то необычные. Они были закрытые, свернутые в маленькие тоненькие прямоугольнички, с крохотной пломбой на ниточке. Самое интересное то, что тот, кто приобретал билет, мог тут же, не сходя с места, узнать, выпал на его билет выигрыш или нет. Для этого надо было лишь дернуть за ниточку, развернуть билет и прочесть, что в нем написано. Заинтригованный этим, Шими, вопреки своему убеждению, с озорной улыбкой подошел к маленькому окошку, за которым сидела молодая белокурая симпатичная девушка, и тоже купил лотерейный билет. Заранее уверенный в том, что рубль, заплаченный за него, выброшен на ветер, Шими тем не менее с интересом развернул билет и... не поверил глазам своим: он выиграл! Притом выиграл не какую-нибудь безделицу, а целую машину — “Волгу”!

Присутствующие — всё незнакомые люди, — разбираемые любопытством, окружили Шими и принялись дружно поздравлять его с выигрышем. Тесня друг друга, каждый старался хоть краешком глаза взглянуть на счастливый билет. А один шумный, косматый, подвыпивший парень, без одного переднего зуба во рту, с татуировкой на правой руке, весело визжа и громко восклицая, радостно обнимал Шими, точно отца родного, то и дело усердно хлопая его по груди, спине и бокам.

Наконец, когда подошел поезд, Шими, счастливый и радостно возбужденный, побежал искать свой вагон. Билет на поезд он купил заблаговременно, когда еще отдыхал в санатории, и заранее сообщил домой, в какой день, каким поездом выезжает и в каком вагоне следует его встречать. Подойдя к своему вагону, возле которого стоял толстый, огромного роста кондуктор со строгим начальственным видом, Шими полез в карман бешмета за кошельком, где должен был находиться билет, но, к своему большому огорчению, ничего там не обнаружил. Косматый парень без переднего зуба во рту и с татуировкой на руке, горячо обнимавший его в толпе, как потом догадался Шими, оказался ловким карманником. И старик поведал кондуктору о своей беде, о том, что у него пропал билет.

— Ничего, дед, — вдруг став приветливым, успокаивающе проговорил кондуктор, — не волнуйся, заплатишь — повезем, не оставим.

— В том-то и дело, товарищ начальник, — старик всех, кто носил форменную фуражку, независимо от чина, из уважения к их службе почтительно называл “начальником”, — билет-то у меня пропал вместе с кошельком...

И Шими тут же не без гордости начал объяснять ему, что пусть, пожалуйста, “товарищ начальник” не думает, что он какой-нибудь бродяга или непутевый человек. Он честный, порядочный гражданин, заслуженный колхозник, отец большого семейства. Его на вокзале будут встречать сыновья и внуки, которые знают, что он должен сегодня выехать этим поездом и этим вагоном. И что сразу по приезде на место он заплатит ему за билет, да еще в придачу отблагодарит.

Пока Шими ждал согласия кондуктора, лицо которого вновь приняло строгое и важное выражение, пассажиры, спеша и толкаясь, с чемоданами и узлами, а иные с детьми, стали подходить к вагону. Кондуктор, грубо отстранив Шими могучей рукой, недовольно предупредил:

— Не загромождайте дорогу пассажирам, гражданин! Не мешайте рабо-о-тать!

Шими не знал, что делать. Как только последний пассажир вошел в вагон, он сделал еще одну попытку уговорить кондуктора. Шими обещал отдать ему в качестве залога свою папаху. Правда, она у него простая, овечья, и далеко не первой свежести. Но она дорога ему: ведь мужчина носит папаху не для того, чтобы предохранять голову от жары или холода, а как символ мужской чести и достоинства...

— Да убирайся ты к чертям собачьим со своей па-а-пахой! — раздраженно крикнул на него кондуктор. — Вот еще! Пристал как банный лист!..

Шими с тяжелым сердцем отошел в сторону. До отправки поезда оставались считанные минуты. Он торопился скорее попасть домой, увидеть детей, обнять внуков, по которым за месяц сильно соскучился, и, конечно, обрадовать их приятной вестью о выигрыше. И вот вместо этого он вынужден топтаться тут и глядеть, как поезд уходит перед носом, оставляя его здесь, среди незнакомых людей, в чужом городе, без гроша в кармане... Кроме того, что подумают старуха, дети, если не встретят его этим поездом?..

Подгоняемый отчаянием, Шими, уловив момент, когда внимание кондуктора было отвлечено каким-то делом, с несвойственным для его возраста проворством прыгнул на подножку и быстро прошмыгнул в ва-

гон. Спеша и волнуясь, он зашел в первое попавшееся купе. Там сидели на нижних полках седая старушка с маленькой внучкой и молодой мужчина в очках, с раскрытой книгой в руке. Шими, недолго думая, крих-тя и охая, с трудом взобрался на верхнюю свободную полку и, положив под голову папаху, притворился спящим.

Не прошло и минуты, как поезд тронулся. Вскоре в купе вошел кондуктор. Удивленно посмотрев на Шими, он подошел к нему и стал его тормошить. Но Шими нарочно начал громко храпеть, будто спит без задних ног. Кондуктор, разгадав его хитрость, все же заставил его подняться. Он предложил ему немедленно освободить полку и последовать за ним. Шими, не двигаясь с места, посмотрел на него с затаенным страхом и ненавистью, как на самого Азраила. Он боялся, как бы этот черствый и безжалостный верзила не высадил его, старика, среди дороги. Рука Шими, помимо его воли, потянулась к нагрудному карману за лотерейным билетом. Мучаясь и страдая, словно вытаскивал из кармана не билет, а отрывал от себя живой кусок с мясом и кровью, он протянул его кондуктору, чтобы тот отстал от него. Несмотря на то что у Шими в эту самую минуту на сердце кошки скребли, он все же заставил себя мужественно улыбнуться и с деланной бодростью и великодушием сказал:

— Возьми, начальник!.. Дарю тебе целую “Волгу”, пишкеш⁹⁵!..

Кондуктор, ничего не понимая, несколько раз изумленно посмотрел то на лотерейный билет, то на Шими, а потом вдруг, от злости покраснев как рак, закричал своим громовым голосом, потрясая перед носом старика его лотерейным билетом:

— Ты что это, старый плут, мошенник?! Посмеяться надо мной вздумал?! Одурачить?! А ну слезай сию же минуту!.. Я тебе покажу “пишк-пишк”!..

Недоумевающие пассажиры в купе, узнав от разгневанного кондуктора, что старик вместо проездного билета подсунул ему лотерейный билет с “Волгой” — наверняка фальшивый, посмотрели в свою очередь на Шими с удивлением и осуждением. На возмущенный голос кондуктора, продолжавшего греметь как иерихонская труба по всему вагону, прибежали люди из других купе.

Сосед по купе, бережно положив книгу на полку, с медлительной важностью поднялся с места. Он взял у кондуктора лотерейный билет и, внимательно осмотрев его со всех сторон, загадочно улыбнулся, в не-

⁹⁵ Пишкеш — подарок.

доумении качая головой. Затем с видом всезнающего человека, обращаясь к набившимся в купе любопытствующим пассажирам, глубокомысленно изрек:

— Я, товарищи, как юрист могу по этому поводу дать следующее заключение. Если этот лотерейный билет с “Волгой”, который я сейчас держу в руках, поддельный, фальшивый, то предъявитель его, — он энергично ткнул пальцем, точно копьем, в сторону Шими, — безусловно, мошенник, притом закоренелый и очень опытный, а потому подлежащий суровому наказанию по известным статьям уголовного кодекса о взломщиках, фальшивомонетчиках и прочих наиболее социально опасных преступниках... Но если у него этот билет настоящий и он вместо обычного десятирублевого железнодорожного билета с легким сердцем отдает лотерейный билет такого достоинства, то этот человек, вне всякого сомнения, сумасшедший...

При этом мужчина в очках, прежде чем произнести слово “сумасшедший”, сделал короткую паузу и, с самодовольным видом оглядев присутствующих, выразительно покрутил указательным пальцем у своего виска.

После речи юриста старуха, пугливо косясь в сторону Шими, поспешно поднялась с места и, схватив внучку за руку, сразу покинула купе — подальше от греха. А сам Шими весь покрылся холодным потом. Оставив в чужих руках свой счастливый, вернее, злосчастный лотерейный билет, старик быстро схватил свою папаху и, прижав ее руками к животу, сделал такой страдальческий вид и скорчил на лице такую ужасную гримасу, которые ни у кого не должны были оставлять сомнения в том, что ему сейчас позарез нужно в туалет, иначе не миновать страшного греха со всеми вытекающими из этого последствиями...

Как только Шими удалось вырваться из купе, он побежал в конец вагона и заперся в туалете. Едва поезд остановился на ближайшем полустанке, где-то среди широкого пустынного поля, Шими тотчас же тихо, украдкой вышел из своего укрытия и через тамбур торопливо кинулся в соседний вагон. Спрыгнув через заднюю дверь на землю, он пустился бежать так, словно за ним гнались сами гъирхъэрамбошигъ⁹⁶. Лишь когда поезд тронулся и вскоре скрылся из виду, Шими немного успокоился, потом, заново переживая только что случившееся с ним, сокрушенно спросил себя:

⁹⁶ *Гъирхъэрамбошигъ* — сказочные сорок разбойников во главе с их атаманом.

— Кто же из нас троих, в конце концов, действительно сумасшедший? Верзила кондуктор, “четыреглазый” мужчина, назвавшийся юристом, или же я сам, разрази меня гром вместе с ними?!

Как Шими поймал председателя в железный капкан

екоторое время Шими работал заведующим колхозной птицефермой. Местность, где находилась ферма, была очень живописна. Вокруг сплошной зеленой стеной стоял густой лес, а на краю изумрудной поляны сверкал кишасший рыбой зеркальный проточный пруд, с разнообразными полевыми цветами вдоль берегов.

Шими был очень доволен своей работой. Единственное, что причиняло беспокойство и огорчение старику, — это воровские вылазки лис и шакалов. Незаметно подкрадываясь к птицам, они внезапно нападали на них и похищали каждый день по несколько кур и петухов.

Чтобы обезопасить птиц, Шими расставил повсюду железные капканы. Многие хищники, попадая в них, расплачивались за любовь к курятине своей шкурой. Постепенно они перестали охотиться за колхозными курами. Зато не проходило и недели, чтобы председатель колхоза или его заместитель не заглянули на ферму “отдохнуть” на лоне природы, а заодно полакомиться птичьим мясом. Нередко они привозили с собой за компанию своих кунаков и друзей из числа местного начальства.

Как-то раз Шими передали, что сегодня после полудня председатель собирается приехать к нему в гости с районным прокурором, председателем райисполкома и вторым секретарем райкома партии. И что он велел, чтобы Шими не ударил в грязь лицом перед уважаемыми гостями, пусть постарается как следует: приготовит жареную и вареную курятину, наловит рыбки в пруде и сварит ароматную ушицу, поставит большой кувшин прохладного красного винца, словом, все, что надо...

Но Шими, вместо того чтобы приступить к исполнению указания председателя, недолго думая, расставил несколько железных капканов вдоль дороги, перед входом на ферму, где обычно останавливалась председательская машина, и тщательно замаскировал их.

Но гости почему-то задерживались. Как только наступили сумерки и на небе неясно обозначился круглый диск луны, Шими загнал птиц в помещение, а сам прилег на топчан отдохнуть. Едва он, порядком уставший за день, забылся сном, как был разбужен громкими криками и воплями: люди за воротами фермы кричали так, словно с них заживо сдирали кожу, и на чем свет стоит ругали и поносили Шими. Громче и отчаяннее всех кричал председатель колхоза.

Шими, сонный, усталый, охая и зевая, медленно встал и не спеша направился к воротам. Как только он приблизился к непрошеным гостям, те, корчась от нестерпимой боли, стали в один голос орать на него:

- Кто на середине дороги ставит капканы, старый осел?!
- Куда твои глаза смотрели, слепец?
- Спятил, что ли, на старости лет, чтоб ты провалился!..

Шими молча выслушал их, а потом сказал:

— Клянусь вашей жизнью, почтенные, я установил капканы на дороге не потому, что я осел, слепой или спятил с ума на старости лет, как вы думаете. Дело в том, что четвероногих любителей даровой курятины с помощью этих капканов я, слава Богу, отвадил охотиться за колхозными курами. Теперь я их решил испробовать против двуногих... Вот и вся разгадка.

Шайтан



Жена Шими была женщина суеверная и мнительная. Как-то раз ей приснился шайтан. Задрав вверх козлиную бородку и бойко вертя волосатым, длинным, как у мартышки, хвостом, он долго крутился у них во дворе: паясничал, приплясывая, строил всякие гримасы, ужимки. Но самое ужасное было то, что ее благоверный, сбитый с толку проклятым шайтаном, несмотря на свой почтенный возраст и седую бороду, тоже не отставал от него, подражая ему во всем. А между ним и шайтаном, подняв хвост трубой, радостно взвизгивая, прыгала на задних ногах их дворовая собака.

Проснувшись, жена долго не могла успокоиться: встреча во сне с шайтаном считалась дурным предзнаменованием. Она разбудила мужа и рассказала ему о том, что ей приснилось.

— Как бы этот дурной сон не принес нам беды, не произошло бы с тобой несчастья, — сказала она с тревогой.

— Э-э-э! Чепуха... — скребя волосатый подбородок, сонно пробормотал Шими и тут же равнодушно повернулся на другой бок.

— Нет, пока я не пойду к фолчи⁹⁷ и он не истолкует мне этот сон, пока не напишет своей рукой талисман и не отведет от тебя беду, я не успокоюсь, — продолжала твердить свое старуха, а потом, вздохнув, прибавила, точно рассуждая вслух: — Но к фолчи с пустыми руками не пойдешь, придется пожертвовать нашей индюшкой; жалко, конечно, но что делать?..

Как только Шими услышал об индюшке, которую он купил недавно и собственноручно откармливал, чтобы потом зарезать на праздник, у него сразу пропал сон.

— Ай, жена, клянусь прахом твоего отца, все эти сны сами по себе ничего не значат, — принялся он увещевать и вразумлять жену. — Сны видят не только люди, но и птицы и животные. Курице, например, обычно снится зерно, кошке — мышь, собаке — кость, а моему похотливому ослу — его подруга — у кого что на уме. А с чего тебе приснился шайтан — ума не приложу! Прошу тебя, не делай глупости — не ходи к этому шарлатану, не губи зря нашу индюшку.

Но жена не вняла доброму совету мужа. Она встала, оделась на скорую руку, захватила индюшку и поспешно отправилась за спасительным талисманом.

Часа через два жена вернулась довольная и веселая. Увидев Шими, дожидавшегося ее во дворе, она с радостной улыбкой протянула ему маленький талисман, зашитый в пеструю тряпку.

— Надень его себе на шею, чтобы шайтан, чтоб он сгинул, не приставал к тебе, — произнесла жена.

Шими, не сказав ни слова, взял талисман и, тут же поймав собаку, привязал его ей на шею.

— Ай, муж, побойся Бога, что ты делаешь?! — закричала жена в ужасе. — Кто вешает на шею собаке талисман с заклинаниями, за который я заплатила целую индюшку? О горе! Скажи, где ты пропадал, когда Бог раздавал людям ум-разум?

— Ай, жена, зря ты кипятишься, ей-богу, — возразил Шими. — Этот талисман ей, нашей собачке, нужнее, чем мне. В отличие от меня

⁹⁷ Фолчи — гадальщик, гадальщица.

она день и ночь во дворе. Если шайтан еще раз вздумает пожаловать к нам, то собака первой увидит его. И он, заметив талисман у нее на шее, сразу убежит за версту. А что касается того, где я пропадал, когда Бог раздавал людям ум-разум, то, наверно, был занят тобой, поэтому я лишился этого божьего дара. Будь я, несчастный, с умом-разумом, разве я женился бы на такой дуре, как ты!..

Взгляд в будущее

*Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?*

Омар Хайям

 один из воскресных дней Шими вышел погулять со своим тринадцатилетним сыном. Мальчик все время увлеченно, без умолку говорил что-то отцу жестикулируя, забывая при этом глядеть себе под ноги и по сторонам. Из-за этого он то и дело спотыкался, а один раз упал в придорожную канаву, испачкав себе одежду, в другой — чуть не угодил под колеса мчавшейся на полной скорости машины. Шими сердился на него, но молчал.

Когда отец и сын подошли к городскому скверу, куда они направлялись, то встретили одного дряхлого старика с согбенной спиной. Он шел медленно, опираясь на палку, с трудом волоча ноги и тяжело дыша. Лицо старика было серым, изборождено глубокими морщинами, воспаленные, выцветшие глаза все время слезились, словно он шел и беззвучно плакал над своей старческой немощью. Шими при виде его вдруг охватило глубокое волнение. Он, застыв на месте, долго смотрел ему вслед погрузневшим взглядом. Шими хорошо помнил этого старика, некогда знаменитого пехлевана-богатыря, притом одного из самых красивых мужчин, каких ему довелось видеть за всю жизнь. Тогда его черные глаза горели радостным блеском и отвагой, вся его мощная и вместе с тем стройная фигура, точно отлитая из стали, дышала несокрушимым здоровьем и недюжинной силой, а когда он ступал, гордо и твердо, казалось, земля звенела под его ногами.

— Пап, ты чего засмотрелся на этого старикана? — нетерпеливо дернув отца за рукав, произнес мальчик, которому хотелось поболтать. — Пойдем же!..

Шими вздохнул, а потом печально промолвил:

— Я, сынок, смотрю в свое будущее, если, конечно, доживу до возраста этого старика.

— Нет, пап, ты не прав! — весело возразил мальчик. — Будущее человека — это холмик с надгробным камнем, а за этим будущим есть еще и другое будущее — ни холмика, ни надгробного камня, ни памяти о нем — словом, ничего.

Шими был неприятно поражен замечанием мальчика. Он невольно подумал, что сын, видно, слышал эти слова от какого-нибудь умника или кто-то рассказал ему сказку, заключающую в себе такую печальную мысль. И он вдруг, рассердившись, закатил сыну звонкий подзатыльник. Мальчик, который скорее ожидал от отца если не похвалы, то по крайней мере одобрения за такое “умное суждение”, потирая рукой шею, плачущим, протестующим голосом вскричал:

— За что?!

— За что? Ты лучше, негодник, смотри себе под ноги и вокруг, чтобы не спотыкаться на каждом шагу, как слепец, чем так далеко смотреть в... будущее, — произнес разозленный отец.

Вылечился от слепоты



Сына одного из близких знакомых Шими назначили каким-то большим начальником. Шими хорошо знал этого молодого человека. Держался он очень скромно, был уважителен к старшим, с большим почтением относился к друзьям своего отца, особенно к Шими. И Шими был рад его назначению.

Но после того как он стал хакимом, в характере и поведении молодого человека начали происходить явные перемены. А вскоре от его прежней скромности не осталось и следа. Он ходил важно, задирая нос, не замечая никого вокруг. Даже при встрече с Шими он делал вид, что не видит его, точно в такие минуты на него находила слепота. Шими в душе возмущался, но гордо молчал.

Зато молодой начальник сразу преображался при встрече с че-

ловеком выше себя “по чину”: рассыпался перед ним мелким бисером, подобострастно улыбался, сгибаясь в почтительном поклоне.

Но не долго пришлось зазнавшемуся выскочке оставаться на должности. За какие-то неблагоприятные дела и злоупотребления по службе ему дали, как говорится, по шапке.

На второй день после этого несостоявшийся начальник как-то вновь встретил старика Шими. На этот раз он сразу поспешил к нему с протянутыми для приветствия руками, всем своим обликом выражая почтение и радость по случаю встречи с ним, как это он делал всегда, пока не ходил в начальниках. Но старик Шими, не отвечая на его приветствие, тут же повернулся к нему спиной и, молитвенно воздев кверху руки и глаза, громко воскликнул:

— Слава тебе, Господи, что Ты вернул этому человеку зрение, вылечил его от слепоты!..

Как Шими “разводился” со своей старухой

(Второе письмо Шими автору)

ир и здравие тебе, сын мой!.. Не знаю, как и с чего начать, — голова кругом идет. Такая беда со мной стряслась — хоть волком вой! Виновата во всем моя старуха, ой, да чтоб ее трясла болотная лихорадка! Сказано же: “От жены начало греха, и через нее все мы пропадем”, пропади она пропадом! Но я постараюсь взять себя в руки и рассказать тебе все как можно короче и по порядку. Вот послушай.

Последние два года, как ты знаешь, я работал заведующим колхозной животноводческой фермой. Хотя по закону я давно пенсионер, и, казалось бы, чего мне, старому, нужно? Сиди дома, копайся потихоньку в своем огороде, забавляйся с внучатами, дай бог им здоровья, болтай со своей старухой о всякой всячине и не суй свой нос куда не следует. Но мне, будь я неладен, не сидится дома, точно бес в меня вселился. Знаешь, с другой стороны, меня тоже можно понять. Всю жизнь привык на работе, с людьми, а со старухой я и раньше не находил общего языка. Люди мы совсем разные, хоть столько лет муж и жена... Но

не об этом сейчас разговор. Я хочу сказать, что пенсионером я числюсь только на бумаге, а все эти годы продолжаю работать.

Ты, наверно, про себя думаешь: ну что, мол, тут плохого? При чем тут твоя старуха, “болотная лихорадка”, “начало греха” и все такое прочее?.. А я, сын мой, не говорю, Боже упаси, что плохо. Наоборот. Я рад, что у меня, несмотря на преклонные годы, есть еще, как говорится, порох в пороховницах — могу работать. А что касается ее, моей старухи, вот о ней сейчас я и поведу речь.

Позавчера утром приезжаю верхом на своем осле с фермы домой, чтобы прихватить табак для кальяна, сменное белье и еще кое-что необходимое, поцеловать своих милых внуков и тут же, в добрый час, вернуться обратно на ферму. Открываю калитку, смотрю: что за черт? Никак моя старуха взбесилась или сошла с ума? Одной рукой размахивая железным вертелом, точно шпагой, а другой, извини, — своей просторной юбкой, она в сильном возбуждении гоняется за нашим красным теленком по двору и кричит как оглашенная.

Я подхожу к ней, с трудом останавливаю ее и спрашиваю:

— Ай, жена, что все это значит? Почему ты такой харман⁹⁸ устроила во дворе?!

Старуха моя, еле переводя дух, указывает своей “шпагой”, то бишь вертелом, на взмокшего теленка, у которого от долгого бега бока ходили как кузнечные мехи, и чуть ли не со слезами в голосе говорит:

— Да чтоб он сдох! Не теленок, а сущий разбойник и чудовище какое-то! — и, потрясая перед моим носом, извини опять, своей юбкой, добавляет: — Повесила на веревке свою новую праздничную юбку, а он, проклятый, половину ее съел...

Я только сейчас заметил изжеванные и изорванные края, извини, жениной юбки. Но не успел я и рта раскрыть, как она, моя благоверная, поставила мне, как сказали бы в таком случае вы, ученые люди, “ути-батум”: или я сейчас же пойду в магазин и куплю ей подходящий материал для ее новой, извини опять, юбки, или же она сживет со света эту “зловредную скотину”, то есть нашего красного теленка.

С моей старухой, ты знаешь, лучше не спорить — жизни рад не будешь. Наши женщины обычно такие послушные, сговорчивые, муж для них Бог и царь. А эта!.. Именно мне должно было выпасть “счастье”

⁹⁸ Харман — ток, где по кругу гоняют одну или несколько лошадей с молотильными досками для обмолота зерна.

стать ее мужем... Одним словом, пока я шлялся по магазинам, а затем на своем ослике добирался до фермы (от города до нее как-никак десять километров), там произошло такое столпотворение, какое может при-
сниться человеку только в кошмарном сне.

В то самое время, когда пастух собирался вести стадо на водопой, у него вдруг неожиданно прихватило живот. День был жаркий, хоть яич-
ницу жарь на солнце. Пока пастух сидел в кустах и тужился, истомлен-
ные жаждой животные, не дождавшись его, сами, следуя друг за дру-
жкой, поплелись к ручейку, что течет неподалеку от фермы. Поистине:
“Когда волк забредает в отару, чабана тянет по нужде”. А перед этим,
как на грех, на винзаводе соседнего совхоза из огромной цистерны хлы-
нул, как вино из прорвавшегося бурдюка, коньячный спирт прямо в ру-
чей, из которого животные пили воду.

Не знаю, одни говорят, что это произошло по чистой случайности,
а другие — наоборот: содержимое в цистерне оказалось, мол, лишним,
ни в каких документах не зарегистрированным и предназначено для про-
дажи “налево”. Поскольку в это время в колхоз неожиданно нагряну-
ли ревизоры, оказавшиеся в отличие от иных своих коллег на редкость
честными и неподкупными, работники винзавода решили любым пу-
тем избавиться от этой “лишней” цистерны, подвели к ней пожарный
шланг и весь спирт, содержащийся в ней, без шума, шито-крыто, вы-
лили в ручей.

И вот мои бедные животные после такого “водопоя” стали как очу-
мелые. Козел сразу, возомнив себя Бог знает кем, пошел драться с буй-
волом. Быки сошлись между собой в яростной схватке и начали бодать-
ся, с грохотом ломая друг другу рога. Коровы сбились в кучу и, задрав
кверху пьяные морды, затеяли такой хоровод, что их разноголосое, но
дружное мычание я услышал еще за версту не доезжая до фермы.

Как раз в разгар происшествия черт принес на ферму нашего пред-
седателя, который зол на меня как сатана, а почему — потом узнаешь.
Приехав на ферму и увидев воочию такие чудеса, он сразу кинулся ис-
кать пастуха — пастуха нет (он все еще сидит в кустах, как несущка
на соломе), ищет меня — и меня нет. Тогда председатель взялся сам,
один на свой страх и риск наводить порядок. Схватив большую пал-
ку, он давай без разбору колошматить ею “пьяных дебоширов”, пыта-
ясь загнать их в коровник и запереть там, пока они не протрезвеют, тем
более что некоторые животные, воспользовавшись отсутствием пасту-
ха, изрядно потоптали кукурузное поле, находящееся рядом с водопоем.

А животные в свою очередь, то ли под винными парами, то ли вспомнив свою кровную обиду на председателя (что за обида — узнаешь потом), оставили свои затеи и, выставив вперед рога, с угрожающим ревом кинулись на него. А председатель, понятно, испугавшись не на шутку взбунтовавшихся быков и коров, бросил палку — и дай Бог ноги.

Теперь самый раз рассказать тебе, почему председатель, чтоб он провалился, еще раньше, до этой “пьяной свалки” животных на ферме, невзлюбил меня как своего врага и что за обида у животных на него, о которой я только что упомянул.

Но для этого сначала я должен, сын мой, поставить тебя в известность, что надоев от наших буренушек кот наплакал. Откуда же быть высоким надоям, если бедная скотина питается одним подножным кормом или сухим сеном и соломой: ни тебе силоса, ни комбикормов. Который год силосная яма на ферме пустует, как, извини, желудок правоверного в дни святого поста. А разговоров о силосе хоть отбавляй. Редкое проходит у нас колхозное собрание, чтоб наш председатель не заговорил о сочных кормах, о том, как надо повысить надои. Но он говорит одно, а делает другое. Хозяйство у нас, как ты знаешь, садововиноградарское, а животноводство вроде сбоку припека.

Я обо всем этом рассказал недавно на районном совещании животноводов. Наверно, там были и ребята из газеты. Вскоре в ней появилась эта самая “каркатура” на нашего председателя, как он, стоя на краю огромной пустой силосной ямы, засучив рукава, железными вилами швыряет в нее вместо зеленой массы ворохи бумаг со своими речами и решениями правления колхоза о заготовке силоса, увеличении надоев... А тут не прошло и двух недель после того, как случилась эта самая “массовая пьянка” моих коров и быков, во время которой наш председатель едва спасся бегством.

В тот же день председатель, вернувшись в контору, первым делом распорядился отстранить меня от должности завфермой и обязать возместить ущерб, нанесенный колхозной кукурузе.

На следующее утро я выехал домой расстроенный и злой. Но больше всех я был зол на свою старуху, пропади она пропадом со своей злополучной, извини, выходной юбкой. Ведь приди я в тот день хотя бы на час раньше, вся эта кутерьма могла бы не произойти.

Чтобы облегчить душу и утешить свою старуху, я решил нарочно дать ей талогъ по обычаю. Для мужчины дать жене талогъ, сам знаешь, пара пустяков. Объявил ей талогъ или написал от руки разводное пись-

мо о том, что, я, мол, твой муж, увольняю, удаляю тебя, короче — даю по шапке, — и все тут. А она, моя старуха, женщина набожная, признает браки и разводы только по обычаю.

Когда я передал ей разводное письмо и сказал, что там написано, я-то по простоте своей думал, что она, узнав об этом, сразу испугается, будет просить, умолять меня не делать этого, не срамить ее на старости лет перед детьми и людьми. А она, едва выслушав меня, уперла руки в боки, как гуччи⁹⁹, и как пошла честить и бранить меня.

— Кого, говорит, это ты хочешь увольнять-удалять, рожа твоя бесстыжая? Я не прислуга в этом доме, а хозяйка! Коли, говорит, пришла тебе такая блажь в голову или на старости вздумал взбеситься — взять себе молодую жену, — сам убирайся на все четыре стороны!..

И она тут же бесцеремонно выставила меня за дверь и с того дня близко на порог не пускает... Одним словом, чего тут долго тянуть, со мной и на этот раз получилось как в известной поговорке: “Думаешь, поймал, а смотришь — сам попался”.

Прошу, молю тебя, сын мой, ради нашей многолетней дружбы, как получишь это письмо, оставь все свои дела и мчись сюда как на пожар, помири жену со мной. Старуха никого не слушает, а тебя она уважает, любит как родного. Может, тебе удастся уговорить, уломать эту строптивую женщину. Вся надежда на тебя.

До скорой встречи. Остаюсь твой преданный по гроб жизни

Шими Дербенди

Каждый сам себя лучше знает



Однажды в летний вечер, после короткого, но шумного проливного дождя, Шими вышел из дому прогуляться на свежем воздухе. Пройдя несколько шагов, он неожиданно натолкнулся на пьяного, который растянулся на мокром тротуаре, прямо среди лужи, и громко храпел во сне. Шими сразу узнал в нем известного в городе выпивоху, от которого вечно плакали его бедная жена и дети. Возле него озабоченно хлопотал молоденький милиционер. Склонившись над ним и тряся его за плечо, он просил, умолял его,

⁹⁹ Гуччи — сорвиголова.

чтобы тот проснулся и отправился с ним домой. Но пьяный был в таком бесчувственном состоянии, что, казалось, бухни сейчас из пушки над его головой, он и тогда не пошевелится.

— Ай, сынок, зачем ты его напрасно уговариваешь? — обратился Шими к милиционеру. — Если бы этот несчастный мог подняться и пойти на своих ногах, он это сделал бы и без твоей помощи. И дорогу домой сам бы нашел — не слепой и не маленький.

Милиционер выпрямился, посмотрел на Шими и растерянно произнес:

— А что делать?

— Ничего не надо делать, — твердо произнес Шими. — Как лежит, так пусть и лежит до утра. Ночь теплая, короткая; поверь мне, ничего с ним не сделается. Зато утром, когда он проснется с большой головой и увидит себя валяющимся в луже, ему, может, станет стыдно, в другой раз он этого не делает.

— Может, оно и так, как вы говорите, — озадаченно произнес молоденький милиционер, — но все-таки, все-таки человек же он, а не, извините, хрюшка какая-нибудь.

— Ему, сынок, видно, лучше знать, кто он такой, — с грустной усмешкой возразил Шими. — Иначе разве он предпочел бы мутную лужу на открытой улице мягкой чистой постели у себя дома?..

Ослон поехал, ослон приехал



Один молодой парень, родственник Шими, с ветром в голове, на папины денежки отправился путешествовать по Европе. Когда он вернулся на родину, домой, то всех поразил своим внешним видом: на нем была пестрая рубашка с изображением каких-то ползучих гадов и диких зверей, короткие штаны выше колен, а длинные, косматые волосы как у странствующего дервиша.

Старик Шими, не скрывая своей неприязни к его наряду, все же решил спросить у него, как выглядят страны, где ему удалось побывать, каковы обычаи и нравы населяющих их народов, что он заметил там хорошего, достойного внимания и похвалы, а что плохого, заслуживающего сожаления. “Путешественник” так и не смог ответить толком на вопросы любопытного старика. Зато восторженно и многословно принялся рас-

сказывать о ночных кабаре и других элачных местах, где он ел, пил, веселился, о новых тогда прическах и танцах: шейке, джерке, халли-галли. Не зря же говорится: “Умный скажет, что он видел, а дурной — что ел и пил”.

На следующий день один из знакомых стариков, встретив Шими на улице, спросил:

— Ай, Шими, говорят, твой родственник ездил в заморские края. Что он там видел, слышал?

Шими, нахмутив брови, сердито сказал:

— Ничего не видел, ничего не слышал: ослом поехал, ослом приехал, только сбрую сменил...

“На брыканне осла не обижаются”

Водно ясное майское утро Шими один прогуливался в городском саду, дымя кальяном. Он с блаженной улыбкой на лице прислушивался к веселым птичьим голосам, радостно смотрел на синее чистое небо, наслаждался видом ярких цветов и изумрудной травы, что пестрым ковром расстелились вокруг деревьев, и, вдыхая их аромат, думал о том, как прекрасен божий мир. И как жаль, что жизнь человеческая очень коротка, поэтому тем более обидно, что, несмотря на эту очевидную истину, есть люди, которые забывают об этом и творят дурные дела, причиняющие другим боль, зло, огорчение. Нередко они это делают из эгоизма или из-за своего скверного характера, а то и просто от глупости.

В это самое время, когда под впечатлением чудесного весеннего утра лирически настроенный Шими рассуждал о высоких материях, предаваясь возвышенным мыслям, он вдруг почувствовал, как кто-то грубо ударил его ногой в зад, и тут же услышал за своей спиной чей-то громкий самодовольный смех. От неожиданного удара изо рта выпала трубка, а сам Шими едва удержался на ногах. Чудесное и вместе с тем слегка грустное настроение, в котором он только что пребывал, сразу покинуло его. Удивленный и рассерженный, Шими повернулся назад и увидел перед собой какого-то подвыпившего и весело хохочущего молодого человека. Но тот, взглянув на Шими, сразу обомлел и принялся просить у него прощения.

— Дядя Шими, не обижайтесь на меня, — со смущенной, виноватой улыбкой проговорил он, отдавая Шими сивушным перега-

ром, — я сзади принял вас за своего дружка-приятеля, с которым мы частенько подгуливаем. Я просто хотел подшутить над ним.

— А мне показалось, что меня брыкнул осел, — произнес Шими, едва скрывая досаду, и, немного подумав, добавил: — А на брыкание осла не обижаются.

“Один лает, другой кукарекает”



Шими и его сосед, как и положено близким соседям, жили в дружбе и добром согласии, делились между собой своими радостями и горестями, нередко оказывали друг другу разные услуги. Но с некоторых пор между ними пробежала черная кошка, и этой злополучной “кошкой” оказалась собака, которую сосед завел у себя во дворе. В отличие от прочих дворовых собак она как начинала с вечера лаять, так и продолжала до самого утра. Больше того, пес взял за привычку по ночам забираться к Шими во двор и протяжно выть прямо под окнами его спальни, точно в доме находился умирающий больной или покойник. Разбуженный среди ночи, Шими как ужаленный вскакивал с постели и метался по комнате, не в состоянии уснуть, а потом весь день чувствовал себя разбитым и ходил словно в воду опущенный.

Несколько раз Шими жаловался соседу на его собаку, но тот, не желая расставаться с ней или просто считая сетования Шими обычным старческим брюзжанием, пропускал все мимо ушей.

Один раз ночью, окончательно выведенный из себя очередной собачьей “серенадой” под своим окном, Шими вскочил с постели, схватил на кухне швабру и, несмотря на ночную прохладу, выбежал во двор в одном исподнем, чтобы порядком наказать осточертевшую собаку. Когда Шими в гневе замахнулся шваброй на пса, тот, ловко увернувшись от удара, забежал сзади и укусил его за ляжку.

Сосед Шими на следующий день, узнав об этом происшествии, вместо того чтобы извиниться перед стариком, выразить сожаление, злорадствовал, посмеиваясь, да еще и в разговоре с другими, не боясь греха, преподносил дело так, будто в этой злополучной истории виноват сам Шими, а не его полоумный пес.

После этого Шими, затаив обиду на соседа, перестал с ним раз-

говаривать и решил отомстить ему. Орудием своей мести Шими избрал своего красноперого петуха, очень горластого, задиристого и любвеобильного. К ночи он поил петуха вином, затем забирался с ним на высокое дерево, что росло в углу его двора, возвышаясь над крышей соседского дома. Привязав петуха за ногу к ветке дерева, Шими оставлял его там до утра. И пьяный петух, под воздействием винных паров, потеряв ощущение времени, без умолку кукарекал всю ночь над самым ухом соседа, не давая ему спать.

Петух за короткое время так пристрастился к вину, что стал горьким пьяницей. Устав до изнеможения, оттого что бодрствовал до утра, надрывая горло, он почти весь день обессиленно дремал возле курятника, потеряв интерес к своим многочисленным подругам. Зато вечером, наевшись до отвала и напившись в дрезину, он с новой силой всю ночь напролет кричал как оглашенный над крышей соседского дома.

Однажды, спустя много дней после того случая, между друзьями Шими, коротавшими время в городском сквере за непринужденной беседой, как-то зашел разговор о соседях. Каждый говорил что-то хорошее, приятное о своем соседе. Один только Шими молчал, точно воды в рот набрав.

— Ай, Шими, что ты молчишь, не скажешь, каков твой сосед, как живешь с ним, довольны ли вы друг другом? — спросил его один из друзей.

— Как живем? — переспросил Шими, сурово нахмурившись. — Жили когда-то как нормальные люди и добрые соседи, а сейчас живем так: один всю ночь до утра лает, а другой — кукарекает.

«С волком овцу съел, а с хозяином плачет»¹⁰⁰

огда Шими одно время работал заведующим колхозной птицефермой, с ним приключилась еще и такая история. Однажды ночью, когда он спал без задних ног и видел приятные сны, волк забрался в хлев и задрал его осла. Шими узнал об этом на следующее утро, когда пришел проведать осла и задать ему корму. Его дворовый пес, прозванный им за острую морду, ры-

¹⁰⁰ Пословица.

жую масть и хитрые повадки Тульки¹⁰¹, в этот момент с красной от крови мордой жадно доедал то, что осталось от несчастной скотины.

Охваченный яростью, Шими забежал обратно в дом, схватил свое старое одноствольное охотничье ружье с потрескавшимся прикладом и бросился на собаку. Та, заметив в руках хозяина ружье и видя свирепое выражение лица, сразу почуяла угрозу для своей жизни. Сорвавшись с места, Тульки с жалобным визгом и хриплым лаем, поджав хвост, пустилась бежать во все лопатки.

Шими, бегая за собакой, на ходу вскинул ружье, готовясь выстрелить, но жена, которая тоже в это время находилась на ферме, догнала мужа и в ту самую минуту, когда Шими должен был произвести выстрел, схватила его сзади за подол бешмета. Выстрел прозвучал, но пуля, как в шутку говорят солдаты, “пошла за молоком”. Шими, злой, сердитый, со взъерошенными усами и бородой, резко повернулся к жене и принялся ругать ее.

— Ай, жена, да чтоб ты провалилась! — вскричал Шими в сердцах.
— Почему ты не дала мне порешить этого проклятого пса, отомстить ему за нашего осла?!

— Ай, муж, волк съел осла, зачем из-за этого собака должна расплачиваться своей жизнью? — ответила жена.

Ее слова еще больше разозлили Шими.

— А потому, глупая ты женщина, — возражая ей, запальчиво произнес старик, — если дерево перестает плодоносить, то его срубают на дрова, если кошка не ловит мышей, ее прогоняют, а если собака не сторожит добра своего хозяина, ее бьют или убивают. — И Шими, ударив себя кулаком в грудь, со злой решимостью добавил: — И я убью этого дрянного пса!

На следующее утро Шими, все еще удрученный и подавленный, вышел во двор и устало опустил на край веранды. Тульки нигде не было видно. Да он и не искал ее, не думал о ней. Гнев на собаку уже почти остыл, но тяжесть от потери любимого осла, который умер лютой смертью, наполнила душу Шими щемящей болью и острой жалостью, на глаза навёртывались непослушные слёзы.

Вдруг недалеко показалась Тульки. Она, увидев хозяина, не повернула назад, не убежала, а сразу легла на живот и замерла в напряженном ожидании. Но, видя, что хозяин не кричит, не прогоняет ее,

¹⁰¹ Тульки — лиса, лис — воплощение хитрости.

Тульки сначала робко, а потом смелее принялась ползти к нему, виновато, заискивающе глядя в глаза хозяину и приветливо махая хвостом. Поняв, что хозяин сейчас хоть и очень печален, но не настроен враждебно и ей ничего особенного не грозит, она подступила к нему вплотную и села напротив Шими. Подняв кверху острую лисью морду и время от времени соболезнующе глядя в печальные глаза хозяина, Тульки завывала громко, жалобно и тоскливо, с рыданием в голосе, точно оплакивала с ним его погибшего осла.

Даже Шими, хорошо знавший лисий нрав своего пса, был немало удивлен этим его нахальным и бесстыжим поведением. И он не злобно, но с обидой и упреком сказал псу, точно разговаривал не с бессловесным животным, а с человеком, полным хитрости, лицемерия и коварства:

— Ай, Тульки, да чтоб ты сдохла! Почему ты, окаянная, не выла, не лаяла вчера ночью, когда волк забрался к нам во двор, напал на осла? Про таких, как ты, видно, говорится: “С волком овцу съел, а с хозяином плачет”...

Как Шими получил золотой червонец за то, что поцеловал великую княгиню



тот небывалый случай произошел в разгар Первой мировой войны, летом тысяча девятьсот шестнадцатого года, когда в древний Дербент пожаловал двоюродный брат царя — великий князь, генерал от кавалерии — для проверки боеготовности и инспектирования войск Дербентского гарнизона¹⁰².

Очевидцы рассказывали, что это был человек картинной и внушительной внешности: высокий, осанистый, статный, с огромными, загнутыми

¹⁰² Из-за постоянных сложных отношений России со своими южными соседями — султанской Турцией и шахским Ираном, — нередко выливавшихся в кровопролитные войны, русские цари держали в Дербенте крупный гарнизон. Отсюда часто перебрасывались прошедшие хорошую военную подготовку полки и батальоны для участия в боевых действиях на русско-турецком или русско-персидском фронте. Потому Дербентский военный гарнизон находился под особым контролем и попечением военного министерства царской России.

тыми, как бараньи рога, усищами, длинными густыми бакенбардами, с надменным и чуть грозным лицом. Его богатырскую грудь, увешанную орденами, украшала широкая голубая шелковая лента поверх блестящего парадного мундира.

Приехал его высочество не один, а со своей супругой, немецкой княгиней, которая за много лет замужества за членом русской императорской фамилии так и не научилась или просто не захотела выучиться более-менее сносно изъясняться по-русски. В отличие от великого князя, его супруга, молодящаяся дама лет пятидесяти, была невысокого роста, притом пышная, белолицая и разрумяненная, с мягкими чертами лица и приветливой улыбкой на алых губах. Ввиду очень жаркой погоды она была одета в тонкое белое шелковое платье без рукавов, с глубоким вырезом, обнажавшим ее высокую грудь, а белокурая голова с длинными локонами ничем не прикрыта.

От вокзала до центра города высокородные супруги шли под руку, под звон церковных колоколов, в торжественном сопровождении гарнизонного оркестра, генерал-губернатора Дагестанской области, группы офицеров, представителей городской власти и местной знати. За ними увивалась большая, беспорядочная любопытная толпа обывателей и зевак, среди которых был и молодой батрак Шими.

Весь облик и поведение жены великого князя вызывали у Шими искреннее изумление. Он первый раз в жизни видел, чтобы женщина ходила под руку с мужчиной, пусть даже этот мужчина — её муж, с оголенными руками, открытой грудью и непокрытой головой.

Ещё больше поразился Шими, когда кто-то в толпе начал с самым серьезным видом рассказывать, что ее высочество ест и пьет за одним столом с посторонними мужчинами. При муже она любезничает с ними, танцует в обнимку, позволяет им целовать свою руку и даже щеки, строит глазки. А он, как ни странно, несмотря на свое царское происхождение и грозный вид, не только не возмущается этим, не прогоняет бесстыжую жену, не дает ей талогъ, но и весьма благосклонно относится к таким ее непристойным выходкам и причудам. И самое удивительное то, что ему все это как будто даже нравится.

“А что, если и я пойду поцелую эту ветреную мотишке¹⁰³? Может, ее муж даже деньги за это заплатит мне, бедному человеку?” — с весе-

¹⁰³ Слово “мотишке” в татском и некоторых языках народов Дагестана, видимо, происходит от русского слова “матушка”.

лым озорством подумал Шими. И он тут же решил осуществить свое намерение.

Надо сказать, что при всем своем чудачестве и при том, что он сейчас увидел и услышал, Шими наверняка не рискнул бы так безрассудно поступить, если бы накануне, в духане, не пропустил несколько стаканчиков крепкого вина, которым угостил его один щедрый знакомый. Поэтому сейчас Шими был сильно под мухой, а пьяный человек, как говорится, сродни сумасшедшему.

Охваченный дерзостной, но заманчивой мыслью, Шими со всей энергией молодости, стремительно прорвавшись сквозь густую толпу, подскочил к пышнотелой жене великого князя и, схватив ее в объятия, с жаром поцеловал в обе щеки. Но в ту же минуту, увидев над своей головой обнаженные сабли разъяренных офицеров, угрожавших ему расправой на месте, Шими от страха моментально отрезвел и тут же, уронив голову на грудь женщины, принялся громко выть и причитать, приводя всех в еще большее изумление.

Из того, что говорил Шими сквозь рыдания, можно было понять, что у него была холе¹⁰⁴, которая недавно ушла в лучший мир. Она была такой же небесной красоты, как ханум-мотишке, и очень, как две половинки одного прекрасного яблока, на нее похожа; он, Шими, любил ее как родную мать. Поэтому, когда он увидел ханум-матушку, был так взволнован, что неудержимая сила потянула его к ней...

Немецкая жена великого князя — несмотря на присутствие рядом мужа, brave генерала и группы вооруженных офицеров, — которая еще минуту назад едва не лишилась чувств от страха и не задохнулась не столько от железных объятий этого дикаря, сколько от мерзкого запаха пота, прокисшего овечьего сыра, чеснока и уксуса, исходящего от грязной, рваной одежды Шими, и особенно от его лохматой бараньей папахи, тут же простила ему его проступок.

Будучи, видно, женщиной доброй, мягкосердечной, доверчивой и сентиментальной, она все же была растрогана и по-женски польщена словами отчаянно рыдающего Шими. И чтобы разрядить грозную атмосферу, возникшую вокруг этого странного происшествия, и достойно выйти из этой неловкой ситуации, в которой она оказалась помимо своей воли, великая княгиня решила придать всей этой истории случайный и вместе с тем чрезвычайно забавный, безобидный и трогательный ха-

¹⁰⁴ Холе — тетя но матери.

рактир. Поэтому она, с присущей великосветской даме непринужденностью, мило улыбаясь окружавшим ее с супругом офицерам, произнесла своим спокойным, мягким, певучим голосом:

— Какой карю-ши мучижок! Какой слафни! Как он, педни, лу-бит свой тютюшка!..

И она тут же, обращаясь к мужу, попросила его выдать “педному, слафному мучижку” золотой червонец...

Как “Бог” подшутил над бедняком Шими



Однажды Шими привел своего осла пастись на зеленую лужайку, расположенную у подножия горы за дербентской крепостной стеной, возле овечьего легендами знаменитого Шахбулага — источника с кристально чистой и вкусной водой¹⁰⁵. Как раз в то время, когда Шими стоял у дороги на краю лужайки и наблюдал за ослом, мимо него с шиком, обдав его облаком пыли, прокатил черный блестящий фаэтон, на котором в обнимку с юной и очень красивой женой проехал один из местных богачей, тучный мужчина с реденькой, жидкой бородашкой. Шими долго, с волнением и завистью смотрел им вслед, пока фаэтон не скрылся из виду. Потом он, подняв глаза к небу, принялся жаловаться Богу на свою безрадостную долю.

— О Боже! О Праведный Судья! Ты хоть раз в жизни обрадовал бы меня, бедняка, — громко взмолился Шими. — Ведь как-никак я тоже Твое создание, как этот богач, который только что проехал на фаэтоне с женой, подобной райской красавице. У него в самом центре города стоит такой великолепный дворец, что сам султан турецкий не постеснялся бы жить в нем, а сады и виноградники его раскинулись от горы до самого моря. У меня же, молодого, здорового и собой недурного, — продолжал Шими свои сетования, — кроме вот этого облезлого ишака, некрасивой и сварливой жены, жалкой лачужки, нескольких парши-

¹⁰⁵ Одни предания открытие этого источника связывают с приездом в Дербент шаха Аббаса I (1571-1587), героя многих персидских, азербайджанских и татских сказок, другие — с приездом в этот город знаменитого багдадского халифа Гаруна аль-Рашида (766-809), героя ряда сказок “Тысячи и одной ночи”.

вых кур в курятнике и хромого одноглазого петуха, ничего нет. Почему мне такая участь? Где же, о Боже, Твоя справедливость?

Высказав свою жалобу Богу, Шими подошел к своей скотине, опустился на мягкую, пригретую солнечным теплом траву, вздремнул. В это время трое гуляк-весельчаков кутили возле источника и слышали, как Шими роптал на судьбу, жалуясь Всевышнему. Они решили, потехи ради, разыграть его. Неслышно подкравшись к его ослу, гуляки прямо из-под носа Шими утащили животное и спрятали его в кустах терновника, что росли недалеко от источника. Крепко схватив осла за хвост и длинные уши, чтобы тот не вздумал бежать к хозяину, они стали наблюдать за дремавшим Шими. А тому в это время приснился сон. Во сне Бог, похожий на сказочного великана в образе человека с аршинной бородой (Шими представлял его себе именно таким), обращаясь к нему с неба, кричал:

— Ай, Шими, о Мое создание! Я внял твоей мольбе! Встань, процеди глаза, и ты увидишь, как Я тебя сейчас обрадую!..

А на самом деле это кричал, давась от смеха, один из гуляк, спрятавшийся в кустах.

Шими сразу проснулся и с радостью вскочил на ноги. Но первое, что он заметил, — это исчезновение осла. Забыв сразу о Боге и его громогласном обещании, он с тревогой в душе бросился на поиски своей пропавшей скотины.

Расстроенный и подавленный, Шими уже потерял было надежду найти осла, как вдруг из кустов терновника, мимо которых он сейчас шел, навстречу ему с ликующим ревом, задрав высоко морду, выбежал его вислоухий. Шими жарко обнял своего четвероногого друга, прижался губами к его лобастой голове, с волнением и нежностью гладил по тощей шее и костлявой спине. Но когда волнение его улеглось, Шими, вспомнив о своей просьбе к Всевышнему и его обещании, подняв опять глаза к небу и вызывая у беспечных гуляк неудержимый хохот, голосом, полным горечи и обиды, воскликнул:

— Ай, Бог, да святится имя Твое! Как так можно?! Неужели для того, чтобы обрадовать меня, бедняка, Тебе надо было сыграть со мной эту некрасивую шутку: сперва спрятать моего осла, а потом помочь мне найти его?!

Бог велик...



огда Шими был бедняком, он однажды в ненастный осенний день сидел дома у печки, задумчивый и печальный. — Ай, муж, ты чего так загоревал, повесил голову? — спросила его жена.

— Ай, жена, как же мне не горевать, — грустно промолвил Шими, — денег у нас нет, муки дома нет, работы тоже нет, а долгов столько, что голова пухнет, когда об этом думаю.

И Шими начал перечислять имена тех, у кого он взял деньги в долг, но еще не возвратил. Оказалось, их довольно много. Но жена, желая подбодрить упавшего духом мужа, сказала:

— Ай, муж, не изводи себя напрасно. Бог келе¹⁰⁶, как-нибудь расплатишься.

Как только жена это сказала, Шими горестно воскликнул:

— Ай, жена, я совсем забыл сказать: я Келе тоже должен. Он даже, сукин сын, в суд подал на меня за то, что не возвращаю ему долг...

Как Шими давал “взятку”



иректор автотранспортного предприятия, где работал таксистом один из внуков Шими, был нечист на руку: вымогал деньги у подчиненных, занимался разными махинациями и жил по-княжески. Несмотря на это, он слыл за человека делового и уважаемого, был на хорошем счету у вышестоящего начальства, чувствовал себя счастливым и мечтал о более высокой и более “доходной должности”. Единственное, что омрачало его настроение, — это то, что был он чрезмерно худ и не вызывал с первого взгляда особенного почтения к своей особе, то есть “не внушал”, не имел хотя бы более-менее подобающей номенклатурной фактуры. Поэтому он серьезно опасался, как бы этот внешний “недостаток” не послужил препятствием на пути его продвижения по служебной лестнице. Да и жена, как на грех, была под стать мужу — гремела костями. Несмотря на то что они как сыр в масле катались, каждый год ездили на лучшие курор-

¹⁰⁶ Келе — большой, великий; также имя

ты, однако так и оставались “фараоновыми коровами”, нисколько не прибавляя в теле. Это крайне огорчало и расстраивало супругов.

Узнав об их беде, старик Шими решил прийти им “на помощь”, но небескорыстно. Машина, на которой работал его внук, была очень старая. На ней даже небезопасно было везти пассажиров. Сам директор не раз с пренебрежительной усмешкой называл ее “старым драндулетом”, но упорно не хотел закрепить за водителем новую, ждал, пока недогадливый подчиненный смекнет наконец “подмазать колеса”.

Узнав об этом от внука, Шими крайне возмущился вымогательством его начальника, но потом решил “полюбовно” договориться с ним.

На следующий день Шими, прежде чем отправиться к директору, взял небольшую плотную картонную коробку, вышел во двор, где у него между аккуратно побеленных известью стволов цветущих яблонь, груш и черешни было расставлено несколько ульев. Подойдя к одному из них, в котором содержался особый вид медоносных пчел, именуемых в научной литературе по пчеловодству “пчелами крупными, злобными”, он осторожно вынул из него раму. Переложив в коробку около сотни этих насекомых и плотно закрыв ее крышкой, Шими бодро отправился к начальнику своего внука.

Встреча Шими с директором (как это принято в таких случаях еще со времен египетских фараонов, римских императоров и древнеперсидских шахиншахов между тем, кто дает взятку, и тем, кто ее берет) происходила с глазу на глаз, без свидетелей. Шими, многозначительным жестом показав на коробку, без обиняков сказал начальнику, что, зная об их нужде, он раздобыл для него и его супруги “чудодейственное лекарство” от худобы у одного приезжего индийского мага и врачевателя. И что больные, которые пользуются этим его истинно волшебным средством, прямо на глазах начинают поправляться, полнеть. И он, Шими, конечно, надеется, что и уважаемый директор со своей стороны ответит добром на добро — даст его внуку новую машину вместо “старого драндулета”.

Несказанно обрадованный услугой Шими, директор тут же при нем позвонил своему заместителю, чтобы тот сегодня же выделил внуку Шими новую машину. Но как, в каких дозах и сколько раз в сутки следует принимать это “чудодейственное лекарство”, он от радостного волнения забыл спросить у старика Шими. Директор вспомнил об этом, когда того уже не было в кабинете. Как только он приехал на обед, то быстро скинул с себя пиджак и обувь и, прежде чем приняться за еду,

решил посмотреть, что собой представляет это “чудо-лекарство”, которое дал ему Шими, и хоть чуточку попробовать его на язык.

Едва директор снял крышку с коробки, как из нее с сердитым и угрожающим жужжанием вылетел рой больших свирепых пчел, которые как звери набросились на него и его легко одетую жену, хлопотавшую за столом.

Муж и жена, спасаясь от пчел, как ошпаренные, выскочили из дома на улицу. Вскрикивая от боли и страха, отчаянно размахивая руками, они бежали так, словно состязались в беге. Чем быстрее они удирали и чем сильнее размахивали руками, стараясь отбиться от насекомых, тем яростнее преследовали и жалили их злые пчелы. И бежала супружеская чета, никуда не сворачивая, вниз, прямо к морю, чтобы хоть там, в воде, найти спасение от этих проклятых насекомых.

Несмотря на то что была только середина весны и вода в море еще холодная, почти ледяная, директор и его половина, опухшие от множества пчелиных укусов, с раздутыми, сине-багровыми лицами, едва достигнув берега, очертя голову бросились в воду.

Шими был доволен. Внук наконец получил долгожданную новую машину, а директору за оказанную “услугу” и его жене, как и было обещано, “чудодейственное лекарство” за какие-нибудь считанные минуты помогло “вылечиться” от... худобы.

Кровь жены



Однажды с нашим достопочтенным Шими Дербенди приключилось большое несчастье: машина, на которой он ехал, потерпела аварию. Сам Шими сильно пострадал. Жена его, узнав, что для спасения мужа нужно срочно сделать ему переливание крови, попросила лечащего врача разрешить ей дать для больного свою кровь. Но Шими, который всю жизнь страдал от вздорного и несносного характера “полоумной”, как он считал, жены, несмотря на то что находился в полубморочном состоянии, услышав ее просьбу, сразу забеспокоился. Он тут же привстал на койке и громко запротестовал. — Ни в коем случае! Боже сохрани! — закричал он на всю палату. — Пусть лучше я умру, чем ее дурная кровь потечет в моих жилах!..

Осел с дипломом



Племянник Шими был ленивым, непослушным и глупым юношей. В школе он не вылезал из двоек, чем причинял много огорчений и хлопот своим учителям и родителям. Ругая лоботряса, Шими нередко в сердцах обзывал его ослом, на что племянник сильно обижался на дядю. Поэтому Шими был очень удивлен, когда в один прекрасный день узнал, что “осел” попал в институт и учится в каком-то далеком городе.

Приехав домой на первые летние каникулы, племянник Шими, едва повидавшись с родителями, сразу поспешил к дяде — не столько для того, чтобы проведать старика, узнать о его здоровье, выразить ему свое почтение, сколько показать себя: вот, мол, гляди, каков я!.. Приехал он не один, а со своим земляком-однокурсником. Шими радушно принял гостей, усадил за стол, потом, обращаясь к племяннику, спросил, как ему живется на новом месте, как дается учение. Тот точно ждал такого вопроса и, тотчас же приняв горделивый и самодовольный вид, сказал:

— Хорошо! Двоек по крайней мере у меня нет и не будет. И у тебя, дядя, больше не будет причины называть меня ослом.

— Ого! — весело воскликнул Шими. — Если это так, ты молодец, я рад за тебя.

Земляку-однокурснику, знавшему племянника Шими как плохо успевающего студента, явно не понравилось, что его товарищ так бесстыдно хвастается перед уважаемым стариком, скрывая от него правду. И он, не удержавшись, сказал Шими:

— Не он молодец, дядя Шими, а руководство нашего института, которое под видом “обеспечения стопроцентной успеваемости студентов” запретило ставить им двойки.

— А если студент не занимается, лоботрясничает или просто ему не удастся учение, как тогда? — спросил Шими.

— Все равно, — произнес юноша, — за двойку у нас несет ответственность не студент, а... преподаватель. Поэтому, хочешь не хочешь, тот вынужден поставить ему минимум тройку.

Но племянник Шими, несколько не смущенный разоблачением со стороны товарища, с вызовом глядя на них, уверенно произнес:

— Неважно, как я учусь, а важно, что получу диплом. Шими, услы-

шав все это, даже расстроился. Он грустно посмотрел на племянника, а потом промолвил:

— В таком случае, сынок, как я вижу, диплом ты действительно получишь, но от этого не перестанешь быть ослом, разве только будешь дипломированным.

Как Шими отказался от незаслуженной славы



Случай, о котором пойдет речь в этой истории, произошел в застойные времена, когда разные приписки и очковтирательство приобрели большое распространение. В окрестностях животноводческой фермы колхоза, где работал Шими, с некоторых пор начала орудовать стая волков. Нередко они забирались на ферму и причиняли урон колхозной скотине. Чувствуя безнаказанность, хищники до того обнаглели, что перестали бояться даже людей. Однажды один из них, видно, самый матерый, напал на председателя колхоза, когда последний, выходя с фермы, сидел в машину. Правда, председатель успел вовремя захлопнуть за собой дверцу перед самым носом оскалившегося хищника и дать, как говорится, тягу, но от пережитого потрясения заболел и лег в больницу. Находясь там, он дал указание выделить на две недели специальную группу из трех человек для уничтожения хищников в районе расположения фермы. В “специальную группу” вошли Шими, его звеньевой и бригадир.

За две недели “охотникам” удалось выследить и убить лишь одного волка. Перед тем как вернуться домой, они решили сочинить нечто вроде письма-рапорта председателю, который все еще находился в больнице. Написать письмо попросили Шими.

В первых же строках Шими от имени группы пожелал председателю “скорого и полного выздоровления”, а затем указал, что за две недели ею уничтожен один волк.

Звеньевой взял у Шими письмо и, прежде чем поставить на нем свою подпись, добавил нуль к цифре “1”.

— Пусть будет десять! Так их!.. — сказал он. — Зачем жалеть этих серых и притом признаваться в своей неудаче?!

Когда письмо перешло к бригадиру, он к нулю, приставленному звеньевым, добавил еще один нуль.

— Пусть будет сто, — сказал он. — И председателю приятно, что мы “уничтожили” столько волков, и нам — польза: будем на хорошем счету у своего руководителя, а может, и премию отхватам.

Шими был явно смущен и недоволен их поступком, но открыто сказать об этом не решался: они его начальники. Но после короткого раздумья он все же взял у бригадира письмо и, изобразив на лице искреннее сожаление, промолвил:

— Любезные мои! Поскольку я, недостойный, не участвовал в уничтожении стольких волков, сколько, может, нет во всей нашей округе, совесть не позволяет мне примазываться к вашей громкой “славе”, поэтому я рву это письмо, где стоит и моя подпись.

Что он и сделал.

“Покойник” с лошадиным храпом

очь Шими Дербенди, в добрый час, выходила замуж. Когда до свадьбы оставался всего месяц, жена решила отправить Шими в один из больших городов, чтобы купить дочери хороший импортный мебельный гарнитур. Но Шими всячески пытался отговорить жену, убеждая ее в том, что у них у самих нет заграничного гарнитура, но обходятся же без него. Зачем им нужно залезать в долги? Разве его отцовская любовь и забота о дочери измеряется этими “лакированными импортными досками” или от них зависит ее будущее счастье с мужем? С него, старика, достаточно, что он воспитал хорошую дочь, дал ей специальность. Даст, конечно, кое-что необходимое для дома и хозяйства. А чего еще? Пусть молодые сами потом купят то, что им нужно, и на свой вкус, и на собственные трудовые деньги. Но жена заупрямилась: поезжай за импортным гарнитуром для дочери, и все тут!

Вдобавок ко всему жена настояла на том, чтобы в этой поездке Шими сопровождал ее брат, пьяница, дебошир и бездельник. Шими его терпеть не мог и всегда старался держаться от него подальше, как от смертного греха, стыдился, что он приходится ему родственником.

— Ты старый, рассеянный и легковверный, — твердила супруга, — тебя любой запросто обманет. А мой брат хоть и пьющий, но молодой и себе на уме. Он никому не даст обвести себя вокруг пальца.

Как Шими ни убеждал жену в том, что братец ее будет лишь по-мехой, обузой в дороге, натворит спьяна что-нибудь, она твердо стояла на своем.

— Он дал мне страшную клятву: пока не вернется из этой поездки, и капли в рот не возьмет, — сказала ему старуха в ответ.

Шими скрепя сердце был вынужден согласиться и на это.

Зять и шурин сразу же по приезде на место первым делом устроились в гостинице, а покупкой гарнитура решили заняться на следующий день, тем более что время уже было вечернее. Шими, уставший с дороги, разделся и лег отдохнуть, а шурин, сославшись на то, что у него “кончилось курево”, ушел за табаком, пообещав быстро вернуться.

Вскоре Шими уснул так крепко, что проснулся лишь к утру. Но когда он увидел, что шурина в номере нет, нет и его одежды, сразу понял, что братец жены как ушел вчера с вечера, так больше и не появлялся. Старик начал волноваться: что с ним? Куда он запропастился? Пытаться найти его в этом большом незнакомом городе все равно что искать иголку в стоге сена.

Одевшись на скорую руку, Шими уже собирался идти, и без всякой надежды на то, что найдет шурина, когда в номер вошел милиционер. Он, вежливо поздоровавшись со стариком, попросил его пройти с ним в участок. Шими сразу понял, что неожиданный визит милиционера в такую рань связан с “загадочным” исчезновением брата жены. Он послушно, даже с некоторым облегчением молча последовал за блюстителем порядка.

Здесь, в участке, Шими, сгорая от стыда и кипя от злости, узнал о вчерашнем походе своего непутевого родственника. Оказывается, он вчера вечером, как только вышел из гостиницы, сразу же отправился в винницу, где просидел допоздна, пока не пропил все денежки, которые дала ему сестра на “карманные расходы”. Возвращался он последним трамваем, который был переполнен пассажирами, пьяный в дым. Все сиденья были заняты. Ему пришлось стоять, еле удерживаясь на ногах. Сбоку около него сидела, устало прикрыв глаза, какая-то тучная, румянолицая женщина средних лет с широкой грудью. У одной остановки трамвай вдруг резко затормозил, и пьяный, покачнувшись, упал как куль на колени пышнотелой дамы и, положив лохматую голову на ее грудь, как на пуховую подушку, в то же мгновение погрузился в глубокий сон. Испуганная женщина, едва успев крикнуть, лишилась чувств, а пьяного так и не смогли добудиться.

Наутро, когда “весельчак” очнулся в отделении милиции и его спросили, кто за него может поручиться и заплатить штраф, если его выпустят, он назвал своего зятя.

Заплатив штраф и поставив свою подпись под поручительством, Шими, не задерживаясь нигде, привел шурина в гостиницу и больше от себя не отпускал ни на шаг. От расстройства и волнения у Шими окончательно пропала охота заниматься покупкой импортного гарнитура. И он в тот же день выехал обратно вместе со своим ненадежным спутником.

В поезде Шими старался не спускать глаз с шурина, чтобы он опять не напился и не выкинул еще что-нибудь. А тот, чувствуя свою вину перед зятем, держался как раскаявшийся грешник, молчал, потупив взор, шумно вздыхал и почти не слезал с верхней полки.

Но на второй день брат жены преподнес Шими новый сюрприз. Выждав, когда зять уснет, он бесшумно слез со своей полки и тихо подкрался к нему. Осторожно запустив дрожащую руку в карман его бешмета, он вытащил оттуда кошелек с деньгами и тут же с радостным нетерпением устремился в вагон-ресторан. Вернулся он оттуда уже не на своих двоих — его принесли в бесчувственном состоянии. А до места прибытия оставалось всего несколько часов. Зная, что шурина теперь до следующего утра не добудишься, хоть из пушки пали, сильно обеспокоенный этим, Шими на первой же большой станции дал жене следующую телеграмму-молнию: “Вместо импортного гарнитура везу тело твоего несчастного брата. Не забудьте прихватить носилки. Поезд такой-то, вагон такой-то. Шими’.

Получив такую телеграмму, потрясенная жена Шими решила, что ее брат отдал Богу душу, и стала сильно убиваться: какой ни есть — родная кровь! Кроме того, теперь, хочешь не хочешь, надо откладывать замужество дочери на целый год, поскольку обычай запрещает играть свадьбу в течение года после кончины близкого родственника.

Одетая в траур, она вместе с родственниками, захватив погребальные носилки и черное покрывало, чтобы накрыть покойного, с громким плачем и воем пришла встречать поезд. Но когда из вагона вынесли на свежий воздух носилки с “мертвецом”, тот вдруг, к изумлению всех, надув щеки, принялся храпеть громко, по-лошадиному.

— Ай, муж, горе твоему уму! — всплеснув руками, воскликнула жена Шими, не зная, смеяться ей от радости, плакать или возмущаться

поступком своего непредсказуемого супруга. — С чего это ты взял, что он покойник?! Если он покойник — почему храпит?

Шими, нахмурив брови, сердито посмотрел на жену, а потом запальчиво произнес:

— Ну и что?! Только и разница, что храпит!.. А в остальном он что ни на есть — настоящий покойник, только не погребенный...

Новогодняя индюшка



а Новый год старина Шими имел обыкновение собирать всех своих сыновей, дочерей и зятьев с детьми, чтобы провести праздник в полном сборе, в семейном кругу, весело и торжественно. А в канун Нового года он купил большую жирную индюшку с крашеными перьями на хвосте и поместил ее в сарай.

На следующее утро Шими, едва продрав глаза, сразу направился в сарай, чтобы зарезать индюшку к празднику. Но старик был очень удивлен и расстроен, не обнаружив ее на месте. Он кинулся искать ее повсюду, но она точно сквозь землю провалилась.

В то самое время, когда Шими искал свою пропавшую птицу, со двора соседа доносился аромат жареного мяса. Шими подошел к забору, чтобы посмотреть, что там делается. В середине двора соседкин сын, парень лет двадцати, известный во всей махале лоботряс и бездельник, большой охотник лазить по чужим сараям и курятникам, довольно потирая руки и отбивая ритм ногами, весело хлопотал вокруг горящего мангала, на котором жарилась большая индюшка. По крашеным перьям, которые валялись вокруг, Шими сразу понял, в чем дело...

Ничего не сказав, Шими вернулся в дом. Захватив веревку, он направился к соседу во двор. Делая вид, что ничего особенного не произошло, он вызвал из дому соседа и соседку, вежливо поздоровался с ними, поздравил их с наступающим Новым годом, а затем тут же направился в их сарай. Через несколько минут Шими вышел оттуда, таща за веревку козу.

— Ай, Шими, куда ты уводишь нашу козу? — спросили у него изумленные муж и жена.

— Как куда? Зарезать, в добрый час, на Новый год, — совершенно спокойно ответил Шими.

— Ведь это наша коза, а не твоя?..

— Правильно — ваша, — спокойно произнес Шими. — Зато индюшка, которую сейчас жарит на мангале ваш милый сыночек, — моя. Считайте, что мы с вами обменялись новогодними подарками: от меня вам индюшка, от вас мне — коза. — И Шими, немного помолчав, со сладкой улыбкой добавил: — Что и говорить: очень приятно, когда соседи на Новый год делают друг другу такие подарки...

“Еще одно такое счастье...”



лучилось это на четвертом году горбачевской “революционной перестройки и нового мышления”, когда в самой большой стране мира, с богатейшими природными ресурсами, неоглядными земельными и водными просторами, мощной индустрией и передовой наукой, трудолюбивым и непритязательным народом, в один прекрасный день, точно по воле злого волшебника, с прилавков магазинов исчезли почти все продуктовые товары. Исчезли даже такие, казалось бы, мелочи, как мыло и табак, не говоря о мясе, колбасе, рыбе, ставших “нескромной” мечтой обывателей.

Рано утром старина Шими, захватив авоську своей старухи, бродил по улицам родного города в поисках табака и мыла, то и дело яростно почесывая спину, грудь и судорожно посасывая пустой кальян (уже которую неделю он не мылся в бане, не выкурил ни одной трубки). Но, очутившись на окраине города, на углу одной из тихих улочек Шими вдруг, к своей несказанной радости, увидел, как возбужденные и счастливые люди выходят из ближайшего магазина с пачками махорки в руках. И он сразу поспешил туда.

Магазин был полон народу. Стоявшие в очереди люди одни угрюмо молчали, другие, вступая в разговор между собой, говорили о всякой всячине, но больше всего о том, что наболело, заботило, волновало. Одна молодая женщина, качая головой, скорбным голосом доверительно рассказывала другой, о том, что ее муж — опытный инженер, специалист, уважаемый человек на производстве — в последнее время чуть ли не каждую ночь, когда в городе прекращается транспортное движение и улицы становятся безлюдными, с карманным фонариком в руке собирает окурки на автобусных остановках. А собеседница в свою оче-

редь поделилась с ней своей бедой: с ее братом, заядлым курильщиком, приключился “никотинный обморок”. Встревоженная жена вызвала “скорую”. И первое, что сказал, вернее, прокричал брат, когда пришел в себя и открыл глаза: “Дайте курева, сволочи!..”

Как только Шими выбрался на улицу с пятью горьковато пахшими желтенькими пачками махорки (больше не давали), он дрожащими от нетерпения пальцами быстро набил свой вместительный кальян душистой махрой и жадно закурил. После первой глубокой затяжки голова его приятно закружилась, и мир неожиданно показался ему не таким уж неудобным и недобрым, как тогда, когда у него в трубке было совершенно пусто.

Настроение Шими еще больше поднялось, когда несколько часов спустя в другом магазине и в другой части города он достал кусок хозяйственного мыла и два куска туалетного. Ему сегодня определенно везло, как в счастливом сне, где нередко происходят чудеса и где невозможное становится возможным, а невероятное — очевидным. Пройдя улицу, он наткнулся еще на одну очередь у какого-то продуктового магазина, где давали копченую колбасу, притом — шутка ли сказать — по две “палки” в одни руки.

Старик, хотя изрядно устал, весь покрывшись испариной, а давно не мытое тело нестерпимо зудело, все же решил “лечь костями”, но без колбасы не возвращаться.

Очередь Шими уже приближалась, когда по ней, как сигнал бедствия, прошел тревожный слух: “Колбаса кончается!..” Люди стали волноваться. Началась давка, шум. Послышались громкие требовательные голоса, чтобы выдавали на руки только по одной “палке”... Стоявшая позади Шими худая беременная женщина с огромным животом и бледным, болезненным лицом, боясь, что ей не достанется колбаса, вдруг сорвалась с места и, отчаянно работая локтями, стала пробиваться через толпу людей, сгрудившихся у прилавка. Но те с шумом и бранью быстро вытолкали ее вон, точно пробку из бутылки. А один из них, крупный дородный мужчина с багровым лицом и мутноватыми глазами, продолжая яриться на беременную женщину, громко требовал, чтобы кто-нибудь из находящихся рядом с ней “для интереса” ткнул ей пальцем в живот.

Возмущенная наглым призывом багрянолицего верзилы, какая-то маленькая, усохшая, полусогбенная старушенция с большой волосатой бородавкой на кончике носа, с палкой в руке, потрясая ею в сторону очереди, шепеляво закричала гневным тонким голосом:

— Вы што, окаянные, совсем шеловешский облик потеряли?! Ожвели от такой у шизни? Вы же можете ей ребеношка искал-шить!..

— А может, у нее, бабуся, там вовсе не ребенок, — отпарировал багрянолицый.

И будто в оправдание своего сомнения на этот счет, он начал рассказывать, как одна пожилая женщина, которая уже лет пять на пенсии, чтобы обмануть очередь, привязала к животу спальную подушку, будто “беременная”. Выдала ее старая подруга, с которой она работала в городской бане, но которая теперь была с ней в ссоре.

Другой вспомнил не менее “комичный случай”, как некая женщина, “тоже нахалка этакая”, с закутанным в одеяльце младенцем пыталась взять без очереди мясо. Но в тот самый момент, когда ей отвечивали говядину, ее изголодавшийся “младенец” вдруг начал трепыхаться в одеяльце, как рыбка, попавшаяся в сетку, а потом с диким мяуканьем и свирепым выражением на своей кошачьей морде выпрыгнул прямо на весы перед перепуганной насмерть продавщицей.

Люди, в том числе Шими, слушая эти “смешные истории”, невольно смеялись, а иные, более восприимчивые к юмору, хохотали вовсю. Но минуто спустя многие из них, словно опомнившись, почувствовали жгучий стыд за свое неуместное “веселье”. Они, как и Шими, с горечью думали о том, что, сами того не сознавая, смеялись, в сущности, над собой, над своей постыдной жизнью, сделавшей их мелочными, хитрыми, неуважительными, а то и вовсе враждебными друг к другу. И что старушка с бородавкой на носу права...

Еще более двух часов пришлось Шими стоять в тот день у автобусной остановки, чтобы добраться до дому. Из-за нехватки бензина автобусы теперь ходили редко, с долгими, казалось, бесконечными промежутками. Некоторые из них, совершенно порожние, не останавливаясь, на полной скорости проносились мимо толпившихся в томительном ожидании измученных людей. Другие подходили битком набитыми, как сельди в бочке, пассажирами; даже с риском для жизни и здоровья в такой автобус просто невозможно было протиснуться, особенно людям пожилого возраста, не говоря об инвалидах, беременных женщинах и детях.

Уже вечерело, а Шими все стоял в ожидании автобуса. Постепенно настроение у него начало опять портиться. Так и не дождавшись автобуса, голодный, уставший как черт от долгого стояния в трех очередях, удрученный, оскорбленный и униженный всем увиденным и услышанным, он еле живой добрался домой пешком.

Едва войдя в дверь, Шими бессильно уронил на пол авоську и в полном изнеможении опустился на стул. Старуха, рассмотрев покупки мужа — полукопченую колбасу, мыло, табак, — пришла в восторг.

— Ай, муж, какая радость! — воскликнула старуха. — Какое счастье, что ты сегодня....

Но Шими не дал ей договорить. Досадливо поморщившись, он замахал на нее руками, чтобы она замолчала, и тут же, одной рукой вытирая мохнатой папашой мокрое от пота лицо, а другой неистово почесывая под рубашкой волосатую грудь, грустно промолвил:

— Ай, жена, не надо радоваться! Еще одно такое счастье, клянусь могилой твоего отца, и ты останешься вдовой...

Как Шими враз проглотил две чубайсовские “Волги”

ими никогда не слыл обжорой, но и отсутствием аппетита тоже, слава богу, не страдал. Впрочем, об этом он не только не сожалел, наоборот, даже радовался, считая его добрым признаком хорошего здоровья и жизнелюбия. Но так он думал раньше, в канувшие в Лету “застойные-застольные” времена. В последние же годы его здоровый аппетит стал ему в тягость, и он не раз досадовал на себя за этот, как он сердито выражался, “волчий аппетит”.

Да и как было не досадовать, не злиться, если его скромной трудовой пенсии при нынешних баснословных ценах на все и вся хватало, только чтобы перебиваться с хлеба на воду. Вот почему этот завидный аппетит в немыслимых условиях переходного периода от “варварского социализма” к “цивилизованному капитализму” казался старикам тяжким испытанием.

Как-то раз Шими, охваченный своими невеселыми думами, отправился утром прогуляться по городу. На углу одной из улиц, перед массивным частным домом, напоминавшим нечто вроде средневекового дворца-крепости с арочными каменными воротами, построенного каким-то скороспелым сверхбогатом, он увидел большой раскаленный мангал, на котором на длинных шампурах жарились шашлыки. Одетый в длинный, белый, но засаленный и задымленный

халат, словно жрец-огнепоклонник у священного огня в сени капища, колдовал у мангала кебабчи¹⁰⁷ — рослый толстый мужчина с круглым, влажным от пота пунцовым лицом. Позади мангала на длинной подставке красовались выстроенные в ряд разноэтикетные бутылки с коньяком, водкой, заморскими винами и ликерами. Там же возвышалась целая гора румяных круглых свежих чуреков домашней выпечки. Слева от кебабчи, в тени большого красивого раскидистого гранатового дерева с ярко-красными круглыми плодами, под разноцветным парчовым навесом стояли кухонный желтый столик и такого же цвета расписные табуретки.

Шими даже забыл, когда он в последний раз ел шашлык. Едва он ощутил дразнящий запах жареного мяса, как у него, как от хмеля, закружилась голова, и непреодолимое желание испробовать его охватило все существо старика. Шими, зажмурив глаза, сделал над собой усилие, чтобы поскорее проскочить место искушения, но ноги не повиновались ему. Какая-то неподвластная сила заставила его свернуть с дороги, подойти ближе к пышущему жаром и источающему умопомрачительный шашлычный аромат мангалу. Однако в кармане у Шими сейчас было так же пусто, как и в его желудке. Но он, недолго думая, снял с головы папаху и извлек хранившийся за подкладкой ваучер. Хотя поговаривали, что автор этого ваучера, господин Чубайс, сулит каждому его обладателю в приватизированном государственном имуществе по две машины “Волга”, но пока не было ни обещанной “Волги”, ни даже колес от нее. А на рынке за хваленый ваучер давали всего стоимость трех килограммов вареной колбасы “собачья радость”.

— Ладно, была не была, твоя взяла! Возьми, гачаг¹⁰⁸, мой ваучер и дай мне шашлыка, сколько тебе не жалко! — с деланной небрежностью полушутливым тоном произнес Шими, протягивая свой ваучер.

Толстяк кебабчи повертел в руке ваучер, потом, приподняв его над головой, внимательно посмотрел на свет и, убедившись, что он настоящий, тут же гостеприимным жестом пригласил старика присесть за столик. Привычными движениями он быстро снял с мангала три шампура, выложил в широкую тарелку три большие порции шашлыка и поставил ее перед Шими вместе с целым чуреком и полным граненым стаканом водки.

¹⁰⁷ Кебабчи — шашлычник.

¹⁰⁸ Гачаг — разбойник.

Жизнь в какой-то момент показалась Шими раем. Для полноты ощущений не хватало только чернооких пленительных райских красавиц и чарующих песен небесных ангелов.

Забыв обо всем на свете, Шими, как волк на добычу, накинулся на еду. Вожделенные лакомые кусочки, окропленные уксусом, усыпанные перцем, душистой зеленью, мелко нарезанным луком, были горячими, сочными и жирными, чертовски вкусными, но недожаренными. А зубы у старика давно были не свои. Подстегиваемый голодом и не на шутку разыгравшимся аппетитом, Шими заглатывал шашлык целыми кусками, почти не пережевывая.

Когда отяжелевший от обильной и вкусной еды Шими возвращался домой, у него неожиданно начались резкие колики в животе, такие острые, словно в него вонзались раскаленные шампуры. Весь покрывшись холодным потом, Шими все же кое-как дотащился до дома. Согнувшись дугой и прижимая папаху к животу, он, переступив порог и едва добравшись до кровати, тут же рухнул на нее, вызывая о помощи.

Приехавший на “скорой” молодой врач, хорошо знавший старика, сочувственно спросил его, на что тот жалуется, что болит.

— Живот сильно болит, — не открывая глаза, тяжело вздыхая, жалобно произнес Шими.

Врач пытался выяснить, отчего стал болеть живот, что старик ел. Но Шими упорно молчал, делая вид, что не слышит или просто не в состоянии отвечать на его вопросы. Рассказать, почему приключилась с ним такая беда, было стыдно, к тому же Шими боялся жены. Узнает старая ворчунья, на что он пожертвовал свой “многообещающий” ваучер, будет браниться почему зря.

Врач, видя, что Шими молчит, тихо склонился над больным, но, тут же почувствовав, как от него несет целым букетом разнообразных острых запахов: жареного мяса, винного уксуса, душистого укропа, репчатого лука и сорокаградусной “Российской”, сразу понял причину внезапной болезни старика. Он предложил немедленно принять рвотные порошки и как следует промыть желудок.

Но пуще недомогания мучила Шими совесть. Ему не хотелось, очень не хотелось, чтобы тайна исчезновения злополучного ваучера вообще вышла наружу, а тем более таким наглядным и постыдным образом. Поэтому, тревожно покрутив головой, он тотчас же жалобно произнес:

— Сынок, я знаю, мне это не поможет! Надо другое, совсем другое.

— А что “другое”, дядя Шими? — в недоумении спросил врач.

В ответ Шими попросил доктора наклониться к нему, потом, осторожно коснувшись своего вздутого живота и морщась от боли, тихо, чтобы не слышала старуха, доверительно прошептал:

— У меня здесь, сынок, две чубайсовские “Волги”. Их оттуда можно извлечь только с помощью трактора с прицепом, а не тем, что ты предлагаешь...

Обида

авным-давно, во время какой-то повальной эпидемии куриной чумы, у Шими подошли все куры. Выжила самая маленькая, рыжая курочка, которая приносила яйца чуть больше голубиных, но очень шустрая и голосистая. Стоило ей снести очередное яичко, как она тут же взлетала на забор и, высоко задрав голову, целый час без передышки кричала на всю махалу: ко-ко-ко!..

Однажды на рассвете Шими был разбужен криком рыжей курочки. Когда он вышел во двор, то увидел такую картину: его курочка, снеся яичко, опять забралась на забор и дерет горло. А в это время у соседа во дворе буйволица родила буйволенка. Шими видел, как новорожденный, еще весь мокрый буйволенок, поднявшись на тонких, длинных, раскачивающихся ножках, жадно тянулся к материнскому вымени. Шими начало разбирать зло на свою птицу. Он схватил палку и в сердцах швырнул в нее.

— Посмотрите-ка на эту паршивку! — с возмущением произнес Шими. — У соседа буйволица произвела на свет пудового буйволенка, и никто об этом не знает, никто не слышал ее голоса, а эта бессовестная хвастунья снесла одно ничтожное яйчишко величиной с орех и теперь будет целый час шуметь на всю округу: мол, знайте, кто не знает, слушайте, кто не слышал: я своему хозяину целое яйцо принесла! Вот, мол, какая я молодчина!..

“Вторая свадьба” Шими

(Третье письмо Шими автору)

Мир и здоровье тебе, сын мой! Как ни странно, я еще жив и даже, могу сказать, здоров. Баллах, не знаю, радоваться мне по этому поводу или огорчаться. Дело в том, что я, разрази меня гром, опять в отчании, опять хоть караул кричи. И вот почему: мне хотят справлять свадьбу. А я ни под каким видом не желаю. А моя старуха, чтоб черти ее съели, больше всех хочет этой свадьбы.

Ты, я думаю, догадываешься, о какой свадьбе речь идет, — о “второй свадьбе”. Если ты только слышал, но не знаешь или просто забыл, что это за штука, то я сейчас тебе расскажу.

Есть у нас такой обычай (правда, давно его никто не соблюдает, поэтому лишь немногие древние старики, оставшиеся в живых, еще помнят о нем). Если преставлялся, допустим, старей, как я, дед, которому лет сто и более, то провожали его в последний путь совсем иначе, чем других смертных. Родные по нему не плакали, слезы горькие не проливали, женщины на себе волосы не рвали. Наоборот, совсем наоборот.

На место вечного упокоения несли такого деда под веселые звуки зурны¹⁰⁹ и барабана, словно это была не печальная похоронная процессия, а свадебное шествие, только без свадебных факелов. А по возвращении с кладбища в одной из свободных комнат, обычно в кунацкой, собиралась молодежь. Вот тут начиналось настоящее представление. Какой-нибудь разбитой (вроде меня в юности) парень наряжался в одежду покойного, а одна из девушек — в платье его подруги. Так они, изображая “жениха” и “невесту”, то есть усопшего старика и его старуху, смешно подражая их стариковским манерам и ужимкам, танцевали и озорничали под дружное хлопанье, звонкий смех и шуточки веселой компании.

Но ты, пожалуйста, не подумай, что родные и близкие старика играли ему “свадьбу” от большой радости, что их престарелый дед, обремененный целой дюжиной старческих недугов, наконец-то отдал Богу душу и тем избавил их от постоянных забот и хлопот о нем. Нет, сын мой, нет. Наши деды и прадеды, мир их праху, всегда свято чтили ста-

¹⁰⁹ Зурна — восточный духовой деревянный музыкальный инструмент.

рость. Чем старше был человек, тем больше он был почитаем¹¹⁰. Но не их вина, если они также свято верили в то, что Бог по своей бесконечной доброте был очень милостив к их родственнику при жизни, коли в отличие от многих даровал ему такое завидное долголетие. Поэтому, считали они, родным такого счастливца долгожителя не подобает сетовать на судьбу за то, что Бог прибрал его к себе. Наоборот. Они должны выказывать ему свою благодарность и выражать ее ликованием, общим весельем. Иначе Всевышний, того и гляди, разгневется на них. Тогда, неровен час, он не только не даст долголетия никому из близких усопшего, но и сократит им всем жизнь.

Теперь, я думаю, ты догадался об истинной причине того, почему моя благоверная (вместе с негодными моими сыновьями) хочет непременно сыграть мне “вторую свадьбу”, когда я смежу веки. Но жена не хочет признаться мне в том, что именно по этой причине она решила устроить мне “зурна-барабан”, когда я протяну ноги. Лукавит, старая! Хоть она у меня от роду женщина преглупая, но что ей выгодно, хорошо соображает.

Старуха пытается убедить меня в том, что она с сыновьями хочет возродить этот уже забытый обычай отцов из уважения к их светлой памяти. Сейчас, мол, пошла мода возрождать все старые обычаи и вообще все старое. А того она, дурья башка, не может понять или притворяется, что не понимает: обычай обычаю рознь. Вот, к примеру, слышал я от одного ученого, вроде тебя, человека о том, что в Индостане в прошлом существовал обычай, когда на погребальном костре вместе с покойным мужем заживо сжигали и его несчастную вдову, даже если была она в цветущем возрасте. Нужно ли теперь им, индусам, воскрешать этот дикий обычай из-за того только, что у их дедов он существовал? Или (зачем далеко ходить?) возьмем обычай кровной мести. Он, как ты знаешь, существовал у нас до сравнительно недавнего времени. Из поколения в поколение шло из-за него смертоубийство между враждующими тухумами. У меня у самого дед и дядя пали жертвой этого кровавого обычая.

Ну ладно, оставим этот разговор, вернемся к моей “второй свадьбе”. Как бы то ни было, сын мой, я решительно против того, чтобы мои похороны превращали в шутовской праздник. И вот почему. Хоть и

¹¹⁰ Нередко строгие свекрови трижды прогоняли под погребальными носилками такого покойника своих невесток, которые не рожали или рожали недоношенных детей.

прожил я в этом грешном мире целый век, но не был любимцем судьбы, в моей жизни было больше горестей и напастей, чем радостей и удач (только от своей своенравной жены сколько я натерпелся). И все же, несмотря на это и на то, что наша жизнь не сахар, я люблю жизнь, не хочется расставаться с белым светом. Надо ли говорить, что безмерно тяжело умирать, не дожив до старости. Но у смерти, сын мой, в каком бы возрасте она ни застигла человека, цвет один — черный. Клянусь Богом, это никакой не праздник, не радость. Ведь живет-то человек только один раз.

Поверь мне, я еще скрепя сердце, может, дал бы согласие, чтобы после того, как дам дуба, сыграли мне эту самую “вторую свадьбу”. Шут с ними! Но я в одном не совсем уверен... Скажу тебе как на духу: я вовсе не безбожник, как обо мне злословят некоторые мои тупые и лукавые недоброжелатели, пес их укуси. Хотя сами они на словах с Богом, а в помыслах — с шайтаном. О таких, видно, говорится: “Не каждый вымазавшийся сажей — кузнец, не всякий носящий бороду — праведник”.

Я, сын мой, верю, что Бог есть. И он один для всех людей. Верю, что все люди произошли от одного прародителя. А вот насчет того, отлетит ли моя душа на небеса после моей смерти, скажу тебе честно, меня сомнение берет. Что делать? На то я и человек, а не ангел Божий или прорицатель какой: многое не могу постичь своим слабым умом. Должен тебе сказать, что сам библейский мудрец и поэт Екклесиаст (ах мне эти поэты!) заронил в мое сердце сомнение, сказав: “Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух животных сходит ли вниз?..” И что, мол, вся наша короткая жизнь — суета сует, томление духа, а в итоге прах и забвение, короче говоря — ни шиша.

Вот это-то как раз, должен тебе сказать, меня очень смущает. Поэтому я назло своей старухе надумал дать ей, как говорится, по шапке, то есть талог, взять в жены не старую, добронравную вдовушку, справить себе вторую — настоящую свадьбу. И пока, благодарение Богу, живу и здравствую, провести с ней, с новой женой, остаток жизни в мире и любви.

А за то, что она согласилась выйти за меня, старого деда, перепису на нее свой домик с садиком во дворе, посаженным и выращенным моими руками, и, конечно, мои скромные сбережения в сберкассе, которые я с большим трудом, можно сказать, по крупницам накопил на черный день. Правда, они из-за реформ неугомонного толстяка-весельчака

Гайдара ушли псу под хвост. К слову сказать, не лучшим образом поступил с нами и этот “чудотворец” Чубайс. Распродав с молотка народную собственность, созданную трудом и потом старшего поколения, наших людей, он, говорят, обещал каждому россиянину по две машины “Волга”. А вместо этого мы получили кукиш с маслом — бумажку с диковинным названием “ваучер”.

Поначалу, не скрою, узнав об этом его обещании, я радовался как мальчишка, думаю: наконец-то хоть на старости лет заимею машину, притом не одну, а две сразу! Ай да Чубайс, сынок! Ай да молодец! Благослови тебя Бог!..

Но у нас быстро раскусили, чего стоит этот хваленый ваучер. На нашем дербентском рынке, например, за него не давали даже коляски для кукол, куда уж там говорить о машине!

Сам я, как ты знаешь, с голодухи отдал свой ваучер шашлычнику за три порции шашлыка, один чурек и стакан водки. Ты же ведь писал об этом случае со мной. А впрочем, должен тебе сказать, зря написал, выдал мой секрет. Старуха до сих пор пилит меня за это.

Но пока человек жив, он живет надеждой. А надежда все же есть. Я, конечно, не о ваучере, о другом. Президент (спасибо ему) обещал восстановить обесцененные вклады и на первых порах вернуть деньги тем старикам-вкладчикам, которым перевалило за восемьдесят и которые в отличие от своих ровесников каким-то чудом уцелели при нашей трудной и беспокойной жизни. Я это говорю к тому, что как только с Божьей помощью и согласно Указу президента получу наконец свои кровные денежки, то я их вместе с домом и садиком перепишу на молодую жену. Тогда после моей смерти, поверь мне, старая жена и мои неразумные сыновья от расстройства и досады, что потеряли все то, что по праву могло достаться им, зарыдают в три ручья и думать забудут, чтобы устраивать мне “вторую свадьбу”, то есть превратить мои похороны в веселое зрелище.

Почему я решил написать тебе это письмо? Ты знаешь, я человек от земли — бывший батрак, а при Советах — простой колхозник, не ученый, как ты, хотя с тех пор, как ушел на пенсию, прочитал немало разных умных книжек и поучительных историй. Многое за это время передумал о жизни, ее смысле, о переменчивости человеческой природы, о возвышенном и низменном в человеке... Но тем не менее, прежде чем окончательно решиться на то, что я задумал, хочу посоветоваться с тобой, узнать твое просвещенное мнение об этом и других вопросах, кото-

рых я коснулся в письме. Прости великодушно, что оно получилось несколько длинное. Покороче не смог. Кроме того, кто знает, может, это мое последнее письмо к тебе.

Годы-то мои — сам знаешь, да и время, в которое живем, — сумасшедшее — всякое может случиться.

Только прошу тебя, сын мой, не тяни долго с ответом. Хотя и говорится: «Поспешить — людей посмешить», но в моем возрасте, да при таких обстоятельствах, клянусь берекетом¹¹¹, и поспешить не грех.

Остаюсь твоим другом по гроб жизни

Шими Дербенди
16 октября 1996 г.

Гнев царя царей Хосрова Ануширвана

дин из соседей Шими Дербенди, слывший самонадеянным хвастуном, возглавлял как специалист группу каменотесов, которые под его руководством проводили реставрационные работы по восстановлению полуразрушенных раннесредневековых крепостных ворот, расположенных у входа в знаменитую ханскую цитадель Нарын-Кала. Когда работы были завершены, он попросил Шими, как одного из старожиллов древнего города, посмотреть на результаты реставрации, ожидая от него одобрения и похвалы. Перед этим он хорошо угостил Шими и напоил его вином.

Но Шими, несмотря на то что был навеселе, глядя на старинные ворота, на возвышающиеся над ними каменные бойницы, угрюмо молчал. В отличие от сохранившихся старых бойниц, стоящих друг рядом с другом, точно неусыпные стражи, над гигантскими стенами, окружавшими бывший дворец-крепость наместников иранских шахиншахов, багдадских халифов и местных ханов шах-ристана¹¹², вертикальные отверстия на вновь созданных бойницах были сделаны с грубыми отклонениями и явно не соответствовали своему назначению. С наружной стороны они имели такую же ширину, как и с внутренней, что дела-

¹¹¹ *Берекет* — достаток в доме.

¹¹² *Шахристан* — страна шахов (видимо, Иран).

ло защитников ворот весьма уязвимыми для смертельных стрел нападающего противника. Бросались в глаза халтура, небрежность, неуважение горе-реставраторов к неповторимым величественным памятникам седой старины, овеянным легендами и составляющим украшение и гордость родного города и края.

Сосед, видя, что Шими упорно молчит, заговорил первым, беззастенчиво расточая хвалу в свой адрес.

— Э-эх! — мечтательно закатив глаза к небу, громко воскликнул он. — Если бы могущественный, грозный и вместе с тем великодушный царь царей Хосров Ануширван, по велению которого тысяча пятьсот лет назад был построен этот неприступный для своего времени замок, эти грандиозные стены с множеством сторожевых башен и несокрушимыми воротами, воскрес, он в отличие от моего уважаемого соседа непременно похвалил бы меня, да еще вдобавок по-царски щедро наградил золотом из своей несметной казны.

Измученный беззастенчивыми словами самоуверенного хвастуна, Шими печально покачал головой, а затем решительно промолвил:

— Нет, сосед, ты ошибаешься. Если бы царь Ануширван, о котором ты говоришь, воскрес из мертвых, он тут же без лишних слов повесил бы тебя под этими самыми воротами, да еще кое-кого за компанию с тобой...

ВСТРЕЧИ У РОДНИКА







Встречи у родника



Омар, прижимая к бокам пустые ведра и боязливо озираясь, осторожно спускался по узкой тропинке в ущелье, где из-под черной каменной скалы с веселым журчанием, точно радуясь, что удалось наконец вырваться на волю, пробивался родник.

Была ночь. На темно-синем небе крупными жемчужинами горели яркие звезды. Полная луна заливала мягким сиянием притихшую землю. При лунном свете прозрачная вода в роднике отливала серебром, а на дне его, точно мелкие монеты, блестели белые, круглые обкатанные камешки. Недалеко от родника росли сплошные зеленые кусты, откуда сейчас слышалось громкое щелканье одинокого соловья. Наверху, за ущельем, на фоне высокой горы, упиравшейся в близкое небо, отчетливо виднелись темные очертания саклей с редко освещенными в это позднее время окнами.

Подойдя к роднику, Омар поставил ведра на землю. Еще раз посмотрев по сторонам и убедившись, что ему удалось добраться сюда никем не замеченным, он облегченно вздохнул и, почесав в затылке, смущенно улыбнулся. Но, вспомнив, как жена только что почти насильно, со скандалом выпроводила его за водой, он сразу посуровел, нахмурился. Омар медленно опустился на замшелый камень у родника, задумался, и перед глазами его в то же мгновение отчетливо встала неприятная картина сегодняшней ссоры с женой. Еще утром его жена Сакина, уходя в школу, сказала:

— Омар, дорогой, я приду поздно, сходи, пожалуйста, за водой. Прошу тебя!

Он потупил взор и сердито буркнул:

— Ладно, уже слышал!.. — Но, чувствуя на себе обиженный, осуждающий взгляд жены, поднял на нее глаза и, мученически улыбаясь, добавил: — Ну сказал же — пойду, чего пристала?!

Проводив жену, Омар взял ведра и по неширокой каменной лестнице спустился во двор. Он открыл калитку и вышел за ворота, но тотчас же, громыхая ведрами, вбежал обратно: невдалеке в высокой, лихо заломленной папахе стоял сосед — председатель сельсовета Мех-

ти Бабаев, и будто нарочно смотрел в его сторону, с важной медлительностью покручивая пышные седеющие усы.

Омар быстро прикрыл калитку, крепко прижав ее спиной. Сердце его бешено заколотилось, а на лбу выступила испарина. Он чувствовал себя как человек, которому по счастливой случайности удалось избежать большой опасности. Отдышавшись, Омар опять осторожно приоткрыл калитку, но тут же остановился в нерешительности. Ему сразу представилось, как он идет с пустыми ведрами по улицам аула, а люди, показывая на него пальцем, зубоскалят, отпуская вслед ему язвительные шуточки:

— Глядите-ка на него, ха-ха!..

— Ему остается теперь вместо папахи надеть на голову платок и доить корову!

— Они с женой, видать, поменялись ролями!

— Всегда так: дай жене волю, заведет молодца в неволю!

В душе Омара поднялась жгучая обида на жену. Пора бы ей привыкнуть к аульским обычаям. Мало ли, много ли, уже полтора года, как она приехала из города в их аул после окончания института, девять месяцев, как они поженились, а она все еще не перестает удивляться и возмущаться: как может, мол, мужчина считать для себя позором нести ношу вместо матери-старухи, сходить раз-другой за водой вместо жены, работать серпом!..

Это все, конечно, так. Но попробуй пойти наперекор обычаю — не только мужчины, но и женщины засмеют тебя, мужчиной считать перестанут.

Правда, до последнего времени жена только сокрушалась, но ни разу не принуждала мужа выполнять “женскую работу”, потому что его мать была дома. Она, по обыкновению, вставала раньше всех, разжигала огонь в очаге, доила корову, приносила воду. Но недели две назад старуха уехала в соседний аул, чтобы присмотреть за больной сестрой. Теперь вся тяжесть разнообразной и многотрудной, нескончаемой домашней работы легла на плечи невестки, которая к тому же была беременна. Ей было тяжело после дня, проведенного в школе с детьми, хлопотать еще и по хозяйству, а потом до позднего вечера проверять тетради, готовиться к занятиям. Омар все это понимал, в душе сочувствовал жене, жалел ее, но по-прежнему стыдился помогать.

Вечером Сакина, вернувшись домой и увидев пустые ведра, пришла в отчаяние.

— Омар, ты так и не сходил по воду?! Дома же ни капли воды нет, даже руки помыть нечем. Какой же ты, однако!.. — Голос ее дрогнул, и она, боясь, что вот-вот заплачет, стиснув зубы, замолкла. Грузно подойдя к столу, Сакина молча, с сердцем швырнула на него кипу тетрадей, которую принесла из школы. Но когда, тяжело опустившись на стул, горестно обхватила голову руками, то вдруг, не сумев совладать с собой, заплакала громко, навзрыд.

Омар, вместо того чтобы успокоить жену, нахмутив брови, угрюмо смотрел на нее, на ее вздрагивающую и расплывшуюся от беременности фигуру. Резким движением он отодвинул от себя настольную лампу, сердито захлопнул раскрытую книгу, лежавшую перед ним, встал и возбужденно зашагал по комнате.

Когда Сакина подняла голову и ее взгляд упал на обложку книги, которую только что читал муж, она пришла в негодование.

— Читаешь “Горянку” Расула, а ведешь себя по отношению к жене как столетний дед, напичканный предрассудками. И не стыдно тебе? А еще комсомолец, зоотехник, интеллигент вроде!..

На минуту в комнате воцарилась тягостная тишина. Потом вдруг жена с выражением злой решимости на лице вскочила с места и, схватив пустые ведра, подошла к мужу.

— Если ты сейчас же не пойдешь за водой, я уйду из этого дома—и навсегда!

Омар, хмурый, сердитый, молча, не глядя на жену, взял у нее ведра и поспешно вышел во двор. На небе ярко светила луна, поэтому он не отважился выйти за калитку: вдруг кто-нибудь увидит? Особенно он боялся встречи со своим соседом, председателем сельского совета Мехти Бабаевым, который, наверно, еще утром заметил его с пустыми ведрами. И он решил подождать у ворот, пока луна не скроется за тучами. Но луна, будто угадав его намерения, казалось, нарочно застыла на месте, продолжая заливать потоками света плоские крыши саклей, крытые узкие улицы, дорогу, ведущую к роднику.

Наконец, к несказанной радости Омара, со стороны большой горы, над которой начали громоздиться тучи, как птица от стаи, отделилась большая, лохматая, словно распростертая чабанская бурка, черная туча. Она, точно подгоняемая попутным ветром, поплыла прямо навстречу луне. Закрыв ее, как чадра лучезарное лицо красавицы, туча отбросила на землю густую тень, и все сразу потонуло во мраке. Омар мигом вскочил на улицу и во весь дух побежал к роднику. Но когда он подошел

к источнику, луна вновь выглянула из-за тучи и озарила все вокруг своим ослепительным сиянием.

Набрав воды, Омар опять опустился на тот самый замшелый камень — после ссоры с женой он не очень торопился домой, — но вдруг, увидев чью-то приближающуюся фигуру, очень испугался. Мигом вскочив с места, он, оставив полные ведра, стремглав кинулся в кусты. Соловей, который продолжал выводить свои трели, сразу умолк.

К своему немалому удивлению, в спускавшемся к роднику человеке молодой зоотехник узнал секретаря сельского совета Эмина Гайдарова, худого, хмурого мужчину лет сорока с узкими плечами, длинной журавлиной шеей и острым кадыком. В левой руке он держал ведро, а в правой — медный кувшин с изогнутым горлышком. Он шел спокойно, в полной уверенности, что в этот поздний час его никто не увидит. Но, подойдя к роднику и наткнувшись на ведра с водой, Эмин тотчас же остановился и украдкой посмотрел по сторонам. Когда до его настроенного слуха донесся неясный шорох из кустов, он, встревоженный этим, быстро опустился на корточки. Загородившись кувшином и ведром, затаив дыхание и втянув голову в плечи, он уставился напряженным взглядом в сторону подозрительного куста.

Прошло несколько томительных минут. Кто-то в кустах захихикал, повергая Эмина в трепет. Он понял, что этот “кто-кто” увидел его, а может, даже узнал, поэтому смеется над ним. Омар в свою очередь тоже понял, что они могут так прождать до утра, хоронясь друг от друга, поэтому, отбросив все опасения и сомнения, встал во весь рост и, продираясь через кустарник, нарочито бодро крикнул на ходу ошеломленному Эмину:

— О, салам алейкум, дорогой секретарь сельсовета! Какая приятная встреча, а?!

Эмин, еще глубже вобрав голову в плечи, испуганно прошептал что-то похожее не то на проклятие, не то на молитву.

Подойдя к Эмину, Омар бесцеремонно похлопал его по плечу. Тот медленно поднялся — куда теперь денешься? — и посмотрел растерянно и враждебно на бесстыдно смеющегося молодого человека.

— Ну скажи, дорогой Эмин, только честно, — с трудом сдерживая разбивавший его смех, сказал Омар, — давно ли ты ходишь за водой по ночам вот так, точно на темный промысел или на тайное свидание?

— Замолчи, ради Аллаха! — вдруг вскипел Эмин, с опаской оглядываясь вокруг. — Чего ты хохочешь как сумасшедший, чему ты вдруг так обрадовался?

— Нет, ты все же скажи, давно?

— Вай Аллах! — шумно вздохнул Эмин, с досадой хлопнув себя по бедрам. — Ты бы лучше помолчал! Первым же сюда пришел ты, а не я. — И добавил с язвительной усмешкой: — Да еще прятался, как заяц в кустах...

Омар притворился обиженным.

— Ты что, Эмин, на самом деле шуток не понимаешь? — произнес он с укором и тут же дружелюбно добавил: — Ну ладно, не надо сердиться и расстраиваться, давай немного посидим покурим.

Несколько минут они сидели молча, дымя сигаретами, прислушиваясь к петушину перепеву и тявканью собак, доносившимся из аула. Встреча была настолько неожиданной и нежелательной для обоих мужчин, что за время их “перекура” ни у кого из них не возникло желания даже перемолвиться словечком друг с другом. Первым нарушил тягостное молчание секретарь сельсовета. Резким движением отбросив окурочек, он с выражением крайнего беспокойства и озабоченности на лице повернулся к Омару и, схватив кончиками пальцев свой острый кадык, произнес с мольбой:

— Омар-джан, я тебя очень прошу, умоляю: не разболтай никому, даже своей жене, что ты видел меня, как я ночью ходил к роднику за водой. Знаешь пословицу: “Не передавай тайну другу, ибо у друга тоже есть друг”, то есть я хочу сказать, что у жены есть подруга, а у подруги — тоже подруга. Ты меня понимаешь?..

Эмин скорбно вздохнул, выжидающе глядя на молодого человека. Но, видя, что Омар ничего не говорит, а только смеется, еще больше встревожился. С трудом подавляя вспыхнувшее в нем раздражение и досаду, Эмин, однако, заставил себя через силу улыбнуться.

— Да! Ты же недели две назад просил у меня ружье для охоты на туров, — ласково произнес Эмин, — но я тогда был вынужден отказать тебе — сам собирался на охоту. — И секретарь сельсовета, заискивающе глядя в хитроватые глаза Омара, с деланным великодушием добавил: — Заходи, дорогой, завтра, возьми ружье и держи его у себя, сколько тебе надо.

Омар невольно с обидой вспомнил, как тогда свой отказ на просьбу одолжить ему на пару дней ружье Эмин объяснил не очень деликатной пословицей: “Ружье, коня и жену не доверяй никому”. Но сейчас он не стал напоминать об этом. А чтобы успокоить его, сказал:

— Не волнуйся, Эмин, не скажу никому, даже жене не скажу. Слово мужчины!

У Эмина точно камень свалился с души. Успокоенный клятвенным обещанием Омара, он с довольной улыбкой встал и не спеша подошел к роднику, держа в руке кувшин. Только он собрался погрузить его в воду, как Омар быстро подскочил к нему сзади и резко шлепнул по худой костлявой спине.

— Эмин, гляди, еще кто-то из нашего брата направляется сюда, — чуть слышно произнес он, показывая рукой в сторону аула.

И они, стоя рядом, напряженно и с любопытством стали следить за приближающимся человеком.

— Вах! — с радостным удивлением воскликнул Эмин. — Это же мой начальник, твой сосед, почтенный Мехти Бабаев. Я его по папахе узнаю.

Председатель сельсовета шел медленно, поминутно оглядываясь по сторонам. Но вдруг, заметив людей у родника, он сперва застыл на месте, а потом, быстро повернув назад, бросился бежать, громыхая ведрами. Эмин сразу пустился за ним вдогонку. Но Мехти, несмотря на то что был человеком полным, грузноватым, к тому же в летах, продолжал бежать, как медведь, преследуемый роем разозленных пчел.

— Пстой, Мехти, пстой!.. Чего ты бежишь, как лань от охотника? — наконец догнав его, сдавленным голосом произнес Эмин у него за спиной. — Это мы, мы!..

Председатель остановился, с грохотом выронив ведро, медленно и не совсем уверенно повернулся на знакомый голос. Но, видя, что встретил действительно своего подчиненного, а не кого-нибудь другого, облегченно вздохнул, снял с головы папаху и старательно вытер ею мокрое от пота лицо.

— Ух, жарко как! — проговорил он, шумно отдуваясь, и тут же, к еще большему удивлению Эмина, принялся негромко и сочувственно окликать кого-то.

— Эй, выходи, дорогой, выходи, не бойся! Свои тут, свои!.. Из-за толстого ствола высокой раскидистой чинары, росшей неподалеку, вынырнула долговязая фигура Селима, секретаря партийной организации колхоза.

Омар встретил их чуть ли не с восторгом.

— О, добро пожаловать, почтеннейшие люди аула! — с преувеличенным энтузиазмом произнес он и тут же, указывая рукой в сторону родника, добавил: — Только чур! Давайте отныне ходить по воду днем!

— Да ты в своем ли уме, Омар?! — не на шутку испугался председатель, который еще не совсем справился с волнением.

— А почему бы и нет, — поддержал Омара Селим. — Видите, сама жизнь заставляет нас идти наперекор этому нелепому обычаю.

— Не сама жизнь, дорогой Селим, а наши с вами жены, будь они неладны! — запальчиво произнес Эмин, сердито вращая круглыми глазами. — Больно они хвост задрали! Надо бы им немного прижать его, накрутить!..

Председатель неодобрительно покачал головой и невесело усмехнулся.

— Смотри, Эмин, легче на поворотах! Как бы нам с тобой за это самое дело хвосты не прижали. Замане¹¹³-то другое...— предостерегающе заметил он своему вспыльчивому подчиненному, быть может, вспомнив в эту минуту, как жена, страдающая мигренью, не считаясь с его возрастом и высоким положением в ауле, с боем вытолкала из дому, отправляя за водой. Поэтому он, безнадежно махнув рукой, наставительно добавил: — Лучше не связываться!..

Пока они не спеша набирали воду и продолжали жарко спорить между собой, Омар, стоя от них чуть поодаль, смотрел на бархатносинее небо в золотой россыпи бесчисленных звезд, на ясную луну. Все, что произошло с ними, четверьмя мужчинами, здесь, у родника, показалось ему сейчас очень смешной и несуразной историей. Он невольно засмеялся, вспомнив свои недавние сомнения и страхи, поведение каждого из этих людей, когда они украдкой пробирались сюда, точно шли не за водой, а на какое-то святотатство.

Как бы в ответ на игривое, веселое настроение Омара, в кустах вновь раздалась соловьиная трель. С улыбкой оглядев застывшие у родника фигуры мужчин, молча ожидавших его с полными ведрами и кувшинами, он, энергичным жестом указывая рукой на бескрайнее звездное небо и полную луну, щедро заливающую землю своим волшебным сиянием, с чувством воскликнул:

— Не правда ли, друзья, чудная ночь?!

¹¹³ Замане — времена, эпоха.

Как я писал диссертацию

очему бы тебе, мой дорогой, не написать диссертацию, не стать кандидатом наук, а там, как говорится, Бог даст, и доктором будешь! — как-то говорит мне жена ласково. Мы сидим дома одни за вечерним чаепитием. Вопрос жены показался мне настолько неожиданным, что я от удивления даже поперхнулся. Поставив стакан на блюдце, я в полном недоумении посмотрел на свою дражайшую половину.

— А с чего это вдруг пришло тебе в голову, что я должен написать диссертацию? — спросил я ее. — Зачем?

— Как — зачем? — теперь уже не ласково, а с упрямыми, раздражительными нотками в голосе говорит жена, нахмурившись. — А что толку от того, что пишешь свои хабары, особенно про этого странного и полоумного старика Шими, которого ты величаешь “хитроумным”? Знаю, люди читают — смеются, а мне, скажу тебе, плакать впору!

— Почему?

— Сама знаю почему, — вдруг ожесточается жена, пускаясь в длинные рассуждения. — С тобой почти невозможно по-человечески ни посидеть, ни поговорить, ни посмеяться. Когда ты дома, уткнешься в свои бумаги, никого не видишь, ничего не замечаешь, думаешь и думаешь, мучаешься, пока в твоей сумасбродной голове не сложится какой-нибудь очередной хабаришка. А если разговариваешь, то сам с собой, как помешанный — порой даже дети пугаются тебя. Если мы видим улыбку на твоей вечно озабоченной физиономии или слышим твой смех, так только тогда, когда ты пишешь эти свои злосчастные хабары, будь они неладны. — Голос жены от волнения начинает дрожать, но она продолжает отчитывать меня и наставлять на ум: — Ну что нам, твоей семье, от этой бесполезной писанины? У тебя ничего нет за душой, с трудом сводим концы с концами. А иные люди думают, что мы как сыр в масле катаемся. Клянусь, не будь у меня детей, сбежала бы в родительский дом, — со слезами заключает жена.

Между прочим, эту песню я от нее слышу не первый раз. Но насчет диссертации — это что-то новое. Чтобы она на самом деле не расплакалась (когда женщина плачет, у меня сердце кровью обливается), я как можно мягче говорю ей:

— А что мне делать, если у меня такая профессия?

— Что делать?! Перемени профессию, стань кандидатом наук, доктором. У тебя будет устойчивый, постоянный заработок, на который мы наконец сможем жить, если и не припеваючи, то более-менее по-человечески. А свою проклятую писанину брось! Она у меня в печенках сидит, да и тебя мне жалко!..

Мне очень обидно, что жена, самый близкий человек, с таким неуважением, недовольством говорит о моей профессии. Меня так и подмывает сказать ей в ответ что-то обидное, колкое, но, бросив взгляд на ее перламутровую коробку с набором разных склянок, пузыречков и таблеток от нервов, головной боли, давления, бессонницы и прочего, сдерживаю себя, пытаюсь как-то объяснить ей, что у меня нет никакого призвания к профессии ученого и что написать диссертацию для меня все равно что вырыть иглой колодец в пустыне.

— Чепуха! — громко и решительно возражает жена и тут же, понизив голос, добавляет: — Конечно, среди тех, кто пишет и защищает диссертации, наверное, много, очень много умных, талантливых людей, дай Бог им здоровья. Но кто не знает, что встречаются и такие, которых не назовешь ни умными, ни талантливыми...

И в подтверждение своих слов она ссылается на какого-то своего дальнего родственника, глупее и бестолковее которого она якобы никогда еще не встречала в жизни.

— А вот поди ты, защитил кандидатскую, — с завистью и обидой говорит жена. — Глядишь, скоро и доктором станет. А ты что, хуже его?

Не скажу, чтобы жена убедила меня, но я тем не менее призадумался. С одной стороны, мне до смерти надоели постоянные сетования жены по поводу моей профессии и вечной нехватки денег на жизнь, а с другой — я поневоле с грустью вспомнил, сколько боли и огорчений доставляют мне порой мои “смешные хабары”. Некоторые люди в моих героях видят себя и при встрече косятся на меня, как бык на красный локут, а иные даже открыто бранятся. Сталкивался я и с такими, которые ничего не смыслят в том, что скрывается за той или иной шуткой, принимались толковать мои хабары вкривь и вкось.

Пораскинув умом, я решил, правда, без особого энтузиазма, последовать совету жены. Но передо мной тут же встал вопрос, как говорится, ребром: какую тему избрать для своей диссертации, какую область научной мысли обогатить своим вкладом? Я долго думал, но все напрасно. Какую бы тему я себе ни называл — тут же отвергал, чувствуя, что это мне не по зубам.

— А скажи, пожалуйста, на чем защитил кандидатскую этот твой самый бестолковый родственник? — озадаченно спрашиваю жену.

— Да на ерунде, на каких-то насекомых, — с готовностью отвечает жена и довольно улыбается, видимо решив, что благодаря ее настоянию я хотя и поздновато, но все-таки надумал взяться за ум, то бишь за диссертацию.

Не скрою: услышав ответ жены, я почувствовал некоторое облегчение, можно сказать, почти обрадовался. Что-что, а уж насекомых-то, слава Богу, я очень хорошо знаю. Мое детство и юность прошли в глухом лесном селении (нас, нюндинцев, гордые дербентцы иногда пренебрежительно называют “лесными людьми”). Наш дом всегда кишел комарами, мухами, блохами, клопами, тараканами и множеством других шевелящихся и копошащихся существ. Помню, однажды знакомый отца из соседнего селения, поздоровавшись с ним возле нашего дома, спросил:

— Ай, Довуд! Как живешь-можешь?

— Баллах, друг, живу хлопотливо и блоховато, — с грустной усмешкой ответил отец, в этот самый момент прихлопнув на своем черном от загара, заросшем затылке блоху, неосмотрительно выползшую из-под воротника его шубы.

И вот я тоже, как и родственник моей жены, решил написать о насекомых, точнее, об одном из самых распространенных видов насекомых — комнатной мухе. Но когда я стал интересоваться нужной мне литературой, то оказалось, что о жизни, строении, биологии, вреде комнатной мухи написано немало трудов, и среди них довольно много солидных. Прочитав их, я даже изумился: у иного черствого человека или высокомерного чинуши и не угадаешь, где сердце, душа и есть ли они у него вообще, а ученые, оказывается, точно определили, что у малюсенькой ничтожной мушки и сердце на месте, и нервная система в полном порядке. Так что вовсе не “ерунда” писать диссертацию о насекомых, как кажется моей жене.

Но наличие богатой и разнообразной литературы о мухе не обескуражило меня и не поколебало мою решимость писать о ней. Наоборот. Наука, как и Вселенная, не имеет границ. Я избрал себе тему, никем до сих пор не исследованную: “Общие и отличительные черты характера городской домашней мухи и сельской и главная истребительная мера борьбы по их полному уничтожению”.

Чтобы придать больший вес и значительность моей работе в глазах

будущих моих оппонентов, я во введении, ссылаясь на авторитеты, не преминул указать, какую большую опасность представляет комнатная муха, будь она городская или сельская, для жизни и здоровья граждан. И что поскольку она один из основных переносчиков возбудителей многих заразных болезней, таких, как холера, дизентерия, сибирская язва (я насчитал их около сорока), и распространена во всех обитаемых районах земного шара, то любая новая работа о домашней мухе и средствах борьбы с ней, в том числе и моя, само собой разумеется, является весьма ценной и полезной для науки, а стало быть, и для всего человечества.

Перейдя к изложению одной из основных глав работы, “Отличие характера городской комнатной мухи от сельской”, я напомнил, что хотя по биологическим признакам городская домашняя муха ничем не отличается от сельской, но... в их характерах все-таки наблюдается известное, если не сказать существенное, различие, которое благодаря эволюционному развитию, смене бесчисленных поколений этого вида насекомых приняло устойчивое генетическое свойство, то есть признаки наследственности. Городская муха более шустрая, подвижная, нервная, импульсивная, впечатлительная. У нее быстрая реакция, она более назойлива, если не сказать нахальна. Когда гонишь ее через дверь, она без всякого стеснения влетает тут же через окно. Пытаешься прогнать ее в окно, она липнет к стеклу и бежит по нему с виртуозностью канатоходца, будто знает, окаянная, что как из-за блохи шубу не сжигают, так и из-за мухи ни один человек, будь даже он круглый идиот, не станет бить стекло в окнах, тем более когда спрос на него, как сейчас, очень высок и цена тоже.

Сельская же муха в этом отношении, можно сказать, является прямой противоположностью своему собрату — городской комнатной мухе. Она обладает более спокойным нравом. Она сонлива, малоподвижна, застенчива, склонна к меланхолии, созерцанию и не так надоедлива.

Я на обширном материале показал, что отличие характера городской домашней мухи от сельской домашней обусловлено социально-экономическими и геополитическими факторами, вернее, существенной разницей между обстановкой и условиями городской и сельской жизни, которая может быть ликвидирована только в результате полной победы коммунистического общества.

Наличие шума, постоянные сигнальные гудки, оглушительные sireны пожарных машин, раздражающая трескотня бесчисленных мотоциклов, всевозрастающая интенсивность транспортного движения,

многоэтажные жилые дома, задымленная, загазованная атмосфера и, конечно, нехватка легкого “подножного корма” — все это наложило определенный отпечаток на характер и поведение городской комнатной мухи. В то время как чистый деревенский воздух, покой и тишина, обилие разнообразной пищи вокруг и т.д. делают сельскую муху более спокойной и уравновешенной.

Но главным достоинством диссертации и своей несомненной заслугой перед отечественной и мировой наукой я считал по праву то, что первым среди ученых указал на возможность использования бесчисленных воробьиных стай как самого мощного и эффективного в перспективе средства полного уничтожения этого древнего врага человека — мухи вообще и домашней в частности, хотя не отрицал и некоторых достоинств ныне применяемых профилактических мер борьбы с ней.

Почему я остановил свой выбор на воробье, а, допустим, не на ласточке или чижики, несмотря на то что все они принадлежат к семейству воробьиных, то есть произошли, надо полагать, от одного “праотца” и от одной “праматери”? Дело в том, что в отличие от этих птиц, которые, едва почуяв запах холода — приближение зимы, сломя голову удирают в далекие жаркие страны, а возвращаются лишь в разгаре весны, когда уже тепло и солнечно, воробей — птица оседлая. Он никуда не бежит. Но от него человеку больше вреда, нежели пользы. Он наносит огромный урон садам и посевам. Ежегодно в ненасытных воробьиных зобах исчезают сотни тысяч тонн народного зерна, содержащегося на наших токах, в элеваторах, зернохранилищах, что заставляет нас, при наличии бескрайних земельных просторов и неисчерпаемых водных ресурсов, ездить с мешком по заграницам, чтобы купить недостающий запас хлеба, который пожирает прожорливый воробей. В качестве конкретного примера (то есть, как принято писать в диссертации, полевого материала) я сослался на известный мне прискорбный случай. Один из колхозных зерноскладов после уборки урожая до самой крыши был засыпан первосортной пшеницей. Спустя три месяца пришли на склад члены ревизионной комиссии, чтобы проверить наличие зерна и условия его хранения. И что же вы думаете? Только колхозные ревизоры заглянули в помещение склада, они тут же ахнули. Им, конечно, было от чего ахнуть. За все это время со склада по колхозной разнарядке не было отпущено ни одного килограмма зерна, но его, как ни странно, осталось меньше половины. Видя крайнее изумление ревизоров, завскладом, недолго думая, проворно засунул два пальца в рот и пронзительно свист-

нул. Тотчас же испуганная стайка воробьев дружно поднялась с груды зерна и поспешно скрылась между пыльными балками потолка.

— Видите?! — обрадованно воскликнул завскладом, указывая рукой на воробьиную стаю. — Все они сожрали, проклятые!..

После того как удивленные и расстроенные ревизоры, словно на поминках, молча, без застольных тостов, не чокаясь, распили несколько бутылок водки и основательно закусили, был составлен акт, в котором указывалось, что причиной крупной недостачи зерна на зерноскладе, обнаруженной при ревизии, являются... воробьи, порази их чума.

Проиллюстрировав, таким образом, на живом факте, сколь вреден воробей для наших хлебных запасов, я в своем научном труде выдвинул блестящую идею: заставить воробья переключиться со злаков и ягод на мух, будь они городские или сельские, и, как говорится, убить одним выстрелом сразу двух зайцев.

Я не только подал идею, но и подсказал, как ее следует воплотить в жизнь. Предложил произвести скрещивание ласточки с воробьем, основываясь на том, что ласточка в отличие от воробья питается насекомыми, и главным образом мухой. Она развивает скорость до ста двадцати километров в час и обладает большой маневренностью. Я рекомендовал путем неоднократных скрещиваний и всевозможных экспериментов эти качества ласточки передать воробью и, таким образом, вывести новую породу — гибрид ласточки и воробья (“ластовороб” или “вороболаст”), занимающийся исключительно склевыванием и истреблением мух...

Пока я писал диссертацию, жена была очень внимательна и ласкова, как в первые счастливые годы нашей супружеской жизни. Ходила осторожно, на цыпочках, кашляла в кулак. Если кто-нибудь из детей начинал громко шуметь, озорничать, она тут же одергивала шалуна и грозно покрикивала:

— Тише, дети! Папа пишет диссертацию!..

Когда я закончил свой труд, первым долгом прочитал его жене.

Она, никогда не хвалившая ни одного моего произведения, послушав мою диссертацию, пришла в дикий восторг, одним словом, осталась очень довольна.

Не откладывая дела в долгий ящик, я на следующий же день отправил свою диссертацию на кафедру биологии в один из крупных университетов страны. Но вот беда: до сих пор оттуда ни слуху ни духу, хотя с того времени прошел целый год. Я, понятно, очень волнуюсь,

всякое, знаете, приходит в голову. Но моя жена в отличие от меня совершенно спокойна. Она все ссылагается на своего глупого и бестолкового родственника...

Хабар и хинкал

едушка Азиз вышел из сакли, остановился посреди двора и медленно огляделся вокруг. Землю уже окутывали теплые летние сумерки, в которых постепенно расплывались очертания высоких гор, окружавших его родной аул. На небе зажглись, точно сверкающие светлячки в темной густой ночной траве, первые звезды, а во многих окнах засветились огоньки.

“Пора идти”, — подумал про себя старик. И как только сделал первый шаг, навстречу ему из коровника вышла жена, долговая старуха с постным лицом и большими натруженными руками. В правой руке она держала медную бадью с парным молоком. На минуту они остановились друг против друга: она — высокая, костистая, он — маленький, сухонький и чуть сутулый.

“Вот Аллах послал мне женушку — то ли в наказание за мои грехи, то ли в награду за мою доброту, — мысленно усмехнулся Азиз, оглядывая жену и задумчиво поглаживая рукой коротко стриженную белоснежную бородку. — Как я на ней женился — ума не приложу!”

Несмотря на свое врожденное добродушие, дедушка Азиз не выносил, когда жена становилась так перед ним и смотрела на него сверху вниз. Ему казалось, что это унижает его мужское достоинство.

Первой нарушила молчание жена:

— Вай, Азиз, ты опять куда-то идешь в такое время?

— Куда хочу, туда иду, еще буду тебя спрашивать! — сердито проговорил он, недовольно передернув узкими худыми плечами, и, тоже горделиво подняв голову, важно прошел мимо жены.

Старуха не нашлась сразу, что сказать своему своенравному и чудаковатому мужу; лишь после минутного молчания она крикнула ему вслед:

— Вот-вот дети должны вернуться с поля, хинкал уже сварился. Остался бы дома, натолок бы чесноку, поужинали бы вместе!..

Азиз, не задерживаясь, шел дальше, не обращая внимания на ее

слова. Потом вдруг, словно вспомнив что-то, остановился, повернулся в ту сторону, где все еще стояла жена с бадьей в руке.

— Эй, жена! — громко произнес Азиз, чуть приподнимаясь на цыпочки. В голосе его сейчас звучали решимость и в то же время насмешка над ее словами. — Хотя и говорят: “Хинкал лучше хабара”, а по-моему, добрый хабар лучше твоего худого хинкала, хе-хе... Я иду слушать интересный хабар!.. Понятно тебе?!

Сказав это, дедушка Азиз ускорил шаг. Он мысленно выругался: из-за ее глупой болтовни как бы не опоздать в клуб, куда спешил сейчас. Сегодня аульский радиоузел трижды оповестил джамаат о том, что приехал ученый лектор из города читать лекцию для верующих “О происхождении жизни и человека”.

...Из восьмидесяти лет своей долгой жизни шестьдесят лет дедушка Азиз ходил за отарой. Два года назад его чествовали всем аулом и с почетом проводили на заслуженный отдых. С тех пор не было почти ни одной лекции или вечера, на которых бы он, любопытный и словоохотливый старик, не присутствовал.

Правда, говорят, что лектор, который приехал сегодня из города, очень молод, совсем юноша. Многим верующим, которые будут слушать его сейчас, он не только во внуки, но и в правнуки годится. Ну и что же из этого? Есть пословица: “Ум не в возрасте, а в голове”. Иной человек долго живет, а без толку, только небо коптит. На другого помотришь: молод-зелен, а умом всех превзошел.

Рассуждая так, старик не заметил, как очутился у дверей клуба. Азиз осторожно заглянул в зал. Он был полон народу — почти одни старики и старухи. На трибуне стоял бледнолицый юноша в ярком, пестром, как разноцветный попугай, галстуке и с гладко причесанными блестящими черными волосами. Все скамейки уже были заполнены, только в первом ряду, у самой трибуны, оставалось несколько свободных мест. Азиз тихо прошел и чинно уселся.

— Товарищи! Прежде чем рассказать вам, как произошла жизнь на земле и как появился человек, — уверенно начал молодой лектор, — я коротко объясню вам, что такое жизнь...

Дедушка Азиз нетерпеливо заерзал на месте и приставил свою маленькую морщинистую ладонь к уху: очень любопытно, что на этот счет собираются говорить им, старикам, прожившим жизнь.

— Жизнь есть способ существования белковых тел, — тем же уверенным тоном продолжал гость. — Сущность жизненного процесса

закljučается в непрерывной и одновременной ассимиляции и диссимиляции живого...

Дедушка Азиз зажмурил глаза и энергично покрутил головой, точно желая встряхнуть свои старые мозги, и, подавшись вперед всем телом, еще больше напряг несколько ослабленный с возрастом слух. Но и после этого все, что говорил лектор, не доходило до его сознания, оставаясь для него, как говорится, книгой за семью печатями. А лектор, словно забыв, перед кем он выступает, и будто нарочно щеголяя своей эрудицией, сыпал в зал высоконаучные, совершенно непонятные Азизу и другим присутствующим термины: агностицизм, детерминизм, мистицизм, идеализм, материализм, дуализм, анимизм, панпсихизм, — делая ссылки на Платона, Демокрита, Аристотеля, Спинозу, Гегеля, Фейербаха, Дарвина...

“Вах! Что за имена, как горох из торбы, сыплет этот юноша? —

искренне недоумевал дедушка Азиз. — Какие люди носят эти имена, мужчины или женщины, христиане, иудеи или язычники, здравствующие или давно усопшие?.. Может быть, у этого юноши жар, горячка и ему нездоровится?..” А в горячечном бреде человек может говорить не только все, что взбредет на язык, но и выкинуть самую неожиданную штуку. Ведь был же с ним, Азизом, случай, когда он однажды заболел двусторонним воспалением легких и в бреде принял собственную старуху, которая старалась напоить его теплым молоком, за самого черного Азраила — ангела смерти, пришедшего по велению Бога за его душой. Он тогда, недолго думая, разом вскочил с постели, сорвал со стены свой старый кинжал и в одном исподнем с яростной решимостью погнался за женой и чуть не совершил смертоубийство. Хорошо, что на ее крик вовремя подоспели люди, силой увели его, больного Азиза, уложили обратно в постель, иначе не миновать бы греха.

От этих размышлений отвлек дедушку Азиза богатырский храп, раздававшийся прямо за его затылком. Он невольно обернулся и увидел, что кузнец Сафар, сложив свои темные здоровенные ручки молотобойца на животе, опустил кудлатую голову на широкую грудь, которая, как мехи в его кузнице, вздымалась и опускалась в такт храпу. Соседи его сидели тоже с безучастными, скучающими лицами, а иные скептически или насмешливо улыбались. Это окончательно вывело дедушку Азиза из себя.

— Можно? — громко произнес Азиз, вскинув руку, обращаясь к лектору.

— Нельзя! — тотчас же громовым басом произнес кузнец, который сквозь сон принял этот вопрос в свой адрес. — Я еще твоего ишака не подковал, подожди попозже!..

Но в тот же миг, проснувшись, кузнец беспокойно огляделся, растерянно моргая сонными глазами. Этот неуместный возглас сразу вызвал оживление и дружный хохот в скучающем и недоумевающем зале. Посыпались шутки, остроты. Наконец, когда все стихло, лектор, скрывая досаду, спросил Азиза:

— У вас вопрос ко мне? Но я еще не кончил. — Потом, немного подумав, добавил: — А впрочем, что вы хотели?

— Тебе здоровья, сынок, прежде всего, — любезно, но с нотками скрытого недовольства и насмешки произнес он, привычно трогая седую бородку. — Ты, сынок, прости меня, старика, что немного помешал твоей лекции. Ночь еще впереди, успеешь наговориться, — начал издалека старый Азиз. — Если наступил момент снести курочке яичко, ты, хоть пугай ее тапанчой¹¹⁴, не остановишь. Так и у меня. Если меня беспокоит, волнует какая-нибудь мысль, вопрос или одолевает сомнение, я их обязательно должен высказать, нравится ли это кому или не нравится. Такой уж у меня характер...

— Вы, дедушка, пожалуйста, говорите по существу! — бросил с трибуны гость, жалея, что дал этому, как ему показалось, вздорному старику слово.

Но дедушка Азиз, пропустив мимо ушей его замечания, продолжал спокойно:

— Ты, наверное, сынок, не знаешь горскую поговорку: “Конь узнается по ходу, человек — по слову”. К чему я это веду? Вот ты сейчас сказал нам, что жизнь есть вроде... халам-балам¹¹⁵, хапур-чапур. Услышав это, сынок, я невольно подумал, что ты еще не знаешь настоящей жизни, раз о ней так думаешь...

— Да я ничего подобного не говорил! — возразил удивленный лектор. — Откуда вы взяли?!

— Говорил, говорил, не глухие!.. — с места подтвердили несколько человек.

Лектор, смеясь, недовольно покачал головой:

— Я говорил “ассимиляция и диссимиляция”, а не “халам-балам”, — настаивал на своем лектор.

¹¹⁴ Тапанча — пистолет.

¹¹⁵ Халам-балам — всякая всячина, чепуха, вздор.

— Это одно и то же: “Что Хужа-Али, что Али-Хужа”¹¹⁶, — шутили во выкрикнул кто-то с задней скамейки.

— Вот видишь! — торжествуя взглянув на лектора, весело произнес Азиз. — Не зря говорится: “Сорвалось с языка — досталось всему миру”. Знаешь, сынок, неглупые люди выдумали пословицу: “Жизнь — что соленая вода: чем больше пьешь, тем больше жажда”. Вот что такое жизнь. — Азиз на секунду замолк, задумчиво кивнул головой и тут же продолжил: — На своем веку я видел много хорошего и много плохого. Теперь я стар. Как сердцу ни молодиться, а телу не обновиться. А хочется, сынок, как хочется, чтобы оно обновилось. Жизнь-то нынче совсем не та, что была при моей молодости. Где ты сейчас увидишь, чтобы дети горцев с голыми пупами шныряли по аулу, а взрослые мужчины из-за куска хлеба скитались по чужим краям, а сахаром лакомились только на свадьбах?.. Ты бы лучше сказал нам, как сделать жизнь еще лучше, краше, чтобы человек жил долго и бодро. Вот до тебя здесь читал лекцию дохтур, дай Аллах ему здоровья! Много хороших слов он говорил, а хорошее слово — пища для души. Говорил, почему вредно пить водку, особенно молодому. Молодой и без вина как пьяный, а напьется, так совсем голову потеряет, натворит бед. Потому-то и говорили наши блаженной памяти деды и прадеды: “Если бык опасен спереди, осел сзади, то пьяный человек опасен со всех сторон”...

— Хватит, дедушка! — страдальчески сморщив лицо, резко перебил Азиза лектор. — То, что вы говорите, к теме моей лекции не относится. Садитесь и не мешайте, пожалуйста, слушать другим!

Дедушка Азиз хотел дать ему еще несколько мудрых советов, но, с досадой махнув рукой, сел на место. Он решил до конца лекции больше не проронить ни слова, какой бы вздор ни нес этот юноша. Но, когда лектор коротко “ознакомил” слушателей с эволюционным учением Дарвина о происхождении видов и тут же, без всякого перехода заявил, что наши далекие предки произошли не от так называемых прародителей Адама и Евы, как утверждает в Библии и Коране, а от человекоподобных обезьян, дедушка Азиз, как и другие старики, был поражен в самое сердце. И многие из них с сердитыми, протестующими восклицаниями беспокойно задвигались на своих местах.

— Одним из видов этих обезьян, — продолжал молодой лектор, не обращая внимания на реакцию зала, — является орангутанг, что

¹¹⁶ Пословица.

означает в переводе “лесной человек”. Орангутанг, как и человек, не имеет хвоста, а на конечностях у него, как и у нас, пять пальцев, а во рту ровно тридцать два зуба. Всем человекообразным обезьянам — горилле, орангутангу, шимпанзе, гиббону — свойственны чувства радости и гнева, печали и любопытства, и в отличие от хвостатых марьяшскообразных обезьян, не говоря о других представителях животного мира, они, как и мы, смеются, хохочут, когда им очень весело, рыдают, плачут, когда им больно или очень горько на душе...

Дедушка Азиз, вопреки своему решению, опять собрался вступить в полемику с приезжим лектором, но его опередила одна старуха, сидевшая рядом с кузнецом Сафаром. Она, видно, тоже сочла слова лектора об обезьяне, хоть и бесхвостой и человекообразной, за оскорбление памяти своих усопших предков, поэтому, крайне возмущенная этим, вскочила с места и, как рассерженная гусыня, вытянув худую жилистую шею, прошамкала беззубым ртом:

— Шам ты обяжана, шин обяжаны! Каркаешь тут што попало!..
— И, продолжая ворчать и браниться, старуха демонстративно покинула зал.

После лекции Азиз сразу поспешил домой. Все уже спали, кроме старухи, которая терпеливо ждала возвращения мужа, чтобы подать ему ужин. Увидев жену, Азиз, против обыкновения, приветливо и ласково улыбнулся ей.

— Баллах, жена, зря я на этот раз не послушался тебя, — с сожалением проговорил он и, строго нахмутив брови, добавил — Чем такой хабар, который мы только что слушали в клубе, в тысячу раз лучше твой хинкал. Бисмиллах!..

Как муза стала Марусей



У меня есть друг. Зовут его... А впрочем, не буду называть его имени. Сами потом увидите, что я поступил правильно. Назову его просто Шарапилом — какая вам разница? Мой друг Шарапил — поэт. Несмотря на это, человек он степенный, уравновешенный, как две чаши весов у честного продавца. Но все же в душе он немного восторженный и, конечно, влюбленный, хотя ему уже под пятьдесят (поэт все-таки).

И вот недавно Шарапил решил провести свой творческий отпуск в одном из маленьких и очень отдаленных высокогорных аулов, который стоит ближе к небу, чем к земле.

Скажу прямо: чудесное место выбрал он для этого. Я сам несколько лет назад был в этом ауле. В ясный безоблачный день отсюда как на ладони видна бескрайняя величественная панорама родных гор, окутанных легкой сиреневой дымкой и напоминающих издали неприступные замки-крепости сказочных дивов¹¹⁷, в которых томятся плененные ими прекрасные царевны в ожидании своих избавителей, не менее прекрасных царевичей или просто удачливых героев. Гордые орлы парят у самых твоих ног. А ночью звезды такие яркие и крупные и бархатно-синее небо так близко висит над головой, что кажется, стоит тебе протянуть руку, и ты без труда дотронешься до них.

К тому же в этом ауле мой друг может подкрепить свое здоровье в Доме отдыха, рядом с целебным источником, построенном его жителями на собственных средства на живописном склоне горы, поросшей сонами.

За несколько дней до того, как Шарапил, полный творческих замыслов и радужных надежд, полетел в этот аул, я отправил туда письмо на имя председателя аульского Совета. Даю вам слово, у меня и в мыслях не было, что оно может сыграть злую шутку с моим другом, в чем я очень каялся потом. Письмо было простое, совсем безобидное, правда, написанное в шутиливом тоне. Написал я его с самым благим намерением: чтобы моему другу Шарапицу оказали должное внимание, создали для него необходимые условия для работы и отдыха. И ничего больше.

В письме, как уже было сказано, составленном в тоне добродушной шутки, я написал главе местного Совета о том, что мой друг Шарапил, пожелай только он этого, мог бы провести свой творческий отпуск на знаменитом Рижском взморье или золотых песках Ялты, в живописных Гаграх, где витает дух прекрасной царицы Тамары, или на заграничном, всемирно известном курорте Карловы-Вары. Но он захотел провести его именно у них. И что он этим оказывает своего рода честь их маленькому, далекому и затерянному в дебрях гор, но замечательному, доброму и гостеприимному аулу.

В заключение я просил председателя аульского Совета оказать моему другу хороший прием, выделить ему отдельную комнату в Доме от-

¹¹⁷ Див (дэв) — злой дух, мифологический образ, имеющий сходные с человеком черты, обладающий сверхъестественной силой.

дыха и, если, конечно, его не затруднит, поинтересоваться иногда, посещает ли его Муза — эта капризная, взбалмошная, своенравная красавица, которая любит дразнить, а нередко сводит с ума поэтов. Если посещает, то в какое время дня и ночи она является к нему, чтобы зажечь в нем огонь любви и вдохновения?..

В конце письма, соблюдая обычные формальности, я указал свою фамилию и место работы — Союз писателей Дагестана.

Написав это письмо, я, разумеется, совершенно не рассчитывал на то, что получу ответ, да и на второй же день забыл о нем. Поэтому я был немного удивлен и смущен, когда через несколько дней получил от председателя местного Совета того самого аула, куда полетел мой друг Шарип, длинное и пространное письмо, которое полностью привожу здесь.

“Ассалам алейкум, тов. (следует моя фамилия)! Вы, пожалуйста, не обижайтесь, если я сообщу Вам о том, что никакого такого торжественного приема или почестей я Вашему поэту не оказал, поскольку расходы на такие мероприятия по “бюджету” аульского Совета не предусмотрены. Но Вы (опять следует моя фамилия) не беспокойтесь за своего друга. Поверьте мне, ему будет житься у нас не хуже, чем на курорте царицы Тамары или господина Карала-Вар-ла. Ему выделена отдельная комната, он обеспечен питанием по первой категории.

А что касается этой самой женщины — Музы, то я сразу же по получении Вашего письма хотел ответить Вам, что женщина или девушка под таким именем у нас не проживает и никогда не проживала. Но поскольку сигнал серьезный, можно сказать, тревожный (я Вас понимаю: под угрозой находится целостность и сохранность советской семьи), думаю, одним таким формально-бюрократическим ответом нельзя, да и не имею права, отмахиваться. И я решил во что бы то ни стало выследить эту опасную вертихвостку, которая любит кружить голову мужчинам, в особенности поэтам, и даже доводит их, как Вы пишете, до сумасшествия. Но когда все мои усилия найти, выследить эту Музу оказались напрасными и я готов был написать Вам, что, слава Богу, нет у нас женщины или девушки ни с таким именем, ни с таким нравом, как вдруг, тов. (опять следует моя фамилия), меня осенило: ведь это же Маруся!.. Да-да! Есть у нас такая, действительно, как Вы пишете, своенравная и взбалмошная особа, на вид, можно сказать, довольно приятная и пригожая собой девушка. Ее не так давно из Махачкалы прислали, зав. аульской аптекой работает. Правда, девушки в ауле между собой называют ее немного иначе, не Музой, как Вы пишете, а Мусей. Но это не имеет никакого значе-

ния. У нас говорят: “Что Али-Хужа, что Хужа-Али — один черт”. Сам потом удивлялся: как мне сразу это не пришло в голову?! О том, что эта женщина, о которой Вы пишете в своем письме, именно и есть наша Маруся, у меня никакого сомнения не вызывает. Иначе с чего бы она больше всех хлопотала, чтобы мы организовали встречу с Вашим другом поэтом, и первая пронюхала о его приезде? Наверняка заранее знала об этом.

Или взять, к примеру, другой факт из ее поведения, который утверждает меня в этой мысли. Недавно у нас в аульском клубе показывали какой-то заграничный фильм. Молодой мужчина в коротких штанах и полураздетая женщина так целовались, так целовались, казалось, они, как две голодные хищные щуки, вот-вот проглотят друг друга. Когда это было, чтобы у нас мужчина и женщина, если даже очень любят и страстно желают друг друга, так безобразно целовались?.. Если и целовались (не без этого, конечно), то в щечку. Я сразу вскочил с места и дал команду: немедленно прекратить эту непристойность! А как же иначе?! После таких фильмов, должен Вам сказать, даже меня, семикратного дедушку, по ночам посещают легкомысленные сны. А что говорить о людях помоложе?!

Многие начали шуметь, выражая недовольство, как, мол, это так, деньги заплатили, а досматривать картину до конца не разрешают... Больше всех возмущалась, громче всех протестовала эта самая Мусья-Маруся. А через несколько дней смотрю и глазам своим не верю: в нашей районной газете напечатан фельетон. “Унтер-офицер Пришибеев в роли председателя аульского Совета”. Это критиковали меня за то, что я своей властью запретил показывать людям этот безобразный фильм, сорвал, так сказать, “культурное мероприятие”. А под фельетоном стояла подпись этой самой Муси-Маруси, пес ее возьми!

Редактор, конечно, тоже хорош — нечего сказать. Вместо того чтобы поддержать мои правильные действия, направленные против безнравственности, позволил этой сумасбродной и бессовестной девчонке сравнить меня с каким-то Пришибеевым, о котором я слыхом не слыхал, и подрывать мой авторитет. Ничего, они мне за это ответят перед судом. А Вас хочу спросить: может, Вы слышали про этого самого Пришибеева? Насколько я знаю, у нас даже чина или звания такого нет. Но не буду задерживать Ваше внимание на этом возмутительном факте, послушайте дальше о Вашем друге.

Я несколько раз заходил, будто невзначай, к нему. Но, к сожалению, не застал у него Маруси. А позавчера я нарочно зашел к Вашему другу очень поздно, когда в ауле уже прокричали первые петухи. Он си-

дел и не то что-то пописывал, не то читал. На этот раз мой приход в такое позднее время его очень удивил и, как мне показалось, даже напугал немного. Это меня еще больше насторожило.

— Вижу, у вас свет горит, дай-ка, думаю, зайду на огонек, — опускаясь на его койку и внимательно оглядывая углы комнаты, сказал я, оправдывая таким образом свой поздний визит. Потом нагибаюсь, вроде чтобы поправить голенище своего сапога, а сам одним глазом заглядываю под койку. Но и там ничего подозрительного. На этом я, конечно, не успокоился. Встал, подошел к шкафу и рывком открыл дверцы.

— Что вы там ищете? — спросил меня Ваш обеспокоенный друг.

— Ничего особенного, — отвечаю я, пряча улыбку. — Смотрю, не водятся ли у вас в шкафу крысы, тараканы, клопы и прочие паразиты.

— Нет, не водятся, — говорит он, а сам на меня смотрит так, будто по моему лицу хочет узнать, догадываюсь я или нет о его сердечных отношениях с аптекаршей, — хитрый какой!

Но Вы, тов. (опять следует моя фамилия), не беспокойтесь: я за два-три дня обязательно все выясню. Я человек настойчивый, дотошный. Если мне удастся застать их на месте, то я, будьте спокойны, предприму все меры и не допущу, чтобы по вине какой-то Муси-Маруси разрушилась хорошая советская семья, а ее глава повредился рассудком”.

Письмо председателя аульского Совета меня больше рассмешило, чем озадачило. Я, конечно, не придал никакого значения его подозрениям и угрозам, трезво рассуждая: поскольку Муза — это не молодой фармацевт, насоливший председателю аульского Совета, а мифологическая личность, богиня поэзии и искусства, обитающая, согласно легендам древних греков, на вершине священной горы Олимп, я был абсолютно уверен: что бы ни предпринял рьяный глава местной власти — все окажется напрасной и смешной затеей.

Но я жестоко ошибся. На четвертый день после получения письма от председателя аульского Совета я совершенно неожиданно столкнулся на улице нос к носу со своим другом Шарапилом. Он шел медленно, устало, низко опустив голову, и, всплескивая руками, вслух разговаривал сам с собой, как лунатик, чего раньше я никогда не наблюдал за ним. Мой друг был явно чем-то удручен, между пальцами у него дымила сигарета, хотя уже три года, как он бросил курить по совету врача.

Я, тепло поздоровавшись с ним, спросил:

— Ты чего, Шарапил, такой мрачный? Ходишь, сам с собой разговариваешь? Ты же ездил на месяц, а побыл всего две недели!

Шарапил, прежде чем ответить на мой недоуменный вопрос, резким движением бросил недокуренную сигарету на землю и, сплюнув, в сердцах раздавил ее каблуком.

— Ты знаешь, — громко и запальчиво начал он, забыв, видимо, что находится на улице и его могут услышать прохожие, — какой-то идиот написал моей жене, будто я специально поехал в тот аул, чтобы встретиться там с какой-то Марусей и завести с ней шашни. И жена (она у меня очень подозрительная и ревнивая до сумасшествия), как ведьма на метле, сразу прилетела туда и учинила грандиозный скандал, заставила уложить чемодан и немедленно вернуться домой... А мне надо срочно сдать рукопись в издательство. Иначе она, моя запланированная книга, полетит вверх тормашками. Да еще жена продолжает злиться, ест меня поедом. Вот какая неприятная история!..

Мне теперь все стало ясно. Как мне ни было досадно и грустно за друга, я невольно засмеялся.

— Может, все-таки был у тебя какой-то мимолетный “курортный роман” с этой Марусей? — нарочно спросил я, еле сдерживая предательский смех.

— Вах! И ты, что ли, с ума сошел?! — взорвался мой друг. И тут же, клятвенно приложив руки к груди, с горячностью воскликнул: — Я не только не знаю ее, эту Марусю, клянусь тебе, даже в глаза ни разу не видел и не слышал о ней. А жена не верит!..

Вот теперь вы, наверно, поняли, почему я решил держать имя моего друга в секрете?..

Сосед мой — враг мой



Ассалам алейкум, уважаемый редактор! Прошу Вас, напечатайте о моем соседе Сары¹¹⁸-Самеде, который проживает в селении Узун-Бурни¹¹⁹, напротив водяной мельницы (чтоб он угодил своей рыжей головой под ее тяжелые жернова), один острый, как уксус с перцем, “фильетун”. Хоть и говорят: “Близкий сосед лучше далекого брата”, а вот мой сосед Сары-Самед — злой враг мне. Он до того извел, измучил меня, что, клянусь всеми свя-

¹¹⁸ Сары — рыжий (азерб.)

¹¹⁹ Узун-Бурни — Длинный Нос.

тыми, если можно было бы уложить все свое хозяйство: дом, двор, сад, скотину вместе с женой — в один большой чувал, ни одной минуты не остался бы жить рядом с ним. Взвалил бы все свое добро на спину и, не смотря на свои пятьдесят восемь лет бежал бы от него без оглядки, как от самого шайтана (чтоб шайтан изуродовал его, окаянного). Не зря говорили блаженные деды-прадеды: “Прежде чем строить дом, узнай, кто твой сосед”...

Жить с ним по соседству, поверьте мне, нисколько не лучше, чем очутиться в яме один на один со змеей (чтоб она ужалила его злой язык).

Я слышал, что раз пишешь в газету — давай факты. А фактов у меня против Сары-Самеда хватило бы не только на один “фильетун”, а на все четыре страницы Вашей газеты, но я приведу всего несколько из них, памятуя, что “веревка хороша длинная, а речь короткая”.

Начну хотя бы с того, что он, мой сосед Сары-Самед, ходит по селу и распространяет обо мне всякие хабары-небылицы, будто я нарочно огородил свой двор и сад высоким каменным забором, потому что ревную молодую жену, прячу ее от любопытных взоров, как купец свою мошну.

Как поворачивается у него язык сказать обо мне такое, если моя жена почти каждый день на виду у тысяч людей торгует в городе на рынке ягодами, фруктами и овощами из моего сада и огорода? А когда она не успевает за день продать все привезенное, даже остается ночевать там у какого-то своего, как она говорит, дальнего родственника, которого я знаю столько же, сколько Вас или Вы меня, то есть хочу сказать, что совсем его не знаю и в глаза ни разу не видел.

Со своей старой женой я был вынужден развестись, потому что от нее не было ни толку, ни проку ни мне лично, ни моему хозяйству. Женщина она хилая, слабая, к тому же бесплодная. Кроме того, заставить ее отправиться в город на рынок было так же невозможно, как сдвинуть с места каменную скалу, несмотря на то что от нашего селения Узун-Бурни до города рукой подать.

Не отрицаю, я действительно огородил свой сад и двор высоким забором. Но я это сделал, чтобы не вводить в соблазн посторонних, как говорится: “Глаз не увидит, сердце не захочет”. Но жена моя, я Вам скажу, тут совсем ни при чем. У меня, чтоб не сглазить, самый красивый и самый богатый сад в Узун-Бурни. Поэтому все, кому вздумается, тащатся ко мне в сад полюбоваться на него, а главное, поесть всласть фруктов-ягод, насорить, как будто это общественный или колхозный

сад. А ведь как капля к капле образует ручеек, так и ягодка к ягодке образует кучку. А жена моя за каждую такую кучку берет на рынке с покупателя рублик, а то и подороже. Да и для мальчишек-сорванцов, охотников совершать разбойные вылазки в чужие сады, эти стены — надежное препятствие.

Потом, если разобраться, женщину в тридцать лет разве можно считать молодой? В былые времена, говорят, некоторые женщины в нашем селении в возрасте моей жены ходили в бабушках. А ему, Сары-Самеду, лишь бы почесать язык, посплетничать обо мне.

Наберитесь, пожалуйста, терпения, послушайте дальше. Недавно мой сосед Сары-Самед кем и чем только меня не обзывал: и сорняком, и жадиной, и злостным нарушителем трудовой дисциплины, притом при всей бригаде. Из-за чего, спрашивается, он так при людях, так сказать, “бублично” оскорбил меня, невинного человека?

Во время работы на прополке овощей ребята устроили перекур. Сам я не балуюсь табаком. Курить — прожигать не только здоровье, но и деньги... И вот, пока ребята курили, хабарничали, меня начало клонить ко сну. Чтобы не помешать им своим храпом (а я, когда сплю, сильно храплю), я потихоньку отполз подальше, забрался под куст, росший около дороги, у прохладного арыка, и под его монотонное журчание заснул, и, видимо, крепко. Проснулся, когда уже солнце садилось за лесом, вернее, не я проснулся, а меня разбудил Сары-Самед, мой сосед. Оказывается, в это самое время стадо возвращалось в селение, а быки и коровы, приближаясь к кусту, под которым я похрапывал, с громким мычанием и ревом шарахались в сторону, сбивая друг друга с ног, или пугливо обходили его. Этим они привлекли внимание Сары-Самеда, который в это время возвращался домой с саженью на плечах (он у нас работает учетчиком).

Говорят: “На хромого козла и скала рушится”. Обычно животные боятся, если в кустах (не про нас с вами будь сказано) лежит покойник или затаился зверь. А с чего они, глупые создания, испугались меня, здорового, мирно спящего человека, понять не могу. И вот на следующий день мой сосед в присутствии всей бригады, мешая быль с небылицей, правду с ложью, стал чернить меня.

Он говорил, что я будто бы весь день проспал в кустах, когда другие не жалели сил в работе, что это не первый случай с моей стороны. По его словам, меня будто бы не однажды находили спящим в разгар рабочего дня в Донгуз-Камыше, под стожком сена, и будто бы я днем

на колхозной работе отсыпаясь, чтобы потом всю ночь корпеть в своем саду.

Почти на все его клеветнические наветы у меня есть опровержения. Во-первых, я проспал в кустах не весь день, а три четверти дня, то есть после первого перекура, — надо быть точным. Если сосед недолюбливает соседа — это вовсе не значит, что ему позволено безнаказанно говорить про него все, что взбредет на язык. Во-вторых, я в зарослях Донгуз-Камыша никогда не спал, зная, что это — излюбленное место свирепых диких кабанов. Не такой я глупый, чтобы по своей охоте подставлять голову под их острые клыки. Пусть это делает сам Сары-Самед, если ему надоело носить на плечах свою дурную голову.

То, что я по ночам, а иногда до самого рассвета работаю на своем приусадебном участке, а потом отсыпаясь на колхозной работе, — это верно. Врать не буду — я человек честный. Но и на это у меня есть свое оправдание. В колхозном хозяйстве, дай Бог берекет, семьсот трудоспособных членов, а в моем хозяйстве я один. Жена моя, как я уже сказал, целыми днями торгует на рынке в городе (а продавать со своего приусадебного хозяйства, как вы знаете, никому не запрещено).

Теперь коротко о вчерашнем случае, который больше всего побудил меня написать Вам это письмо. Вчера мой сосед Сары-Самед чуть не подтолкнул меня на смертоубийство и не свел с ума. И вот как это было.

Поздно вечером я возвращался со свадьбы, а жены, как на грех, и на этот раз не было дома (опять осталась ночевать в городе у своего дальнего родственника). Когда я открыл калитку, смотрю, что за черт! У меня в саду под большой черешней стоит какой-то незнакомый человек, видно, не из нашего селения. Был бы он мальчик-сорванец, еще куда ни шло, а то солидный мужчина в соломенной шляпе, с почтенной бородкой и в больших очках. На вид вроде приличный: человек, “энтelligent”, а ведет себя Бог знает как. Он тянет рукой к себе тяжелую ветку со спелыми ягодами, смотрит без всякого смущения в мою сторону и нахально смеется. Я, конечно, был очень возмущен его поведением, но, сдерживая свой гнев, остановился в десяти шагах от него и кричу ему: пусть то, что он слопал, будет ему халол и пусть сейчас же убирается вон из моего сада. А он, представьте себе, и в ус не дует, по-прежнему держит ветку и бесстыдно смеется мне в лицо. Кровь ударила мне в голову, тем более что я был сильно под хмельком. А пьяный человек, сами знаете, сродни сумасшедшему, особенно когда он зол. Я забежал в дом, вынес заряженное ружье и в запальчивости спустил курок.. И как толь-

ко я выстрелил, он упал как подкошенный, не издав ни звука. Сперва я (не скрою от Вас) даже обрадовался, что одним выстрелом вышиб из него дух, так, мол, ему и надо. Но потом, как только опомнился, сообразил, что натворил, мне стало так страшно, что весь холодным потом покрылся. Бросив ружье, я сразу кинулся бежать куда глаза глядят, чтобы скрыться, спрятаться от людей, исчезнуть совсем. Я с ужасом понял, что в одно мгновение потерял все, ради чего жил, трудился, страдал, копил, изворачивался. Жизнь для меня сразу не только наполнилась страхом, но и потеряла свой смысл. Добежав до калитки, я вдруг сослепу ударился о свой каменный забор и в кровь расшиб себе лоб. Вначале с перепугу мне показалось, что это он, мертвец, вернее его призрак, догнал меня и хватил камнем по лбу. Тогда я, совсем потеряв голову, чтобы спастись от него, бросился в дом и наглухо закрыл за собой дверь. О, сколько страху я натерпелся за вчерашнюю ночь — не дай Бог врагу Вашему.

Еще хорошо, что на мой выстрел не прибежал никто из моих односельчан. Это потому, что вчера вечером стрелял из ружья не я один. В нашем селе издавна существует обычай: когда жених впервые переступает порог комнаты, где его ждет невеста, наши односельчане выходят на окраину села или в свой двор и палят из ружей, приветствуя этим зарождение, так сказать, новой семьи. Поэтому на мой выстрел никто не обратил внимания, даже мой сосед Сары-Самед.

Рано утром, едва дождавшись рассвета, я, весь измученный, еле живой, дрожа от страха, приполз к тому месту, где вчера ночью стоял незнакомец, убитый мною, и... остолбенел от изумления: под черешневым деревом лежал не человек, а... чучело, обыкновенное чучело, но с козлиной головой без рогов. Губы сверху и снизу были подрезаны, и от этого казалось, что оно смеется во весь рот, обнажив зубы... Возле чучела валялись соломенная шляпа и очки.

Когда я это увидел, меня охватила такая бурная радость, которую я не могу выразить словами. Я плакал и смеялся одновременно. Но очень скоро моя радость сменилась яростным гневом на моего соседа Сары-Самеда, порази его чума! И вот почему. Я понял, что эта дьявольская шутка — дело его рук. Да и клетчатый пиджак, который был на чучеле, я года два-три назад видел на нем. И еще я вспомнил, как он однажды меня упрекнул в том, что я, мол, такой-сякой скряга, алчный, могу из-за пары ягод выстрелить в человека.

Завернув козлиную голову вместе с соломенной шляпой и очками

в клетчатый пиджак соседа, я сегодня же утром отправился в райцентр к “пулкурору”. Но вот что обидно и возмутительно, уважаемый редактор: “пулкурор” отнесся с полным невниманием к моей жалобе, да еще посмотрел на меня так неласково, неприветливо, скорее всего, с неприязнью, словно во всем случившемся виноват не мой сосед Сары-Самед, а я, невинно пострадавший человек.

Будьте справедливы, посудите сами: разве после всех тех пакостей, которые причинил мне мой сосед Сары-Самед, он не заслуживает, чтобы Вы о нем написали один острый, как укус с перцем, “фильетун”, да чтобы фил¹²⁰ раздавил его вместе с нашим “пулкурором”!

Как я воскрес



мер, но не наяву, а во сне и поэтому видел и чувствовал все, что происходило со мной и вокруг меня. Едва неумолимый ангел смерти Азраил вместе с последним вздохом отнял мою душу, меня тотчас же раздели догола и убрали с кровати (покойнику, мол, незачем валяться в постели). Тело мое еще не остыло, когда его положили на голый пол (теперь, дескать, все равно, никакая хворь к нему не пристанет). Угол, где я лежал, занавесили белой простыней (неприлично ведь взрослому мужчине, если он даже покойник, растянуться нагишом во всей своей красе на виду у всех). Потом меня с ног до головы тщательно обмыли горячей водой и завернули в белый чистый саван (видимо, на тот свет без предварительной “санобработки” не принимают).

После этих и других процедур, предусмотренных обрядом (знаете, иногда живому легче попасть к черствому начальнику-бюрократу, чем бедному покойнику в свою яму), меня положили на погребальные носилки и быстро, точно желая поскорее от меня избавиться, пока я еще не начал “благоухать”, понесли на кладбище.

Впереди процессии шли мои сестры, тетки. Жена с маленькими детьми осталась дома (от горя она сама была еле живая). Все мои родственницы, прыгая перед моими носилками, бия себя в грудь, царапая в кровь лицо, хором кричали “ай-вай!..”. Выше всех прыгала, несмотря на свой пожилой возраст, и громче всех причитала моя “любимая” теща:

¹²⁰ Фил — слон.

пусть, мол, люди видят, знают, как она тяжело переживает смерть своего зятя. Глядя на нее, я невольно с горечью вспомнил, как она постоянно совала свой нос в нашу личную жизнь, ела меня поедом. Теща не могла простить мне, что я — молчаливый, застенчивый и совсем невидный из себя человек, притом из какого-то глухого лесного селения, кругом сирота, без кола и двора и совсем не того сорта “доблестных” мужчин, которые на ходу подметки рвут, создавая все условия для жены и семьи, — стал мужем ее любимой дочери, достойной якобы лучшей доли.

Но я смотрел на все происходящее совершенно невозмутимо, с полным безразличием, как и полагается покойнику. Но когда я со своих носилок, мерно покачивающихся на плечах дружно шагающих друзей-земляков, бросил прощальный взгляд на город, освещенный лучами предзакатного солнца и ставший мне родным, меня вдруг охватила невыразимая тоска. Здесь, в этом городе, прошла моя юность, здесь я познал волнения первой любви. Город на моих глазах из года в год рос и хорошел. Многие здания в нем были выстроены при моем участии (при жизни я будто бы был бригадиром строительной бригады), и я смотрел на них, как смотрит старый садовник на цветущие деревья, посаженные и выращенные его заботливыми руками.

Горькая, как полынь, и жгучая, как молния, мысль о том, что я на веки вечные расstaюсь со ставшим милым моему сердцу городом, с детьми, женой и друзьями и что умираю совсем еще молодым, перевернула мне душу; все во мне восстало. И мне пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы взять себя в руки и подавить эти земные, суетные мысли и чувства, покориться своей участи, памятуя, что покойник должен вести себя тише воды ниже травы.

Наконец похоронная процессия вступила на кладбище. Носилки с моими бренными останками поставили у свежeverытой могилы, откуда несло сыростью и тленом. Кругом возвышались безмолвные надгробные камни и безымянные холмики. Их вид навевал на меня тягостные думы, надрывая мне сердце. Невольно приходили на память печальные строки величайшего из поэтов — Омара Хайяма:

*Друг, не тужи о том, чего уж нет,
Нам светит дня сегодняшнего свет,
Всем завтра предстоит нам путь безвестный
Вслед ушедшим за семь тысяч лет.*

Я ждал: вот-вот снимут меня с носилок, положат в яму — и мир с голубым небом, мерцающими звездами, горячим солнцем, со всем, что было мне дорого в нем, навсегда захлопнется передо мной, исчезнет, как луч во мраке. Но в это время чей-то голос объявил об открытии траурного митинга по поводу моих похорон. От имени коллектива и профсоюзной организации нашего строительно-монтажного управления слово дали бригадиру второй строительной бригады, с которой соревновалась моя бригада, старому Даде Бадаеву.

Боль моя немного смягчилась, когда я услышал об этом. Я не сомневался в том, что этот седой человек с задушественным голосом и добрыми глазами скажет обо мне людям, которые провожают меня в последний путь, несколько сердечных, трогательных слов.

Но какой же я получил удар, когда почтенный Дада Бадаев, деловито покашляв в кулачок, медленно, словно нехотя, вытащил из кармана пиджака напечатанный на машинке лист и, запинаясь, начал читать, впиваясь близорукими глазами в текст:

— То-ва-а-рищи! За последние годы у нас в республике и во всей необъятной стране широким фронтом развернулось жилищно-бытовое строительство... Наш боевой девиз — строить быстро, дешево и высококачественно, с честью выполнять взятые обязательства, не допускать простоев и штурмовщины, спячки и горячки...

Дальше оратор сообщил о производственных показателях нашей строительной организации, доложил, где и что она строила за последние годы, упомянул нескольких передовиков производства, в том числе и меня. Обо мне он сказал, что я, “ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы...”.

Старик и сам, видно, чувствовал, что говорит совсем не то. Он минутно дергал с досады головой, хмурился, неловко кряхтел, но продолжал читать речь, видимо, написанную для него каким-то административным сухарем. Перед завершением своего выступления он на мгновение взглянул в мою сторону печальными глазами, видно желая что-то сказать от себя, а не по написанному, но, боясь сбиться с текста, продолжал читать тем же монотонным голосом.

— Дорогой товарищ Хизгил! Пусть четырехэтажный сорокаквартирный дом со всеми коммунальными удобствами, с отдельным туалетом и отдельной ванной в каждой квартире, горячей и холодной водой, мусоровывбрасывателем и т.п. (он так и прочитал: “и т.п.”), который мы построили в тупике Шайтан-Базар и который мы в последнем квар-

тале этого года должны сдать в эксплуатацию после устранения дефектов, обнаруженных приемной комиссией, будет памятником тебе за твой ударный труд в нашем коллективе. Спи спокойно, уважаемый товарищ, и до свидания.

Я незаметно обвел взглядом лица столпившихся на кладбище людей. Нарушая приличествующую моменту скорбь, они — о ужас! — весело улыбались. А один большеголовый пучеглазый толстяк, видно совсем не лишенный чувства юмора, без всякого стеснения хихикал так, будто его щекотали. Глядя на все это, я чуть не перевернулся на своих носилках от досады и возмущения. “Ну зачем, зачем доброму Даде Бадаеву нужно было выступать на моих похоронах с этим производственным отчетным докладом? — сокрушался я. — Неужели в дни большой радости или большого горя у каждого из нас не найдется нескольких простых и сердечных слов? Неужели я только и делал в жизни, что “ловко орудовал мастерком и свободной левой рукой”?.. Разве я не был любящим мужем, хорошим отцом, верным другом?.. Разве не было у меня радостей и горестей, мечтаний и стремлений, которым из-за моей преждевременной смерти не суждено было сбыться? Почему об этом не сказали ни слова?!”

Пучеглазый толстяк, придерживая обеими руками свой тугой живот, точно боясь уронить его, уже не хихикал, а запрокинув голову, без зазрения совести гоготал, как гусь, точно жизнерадостный малыш в цирке во время выступления клоуна.

Вдруг, как это ни странно, и мне самому тоже стало смешно. Сперва тихо, а потом все громче я начал хохотать. Тело мое так и содрогалось от разбиравшего меня смеха. Как я ни старался сдержаться, вести себя прилично, как подобает покойнику, ничего не выходило. Я боялся, как бы мои друзья, собравшиеся на кладбище, не дай Бог, оскорбившись, не подумали, что покойник смеется над ними, живыми. От века веков такого еще не было...

От моего громкого смеха черное покрывало стало колыхаться, как листья от дуновения ветра. К изумлению всех, я вдруг ожил и, нетерпеливо сбросив с себя мрачное покрывало, вскочил на ноги... Я слышал, что смех излечивает от многих болезней, а на этот раз смех избавил меня от самой страшной штуки — смерти.

Проснувшись в то утро, я очень обрадовался, что жив, но, в ту же минуту вспомнив свои похороны во сне, на всякий случай предупредил жену:

— Знаешь, дорогая, если я умру раньше тебя, не позволяй устраивать митинг у моей могилы. — Но потом, подумав немного, сказал совсем другое: — А впрочем, пусть устраивают, может, это даже хорошо: вдруг я воскресну, как это было со мной во сне. Как говорится, чем черт не шутит...

“Жених” бабушки Фатьмы



Ах, была не была, расскажу вам, что приключилось со мной, старухой, недавно. Баллах, помрете со смеху. Правда, я клялась и божилась никому не рассказывать об этом, но что делать, шайтан, чтоб он сгинул, так и тянет меня за язык... А приключилось со мной вот что. Вчера вечером, когда я выходила из дома, двое дюжих молодцов разом налетели на меня, как коршуны на голубку, быстро завернули в бурку и, от радости не чуя ног под собой, во весь дух умчали куда-то. Но это еще что! Самый главный похититель стоял на коленях передо мной, как перед богиней, объяснялся в любви, слезно умолял, чтобы я не отвергала его любви, иначе, мол, он, как несчастный Меджнун из-за прекрасной Лейли, сойдет с ума и белый свет будет ему не мил... Вот как!

Что бы вы подумали, мои хорошие, если бы я вам сказала по секрету, что сама хотела, чтобы парни меня похитили? Ага-а! У вас, наверно, так и чешется язык: “Ах ты, мол, дура старая! С ума, что ли, спятила? Или кровь взыграла на старости лет?..” Вы, пожалуйста, не зная, что к чему, не беритесь судить, хорошо я поступила или дурно. Знаете поговорку: “Не дойдя до речки, штаны не скидывают”. А то, что я старая, — это мне не в укор, а в честь, недаром свой век прожила. Один мой сын — боевой офицер, день и ночь границу нашу охраняет, другой мой молодец — знатный чабан, его портреты в газетах печатали, а дочь моя, дай Бог ей много сил и здоровья, десятого ребенка носит под сердцем, скоро матерью-героиней будет. То-то!..

Если хотите знать, в свое время я была собой пригожа не меньше, чем самая красивая молодуха сейчас, не только в ауле, но и во всей округе. Дай Бог памяти, не помню точно, когда это было: то ли шестьдесят, то ли семьдесят лет назад к нам в аул приезжал один ашуг, веселый, голосистый такой, как соловей в весеннюю пору. Так он в своей чудесной

песне сравнивал мои щеки с румяным яблоком, уста — со сладчайшим медом, а зубы — с аравийским жемчугом. Правда, от этого “жемчуга” у меня теперь остался во рту один только передний зуб. И стоит мне засмеяться, как мой годовалый внучек тут же поднимает рев, боится, паршивец, думает, я хочу укусить его или нарочно пугаю.

Да, я немного отвлеклась и уже забыла, с чего начала... Вот, вспомнила!.. Сiju, значит, я вчера одна у себя в сакле, качаю люльку, а сама слегка дремлю. Вдруг слышу, кто-то вошел в комнату. С трудом открываю глаза, смотрю, это Микаил пришел, соседский парень. Лицо у него очень приметное: чересчур смуглое, скуластое, брови черные, лохматые и улыбка до ушей. Я его за версту увижу — сразу узнаю. Он славный юноша: такой скромный, почтительный и работник хороший.

Микаил остановился посреди комнаты, смотрит на меня и ничего не говорит, только чешет затылок и смущенно улыбается.

“Ну, Микаил, с какими добрыми вестями к нам пожаловал?” — зевая во весь рот, спрашиваю его.

Микаил подошел поближе и присел на корточки возле меня. “Знаете, бабушка Фатьма, — говорит он мне доверительным тоном, — у меня к вам очень важное дело...”

Я, правду сказать, гляжу на него, еще сонная, и недоумеваю: какое у него может быть ко мне, старухе, важное дело? Я, что ли, хаким какой или этот самый... депутат Совета?

“Ну, говори, что у тебя за дело ко мне”, — безразлично отвечаю.

А Микаил, прежде чем сказать, внимательно огляделся по сторонам и потом чуть слышно говорит мне: “Только, бабушка Фатьма, чур! То, что я вам скажу сейчас, — большая, очень большая тайна. Ни одна живая душа, кроме нас с вами, не должна знать об этом. Обещаете?”

“Эге! — думаю. — Коли он так серьезно предупреждает, стало быть, дело и впрямь нешуточное”. Я сразу повеселела. Сонливость мою как рукой сняло, любопытство начало разбирать меня. А я, скажу вам, ужас какая любопытная! Мой покойный муж, мир его праху, бывало, частенько ругал меня за эту мою слабость. “Тебя, Фатьма, хлебом не корми, — не раз выговаривал мне мой блаженной памяти муж, — только дай волю ходить по аулу и собирать всякие хабары, а потом, подобно сороке в лесу, весь день трещать о них без умолку”.

“Ну ладно, не тяни, рассказывай!” — тороплю я Микаила, чуть толкая его в плечо.

Микаил, придвинувшись еще ближе, шепотом, точно боясь, что еще кто-нибудь другой услышит нас, говорит: “Мы, бабушка Фатма, сегодня вечером хотим украсть одну девушку...”

Вай! Как только я это услышала, кровь бросилась мне в голову. Схватив тотчас же с полу длинную палку (я ее всегда держу при себе, чтобы можно было, не вставая с места, прогонять кур и цыплят, которые забираются в саклю), в гневе замахнулась на Микаила. “Сейчас же разобью твою дурацкую башку этой палкой, негодник! — кричу на него, вне себя от возмущения. — Как это — украсть чужую девушку?! Я думала, ты хороший парень, а ты вон какой, оказывается, разбойник!..”

Ребенок от моего крика вздрогнул в люльке и так завопил, будто его сто чертей напугали во сне. Да и Микаил, вижу, тоже испугался не на шутку. Схватив мою руку, он начал умолять меня: “Бабушка Фатма, ради Бога, успокойтесь. Я совсем не то хочу сказать... Послушайте же дальше!”

Я неохотно положила палку на место и, сердито косясь на Микаила, принялась опять качать люльку. “Пес тебя знает, Микаил, — ругаю его. — То говоришь, что хочешь украсть чужую девушку, а как увидел у меня в руках палку, запел совсем другое. Поди разберись...”

Короче говоря, мои любезные, из слов Микаила я поняла, что у него есть закадычный друг Ильяс. Этого Ильяса-балбеса я тоже знаю. Он так, видный из себя парень, но пьяница и бездельник, не работает, сидит у бедной матери-вдовы на шее. Словом, один из тех негодников, о которых говорят: “Вечером пьяница — утром лентяй”. Он, оказывается, по уши влюблен в девушку Рукият, день и ночь томится по ней. Легкомысленный, ветер в голове, а знает, шельма, в кого влюбиться. Она скромная, миловидная девушка, притом, как вы знаете, самая лучшая доярка на ферме. Если верить Микаилу, этот бездельник ей тоже нравится, но выйти за него она боится. И правильно делает. Кому нужен муж-пьяница? Кто пьяницу полюбит — свою жизнь загубит.

И вот этот самый Ильяс решил похитить нашу милую Рукият, а Микаила просит, как друга, помочь ему в этом нечистом деле. А Микаил словно между двух огней: отказать другу — духу не хватает, позорить девушку — совесть не позволяет. Но самое главное, что Микаил хотел сказать (о чем узнаете потом), он прошептал мне на ухо. Я, довольная, хитро посмотрела на Микаила и тут же с веселой улыбкой молча кивнула ему головой в знак согласия.

И вот поздно вечером, когда у нас все легли спать, я быстро на-

кинула на голову платок, вышла из дому, незаметно и бесшумно пробралась во двор, где живет Рукият. Ночь была безлунная, темная, хоть глаз выколи. Как только я очутилась во дворе, кто-то (человек, видно, очень сильный и ловкий) внезапно набросил на меня тяжелую бурку, проворно завернул в нее, как младенца в пеленку, и, тут же взвалив меня на плечи, понесся куда-то со всех ног. Все это произошло так быстро, что я даже и пикнуть не успела.

“Куда ее теперь?” — слышу я сдавленный голос Микаила. “Забыл, что ли? — рыгая, строго отвечает Ильяс. — Неси, как мы давеча условились, в Пещеру любви, да скорее, пока нас никто не увидел”.

Про Пещеру любви все у нас знают, что она огромная и очень темная, находится в высокой скале за версту от нашего аула. Весной и осенью во время перегона овец чабаны укрываются в ней от дождя и гроз. А вот почему ее называют Пещерой любви, мало кто об этом ведает. Говорят, когда-то один из слуг хана похитил красивую невольницу из его гарема, которую он очень любил. Скрываясь от ханского возмездия, влюбленные нашли здесь приют для своей любви.

“Ты, пожалуйста, осторожно, — раздается беспокойный голос Ильяса, когда мы отошли на почтительное расстояние от аула, как я поняла по отдаленному лаю собак, который доносится оттуда. — Ты случаем не задушил ее впопыхах? Я же знаю, какой ты медведь! Видишь, она даже звука не издает”. — “Да ты не волнуйся, Ильяс, — успокаивает его Микаил, который несет меня на своих широких плечах, как купец свой драгоценный клад. — Она, видно, с перепугу лишилась голоса. Ясное дело: слабый нежный пол! Но это пустяки. А что касается Пещеры любви, то я туда с закрытыми глазами пройду”. Но Ильяс, рыгая, продолжает недовольно ворчать. “Иди, пожалуйста, с закрытыми глазами куда хочешь, только не туда, куда мы сейчас направляемся с таким, можно сказать, бесценным грузом, — придирается он к словам Микаила. — Тут и с открытыми глазами не знаешь, куда ступить, чтобы не споткнуться, не сломать себе шею, а он, видишь ли, “с закрытыми глазами”...”

Теперь начинает сердиться Микаил. “Я не виноват, — говорит он Ильясу, — что ты опять залил глаза и тебя шатает, идешь как слепец. Мог бы хотя бы по этому случаю, черт возьми, воздержаться от вина, тем более знаешь: она не хочет за тебя выходить замуж только потому, что ты всегда под мухой”. — “Ни-и-ниче-го! Теперь, хочешь не хочешь, выйдет как миленькая, — самоуверенно произносит Ильяс. — Поэтому я и решил похитить ее”.

А я, прислушиваясь к разговору двух друзей — моих похитителей, представляю себе выражение лица дуралея Ильяса, когда он узнает, кого похитил, и меня начинает разбирать смех. Но я креплюсь изо всех сил, чтобы не рассмеяться в голос.

Теперь, мои любезные, приготовьтесь слушать самое интересное и самое смешное в этой истории с моим похищением. Даю голову на отсечение: подобного никто в жизни не видел и не слышал. Вот как только мы оказались в пещере, Микаил, пыхтя и отдуваясь, осторожно, будто хрупкий сосуд, кладет меня на землю и так же осторожно прислоняет спиной к стене. “Зажги фонарь!” — слышу я опять нетерпеливый голос Ильяса.

Едва фонарь осветил закопченные дымом чабанских костров голые стены пещеры, влюбленный Ильяс с жаром кинулся ко мне, упал на колени. “О моя дорогая! О моя ненаглядная!” — прижимая обе руки к груди и обдавая меня винным духом, громко и взволнованно говорит Ильяс. Он просит меня, чтобы я простила ему этот дерзкий поступок, умоляет, чтобы стала его женой, так как без меня он жить не может.

Я нарочно подождала, пока мой воздыхатель кончит изливать душу, а потом разом скинула с себя бурку и со злорадной усмешкой уставилась на него. «Ладно, разбойник, пусть будет по-твоему, — отвечаю ему. — Если ты и вправду так сильно любишь меня и без меня жить не можешь, так и быть, я согласна — выхожу за тебя, дуралея, замуж».

У Ильяса, видно, хмель сразу испарился, брови полезли на лоб. Он как ошпаренный вскочил на ноги и с минуту стоял точно вкопанный. А потом вдруг, рассвирепев, набросился на бедного Микаила. «Кого же ты прихватил, идиот?! Где были твои глаза?!» — кричит он так сильно, что голос дрожащим эхом раздается в пещере.

«Вай аман! — шлепает себя по лбу Микаил. — Волновался очень, да и темно было, ты сам видел, — начинает оправдываться Микаил и тревожно добавляет: — Что будет теперь с нами?..»

Ильяс видит, что дело скверно, хотел было дать драпака, но не тут-то было. Я, даром что старая, мигом вскочила с места и крепко схватила его за пестрый галстук, точно непослушного бычка за веревочку. «Я не позволю, — говорю, — со мной шутки шутить! Раз похитил меня, нанес урон моей женской гордости и чести, жарко объяснялся мне в любви при живом свидетеле, так изволь жениться. Иначе я сейчас же, на ночь глядя пойду к сельсовету жаловаться на тебя. Тюрьмы и позора тебе не миновать, так и знай!»

А Микаил, пряча хитрую улыбку, незаметно подмигивает мне: дескать, молодец бабушка Фатма, страдай его, негодника, вгоняй в пот, выбей дурь из головы.

Я наступаю на Ильяса, а он пятится от меня, выставя вперед руки, — боится, как бы я не заключила его, «милого женишка», в свои нежные объятия. «Что вы, что вы, бабушка Фатма! — со страхом говорит Ильяс бледнея. — Произошла ошибка... не по моей вине. — И тут же, указывая пальцем на своего друга, с горячностью добавляет: — Пусть в таком случае Микаил женится на вас. Это он виноват...»

А я продолжаю настаивать на своем. «Ты, — говорю, — хвостом не вилай и зубы мне не заговаривай! Объяснялся мне в любви не Микаил, а ты. И ты должен на мне жениться. К тому же, — говорю, — ты, глупец, мне больше нравишься, чем он».

Но Ильяс принимает мои слова за чистую монету, пугается, волнуется, кричит как оглашенный: «Как я могу на вас жениться — вы старшие моей бабушки! Я же сказал вам: произошла ошибка, ошибка произошла! Бывает же!..»

А я сделала вид, будто сейчас только поняла его, поэтому говорю ему: «А-а! Вон оно что! Выходит, что ты, пьяная рожа, сегодня в темноте подстерегал, как волк овечку, невинную девушку, чтобы похитить ее, опозорить, а по ошибке сцапал меня, старуху?! Если бы так похитили твою сестру или мать, как бы тебе это понравилось?!”

Я продолжаю задавать ему жару, а Микаил, с которым я в заговоре, то и дело толкает его в бок и говорит тихо, но так, чтобы я слышала: “Падай сейчас же в ноги бабушке Фатме, проси прощения, иначе пропади мы!..”

Одним словом, чтобы вам долго не морочить голову, кончилась вся эта история тем, что, пристыженный и напуганный до смерти, Ильяс встал опять на колени передо мной. На этот раз чтобы просить у меня прощения. Кроме того, поклялся мне памятью отца (он у него погиб на войне героем) бросить пить, не быть ярмом на шее у бедной матери и занозой в сердце, работать как все нормальные здоровые люди. А я со своей стороны обещала никому о моем похищении, о том, как он, Ильяс, стоял на коленях перед мной, объяснялся в любви, не рассказывать и, если он исправится, сдерживать свое слово, помочь ему жениться на любимой девушке.

Как видите, первое свое обещание, разрази меня, я нарушила. Но клянусь вам, я обязательно выполняю свое второе обещание. Дело только за Ильясом!..

Фанфарон, или жертва одного поцелуя



Скажу, положив руку на сердце: нет на свете справедливости! Нету — и все! Я это на своем горьком опыте знаю. Вот я, к примеру, фигура! Притом — номенклатурная! Моей глупой жене радоваться бы и гордиться, что у нее муж — я то есть — не какая-то мелкая сошка, хапур-чапур¹²¹, а важное лицо — начальник! А она?.. Э-эх, горе мое, честное слово даю вам, и сказать стыдно, что она обо мне думает.

— У тебя, — говорит она мне, — кроме фигуры-то, ничего и нет!

Видали?! Конечно, по части фигуры я, можно сказать, выразился несколько иносказательно, но фигура у меня действительно внушает. Не то что иные мужчины, всякая хуьрдэ-муьрдэ¹²², мелочь пузатая, смотреть не на что. Скажу без бахвальства, и сейчас, несмотря на то что я мужчина не первой молодости, многие молодые барышни на меня поглядывают с интересом.

Но фигура фигурой, а я как человек с соображением понимаю: в наш век научно-технического прогресса, когда человек быстрее пули летит в космос, не хуже, чем любая рыбина, опускается на дно морское, шагает по Луне, как все равно что я по своей загородной даче, чтобы войти в список избранных, то есть номенклатурных, лиц, занимать руководящую должность, пусть даже в городском или районном масштабе, одной внушительной фигуры мало. Надо к ней иметь непременно и диплом. А я имею и то и другое — то есть и фигуру, и диплом. А попробуй это втолковать моей бестолковой жене — обыкновенной кухарке, домохозяйке, которая только и знает что стряпать и через каждый год, точно по заведенному графику, рожать детей, и главным образом женского пола. При этом она совершенно не понимает, что современная культурная и уважающая себя женщина не разводит детей, как кроликов. И она еще позволяет делать мне, номенклатурной фигуре с дипломом, всякие глупые замечания, учит, так сказать, уму-разуму.

— Подумаешь, — говорит, — диплом, эка невидаль! На кой он, твой диплом, — говорит, — если у тебя одна блажь в голове? Фанфарон ты — больше никто!

¹²¹ Хапур-чапур — всякая всячина, чепуха, вздор.

¹²² Хуьрдэ-муьрдэ — мелочь.

Некультурная женщина, а слово какое выискала — “фан-фа-рон”! Я, человек с дипломом, и то сроду не встречал нигде этого слова. Про “фараона” слышал и даже где-то когда-то читал. Я сначала думал, что оно, это слово, просто случайно взбрело ей на язык, сама его придумала, а что оно для нее означает — шут ее знает. А вот когда жена и в шутку, и в гневе стала все чаще обзывать меня “фанфароном”, я пришел к знакомому учителю узнать, есть ли такое слово вообще, а если есть, то что оно выражает. Оказывается, как мне объяснили, такое слово действительно существует, не она его выдумала. Фанфарон — это человек, который выставляет напоказ свои мнимые достоинства, вроде того, как говорится в известной пословице: “Сам ворон, а изображает из себя орла”.

Не скрою, как только я узнал, каким уничижающим словом моя жена обзывала, оскорбляла все эти последние годы меня, своего мужа, притом номенклатурную фигуру с дипломом агронома-овощевода, я прямо-таки был потрясен. Первым моим побуждением было скорее вернуться домой дать ей как следует прикурить, а затем, не откладывая дела в долгий ящик, подать в суд на развод, хоть она мать моего единственного сына и восьмерых дочерей мал мала меньше. Но я с трудом перевозмог себя, чтобы не сделать этого, только ради детей. Но обида на душе осталась.

Жена моя сердится на меня за то, что я, имея диплом агронома-овощевода в кармане, не могу удержаться на одном месте. Пусть даже так. А тебе, скажи, что за беда, если последние пять лет я побывал на должности заведующего городской овощной базой, директора городской мельницы, хлебопекарни, и.о. начальника городской пожарной охраны?

А ты, пожалуйста, знай свое дело: рожай и дальше себе на здоровье дочерей, вари свой хинкал, а в мои мужские дела нос не суй. Хоть мы с тобой по закону и равноправны, но не забывай, что ты все-таки женщина, папаху ношу на голове я, а не ты! Кроме того, пока я числюсь в номенклатуре, тебе нечего беспокоиться за меня, за наше благополучие: снимут с одной должности — назначат на другую.

Но я с огорчением должен сказать, что снимают меня отовсюду по одной и той же глупой мотивировке: превышение власти, грубое обращение с подчиненными, нарушение, так сказать, принципов де-мо-кра-ти-и! Не согласен я с этим — хоть режь! Только с должности и.о. начальника пожарной охраны — я признаюсь в этом чистосердечно — отстранили за дело. В тот день, когда на окраине города, на совхозной свиноферме, слу-

чился пожар и окрест распространялся аппетитный шашлычный запах, одна пожарная машина пожарным насосом поливала мой огород на даче. Я тоже, конечно, был там с двумя моими подчиненными, которые помогали мне. Положа руку на сердце, еще раз говорю: на этот раз я был виноват, наказали меня за дело. Народ на противопожарной службе хороший, мужественный, чувствует себя в постоянной боевой готовности, в случае пожара нередко рискует и здоровьем, и жизнью. А я в тот день в отличие от моих людей “тушил” пожарной машиной “огонь” на грядках с помидорами и огурцами на своей даче, поскольку они действительно горели из-за того, что кто-то перекрыл нам воду.

Но речь сейчас не об этом. Посудите сами: какой же я начальник, если подчиненные не будут беспрекословно выполнять мои указания и приказы, нравится им это или не нравится? Демократия демократией, а подчиненные должны делать то, что приказывает начальник. Даже в армейском уставе (а я год служил старшиной роты в пехотном батальоне. Служил бы еще, но попал под сокращение) недаром написано: “Приказ командира — закон для подчиненного”. К сожалению, надо сказать, не все это понимают даже среди руководителей. Вот взять хотя бы эту нашумевшую по всему нашему маленькому городу историю с поцелуем...

После отстранения от последней должности и.о. начальника городской пожарной охраны меня назначали директором межколхозного театра. Откровенно говоря, я никогда не питал почтения ни к театру, ни к актерской братии. Актерское занятие всегда казалось мне несерьезным, шутовским делом, а сами актеры — легкомысленным и ветреным народом, но зато я опять-таки не рядовой, а директор, начальник!

Аккурат приближался праздник уборки урожая, и театр в спешном порядке к этому времени готовил новый спектакль-комедию местного драматурга на современную колхозно-бытовую тему. За несколько дней до премьеры я распорядился, чтобы повсюду были расклеены плакаты, выставлены афиши, передали объявления по местному радио и в газете. Реклама — великое дело.

И вот, когда в переполненном зале шла премьера, вдруг ко мне в кабинет с шумом вбегает мой режиссер. Испуганно вытаращив глаза и обхватив руками свою пышную шевелюру, которую он, казалось, в отчаянии собрался рвать, как несчастная вдова волосы на похоронах мужа, режиссер принялся кричать:

— Горим!.. Горим, товарищ директор!..

Я сам, признаться, не на шутку испугался, думаю: Боже упаси, как

бы с нашим театром не произошло то же самое, что с совхозной свинофермой. И тут же кинулся к телефону, чтобы немедленно позвонить по известному номеру, но режиссер, страдальчески сморщив лицо и энергично замахав на меня руками, закричал еще громче:

— Да не-е-ет! Не от огня горим, а...

У меня, знаете, сразу отлегло от сердца. Раз, думаю, горим не от пожара, можно особенно не волноваться. Из дальнейшего объяснения режиссера я понял, что один из актеров неожиданно заболел расстройством желудка, заперся в туалете и ни за что не желает выходить на сцену, хоть наставляй на него пистолет. А дублера у него нет. И режиссер просит, умоляет меня, чтобы я в спешном порядке заменил заболевшего актера.

Правда, эта роль в спектакле маленькая, эпизодическая и совсем несложная. Чудаковатый старый холостяк, колхозный пастух, пригнав под вечер на ферму коров, заглядывает в коровник и, к своей несказанной радости, застаёт там молодую незамужнюю доярку, к которой он давно неравнодушен. Пастух от радости, что встретил ее, поет и пляшет вокруг доярки, просит, чтобы она хоть разок “для утешения души” позволила ему поцеловать ее. И он трижды повторяет свою просьбу. Но она не соглашается, мягко отстраняет его рукой, — вот и вся роль. Я несколько раз был на репетиции, хорошо помнил все, что должен говорить и делать безнадежно влюбленный старый бобыль. И я согласился — не срывать же из-за этого спектакль. Только одно смущало меня: я совершенно не умею петь. Природа, наделив меня завидной фигурой, совершенно обделила голосом. И когда я начинаю петь, то мой голос даже мне самому напоминает утиное кряканье.

О своих сомнениях и опасениях я, конечно, сказал режиссеру. Но тот, весьма обрадованный моим согласием, тут же поспешил успокоить меня.

— Что вы, что вы! Это даже хорошо, — начал он уверять меня. — Внесет больше комизма в игру. Это же комедия!

Немедленно принесли мне в кабинет чабанскую бурку, длинную увесистую палку с загнутым концом, приклеили накладные усы.

Прежде чем выйти на сцену, я полез в ящик своего рабочего стола, вынул спрятанную там на всякий случай нашу дербентскую “пятизвездную”. Налив полный граненый стакан коньяку, я залпом выпил его, так сказать, для храбрости: как-никак первый раз выступаю на сцене, да еще без предварительной подготовки, и, конечно, волнуясь, боюсь, хотя я человек не робкого десятка.

И вот под разноголосое мычание “коров” и “телят”, только что пригнанных в село, я захожу в “коровник”. Увидев свою “симпатию”, я, понятно, как и положено мне по роли, сияю как медный самовар, лихо, самодовольно поглаживая накладные усы. Затем от охватившего меня волнения начинаю юлой кружиться вокруг доярки, петть, вернее, крякать по-утиному.

Смотрю, в зале зрители смеются, хохочут. Довольны, стало быть. И я доволен: спас спектакль от неминуемого срыва и моя игра нравится публике. Я вошел в раж и продолжаю свой номер. Кончив петть, куролесить, я в самом прекрасном расположении духа подхожу к предмету моего поклонения, прошу, чтобы она, пока нелегкая не привела сюда кого-нибудь из ее подруг, позволила мне разок поцеловать ее в румяную щечку. А доярка, смущенная моим приставанием, отстраняет меня рукой и стыдливо прячет зардевшееся лицо. Но я, как следует мне по роли, не отстаю от нее, прошу, молю об одном-единственном поцелуе — все напрасно.

И вот тут, убей меня, не помню, не могу объяснить, как это получилось; то ли коньяк внезапно ударил мне в голову, то ли самолюбие начальника во мне разыграло. Забыв, что идет спектакль, что я на сцене и глаза зрителей устремлены на нас, что я всего-навсего “пастух”, а она “доярка”, я вдруг, разгневавшись за ее упорный отказ на мою неоднократную просьбу позволить мне разок поцеловать ее, мигом скинул с плеч бурку, отбросил в сторону палку, сорвал с головы папаху, а с лица — фальшивые усы и кричу ей:

— Набо-о-от! (Набот — это ее настоящее имя, а в пьесе другое — забыл какое.) Я же, черт побери, твой начальник! Как ты смеешь не слушаться меня, подрывать мой авторитет в глазах моих подчиненных?!

И я тут же сгреб ее в охапку и с силой поцеловал в ярко накрашенные губы. Но не успел я опомниться, как вместе с проклятиями разозленной “доярки” на мою башку с грохотом обрушилось ее пустое ведро. И хорошо еще, что оно было пустое. Вслед за этим я почувствовал, как кто-то изо всей силы так огрел меня между лопатками той самой увесистой палкой, которую я только что выбросил вон, что я от боли света Божьего невзвидел. Это, оказывается, был ее настоящий муж, тот самый актер, который давеча заперся в туалете и ни под каким видом не хотел выходить оттуда. Вслед за этим тут же на сцене вместо игры произошло, что называется, мамаево побоище... Сами знаете, народ у нас вспыльчивый, горячий, быстро загорается и медленно остывает.

Короче говоря, спектакль сорвался в самой середине действия, и эта веселая комедия обернулась для меня лично трагедией, то есть меня опять сняли с должности по знакомой уже вам формулировке... Беда, как известно, не приходит одна. Жена тоже выгнала меня из дому, несмотря на то что я отец ее единственного сына и восьмерых дочерей мал мала меньше. Когда я в тот вечер пришел домой, с ноющей спиной и больной головой, весь исцарапанный, со следами помады на губах, которую я от расстройства и волнения забыл стереть, да еще весь пропахший спиртным, жена накинулась на меня, словно разъяренная пантера, и выставила за дверь.

— Иди вон, говорит, фанфарон несчастный, — туда, где пил захриман и где целовался-миловался. Мне такой муж не нужен.

И все это, как видите, из-за одного злополучного поцелуя! Положа руку на сердце, разве можно говорить после этого, что на свете есть справедливость?!

Муж двух жен

Многоязык, многокрасочен Дагестан! Много разных обычаев сохраняют его народы. Об одном обычае мне рассказал татский писатель Хизгил Авшалумов.

Если у горцев не рождаются дети, то муж опоясывает себя шерстяным поясом, чтобы Аллах заметил его среди других жителей гор.

В то же время горец молится:

— О Аллах, не обижай своего бедного раба, пошли ему сына.

Такие же пояса надевали и те, у которых рождались одни дочери...

Расул Гамзатов. Мой Дагестан



Колхозный конюх дядя Эсеф, дюжий мужчина, выделялся среди своих односельчан не только саженым ростом, но и поразительно мощной бородой, которой могли бы позавидовать ассирийские цари или древние пророки — обожатели пышных бород. Но с некоторых пор с его царственной бородой стало происходить что-то совершенно непонятное и даже, можно сказать, роковое. На глазах у изумленных односельчан она начала таить с угрожающей быстротой, как ледяная сосулька на солнце. Сперва

из нее загадочно стали исчезать только серебристые нити, а потом вместе с серебристыми — и черные.

Односельчане, привыкшие видеть пышную бороду дяди Эсефа во всем ее роскошном великолепии, с явным недоумением и даже некоторой тревогой наблюдали трагическую перемену. Но спрашивать об этом никто почему-то не решался. Сам же он хранил на этот счет суровое молчание и даже делал вид, будто с его бородой ничего особенного не происходит. Поэтому между собой односельчане Эсефа стали высказывать самые различные догадки и предположения относительно его катастрофически редющей бороды. Одни считали, что она пострадала от сглаза, иначе, мол, и не могло быть — такая необыкновенная борода рано или поздно должна была стать жертвой дурного глаза. Другие, отвергая это утверждение как нелепое суеверие, считали причиной лихой беды, постигшей буйную растительность на лице дяди Эсефа, моровую язву, Бог весть откуда прилепившуюся к ней. А иные с самым серьезным видом уверяли, что жена Эсефа, страдающая суставным ревматизмом, будто бы по совету лекаря собирает себе вязать теплые джурабы¹²³ из... волос, которые она ежедневно по целому вороху выдергивает из роскошной бороды мужа.

Односельчане Эсефа так и не узнали бы тайны этой трагедии, окутанной мраком неизвестности, не случись с его бесподобной бородой новая, еще более тяжкая беда.

...Дядя Эсеф страшно переживал, что у него одни дочери и нет сына. Боясь, что на всю жизнь останется хвэмомом, он после рождения пятой дочери стал носить, как велит обычай его отцов и дедов¹²⁴ красный кушак и отращивать бороду. И вот на зависть всем бородачам за каких-нибудь полгода-год у него выросла такая пышная борода, словно буйная поросль на хорошо ухоженном и щедро унавоженном поле. С тех пор односельчане стали называть его Длинной Бородой.

Эсеф был уверен в том, что, если даже Бог очень стар и по этой причине зрение его ослабло, он все равно заметит его бросающиеся в глаза яркий красный кушак и аршинную бороду и дарует ему долгожданного сына.

Но прошло немало лет, прежде чем дядя Эсеф с сердечным сокрушением понял, что скорее на вершине Шалбуздага свистнет рак, а

¹²³ *Джурабы* — вязанные носки.

¹²⁴ Среди дагестанских народов этот обычай существовал только у татов.

на голом камне зацветет ландыш, чем его старая жена, которой уже перевалило за пятьдесят, вновь станет матерью. Тревога вселилась в сердце Длинной Бороды. Страстно желая сына, он мысленно уверял себя и других в том, что хочет его вовсе не потому, чтобы тот был ему опорой на старости, — едва ли он доживет до того времени. Кроме того, говорится же: “Один отец может прокормить десять сыновей, а десять сыновей не смогут прокормить одного отца”. Да ему и не нужна помощь от сына. Пусть бы он только родился на свет. Бог свидетель, он хочет сына, чтобы снять с себя скорбное прозвище “хъэмол”, поддержать честь своей папahi. Только ради этого он сблизился с молодой одинокой вдовушкой Аснат и договорился с ней о тайном браке.

Правда, Аснат красоты не ахти какой, зато эта черномазая и лупоглазая молодуха с пухлыми, точно надутыми щеками обладает такой широкой грудью и воловьими бедрами, что Длинной Бороде казалось, что из нее так и посыплются дети, как спелые яблоки с яблони, которую стоит слегка потрясти.

И вот, когда дядя Эсеф поведал жене о своем намерении жениться на толстухе Аснат, она от потрясения долго не могла слова вымолвить, будто у бедняги язык прилип к гортани.

— Эсеф-джан, да буду я жертвой за тебя, не делай этого, не позорь себя и меня на старости лет, — с дрожью в голосе принялась умолять его несчастная женщина, обретя наконец дар речи. — Ты посмотри получше на себя в зеркало: борода у тебя наполовину седая. Что люди подумают, да и ты сам какими глазами будешь смотреть на детей?..

— Родила бы сына — не женился бы! — взорвался Эсеф. — Для отца настоящие дети те, которые носят на голове папаху, а не платок!..

...Вторая жена Эсефа жила далеко, на самой окраине села. Он этому был и рад, и не рад. Рад потому, что соперницы меньше будут попадаться друг другу на глаза, а то, чего доброго, может разразиться скандал — еще вцепятся друг другу в волосы. С другой стороны, Длинной Бороде было не по душе то, что Аснат живет далеко и ему, человеку уже немолодому, во избежание пересудов и сплетен приходится ходить на свидание к молодой жене поздно вечером, когда совсем темно и на улицах никого нет. Но как говорится: “Сидя на верблюде, в отаре не скроешься”. Как дядя Эсеф ни старался пройти к Аснат никем не замеченным, по дороге нет-нет да и сталкивался с кем-нибудь из своих односельчан, слыша за спиной их двусмысленные шуточки и насмеш-

ки. И вот вчера, в канун народного праздника весны “Шаами васал”¹²⁵, поздно вечером, когда, казалось, все спали и видели третий сон, Длинная Борода, прихватив заранее приготовленный тайком от старой жены узелок с подарками для Аснат, тихо выскользнул на улицу. Оставалось каких-нибудь сто шагов до ее дома, когда вдруг, откуда ни возьмись, из-за угла, точно шайтан из-под земли, вынырнула сгорбленная фигура старухи Саадат, направляющейся куда-то. При виде Саадат, известной в селе болтуньи и сплетницы, Эсеф невольно вздрогнул и помрачнел. Длинная Борода, сразу надвинув на глаза папаху и спрятав узелок за спину, поспешно отошел в сторону и прижался спиной к забору чужого дома, авось старуха не заметит или не узнает его. Но Саадат, увидев застывшего у забора человека с низко надвинутой на лоб папачой, сначала очень испугалась, приняв его за ночного разбойника или просто злоумышленника, нарочно избегающего открытой встречи с людьми, и чуть было не подняла крик. Но через минуту она, узнав в “разбойнике” своего односельчанина, сразу воспряла духом, осмелела. Она не спеша подошла к Эсефу, остановилась перед ним и принялась бесцеремонно разглядывать его застывшую фигуру. Затем Саадат, точно мстя Длинной Бороде за только что пережитый ею страх, вдруг, к ужасу двоеженца, заговорила с ним таким неестественно громким голосом, словно обращалась к глухому или их сейчас разделяла шумная река.

— Ай, Эсеф! Добропорядочные мужья, склонив свои головушки на одной подушке со своими женушками, давно спят и видят приятные сны, а ты чего мотаешься ночью по селу, как неприкаянный?!

“Знает же, карга старая, зачем и куда я иду, но нарочно кричит, чтобы люди слышали...” — с возмущением и страхом подумал Длинная Борода и поспешил убратся подальше от назойливой старухи, бормоча проклятия в ее адрес.

Встреча с Саадат настолько испортила праздничное настроение Эсефа, что он, придя к молодой жене, без всякого воодушевления поздравил ее и тут же, после второй чарки вина, усталый и угрюмый, сбросив верхнюю одежду, сразу повалился спать.

Как только Эсеф уснул, наполняя комнату своим храпом, Аснат по обыкновению принялась “приводить в порядок” его бороду. Ей, моло-

¹²⁵ *Шаами васал* — свеча весны. Татский народный праздник. В этот день в селе разжигали костры. Парни и девушки прыгали через костер, заводили хороводы, просили у огня предохранять их от дурного глаза, посева — от засухи, скот — от падежа. Сельчане ходили друг к другу в гости, молодежь веселилась до позднего вечера.

дой женщине, было не по душе, что у мужа борода наполовину седая и что это сильно старит его. Всякий раз, когда он приходил, чтобы провести с ней ночь, и засыпал, положив голову ей на колени, Аснат начинала выдергивать седые волосы из его необычайно густой бороды. Но пышная борода мужа хоть и таяла непрерывно за счет потери седых нитей благодаря ее систематической “обработке”, однако, как на грех, несмотря на все старания Аснат, в ней седых волос становилось почему-то больше, чем черных. И она, вконец отчаявшись “омолодить” основательно потрепанную бороду мужа, которая теперь начинала сильно раздражать ее, решила разом покончить с ней.

В эту праздничную ночь, как только усталый и захмелевший Эсеф смежил веки, ему приснился странный сон: одна половина его бороды белая, как белоснежное облако, а другая черная, как грозовая туча. Обе его жены как клещи вцепились в нее, и каждая изо всей силы тянет ее к себе. Молодая пытается вырвать с корнем белую половину и оставить черную, чтобы муж выглядел моложе, а старая, наоборот, силится вырвать черную половину и оставить белую, чтобы муж был похож на седобородого старца. Эсеф орет благим матом, потрясая кулаками, грозит пересчитать им ребра, если они не отпустят его бороду. Но женщины, точно взбесившиеся, невзирая на его истошные крики и угрозы, продолжают рвать ее. И когда наконец половина вырванной бороды оказалась в руках торжествующей молодой жены, а старая, потерпев неудачу в попытках добиться того же, всей своей тяжестью повисла на оставшейся черной половине, двоеженец вдруг проснулся от нестерпимой боли. Открыв глаза, он, к своему изумлению, увидел склоненную над ним полураздетую Аснат с большими ножницами в руках, точно коварную Далилу у изголовья богатыря Самсона. Тревожная догадка молнией обожгла сознание Эсефа. Он инстинктивно потянулся рукой к лицу и, не ощутив на нем бороды, содрогнулся душой. В ту же минуту Эсеф с ужасом заметил у себя на груди и на подушке ворохи черно-белых волос, того, что составляло еще совсем недавно его основательно потрепанную многострадальную бороду. Взбешенный вероломным поступком молодой жены, он резко оттолкнул ее и как ужаленный вскочил на ноги. Поспешно схватив в охапку одежду вместе с кушаком, он как угорелый выбежал на улицу, но тут же сгоряча врезался в стаю собак, собравшихся чуть ли не со всего села на “собачью свадьбу”. Всполошившиеся и рассерженные неожиданным его вторжением, псы, обнажив клыки, с дружным лаем набросились на Эсефа. Одной рукой прижимая

к себе одежду, а другой размахивая кушаком, он пытался как мог отбиться от наседавших на него собак. Но два здоровых пса, видно, наиболее злые и свирепые из всей стаи, мертвой хваткой вцепились зубами в кушак, как жёны Эсефа во сне в его несчастную бороду. Под дружный лай остальных собак, плотным кольцом окруживших двоеженца, они, злобно рыча, изо всей силы старались вырвать у него кушак.

...На следующий день рано утром, когда старуха Саадат и другие женщины выгоняли своих коров в стадо, они, к своему немалому удивлению, увидели красный кушак Эсефа, который, точно дохлая змея, валялся на земле, истерзанный, мокрый и загаженный ночными псами. При виде оскверненного кушака двоеженца старуха Саадат сразу вспомнила свою вчерашнюю встречу с “ночным разбойником”, и ехидная довольная улыбка скривила ее тонкие морщинистые губы. И в тот же день благодаря ее “достоверной информации” все в селении до “малейших подробностей” узнали о вчерашнем происшествии с дядей Эсефом, о том, как он оставил остаток своей некогда могучей бороды у молодой жены, а в острых зубах рассвирепевших псов — скорбный кушак бездетности...

Каверзные шутки проказницы весны



Был конец апреля. Недавние грозы, сопровождаемые шумными ливневыми дождями, очистили небо от хмурых туч, отполировали его до зеркального блеска и вдоволь напоили землю живительной влагой. По утрам из-за моря, весело играя огненными ресницами, вставало огромное солнце и весь день заливало все вокруг золотистым сиянием. Деревья вдоль тротуаров, в парках и загородных садах, еще совсем недавно совершенно голые, темные, казалось вымершие, сейчас ожили, оделись в яркий весенний наряд. Повсюду слышалось веселое щебетание птиц, и все кругом сверкало, зеленело, цвело и благоухало.

Рано утром Исрапил Худовердиев, главный бухгалтер крупного магазина культтоваров, плотный, плечистый мужчина, как обычно в это время, неторопливой походкой шел на работу. Лицо у него было спокойным, но немного задумчивым и рассеянным. Из-под широких полей зеленой фетровой шляпы выглядывали жесткие, курчавые, густо посеребренные волосы.

Дорога к его конторе лежала мимо городского парка. Но в весенние и летние дни Исрапил предпочитал пройти этот отрезок пути не по скучному асфальту, а по узкой извилистой тропинке в тенистом парке с зеленой сочной травой и яркими цветами, высокими деревьями с пышными, развесистыми кронами.

Глядя на обновленную природу, вдыхая пьянящий воздух, пронизанный теплыми лучами утреннего солнца, напоенный ароматом цветов и влажным запахом пробужденной земли, Исрапил чувствовал, как это обновление происходит и в нем самом. Какая-то сладкая истома разливается по всему телу, пробуждая в сердце волнующее чувство. Он испытывал сейчас состояние удивительной легкости и открытости.

В то утро по той же тропинке, по которой он шел, навстречу ему бодро шагала молодая светловолосая девушка с ясными, будто омытыми утренней росой, васильковыми глазами. На ее белом, круглом и очень симпатичном лице с ямочками на щеках блуждала мечтательная улыбка.

Случилось так, что, когда между Исрапилом и незнакомой девушкой оставалось расстояние в каких-нибудь два-три шага и один из них должен был посторониться, чтобы дать пройти другому, они одновременно взглянули друг на друга и... весело улыбнулись. Главбух, галантно уступив ей дорогу, проводил ее долгим теплым взглядом.

То же самое, на том же месте и в то же самое время повторилось и на следующее утро. А вечером, возвратившись домой, главбух долго рассматривал себя в зеркало. Ему вдруг стало грустно оттого, что у него голова почти седая и он не молод — пошел пятьдесят первый год. А казалось, совсем недавно это было, — когда он был озорным мальчишкой, учился в школе, а потом в институте, влюблялся в девушек, женился, будучи студентом второго курса экономического факультета; как чертовски быстро летит время, уходит жизнь!..

Но когда Исрапил вспомнил о жене, лицо его сразу приняло хмурое и мрачное выражение, и он, совсем расстроенный, отошел от зеркала. Заведя руки за спину — привычка немолодых мужчин, — он начал ходить по комнате, все больше погружаясь в свои мысли, воспоминания. Из кухни донесся обращенный к нему крикливый и бездушный голос жены, который всегда возбуждал в нем неприятное чувство:

— Эй!.. Иди есть, пока ужин не остыл! Слышишь?..

Исрапил на минуту остановился и, недовольно поморщившись, опять стал ходить по комнате, не обращая внимания на приглашение супруги.

“Странная женщина! — горько усмехаясь, сказал он себе, сердясь на жену. — Она думает, что самая главная обязанность у жены перед мужем — это вовремя накормить его, заботиться о его желудке. А он, муж, за это должен быть ею весьма доволен и чувствовать себя счастливым с ней...”

Исрапил давно был убежден, что ему не повезло в личной жизни и что он обманулся в своей жене. Когда он это твердо понял, было уже, как он считал, поздно, непоправимо поздно. К этому времени у него было уже двое взрослых детей, в которых Исрапил, по натуре человек очень чадолюбивый, души не чаял и ради которых он терпел постыдную, холодную и бесчувственную жену, как бы принося им себя в жертву.

Когда Исрапил женился на ней, ему казалось, что прекраснее и милее ее нет девушки на свете. Но что скрывается за этой внешней красотой, он тогда не разглядел: был слишком опьянен своей любовью и очень молод к тому же, чтобы разобраться в таких тонкостях.

Не имея ни образования, ни специальности, она всю жизнь провела на кухне, за плитой, огрубела, отупела, ничем не интересовалась, кроме домашних дел, никогда не брала в руки книгу или журнал. И то небольшое, что она усвоила в школе когда-то, давно позабылось, начисто выветрилось из головы, как скудная влага из почвы во время засухи. Считая себя уже “старухой”, несмотря на то что была моложе мужа на несколько лет, а его — “стариком”, она очень мало заботилась о своей внешности, одевалась как попало, не проявляла интереса к делам супруга, его заботам, кроме как вовремя подать ему завтрак, обед и ужин. К тому же жена имела привычку к месту и не к месту постоянно жаловаться ему: как она устает ходить на базар каждый день, таскать на себе полные корзины, принимать гостей, друзей мужа. И что на базаре спекулянты, перекупщики, чума на их головы, опять взвинтили цены... И все в этом роде.

Он, конечно, понимал, что ей, уже немолодой, отяжелевшей с годами женщине, нелегко каждый день ходить на базар, стоять в очереди, таскать тяжелые корзины; дочь замужем, у нее теперь своя семья, свои заботы, сын учится в институте в другом городе — некому помочь. Да и на рынке нет должного порядка, контроля — большое место всех домохозяек. Но почему она все это повторяет ему изо дня в день, притом именно тогда, когда он садится есть? Другого разговора для него у нее нет, как и нет давно ни одного ласкового слова, теплого взгляда, приятной улыбки.

Но разочарованный в своей жене главбух почему-то вдруг стал особенно остро ощущать свои обиды и недовольство ею именно сейчас, после второй мимолетной встречи на знакомой тропинке с красивой девушкой, чья чудесная улыбка так глубоко запала ему в душу и взбудоражила его.

На третий день, прежде чем выйти из дому, Худовердиев тщательно побрился, надушился, навел глянцевый блеск на туфлях, оделся в новый костюм, японский легкий плащ, долго вертел в руке шляпу, внимательно и придирчиво осматривая ее со всех сторон, сдувая невидимые пушинки.

На этот раз Исрапил, поскольку сегодня против обыкновения он шел ускоренным шагом, встретил девушку не на середине тропинки в парке, а в самом ее начале, у входа в него. При виде девушки он сразу засиял и почтительно поклонился ей, как все равно давно и хорошо знакомой, как бы давая этим понять красавице, что встреча с ней ему очень и очень приятна. А та в ответ, изящно откинув головку и кокетливо встряхнув светлыми кудрями, подарила ему одну из своих лучезарных улыбок.

Войдя в свой кабинет, узкую и маленькую комнату с низким зарешеченным окном, выходящим в глухой тесный дворик с одиноким деревом — старой, но еще крепкой и цветущей яблоней посредине, Исрапил не спеша снял плащ, шляпу, повесил их на вешалку, затем сел за свой рабочий стол. Открыв лежавшую перед ним внушительных размеров счетную книгу, он принялся читать, но тщетно. Он смотрел на цифры и буквы, занесенные в нее его же собственной рукой, но, как ни странно, первый раз за долгие годы службы не понимал ни их смысла, ни их назначения, точно на него нашло какое-то затмение. На страницах книги медленно, но упрямо, заслоняя все, что там написано, явственно проступали, точно в волшебном зеркале, узкая извилистая тропинка в парке, очаровательное лицо и стройная фигурка незнакомой молодой женщины, которая смотрела на него своими ясными, обворожительными васильковыми глазами и призывно улыбалась ему.

Исрапил раза два энергично встряхнул головой, точно стараясь сбросить с себя это наваждение, но видение продолжало неотвязно стоять перед глазами, мешая ему думать, сосредоточиться, усыпляя мозг, погружая его в какой-то теплый, дурманящий туман.

В этот самый момент дверь в кабинет открылась, и в него бодрым, уверенным шагом вошел старый друг Исрапила, Аслан Кадиев, пол-

ный, розовощекий, улыбающийся мужчина с пышными черными усами и смеющимися черными глазами, держа в крепких, ровных и белых, как у молодой лошади, зубах дымящуюся трубку. Дружьи с чувством обменялись крепким рукопожатием, преданно и радостно глядя друг другу в глаза.

В отличие от сдержанного, суховатого и немногословного Исрапила Аслан был человек жизнерадостный, общительный, отчаянный шутник и большой выдумщик. Он был актером, очень известным и популярным в республике, успешно выступал в разных ролях, снимался не раз в кино. Но лучше всего удавались ему веселые, комические роли. Один его острый, лукавый, прищуренный взгляд маленьких, черных, с хитринкой глаз, обращенный к публике, уморительная мимика сразу вызывали у нее оживление и смех. С неподдельным мастерством, не впадая в фальшь или крайность, он копировал жесты, позы, голоса и речь разных своих знакомых из числа видных актеров, драматургов, композиторов и писателей, вызывая неудержимый хохот и громкие одобрительные аплодисменты у слушателей.

За время короткой беседы с другом, который зашел к нему по дороге в театр, чтобы просто провести его, расспросить о здоровье, семье, Исрапил в порыве откровенности, стараясь скрыть волнение, рассказал ему о незнакомой девушке, о своих переживаниях, вызванных ее образом. Аслан, свободно развываясь в кресле и не вынимая трубки из рта, слушал его с дружеской улыбкой, молча, понимая кивая головой.

Лишь спустя полчаса после ухода друга к главбуху наконец вернулось рабочее настроение, и он с головой окунулся в работу. Оставалось меньше часа до конца службы, когда на столе у Худовердиева резко и требовательно затрещал телефон. Он с неохотой поднял трубку.

— Ал-л-ло! — услышал он певучий, приятный, но немного взволнованный молодой женский голос. — Скажите, пожалуйста, это Худовердиев?

— Я! — прогудел главбух и не очень вежливо спросил: — Что вы хотели?

— М-м... Как вам это сказать... Это я, я... — Голос умолк, видно, не решаясь говорить до конца.

Исрапил сурово нахмурился, бросив тоскливый, беспокойный взгляд на кучу бумаг, лежавшую перед ним, которые надо было рассмотреть и подписать до ухода домой.

— Ну говорите же, черт возьми, что вам надо! — недовольно, поч-

ти сердито произнес Исрапил, и, передразнивая ее, добавил: — Я да я!..

— Это я... — повторила женщина тем же приятным, взволнованным и извиняющимся голосом, — та девушка, которую вы встречали в парке... Пожалуйста, не подумайте обо мне плохо, если признаюсь вам: вы мне симпатичны, поэтому я поинтересовалась, кто вы, как вас зовут, где работаете. Узнала, что вы не очень счастливы в личной жизни...

В трубке наступила короткая пауза, потом послышался глубокий вздох, и вслед за этим голос продолжил:

— Я хочу поближе познакомиться с вами, если, конечно, вы тоже этого желаете. Извините, что говорю об этом по телефону, сказать вам с глаза на глаз у меня не хватило бы храбрости.

Исрапил замер на месте и покраснел до кончиков волос. От волнения у него перехватило дыхание. Ему вдруг стало очень жарко, а сердцу, которое сладко ныло, тесно, очень тесно в груди. Он машинально вскочил на ноги, ослабил на шее галстук и расстегнул пуговицу на воротнике. “Боже мой, Боже мой, это она, она!...” — мысленно вскрикнул Исрапил, ликуя в душе. Он крепче зажал в руке трубку и одним глазом враждебно покосился в сторону двери: как бы в эту самую минуту черт не принес кого-нибудь из сотрудников или посторонних, не помешал их разговору. Но пока растерявшийся и обалдевший от неожиданно свалившегося на него счастья немолодой главбух собирался с мыслями, чтобы в подходящих словах и выражениях высказать прекрасной незнакомке свои чувства и восторг по этому поводу, на другом конце провода тот же голос мягким, сердечным, но уже несколько самоуверенным и капризно-повелительным тоном передал, чтобы он пришел на свидание в парк, на знакомую тропинку, сегодня вечером. Сказав это, голос умолк; телефон отключился.

До позднего вечера ходил главбух с большим букетом ярких весенних цветов по памятной тропинке, напряженно вглядываясь в прохладный зеленый полумрак слабо освещенного ночного парка, вздрагивая и замирая при появлении каждой женской фигуры, в которой ему чудилась Она. В ушах все время стоял удивительно нежный, чарующий голос незнакомой девушки, появления которой он с трепетом ожидал каждую минуту.

Но время шло, а она почему-то не появлялась. Несмотря на то что было уже за полночь, Исрапил все не уходил домой, все надеялся, что она, может быть, вот-вот появится. Ушел он только тогда, когда давно вокруг не было ни души, с тяжелым чувством бросив букет в придорожный куст.

Всю дорогу расстроенный Исрапил думал, теряясь в догадках: по-

чему девушка не пришла на свидание? Ведь сама же просила об этом! Неужели она, почувствовав к себе интерес со стороны староватого, конечно, для нее мужчины, решила потехи ради подшутить над ним, разыграть его? Но возможно ли ожидать такой злой шутки от девушки с таким удивительно милым лицом и ангельски нежным, чарующим голосом? Нет-нет, она это говорила всерьез, хотела прийти, а потом в последнюю минуту, видимо, струсилa, не решилась. Конечно, нелегко для молодой красивой девушки, если даже она полюбила его с первого взгляда (в чем он после ее звонка по телефону нисколько не сомневался), пойти на такой риск: связать себя с ним, немолодым, к тому же семейным человеком...

Прошло больше двух недель с того вечера, но Исрапил после этого ни разу не встречал девушку с васильковыми глазами, по которой он тосковал, как влюбленный юноша. Ее отсутствие и то, что она после этого ничем не дала знать о себе, окончательно утвердили его в мысли, что она действительно хотела познакомиться с ним поближе, но потом передумала, отступила от своего решения. Поэтому она теперь старательно избегает даже случайной встречи с ним.

Однажды в воскресный день оба друга, Исрапил Худовердиев и Аслан Кадиев, сидели в загородном приморском павильоне за стаканом вина и мирно беседовали. Летний день тихо угасал, а верхушки высоких тополей, росших возле павильона, еще сверкали в огне заката. Со стороны моря, простиравшегося, как неоглядная зеленая степь, до самого горизонта, тянуло свежей, успокаивающей прохладой. Аслан вынул из кармана трубку, чтобы покурить, но вдруг, вспомнив о чем-то и с лукавой усмешкой поглядывая на Исрапила, приложил ее к уху, как телефонную трубку.

— Ал-л-ло! Скажите, пожалуйста, это Худовердиев? — произнес актер певучим, приятным, но несколько взволнованным голосом молодой женщины, будто разговаривающей по телефону.

— Я! Что вы хотели? — на этот раз точь-в-точь подражая грубоватому басу Исрапила, прогудел он.

Исрапил все понял. Он только что отправил в рот кусок жесткой холодной ветчины, но, услышав голос незнакомой девушки, ее слова, обращенные к нему, и свой ответ ей, он вздрогнул и застыл с вытянутым лицом и вытаращенными глазами.

— Это ты?! — тыча в сторону друга вилкой, сдавленным голосом спросил потрясенный главбух.

В ответ актер, состроив виноватую смешную мину и хитро улыбаясь, молча кивнул головой.

Кусок застрял в горле бедного Исрапила, и он, задыхаясь, судорожно глотнул воздух, точно рыба, выброшенная на сухой раскаленный песчаный берег...

Совбол

 время было за полночь, когда Боби шел со свадьбы, но вид у него был такой, точно возвращается с кладбища, где похоронил близкого человека, — расстроенный, мрачный, подавленный. Он шел медленно, усталый, понурый, опираясь на палку и слегка прихрамывая.

— Ах, Гавхар, Гавхар, да чтоб сгорел твой отец! — с сердцем выругал он жену вслух, горестно покачав головой. — Опозорила, осрамила ты меня на весь свет!..

Ему вдруг представилась жена, которая сейчас спит без задних ног и не ведает, как он из-за нее оскандалился, опозорился перед людьми, хоть сквозь землю провалились. Думая об этом, он громко застонал, как от внезапной нестерпимой боли, и в его взбудораженной памяти промелькнули все события сегодняшнего вечера...

— Ты знаешь, Боби, — сказала ему жена, когда он пришел с работы и сел пить чай, — сегодня нас пригласили на свадьбу.

Боби, неторопливо поставив стакан на блюдец, вопросительно посмотрел на жену, полнеющую женщину лет сорока пяти с черными, тронутыми сединой густыми волосами.

— Чья свадьба?

— Рахмон, друг твоей юности, женит сына, — с видимой неохотой ответила жена. — Очень хорошо! — бодро воскликнул Боби. — Раз пригласили — надо идти.

Гавхар ничего не ответила. Она отвела глаза и молча опустила голову. Боби, угадав ее настроение, недовольно уставился на жену.

— Ты чего так?! — сердито спросил он. — Не идти, что ли?

— Не знаю, — пожимая плечами, тихо проговорила жена. — С деньгами туго у нас... Да и...

— Что “да и”?! — сразу вспылал Боби и, резким движением ото-

двинув от себя стакан с недопитым чаем, запальчиво добавил: — Надо-ели эти твои бесконечные хныканья, сетования: “Денег не хватает. Денег не хватает...”

Боби, не вставая с места, с шумом повернул стул, на котором сидел, и, демонстративно повернувшись спиной к жене, замолчал. Молчала и Гавхар, с укором глядя на мужа, незаслуженный упрек которого больно кольнул ее в самое сердце. “Как ему только не стыдно говорить такое?..” — думала она про себя, готовая расплакаться от возмущения и обиды.

Хотя ее муж и хороший маляр, зарабатывает вроде неплохо, но все же не столько, чтобы хватало на жизнь. Тем более он пока единственный работник в доме. И ей, Гавхар, приходится нелегко, очень нелегко на одну его зарплату накормить целую семью из пяти человек, одеть, обусть... А он, вместо того чтобы войти в положение жены, пожалеть ее, быть ей благодарным, еще позволяет себе упрекать... В городе у них много знакомых, близких и дальних родственников. Не проходит и месяца, а то и недели, чтобы у кого-нибудь из них не женился сын или не вышла замуж дочь — не справляли свадьбу. Пусть справляют, в добрый час, разве она против? Пусть ослепнет тот, кто не желает счастья ближнему. Но ей уже неведомо терпеть то, что муж уносит на каждую свадьбу пятую часть своей зарплаты, рублей двадцать пять — тридцать, на собол для родителей невесты или жениха и рублей пять-десять на шабош¹²⁶ музыкантам. На эти деньги при ее умении и бережливости она может целую неделю кормить семью. А иные ради того, чтобы собрать большой собол, созывают на свадьбу не только близких и дальних родственников, но и случайных знакомых по пятьсот и тысяче человек. А ее муж, собираясь на свадьбу, на какую только его ни приглашают, то уговорами, то угрозами, а то и силой забирает у нее деньги, иногда последние. Почему она должна лишать детей этих денег, чтобы ее неразумный муж с легким сердцем кидал их на свадьбах?..

Через несколько минут Боби, продолжая сидеть в той же недовольной позе, чуть повернув голову, украдкой посмотрел на жену, на этот раз не столько сердито, сколько испытующе. Он, конечно, догадывался, о чем сейчас думает жена. В глубине души Боби понимал, что Гавхар права, но, несмотря на это, все же продолжал дуться на нее: где это видано, чтобы у нас на свадьбу ходили без денег на собол и шабош? Не он же, Боби, выдумал этот обычай, и не ему его отменять. Не пой-дешь — обидятся, скажут: не почтил, мол, нас, может, не по душе ему

¹²⁶ *Шабош* — деньги для музыкантов на свадьбе.

наша радость или пожалел денег, скряжничает, пятое-десятое... А он не хочет, чтобы о нем так думали и говорили. Ему его мужской намус, честь папахи дороже этих денег, если даже из-за этого его семье придется сидеть на хлебе и воде.

Между тем время шло. На дворе становилось темно. Боби, еще раз взглянув на мрачное, непроницаемое лицо жены, с сожалением понял: нет, на этот раз не только лаской, уговором, но и палкой не выколотишь из нее деньги.

Боби молча встал, подошел к вешалке, надел на голову мятую кепку и, захватив свою палку, вышел из дому. “Ладно, пойду поздравлю Рахмона со свадьбой сына и, сославшись на здоровье, тут же вернусь обратно домой”, — подумал он про себя.

На дворе, где играли свадьбу, широким полукругом, были расставлены длинные скамьи, множество столов, еще не накрытых, но за которыми уже сидели празднично одетые гости. Под звуки тары, кеманчи¹²⁷ и бубна парень и девушка отплясывали лезгинку. В отдаленном полусвеченном углу двора в огромных закопченных медных котлах варился вкусный свадебный суп, на высоких железных мангалах жарились шашлыки, наполняя воздух аппетитными запахами.

Боби, войдя во двор, сразу начал искать глазами Рахмона. Но в это время серпой, худощавый, подвижный молодой человек с усиками, в чью обязанность входило развлекать и обслуживать гостей, заметив Боби, приплясывая на ходу, подошел к нему.

— О Боби-джан, душа моя! — с преувеличенным радушием и восторгом воскликнул он, церемонно отвешивая ему низкие поклоны, словно падишаху. — Очень и очень рады вас видеть. Дай Бог и вашим детям, внукам и правнукам такую же свадьбу! — И, сделав широкий приглашающий жест, добавил: — А теперь пожалуйста с гостями за стол!

Серпой, продолжая осыпать Боби благими пожеланиями, фамильярно обнял его за плечи и, пропуская мимо ушей какие-то робкие возражения и объяснения Боби, потащил его к гостям. А сказать ему, что у него нет денег на совбол и шабош и поэтому он пришел только для того, чтобы поздравить Рахмона со свадьбой сына, и сразу же вернуться домой он, конечно, не решился — стыдно. Поэтому вопреки своему твердому намерению он был вынужден подчиниться серпой и занять место среди приглашенных.

¹²⁷ Тара, кеманча — музыкальные инструменты.

С трудом скрывая смущение и чувство неловкости, Боби старался держаться среди гостей незаметно, как безбилетный заяц среди пассажиров, не вступая ни с кем в разговор. Но как на зло соседом его за столом оказался очень шумный и беспокойный человек, на которого все поневоле обращали внимание. Это был смуглолицый коротыш с круглыми, точно надутыми щеками и большими черными глазами навыкате, работавший снабженцем на каком-то крупном предприятии. Несмотря на свою чрезмерную полноту и тугой живот, стянутый черным блестящим ремнем, точно бочка обручем, снабженец был по-мальчишески шустр и вертляв. Как только на майдан выходила танцевать очередная пара, он, словно заводной, моментально вскакивал на свои короткие ноги и, неистово хлопая в пухлые ладоши, азартно кричал:

— Харцо-о-о! Харц! Харц!..

Время от времени толстяк энергично запускал руку в карман широких штанов, доставал десятирублевые бумажки, выбегал на майдан, совал их в руки танцующим для шабоша музыкантам и, выпучив глаза, тут же громко и радостно выкрикивал:

— Ай шабош! Ай шабош!..

Время подходило к полуночи. Танцующие бросали деньги на стол музыкантам в широкий поднос. Перед ними образовалась целая гора смятых, замусоленных ассигнаций. Люди уже устали, один лишь серпои бодро ходил по кругу, обводя своими веселыми, нагловатыми глазами гостей и громко восклицая:

— Больше жизни! Не давайте скучать ни себе, ни музыкантам!..

Иногда серпои, извиваясь и приплясывая, подходил к кому-нибудь из гостей и чуть ли не силком вытаскивал его в круг танцевать. И танцующий не только сам кидал на поднос музыкантам деньги, но вкладывал еще их и в руку танцующей с ним женщины или девушки, которая перед выходом из круга отдавала деньги музыкантам.

Один раз улыбающийся во весь рот серпои той же приплясывающей походкой подошел и к Боби, предлагая ему выйти на майдан танцевать, но тот так энергично покачал головой, показывая, при этом на свою палку: не могу, мол, хромаю, что он больше не стал его беспокоить. Но когда наконец накрыли столы, расставили на них напитки и разнообразные кушанья, закуски, а проголодавшиеся гости жадно накинулись на еду, налегая на выпивку, Боби, после того как пропустил пару стопок водки, сам позвал серпои и неожиданно для него велел заказать музыкантам танец “Наз-нази”. К своей несказанной ра-

дости, Боби только что вспомнил, что у него в кармане со вчерашнего дня лежат две трешки, которые он утаил от жены и о которых он просто-напросто забыл.

Как только музыканты начали играть, Боби встал, распрямил плечи, поправил на себе пиджак и, слегка прихрамывая, без палки, не спеша, с достоинством вышел на майдан. Тотчас же услужливый серпои вывел танцевать с ним бойкую миловидную девушку с живыми черными глазами. “Вот бы моему сыну такую невесту”, — с удовольствием подумал про себя совсем расхраб्रившийся и развеселившийся Боби, с нескрываемой симпатией разглядывая ее стройную фигуру.

Неутомимому серпои удалось раскатать уставших, но уже захмелевших гостей. По его примеру они тоже начали дружно хлопать танцующим. Сосед Боби по столу вскочил с места и, усердно хлопая в ладоши, уже несколько охрипшим голосом принялся опять кричать:

— Харцо-о-о! Харц! Харц!..

Ноги сами легко понесли Боби по майдану, как в молодые годы. Возбужденный вином, музыкой, общим весельем, возможностью пожертвовать, как и другие, музыкантам на шабош, он сразу почувствовал прилив сил и юношескую гибкость в теле. Во время танца Боби гордо запустил руку в правый карман штанов, где, по его предположению, должны были находиться деньги, чтобы одну из этих трешек кинуть музыкантам, а другую вложить в руку своей юной напарницы. Но, обнаружив их в правом кармане, в то же мгновение другая его рука очутилась в левом кармане. Продолжая кружиться в танце и держать руки в карманах, Боби принялся судорожно обшаривать их, но — о ужас! — в них не было денег. На лице Боби сразу появилось выражение крайнего испуга и тревоги, ноги стали подкашиваться, спина покрылась испариной. Ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не выдать свое состояние, не сбиться с ритма. Музыка, дружное хлопанье гостей, которые только что воодушевляли, бодрили его, сейчас нагоняли на него панический ужас. А гости, как нарочно, вошли в азарт, начали, как ему показалось, еще сильнее хлопать, подзадоривая танцующих. Пузатый снабженец продолжал кричать свое неизменное “Харцо-о-о! Харц! Харц!”. А музыканты в надежде на шабош, потные от усердия и усталости, играли с нарастающим воодушевлением.

Куда же девались эти проклятые деньги?.. О горе! Что подумают о нем люди? Вот скажут: “Без гроша в кармане, как все равно уличный мальчишка-сорванец, ворвался в круг, еще танцевать вздумал...” Дога-

даются, обязательно догадаются, что он пришел на свадьбу, не захватив с собой денег не только на шабош, но и на совбол. Осрамлены его мужская честь и достоинство...

От сильного волнения и расстройства, забыв, где он находится, Боби внезапно остановился посреди круга как вкопанный и машинально на виду у всех вывернул пустые карманы наизнанку. Тотчас же раздался дружный оглушительный хохот присутствующих на свадьбе гостей, который, словно ошеломляющий гром, прозвучал в ушах дрогнувшего в страхе Боби. Его напарница со смущенной улыбкой поспешила покинуть круг. Пьяный толстяк снабженец, схватившись руками за живот, визжал, надрываясь от смеха. Музыканты, вопреки традиции, не дожидаясь выхода танцора из майдана, прекратили играть, тем самым нанеся ему публичное оскорбление. Да еще бубнист, холера его возьми, опустив бубен на колени и скорчив на своей обезьяньей физиономии притворно-скорбную, жалостливую мину, "горестно" покачал головой и пронзил растерянного, ошеломленного Боби презрительным и уничтожающим взглядом шельмоватых глаз, чем вызвал новый взрыв смеха со стороны многих гостей.

Под насмешливые взгляды и улыбки собравшихся Боби, пряча глаза, весь покрытый потом, разбитый, удрученный, хромая сильнее обычного, сразу покинул свадьбу. Какой-то мальчишка догнал его, когда он уже был на улице, и вручил палку, которую он забыл от волнения, а может, после всего случившегося ему просто не хотелось встречаться с гостями.

И вот он идет сейчас по пустынным и безмолвным улицам мирно спящего города, глубоко переживая свой позор и мысленно ругая жену на чем свет стоит...

Черные слезы



-э-эх, бабка, бабка, да будь ты трижды неладна! Что ты на-творила, безобразница?! А еще говорят: "Уваж-ж-жай, мол, их, стариков, почита-а-ай, склоняй свою голову перед ними!.."

— А что она сделала тебе плохого, эта бабка?

— Что сделала? Хуже, чем разбойник с большой дороги! Без ножа зарезала, без ружья убила! И кого? Родного же внука, причем единственного! Вот что она сделала!..

Понимаете, наша контора "Заготрогатскот", где я работаю за-

ведущим ветеринарной службой, построила на берегу моря десятиквартирный дом со всеми удобствами. И в каждой квартире по два больших балкона: один выходит на море, а другой — в парк, где по вечерам играет оркестр. Словом, не дом, а мечта. Скоро его должны заселить. Но как бы я ни мечтал попасть в этот дом, у меня было столько же шансов, сколько у грешника войти в рай. У нас с женой, правда, есть квартира из двух комнат, но без удобств. Да и семья у меня — я да жена. Детей у нас, слава Богу, нет и не хотим. Живем для себя. Положа руку на сердце, скажу: на кой ляд современному человеку дети?.. Они только мешают ему жить в свое удовольствие. Забот, хлопот и тревог с ними хоть отбавляй, а проку от них родителям ни на грош. А живем-то один раз... Да, но как подумаю, что не я, а кто-то другой будет жить в том доме, — меня сразу бросает в жар. Если уж на то пошло, что мне до тех наших работников, которые вовсе не имеют жилья? Всякая рука к себе загребает. Как говорится: “И пророк за свою голову молится”. Так жизнь устроена. Хорошо это или плохо — не мое дело.

Я долго думал, мучился: что бы такое предпринять, чтобы влезть в этот дом? Но как я ни ломал голову, ничего путного не мог придумать. Как-никак хоть и называется наша контора “Заготрогатскот”, но руководят ею не быки и коровы с рогами и хвостами, а обыкновенные люди, понимающие, что к чему. Я уже готов был волком выть, когда жена, разделявшая вместе со мной мои переживания и тревоги, неожиданно подкинула самую верную мысль.

— Слушай, чего ты так терзаешься? — говорит мне на днях моя жена, видя, как я мучаюсь, страдаю так, что, поверите ли, у меня последнее время пропало даже всякое желание миловаться с ней. — У тебя, кажется, в селении живет столетняя бабка?

— Правда, живет! — радостно вскрикнул я и сразу бросился обнимать, целовать жену. — Умница, — говорю ей. — Вот это идея!..

Честное слово, не вру, как только я вспомнил про свою бабуку, меня вдруг охватило такое волнение, такая нежность и такая тоска по ней, что вижу: без нее я, как рыба без воды, и часу прожить не смогу. Не смогу — и все! Вот что значит родная кровь! Я даже чуть не заплакал от жалости, представив себе горькую участь моей бабушки. Ведь она, бедная, как круглая сирота, одна-одинешенька: ни мужа, ни сыновей, ни дочерей у нее нету, один я. И живет моя бабушка, можно сказать, у чужих — у двоюродной сестры, тогда как у нее есть прямой потомок — я, родной внук, черт меня подери.

Недолго думая, я в тот же день помчался в селение, чтобы привезти бабулю в город. Пусть, думаю, теперь руководители нашей конторы “Заготрогатскот” посмеют не дать мне квартиру в новом доме. Таких старожилов Земли, как моя столетняя бабушка, ученые на учет берут, носятся с ними, как курица с яйцом. Они, словно исторические памятники далекого прошлого, находятся под особой охраной государства. Кроме того, моя бабушка — что не менее важно — мать погибшего на войне партизана, то есть моего родного дяди.

Как бы там ни было, я не сомневался: если бабуля будет с нами, ордер на новую, четырехкомнатную квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам весело гремит оркестр, у меня в кармане.

Но меня теперь беспокоило другое: жива ли моя бабушка? Не скрою, я давно, лет, наверное, десять, а может, и больше, не видел ее и ничего о ней не слышал. Среди городской суеты и будничных забот я, грешным делом, забывал о ней, не справлялся о ее здоровье.

Но опасение мое, к счастью, оказалось напрасным. К своей нескazanной радости, я застал бабуся живой и здоровой. Да и она, моя бедная старушка, была рада-радехонька встрече со мной — своим единственным внуком. Это же естественно.

За эти годы, что я ее не видел, она, представьте себе, нисколько не изменилась. Такая же маленькая, сухонькая и шустрая. И все тот же у нее кальян с аршинным чубуком, который она редко выпускает из рта. Несмотря на свой древний возраст, она, как это ни удивительно, сохранила острое зрение и хороший слух. Единственная перемена, которую я в ней заметил, — это то, что бабушка, как мне показалось, стала еще меньше ростом, как бы сократилась в размере.

Сначала она и слышать не хотела о переезде в город, чем меня, можете себе представить, здорово напугала. Потом, когда я ласково обнял бабуся за плечи и шутливо пригрозил, что если она добровольно не захочет поехать со мной, то я ее непременно украду, как в свое время поступил мой дед, когда она была девушкой, она расчувствовалась, прослезилась и в конце концов согласилась.

На другой день я целой и невредимой доставил бабуся в город. Мы с женой сразу начали кружиться вокруг бабки, как мотыльки вокруг горящей свечи, от которой исходит свет и тепло. Мы из кожи лезли вон, чтобы создать праздничную атмосферу в доме, угодить ей во всем. Чтобы лишний раз сделать ей приятное, я на второй же день вечером после ее приезда повел ее в театр. Купил два билета в первом ряду, чтобы ей

хорошо было видно и слышно. Но сейчас я каюсь, ох как каюсь, наверно, всю жизнь буду локти кусать, что допустил такую оплошность. Кто знал, что моя столетняя бабка в театре на виду у всей публики выкинет такой безобразный номер?!

Короче говоря, в тот вечер в театре показывали какую-то пьесу о наших партизанах в годы Великой Отечественной войны. Бабушка, задрав худой морщинистый подбородок, чинно сидела на своем месте и внимательно следила за ходом спектакля. Видно, ей было интересно. Все вроде было хорошо, пока двое вооруженных немецких солдат не втащили в свой полевой штаб пленного партизана с забинтованной головой и окровавленным лицом, со связанными за спиной руками. Сначала бабушка беспокойно ерзала на стуле и вслух всячески ругала фашистов. Но когда немецкий офицер, разъяренный упорным молчанием пленного, не желавшего отвечать на его вопросы, приставил к его груди пистолет, бабушку мою вихрем сорвало с места. В одно мгновение на сцену полетела ее резиновая калоша, густо облепленная грязью, и угодила прямо в гладко выбритую, надменную и свирепую физиономию фашистского офицера.

— Не смей, душман!¹²⁸ проклятый! — топая в ярости ногами и трясясь всем телом, срывающимся голосом закричала на весь зал бабушка. — Иначе я тебя, донгуза!¹²⁹ поганого!.. — И, разойдясь вовсю, бабушка дрожащей рукой тут же потянулась за второй калошей. Вид у моей бабки, если бы вы видели, был такой грозный, устрашающий, что, окажись у нее под рукой в этот момент вместо калоши бомба, она не колеблясь швырнула бы ее в немецкого офицера.

Все это произошло так неожиданно и быстро, что я не успел вовремя спохватиться и удержать разбушевавшуюся старуху. Под недовольные возгласы одних, требовавших “наказать хулигана и дебошира”, и веселый хохот и пронзительные свисты других я не мешкая схватил бабушку за руку и силой поволок ее к выходу с одной калошей на ноге. Но она еще продолжала бушевать, то и дело поворачиваясь назад, угрожающе размахивала сжатым кулачком и всячески пыталась вырваться из моих рук. Только на улице она вдруг смолкла, утихомирилась, но шла уже как в воду опущенная.

Мне, конечно, как человеку культурному, с образованием, было

¹²⁸ Душман — враг.

¹²⁹ Донгуз — дикий кабан, свинья.

очень стыдно за бабкину дикую, скандальную выходку. Я был крайне возмущен, поэтому сразу после выхода из театра принялся безжалостно распекать ее, стыдить, вгонять в краску. Что делать! Хотя и старый человек, но надо воспитывать, выколачивать дурь из головы, как пыль из старого сумагъа¹³⁰. Она слушала меня, низко опустив голову, всю дорогу до дома угрюмо молчала и тихо всхлипывала, краем старого рваного платка украдкой вытирая слезы: видно, мои слова пробрали ее как следует.

На следующий же день я сочинил большое заявление на имя администрации и профсоюзной организации конторы “Заготрогатскот”. Ссылаясь на то, что со мной живет моя столетняя бабушка, притом мать партизана, замученного фашистами, у которой, кроме меня, единственного внука, никого нет из близких, я потребовал, чтобы мне в первую очередь предоставили четырехкомнатную секцию в новом доме.

Вернулся я в тот день с работы, как все равно со свадьбы, — в самом веселом настроении. Я уже представлял нашу жизнь с женой в новенькой квартире, как мы с ней на балконе, выходящем в парк, обнявшись и прильнув щекой к щеке, танцуем под звуки оркестра.

Но, придя домой, я был крайне удивлен, застав жену в сильном расстройстве, с красными, воспаленными глазами. Стекая с накрашенных ресниц, по ее щекам катились черные слезы. Я вначале подумал, что жена плачет из-за бабки. Ее пребывание у нас ей, конечно, не очень приятно, можно сказать, в тягость, доставляет лишние хлопоты. А я, как порядочный человек и настоящий муж, жалею свою жену. И это естественно. Она у меня, прямо скажу, женщина аппетитная. Но не только этим она меня прельщает. Жена приносит домой денег больше, чем я, — заведует дамским салоном в большой престижной парикмахерской.

Я, конечно, сделал вид, что все это пустяки. Ласково улыбнувшись жене, тихо, чтобы бабка в другой комнате не слышала нас (я не сомневался в том, что она там или дремлет, как курица на насесте, или сосет свой кальян, наполняя комнату едким табачным дымом), прошептал ей на ушко, украшенное изящной бриллиантовой серьгой:

— Моя дорогая, потерпи еще немного, вселимся, в добрый час, в новую квартиру, а потом, а по-о-том вежливенько выпроводим бабку в селение, к сестре. Ведь та все-таки ближе ей, чем ты — чужой человек, тем более, как я вижу, ей трудно привыкать к нашему городскому об-

¹³⁰ *Сумагъ (сумах)* — ковер ручной работы без верхнего ворса.

разу жизни. Одно то, что выкинула эта старая дикарка в театре, до сих пор вызывает у меня чувство стыда и ужаса.

А жена с внезапно прорвавшимся громким рыданием отвечает:

— В том-то и дело — уехала-а-а!..

— Как — уехала?! — Мне показалось, что почва ускользает у меня из-под ног и я неудержимо лечу в пропасть. — И ты не смогла удержать ее?!

Жена, глотая черные слезы (о, как они сейчас меня раздражали!), с убитым видом качает головой и говорит:

— Нет, не смогла. Я ее и так и эдак просила, на коленях умоляла, чтобы она еще немного осталась, пожила у нас, иначе не видать нам четырехкомнатной квартиры в новом доме...

— А она что?! Что она ответила?! — кричу я, вне себя от расстройства и возмущения.

— Баллах, говорит, раз такое дело, тем более не останусь ни одного дня. Мне, говорит, у вас не нравится, я чувствую себя у вас точно птица в клетке и очень жалею, говорит, что приехала. Если, говорит, вам с мужем при вашей бездетности обязательно хочется четырехкомнатную квартиру, приезжайте жить к нам в селение. Там его отцовский дом пустует. А хороший сын, говорит, не должен дать погаснуть огню в отцовском очаге...

Одним словом, чего тут затягивать, наша надежда получить новую квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам играет музыка, лопнула как мыльный пузырь. И все это из-за стариковского эгоизма, ослиного упрямства и примитивного стародедовского мышления моей чертовой бабки. А еще говорят: “Уважа-а-ай, мол, их, стариков! Почита-а-ай!..”

“Бриллиантовый мужчина”



Почему каждый человек наделен собственным именем? Наверное, чтобы не путали, допустим, Гасана с Гусейном, Шарапа с Шарипом или Ашура с Баширом. Но как быть, если в таком маленьком, с воробьиный нос селении, как наше, где всего-то несколько десятков дворов, этих Ашуров, чтоб не сглазить, чертова дюжина? Как узнать, о каком Ашуре спрашивают

или ведут речь, если в разговоре у нас не принято называть человека по фамилии и даже по отчеству?

Может, поэтому у нас в селении каждый из этих Ашуров, кроме собственного имени, имеет еще и прозвище. Одного из них, например, из-за ярко-рыжей бороды прозвали Ашуром Огненной Бородой, другого за его любовь к яичнице — Ашуром Яичницей, третьего за буйный нрав — Ашуром Сумасшедшим, четвертого за узкие глаза — Ашуром Японцем. Есть у нас Ашур Пехлеван, Ашур Тракторист, Ашур Хажилегле¹³¹...

Единственный среди ныне здравствующих Ашуров, один завсельмагом, не имел прозвища. И того, говорят, мои односельчане хоть и с большим опозданием, но все же окрестили соответствующим прозвищем. Теперь его зовут Ашур Бриллиантовый Мужчина. Почему ему дали такое прозвище, об этом рассказал мне во время одного из своих приездов в город мой односельчанин Ашур Соловей, прозванный так за свою неутомимую словоохотливость и дипломатическое красноречие, навестивший меня в редакции, где я тогда работал.

— Только все, что я расскажу тебе, — просительно взглянув на меня, произнес Ашур Соловей, — должно остаться между нами.

— Если не доверяешь, можешь не рассказывать, — притворился я обиженным.

Мой собеседник смущенно поскреб затылок и, как бы оправдываясь, доверительно промолвил:

— Видишь ли, земляк, в чем дело... Ашур Бриллиантовый Мужчина — мой приятель. Когда в магазин поступает дефицитный товар или вроде этого, он всегда находит меня и тайком от других шепчет на ухо: загляни, мол, ко мне в магазин в такое-то время, есть кое-что подходящее, припрятал...

Не скажу, что он мне делает такое одолжение ради одной нашей дружбы. Переплачивать все равно приходится. Другое дело, мой тезка за этот самый дефицит с другого дерет в два-три раза больше, чем с меня. А вот не предупреди тебя, э-э-э! — Он многозначительно щелкнул языком и, хитро улыбаясь, недоверчиво покосился на меня и на кучу корреспондентских писем, лежавших на моем столе. — Вы же, журналисты, писатели, народ известный: у вас что на уме, то и на... бумаге, возьмешь и накатаешь про это самое дело какой-нибудь фельетон-

¹³¹ Хажилегле — аист.

чик или смешную историю, а потом нашей дружбе с Ашуром Бриллиантовым Мужчиной, считай, конец. То-то!..

Ашур Соловей на минуту умолк, чуть опустив голову, затем, взглянув на меня, добавил со смущенной улыбкой:

— Не поэтому только, земляк, я не хочу, чтобы ты о нем написал...

Почему именно я первым должен заявить во всеуслышание, что Ашур Бриллиантовый Мужчина — хапуга, вор, бабник и все такое прочее, а другие — молчат, точно воды в рот набравши? Кроме того, разве один он такой?..

Я промолчал. Молчал и Ашур Соловей. Но по выражению его хитроватого лица и по тому, как он беспокойно ерзал на стуле, то и дело бросая на меня выжидательные взгляды, я понял, что он томится желанием рассказать мне новость, но не решается. И когда я дал ему слово, что ничего об этом писать не буду, Ашур Соловей, сразу повеселев, начал свой рассказ так:

— Я, земляк, хорошо помню, когда наш односельчанин Ашур Бриллиантовый Мужчина был видным, можно сказать, из себя мужчиной: стройным, с густой шевелюрой, белозубым. Но это было давно. Теперь, если бы ты его видел... Он совсем лысый, вместо зубов — рот полон золота, живот — точно бурдюк с вином. Ничего не поделаешь — годы, к тому же излишества... Но речь сейчас не об этом. Вздумал, дурень, на старости лет выкинуть номер — обзавестись второй женой. Есть у нас в селении молодая красивая вдовушка Беневше. Ты ее знаешь. И вот он не дает ей проходу, юлит вокруг нее, как лиса вокруг мышиной норки. “Давай, говорит, раз ты есть молодая вдова, в полном расцвете женщина, а я хоть и староват, но еще, можно сказать, в соку мужчина, притом не просто так себе, а... бриллиантовый, поженимся...” Ты, конечно, догадываешься, на что намекает старый ловелас, называя себя “бриллиантовым”...

— А как Беневше? — спросил я собеседника.

— Беневше? Да никак! Ее, скажу тебе, тошнит от любовных излиятий плешивого поклонника. Однажды она даже пригрозила, что пойдет жаловаться на него куда надо, если он не оставит ее в покое. А мой тезка, говорят, выслушав это, в ответ соорудил этакое несчастное, страдальческое лицо и запел дребезжащим, как старая телега, голосом печальную песню о том, что он готов из-за нее претерпеть какие угодно страдания, как пламенный Меджнун из-за прекрасной Лейли!.. Хе-хе! Ничего себе, старый толстопузый завмаг в роли юноши Меджнуна! — съязвил Ашур Соловей и тут же продолжил свой рассказ.

— В селе, тем более маленьком, как наше, любой хабар, как ты знаешь, расходится быстрее телеграфа. Дошел этот хабар и до ушей старой Пери — жены завмага. И стала она мрачнее тучи, злее сатаны. “У твоего сына, — говорит она мужу, — на голове седина пробивается, а ты, такой-разэтакий, на старости лет беситься вздумал, хочешь мне соперницу завести? И не стыдно тебе?!” А Ашуру слова жены, что слону дробинки. Он их в одно ухо впускает, а из другого выпускает.

Вот теперь, дорогой земляк, послушай самое уморительное в этой истории. Случилось это в ночь на Восьмое марта. В тот день в магазине шла бойкая торговля. Понятное дело: мужчины хотят поднести подарки дорогим женщинам: мы хоть и сельские люди, но тоже не лыком шиты. И вот поздно вечером, перед тем как закрыть магазин, Ашур Бриллиантовый Мужчина, сосчитав выручку, положил ее в карман накинутой на плечи новенькой дубленки, взял тонкий шерстяной платок в ярких розах, завернул в него дорогой шелковый японский отрез, золотые модные подвески, разные сласти, пару бутылок шампанского и, завязав все это в узелок, вышел во двор, предварительно залпом опрокинув стаканчик армянского коньячку. И куда бы, ты думал, направил старый петух свои стопы? Домой, к старой жене? Чего захотел! К молодой вдове. Пришла ему, дурню, блажная мысль: может, сегодня, в праздничный вечер, повезет ему; ласковым словом, дорогими подарками, обещанием золотых гор удастся завоевать неприступное сердце красавицы.

Вот идет наш Ашур под хмельком. Кругом тишина. На небе звездочки перемигиваются. А в воздухе пахнет весной, такая пора, “когда на деревьях лопаются почки, а в груди — сердце”¹³². Беневише живет на противоположном берегу реки, которая, как ты знаешь, пересекает наше селение посередине и протекает по глубокому оврагу. Ашур бодренько спускается с высокой горки к мосту, перекинутому через реку, то и дело поправляя на ходу сползающую с плеч дубленку, и мурлыкает свою любимую песенку:

*Был бы я мотыльком,
Ты была бы огнем,
Ах, спалила бы меня
В объятии своем...¹³³*

¹³² Поговорка.

¹³³ Автор, к сожалению, не помнит, кому из поэтов или ашугов принадлежат эти строки.

В тот самый момент, когда влюбленный “мотылек” ступил на мост, продолжая распевать песню, и уже видел себя мысленно в объятиях молодой вдовы, откуда ни возьмись, с противоположной горки неожиданно выскочила чья-то легковая машина. Ослепляя Ашура светом фар, она падающим метеором мчалась прямо на него, словно небесная кара спешила настичь греховодника. Растерявшийся завмаг, опасаясь за свою жизнь, испуганно шарахнулся в сторону и тут же, сорвавшись с моста (он у нас узкий и без перил), вместо того чтобы попасть в жаркие объятия знойной вдовушки, с шумом плюхнулся лысой головой вниз в холодную воду.

Дальше Ашур Соловей, даваясь от разбиравшего его смеха, не мог членораздельно говорить. Все же кое-как пересилив себя, он довел свой рассказ до благополучного конца. Оказывается, дубленку с выручкой, узел с подарками и папаху вмиг унес бурлящий поток. Очутившись в ледяной воде, перепуганный насмерть завмаг, как за якорь спасения, ухватился обеими руками за один из деревянных столбов, поддерживающих мост, и кричал так, что в ту праздничную ночь на все селение были слышны его отчаянные вопли о помощи.

Пока наши односельчане бежали к мосту, люди, ехавшие на машине, с большим трудом извлекли из воды еле живого, всего посиневшего и трясущегося, как в лихорадке, от страха и холода завмага.

На следующий же день все селение только и говорило об этом ночном происшествии, и с тех пор односельчане стали величать завмага Ашуrom Бриллиантовым Мужчиной.

Рассказав эту историю и вдоволь нахохотавшись над оскандалившимся приятелем, Ашур Соловей, довольный и веселый, встал и на прощание пожал мне руку. Но прежде чем уйти, он, точно в раздумье, на минуту остановился у дверей, а потом с внезапно вспыхнувшими в его темно-карих глазах озорными огоньками махнул рукой и решительно произнес:

— Знаешь, земляк, черт с ним, с этим дефицитом, и с самим завмагом! Напиши о нем, разрази его, хороший фельетон или что-нибудь в этом роде. Только назови свой фельетон или хабар — тебе виднее — “Ашур Бриллиантовый Мужчина”.

“Проклятая история”



Встретил я недавно своего друга Салара, механика автомобильного завода. Последний раз я его видел месяц с лишним назад, перед моим отъездом в санаторий. На днях я, к своему большому удовлетворению, узнал, что он получил квартиру из трех комнат, притом в центре города, и сразу представил себе радость моего друга, его семьи, которая долгое время уютилась в одной комнате коммунальной квартиры. Но когда я увидел Салара, вопреки моему ожиданию он выглядел весьма озабоченным, мрачным и взвинченным. Мне даже показалось, что за время, что я его не видел, он несколько постарел и осунулся. На мое приветствие и поздравление с новосельем Салар ответил вяло, без всякого воодушевления, словно ему это было не по душе. Я невольно насторожился.

— Салар, дорогой, скажи честно, что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке, — угрюмо буркнул он в ответ.

Но я чувствовал, его что-то гнетет, гложет.

С минуту мы шли молча. Салар шел, опустив голову, задумавшись. Потом он поднял серые, грустные глаза и, взяв меня за локоть, спросил:

— Ну ладно, скажи: у тебя есть время?

— Да я никуда не спешу.

— В таком случае давай посидим вот тут, — указал он глазами на стоявшую в сквере скамейку, — и я тебе расскажу все.

Мы сели. Погода стояла осенняя, пасмурная, под стать настроению моего друга. Салар вынул из кармана портсигар, угостил меня сигаретой и закурил сам, потом, словно забывшись, долго смотрел куда-то перед собой. Я осторожно тронул его за руку.

— Ах да, извини меня, пожалуйста, — встрепенулся он. И, словно оправдываясь, добавил: — Знаешь, все эти последние дни, и на работе, и дома, все думаю об этой проклятой истории. Никак она у меня не выходит из головы.

Салар сделал несколько глубоких затяжек, потом, бросив окуроч, начал рассказывать.

— Неделию тому назад я получил новую квартиру. Мне незачем объяснять тебе, какая это радость для нас, — сам знаешь... На следующий день после того, как мы заселились, — это было в субботу — кто-то робко постучался к нам в дверь. Открываю, смотрю, в подъезде стоит не-

знакомый мне человек, какой-то высокий, плечистый парень с круглым лицом. На нем замасленная кожаная тужурка, яловые сапоги с подвернутыми голенищами, помятая кепка, сдвинутая на затылок. С виду похож на шофера. У его ног лежит большой плоский закрытый ящик, а на ящике — огромный живой откормленный индюк со связанными ногами. Рядом с ящиком стоит большой баллон с красным вином.

“Вы к кому?” — спрашиваю.

Он, приветливо поздоровавшись, почтительно улыбается.

“К вам, — уверенно отвечает он с такой же почтительной улыбкой. — Мне приказали, чтобы я все это, — он с деланной небрежностью указал на привезенные вещи, как бы желая подчеркнуть, что ничего, мол, особенного здесь нет, — доставил вам”.

Выслушав его, я очень удивился и стал объяснять ему, что он наверняка ошибся, спутал меня с кем-нибудь другим.

“Нет-нет, что вы! — вежливо запротестовал незнакомец. — Именно вам велели доставить”.

— А ты не спросил у него, кто прислал тебе эти подарки? — перебил я Салара, заранее догадываясь, что “проклятая история”, которая вывела из равновесия моего друга и о которой он собирается рассказать, по всей вероятности, связана с ними.

— Как — не спрашивал?! Спрашивал, — словно удивленный и даже немного обиженный моим вопросом, воскликнул Салар. — Говорит: “Узнаете потом, сам хозяин напишет вам”. Он так и сказал — “хозяин”.

И, не дав мне опомниться, шофер легко поднял двухпудовый ящик и без моего разрешения занес на кухню. Туда же перенес баллон и индюшку.

Как только неизвестный мне шофер неизвестного “хозяина” ушел, на кухню с шумом вбежали мои дети. Когда я на их глазах вскрыл ящик и они увидели аккуратно сложенные в нем виноградные кисти с чуть сморщившимися желтыми ягодами, то радостно запрыгали. Я каждому из них дал по кисти винограда и отправил назад. Вскоре вернулась жена — ее не было дома, когда приходил шофер. Дети, сразу обступив мать и размахивая перед нею гроздьями, сообщили о подарках.

Жена тоже, скажу тебе, была удивлена этому не меньше моего. Она смотрела на меня, я на нее, как бы стараясь с помощью друг друга угадать, кто мог бы сделать нам такой неожиданный сюрприз. Мы перебирали в памяти всех наших родственников, но среди них не находили ни одного, кто мог бы послать нам в ноябре целый ящик винограда, боль-

шой баллон вина и такого откормленного индюка. Да и родственников как у меня, так у жены раз-два и обчелся. Ты же знаешь, мы сироты, детдомовцы, у меня и у жены отцы погибли на фронте, а матери умерли от голода во время войны, когда мы были еще подростками.

“Не надо было принимать подарки, коли не знаешь, от кого они, кого надо благодарить за это”, — говорит мне жена почти с упреком.

По ее голосу я чувствую, что она скорее огорчена, чем обрадована. В душе я, конечно, был согласен с ней, но уже ничего не мог исправить. Чтобы как-нибудь успокоить ее, а заодно и себя, я принялся уверять жену в том, что это все прислал кто-то из наших друзей, желая на новоселье сделать нам приятный сюрприз.

Жена наконец как будто поверила этому. А через час, между нами говоря, мы были даже рады подарку и решили на следующий день пригласить самых близких наших друзей и устроить небольшой пир. Ты тогда находился в санатории. И хорошо, что тебя не было.

Салар глубоко вздохнул. Сердито нахмутив брови, он беспокойно заерзал на скамейке и опять полез в карман за сигаретами.

— На следующий день, — заговорил опять мой собеседник, держа между пальцами дымящуюся сигарету, — пришли мои гости. Жена, радостно возбужденная, приветливая, счастливая, быстро накрыла на стол, налила полные графины вина, подала соус, горячий плов с жареным индюком. Только подняли первые бокалы, чтобы произнести тост, по радио, точно по нашей заявке, запели застольную песню “Налейте бокалы!..”. Это еще больше подняло общее настроение за столом. Но вот в самый разгар песни, словно гром с ясного неба, кто-то громко и нетерпеливо стал барабанить кулаками в дверь, заглушая песню. Пораженные, застыв с бокалами в руках, все невольно повернули головы в сторону двери. Я быстро побежал и открыл ее. Смотрю, на пороге стоит тот самый шофер и как будто не тот. Рожа злая, красная, вызывающая. Он окинул меня свирепым взглядом, точно своего заклятого врага, виноватого перед ним Бог знает в чем, и закричал сердито и требовательно:

— Где ящик с виноградом?! Где баллон с вином?! Где индюк?!

Я обмер, ноги у меня подкосились. Не дожидаясь ни моего приглашения, ни моего ответа, он, громыхая своими сапожищами, устремился на кухню. А я, точно во сне, поплелся за ним. Шофер, не найдя там ничего из того, что оставил вчера, заговорил с отчаянием и злостью в голосе:

— Понимаешь, произошла ошибка, досадная ошибка. То, что я вчера привез, наш директор совхоза велел отнести одному начальнику, который оказывает ему услуги. Но я, дурак, перепутал номер дома... Теперь хозяин съест меня с потрохами. — Он с досадой шлепнул себя по широкому плоскому лбу, а потом, бросив сердитый, возмущенный взгляд на сквороду, стоящую на плите с остатками индюшки, и кривя губы в злой усмешке, с ехидством прибавил: — А ты, — он уже не называл меня на “вы”, — а ты вместе со своими гостями, конечно, постарался поскорее сожрать, выпить все, что я привез, наверняка понимая, что я спохвачусь и вернусь. Ведь на чужое, дармовое аппетит всегда хороший. “Чужой уксус и тот сладким кажется”...

Я думал, сойду с ума. Радио перестало петь, и гости, конечно, все слышали, тем более что от расстройства и растерянности я забыл закрыть дверь комнаты, где они сидели. Вне себя от негодования, потеряв над собой контроль, я вплотную приблизился к нему и потребовал, чтобы он немедленно сгинул отсюда.

— Ну-ну, папаша, тихо! — крикнул он на меня, угрожающе подняв руку со сжатым кулаком.

Жена и дети с криком выбежали в коридор, а вслед за ними и гости. Шофер, с шумом захлопнув за собой дверь, удалился, а все они, видя, в каком я возбужденном состоянии, принялись меня успокаивать. От незаслуженной обиды и бессильной ярости, оттого, что мне было стыдно перед моими гостями, я кипел, как котел на сильном огне, и готов был провалиться сквозь землю.

Настроение у всех было испорчено. Очень скоро мои гости, каждый сославшись на какую-нибудь уважительную причину, ушли один за другим, почти не отведав ни вина, ни плова, ни винограда. После их ухода мы с женой долго сидели одни за пустующим накрытым столом, молчаливые и подавленные, словно после похорон. Потом я разом встал, схватил баллон, вынес на кухню и вылил в раковину все вино до последней капли. А ящик с виноградом отнес в общежитие интерната, которое находится недалеко от нашего дома. Ребятам я сказал, что виноград прислали им в подарок рабочие совхоза.

— С тех пор прошло больше недели, а я, как видишь, никак не могу успокоиться, прийти в себя... — такими словами закончил свой печальный рассказ об этой... “проклятой истории” мой друг Салар.

Мастер красоты



Знаете, каждому хочется быть красивым, — поднося бритву с блестящим лезвием к моему намыленному горлу, убежденно говорит мне парикмахер. У него мощная круглая бритая голова, отливающая синевой, неторопливые, но уверенные движения, плотная, коренастая фигура. На широком, немного скуластом, смуглом энергичном лице торчат, словно пучки тонких прутьев, длинные, прямые черные усы. Когда он говорит, его левый ус то и дело шевелится и вздрагивает, а большие темно-карие глаза смотрят на клиента с какой-то затаенной печалью, которая не очень вяжется с его бодрым и суровым видом.

— Так оно и должно быть, — не отрываясь от дела, продолжает добровольно просвещать меня уста¹³⁴ — на то он и есть че-ло-век, как говорится, венец природы, чтобы любить и ценить красоту. Это, извините за выражение, обезьяне или верблюду все равно, как они выглядят: красивыми или уродами. Вот взять, к примеру, того же верблюда. Оттого, что у него шея кривая или горб торчит на спине, он, думаете, хоть сколько-нибудь чувствует себя несчастным, обиженным? Наоборот. Если вы заметили, верблюд держится очень даже высокомерно, как чванливый лорд или высокородный бек. Он настолько безразличен к тому, что в его фигуре все криво, что на этот счет существует даже поговорка. Вы, наверное, тоже слышали. Спросили у верблюда: “Почему у тебя шея кривая?” Он: “А что у меня прямое, чтобы шея была ровная?” А вот у моей супруги, к слову сказать, — в голосе усты сразу прозвучали грустные нотки, — на мою беду, на кончике носа вскочила маленькая бородавка, величиною всего с божью коровку. Теперь из-за этой ничтожной штучки у нас в доме нет спокойствия: жена вечно хнычет, ворчит, по пустякам раздражается. Видите ли, эта злополучная бородавка портит ей красоту...

На минуту парикмахер перестал орудовать бритвой, задумчиво опустил глаза и шумно вздохнул, а на лицо его легла тень. Должно быть, ему в эту минуту представился женин нос. Я от души пожалел его

— Не нужна красота еще знаете кому? — продолжал философствовать мой уста, но без прежней грусти в голосе. — Не про нас с вами будь сказано, красота не нужна еще и покойнику, как не нужны ему

¹³⁴ Уста — мастер.

освещение, отопление, водоснабжение, канализация и прочие, так сказать, коммунальные удобства...

Меня начал разбирать смех.

Уста, резко убрав бритву от моего лица и нахмутив лохматые брови, недовольно поморщился, шевельнув усами.

— Смеяться, гражданин, во время бритья категорически воспрещается, — строго произнес он, сердито поглядывая на меня. — Пока вы сидите у меня в кресле, я отвечаю за вашу жизнь, как хирург за жизнь своего пациента на операционном столе... Кроме того, гражданин, — мастер укоризненно покачал бритой головой, — ничего, по-моему, смешного нет в том, что я сейчас рассказываю вам, наоборот, совсем наоборот.

Справа от нас, на широком низком подоконнике, стояла маленькая зеленая елка, украшенная разноцветными игрушками. В ярком свете электрических ламп они таинственно блестели, переливаясь всеми цветами радуги. За окном в зимних сумерках редкими, крупными, пушистыми хлопьями лениво падал снег, спешили нагруженные покупками прохожие — был канун Нового года.

Когда я с трудом подавил смех, парикмахер, после минутного молчания, как ни в чем не бывало, заговорил вновь:

— Вот к нам ходят клиенты: мужчины, женщины, молодые, пожилые. А почему они ходят? Конечно, чтобы выглядеть красивыми. А как же иначе? Вот попробуй, к примеру, вас не брить, не стричь три-четыре месяца, так родная жена и та, извините, испугается... Тем более, как я посмотрю на вас, не в обиду вам будет сказано, красотой вы не блещете. Правильно я говорю?

Парикмахер отодвинулся на полшага и в ожидании ответа вопросительно уставился на меня. Я опять чуть не разразился смехом, но сдержал себя и в знак полного согласия с ним молча кивнул головой.

Уста, видимо довольный, слегка улыбнулся.

— То-то! — весело воскликнул он и с нескрываемой гордостью за свою профессию добавил: — Но красота вещь тонкая. Ее надо наводить умеючи. Знаете, сделать человеку хорошую прическу, аккуратно подстричь, подправить ему волосы — это вам, извините, не траву в поле косить или шерсть с барана снять. Вот расскажу вам про такой случай из моей практики. Приходит ко мне одна полная дама в летах (я тогда работал в дамском салоне парикмахерской) и просит, чтобы я сделал ей прическу “офицеры, за мной”, а на лбу — кокетливые завитушки. Но я прекрасно вижу, что такая прическа

не для ее возраста и комплекции. Мне, конечно, ничего не стоило взять да исполнить ее желание. Но брать деньги с человека, да еще уродовать его, я, как честный гражданин и член профсоюза коммунальных работников, не могу и не имею права. Это, знаете, брак, хуже, чем брак на производстве. Я имею дело с живыми людьми, а не, извините, с болванками и сковородами. “Мадам, — вежливо говорю ей, галантно приложив руку к сердцу, — такая прическа, которую вы хотите, подойдет только молоденьким...” Но дама не дала мне договорить, с жаром схватила меня за руку и, благодарно прижав ее к груди, радостно говорит: “Вот-вот, сделайте меня, пожалуйста, молоденькой!.. А то мой муж — он моложе меня на двадцать лет — все на молоденьких заглядывается, негодник, боюсь, не удержу...” — разоткровенничалась дама. Я, конечно, могу ей посочувствовать, но понять... нет!

Парикмахер вздохнул и грустно улыбнулся.

— Не без труда, гражданин, я убедил ее, что такая прическа будет ей не к лицу. Она не сделает ее привлекательной, скорее наоборот. И предложил ей другую, подходящую для ее возраста и типа лица. Она после некоторого колебания все же согласилась и ушла, как мне кажется, довольной. Но удастся ли ей даже с помощью самой ухищренной прически удержать молодого мужа, я, гражданин, затрудняюсь сказать.

Уста прервал свою речь и, слегка прихрамывая, исчез за серой полотняной перегородкой. Через минуту он вынырнул оттуда с мокрой, горячей салфеткой, от которой валил густой пар, и сделал мне компресс. Покончив с этой процедурой, он, вооружившись ножницами и металлическим гребешком, начал поправлять мои усы.

— Вы, наверное, слушаете меня, а про себя думаете: зачем, мол, я все это рассказываю? — словно угадав мои мысли, многозначительно улыбнулся уста. — А я это говорю к тому, что и среди нас, парикмахеров, есть свои, так сказать, “маяки” — люди, с любовью, творчески относящиеся к своей работе, профессии. Но почему-то нашего брата никто надлежащим образом не ценит.

— Как — не ценит? — спросил я с преувеличенным удивлением. — Разве вам плохо платят за ваш труд?

Парикмахер поморщился так, словно проглотил кислую алычу.

— Да разве все дело в оплате, дорогой товарищ? — с укоризной произнес он. — Есть пословица: “Не нужен мне твой плов, нужно твое

внимание". Доброе слово нередко ценнее дорогой монеты... А вот сейчас я задам вам один вопрос: вы хоть раз слышали, чтобы кто-нибудь из наших писателей сделал героем своего рассказа, поэмы или романа нашего брата парикмахера? Конечно, нет. А ведь никто из них без наших услуг не обходится. Разве не обидно?

Рассказчик на минуту умолк, но продолжал стрекотать ножницами перед моим носом, поправляя усы. Потом тем же обиженным тоном заговорил вновь:

— Вот я знаю одного писателя, он земляком мне приходится, мы с ним из одного селения. Он часто пишет о жизни села, о сельских тружениках, а сам в сельском хозяйстве разбирается так же, как я, извините, в китайской грамоте.

— Не может этого быть, — попытался я заступиться за незнакомого мне собрата по перу.

— Вы послушайте дальше, — не обращая внимания на мое возражение, дергая левым усом, проговорил уста. — Этот самый писатель, мой земляк, о котором я вам говорю, почти мальчиком уехал из села и с тех пор все время живет в каком-то большом городе. Ездит в свое селение от случая к случаю, раз в пять-шесть лет, и то на свадьбу или на поминки. Мне кажется, что он сейчас с трудом отличает камыш от кукурузы, осоку от риса. Если он еще что-то помнит, знает о сельском хозяйстве, то это то, что огурцы, дыни, тыквы и арбузы в отличие от черешни и груши растут не на деревьях, а на грядках, на самой земле. Этот мой земляк, надо полагать, как и все мужчины, по меньшей мере хотя бы раз в неделю или в месяц ходит к парикмахеру! А вот писать о нем ничего не пишет. Я давно его не видел, но, попадись он мне под руку, даю слово, я ему такое устрою, такое... — В его голосе прозвучали сердитые нотки, и он злорадно ухмыльнулся.

Я беспокойно заерзал в кресле.

— А что бы вы ему сделали?

— Что бы я ему сделал? То же самое, что сделал цирюльник с моллой Насретдином, — с мстительной усмешкой произнес он в ответ.

Я как-то слышал про эту историю. Говорят, однажды молла Насретдин пришел к цирюльнику брить голову. У того бритва оказалась очень тупой. Едва он проложил первую "борозду" на голове моллы, тот весь стал корчиться от боли, а на глазах выступили слезы. Цирюльник, желая развлечь разговором своего клиента, вежливо осведомился: "Сколько вас братьев, молла?" — "Было пятеро, дорогой уста, —

всхлипнул молла, — но с той роковой минуты, как моя несчастная голова попала под твою бритву, считай, что осталось четверо...”

Я невольно начал с беспокойством разглядывать в зеркале усатое лицо своего собеседника и вдруг... похолодел от ужаса. Это был мой земляк — я узнал его, хотя мы давным-давно не виделись. Это он обо мне говорил...

Салфетка, обернутая вокруг шеи, стала душить меня, точно петля. Я резким движением сорвал ее, разом вскочил с кресла и поспешно кинулся к вешалке. Схватив пальто и шапку, я, от волнения и спешки едва не сбив с ног ошеломленного парикмахера, выбежал на улицу.

А ночью мне снились кошмары. Усатый парикмахер, размахивая большой бритвой, точно ножом мясника, и прихрамывая, долго преследовал меня по открытому полю, залитому горячим солнцем. Вдруг я, к своей несказанной радости, увидел перед собой кукурузное поле, похожее на густой лес. Я, недолго думая, решил укрыться в нем от своего преследователя, который хотел насильно сбрить мне бороду тупой бритвой. Но, немного придя в себя, я обнаружил, что это вовсе не кукуруза, а камыш. Мстительный парикмахер искал меня в камышах. По соседству с камышовыми зарослями раскинулось ярко-зеленое рисовое поле. Я незаметно бегом перебрался туда. Но, лишь изрядно поранив себе лицо и руки, сообразил, что это вовсе не рис, а осока...

С трудом оторвавшись от гнавшегося за мной парикмахера, потный, усталый, запыхавшийся, я очутился у высокого орехового дерева и с наслаждением растянулся в его густой прохладной тени, широко раскинув руки. Где-то в кроне дерева заливался неугомонный соловей. Забыв об опасности, которой мне только что удалось избежать, я с улыбкой стал слушать вдохновенного певца. Но в эту минуту один орех, упав с дерева, угодил мне прямо в лоб. Прижав ладонь к ушибленному месту, я сразу проснулся и тут же ощутил у себя на подушке игрушечный орех, который сорвался с новогодней елки, стоявшей у изголовья моей кровати. Я в ту же минуту вспомнил про свой сон и вчерашний случай в парикмахерской и решил, не откладывая дела в долгий ящик, написать рассказ о парикмахере и отдать этим дань глубокого уважения и признательности его древней и очень нужной людям профессии, которая делает нас красивыми...

Телефон



Чёрт меня дернул поставить у себя дома телефон! Зачем я вбил себе в голову, что он мне необходим? Ведь обходился же я, слава Богу, без него все эти годы. И ничего. А вот с тех пор, как появился телефон, пошли одни неприятности, я вконец извелся, потерял покой, меня даже чуть не хватил удар.

А впрочем, так мне и надо! Говорили же хорошие люди из конторы связи, особенно один там, пожилой, с удивительно спокойным и приятным голосом:

— Зачем вам, дорогой писатель, телефон? Ваше дело — писать и писать, а не растрачивать свое драгоценное время на всякие телефонные звонки и хабары.

Честное слово, говорил! А я вот уперся, как осел: “Поставьте мне телефон — и никаких гвоздей! Дом телефонизирован, у моих соседей есть телефон, а почему мне нельзя?”

Мой довод, видимо, сразил самого главного, и мне наконец поставили телефон, такой модный, красивый и блестящий, хоть погладь рукой. Но одно лишь огорчало меня: телефон молчал, точно воды в рот набравши. Через неделю я позвонил (из квартиры соседа, конечно) самому главному и робко пожаловался.

— Телефон вам не патефон, чтобы он “запел” сразу, — ласково упрекнул меня обладатель невозмутимого приятного голоса.

— Ведь целая неделя, как его поставили, а он молчит.

— Пусть молчит. Хлеба у вас не просит?

— Это верно, но...

— Простите, дорогой товарищ, у нас нет пока свободных номеров!

— И положил трубку.

Спустя три месяца я опять позвонил самому главному (опять из квартиры соседа).

— Телефон молчит...

— Пусть молчит. Хлеба у вас не просит? — слышу я тот же самый ответ.

— Зачем тогда поставили телефон?

— Вы сами просили.

— Правильно, просил, но мне нужен телефон, который говорит, а не... В конце концов фельетон, что ли, о вас написать? — разозлился я.

С минуту в трубке слышалось напряженное сопение, потом многозначительное предупреждение:

— Как вам угодно. Но фельетон — это не телефон!..

И разговор оборвался. Наутро следующего дня мне сообщили номер моего телефона, и через минуту у меня на столе вдруг весело затрещал телефон. Я с радостью взял трубку.

— Алло-о? Алло-о! Как там самочувствие моей жены? — спрашивает мужской голос.

Мне показалось, что я ослышался, поэтому попросил повторить, что он хотел сказать.

— Я спрашиваю: как самочувствие моей жены?

— Откуда я знаю? — отвечаю я, крайне удивленный его вопросом.

— Простите, почему о здоровье своей жены вы спрашиваете у меня?

— Как — почему? Это разве не родильный дом? Я разве не с дежурным врачом разговариваю? — уже несколько другим, озадаченным тоном спрашивает незнакомец.

— Нет-нет, это квартира.

— Ах, тогда, пожалуйста, извините!

Я положил трубку, вновь взялся за ручку, но через минуту опять раздался звонок, а в трубке — тот же голос:

— Скажите, пожалуйста, как самочувствие моей жены?

Я, не произнося ни слова, в сердцах бросил трубку. Немного погодя — опять звонок, опять тот же голос и опять тот же самый вопрос. Я схватился за сердце и глубоко страдающим голосом взмолился:

— Слушай, дорогой мой, я же сказал вам, что это не родильный дом, а квартира, ква-а-ртира! Не туда звоните!

— А какой номер вашего телефона?

Я назвал. Но незнакомец вдруг словно взбесился, услышав номер.

— Как вам не стыдно? Зачем вы врете? — громко заорал он в трубку. — Я и вчера, и позавчера звонил по этому самому номеру И мне все время отвечали как положено... Вы просто нахал! Я...

Я швырнул трубку, взял ручку, но уже не мог сосредоточиться. Мысли мои разлетелись в разные стороны, как потревоженные пчелы, сломя голову, удирающие из улья, в котором ворошили палкой. Дрожащими пальцами я достал из открытой пачки сигарету, закурил, но тут мой телефон вновь заверещал.

Я поднял трубку.

— Скажите, пожалуйста, кто у меня родился: мальчик или девоч-

ка? — спрашивал уже другой мужчина, в голосе которого чувствовалось нетерпение и волнение. И он, назвав имя и фамилию своей жены, добавил: — Я целую неделю был на кутане¹³⁵, поэтому ничего не знаю.

Я понял: опять звонят в родильный дом, а почему-то попадают ко мне.

— А кого бы вы хотели? — усталым, но доброжелательно-шутливым тоном спросил я.

— Мне все равно, — услышал я короткий смех. — Но желательно, конечно, мальчика. У меня две девочки-двойняшки.

— У вас мальчик, — произнес я и тут же положил трубку: по крайней мере теперь не скоро позвонит.

Не прошло и пяти минут — о Боже! — опять звонок. На этот раз звонила какая-то старушка. Спрашивает:

— Доктор, не скажете, как там моя невестка, разрешилась? — и она назвала фамилию своей невестки.

Я с полминуты молчал размышляя: если сказать, что “не разрешилась”, будет опять звонить и звонить, поэтому ответил, что разрешилась, чувствует себя хорошо, передает привет и прочее.

— Ай, спасибо, сынок, спасибо! — слышу я радостный, взволнованный голос старухи. — Не скажете, кто у нас родился?

— А кого бы вы хотели? — с деланной веселостью спрашиваю я.

— Хочу внучку, милый, мечтаю. У меня одни мужики...

— Ваша мечта сбылась — у вас родилась великолепная внучка, поздравляю! — И сразу повесил трубку.

Я взял с кровати подушку, накрыл ею телефон и больше к нему не подходил. Но самая большая неприятность из-за этого телефона, как оказалось, ждала меня вереди.

На следующий день, несмотря на то что у меня есть звонок, кто-то начал бить ногой в нашу входную дверь, да с такой яростной силой, что она вот-вот сорвется с петель. Я, крайне удивленный и возмущенный, быстро подбежал и открыл дверь. У порога стоял незнакомый мне мужчина с тремя белыми свертками на руках. Два свертка он держал на правой руке, один — на левой. Незнакомец был коренастым мужчиной средних лет, с суровым, обветренным лицом, черными усами, одетым в пиджак, брюки галифе с широкими клиньями и хромовые сапоги. Голову его украшала высокая каракулевая папаха.

— Я узнал, это вы, оказывается, вчера говорили мне по телефону,

¹³⁵ Кутан — отгонное пастбище.

что у меня родился сын, — окинув меня сердитым, почти враждебным взглядом, запальчиво произнес он, как только я показался перед ним.

Я сразу догадался, что это тот самый человек, который говорил, что был целую неделю на кутане и у него две девочки-двойняшки и что он хотел бы сына...

— Да, я.

— А почему вы мне наврали?! У меня родилась тройня — и все девочки. Вот они у меня на руках, — показал он глазами на свертки.

— Я-то тут при чем? Я, что ли, виноват? — не найдя сразу что сказать, пробормотал я.

— Конечно! — гневно нахмутив брови, с горячностью воскликнул он. — Почему вы сразу не сказали, что у вас квартира, а не больница, морочили мне голову?!

Я, понятно, не знал, что дело так обернется. В душе я сейчас очень жалел о своем поступке, независимо от причины, побудившей меня к этому. Но в то же время было бы глупо и бессмысленно оправдываться, поэтому я промолчал.

Однако отец новорожденных девочек, продолжая кричать и браниться, начал ставить мне в вину и то, чего у меня и в мыслях не было.

— Вы хотели разыграть меня за то, что у меня две девочки-двойняшки, а теперь вместо желанного сына разом стал отцом еще трех девочек-тройняшек? И это, видно, показалось вам очень смешно и забавно. Не так ли?! — Он на секунду умолк, шумно вздохнул и бережно поправил на руках свертки, затем, смерив меня с ног до головы злым презрительным взглядом, добавил: — Вы этим самым нанесли оскорбление не только мне как отцу, но и моим новорожденным девочкам, всему женскому полу в их лице, если хотите!..

— Поверьте, я совсем не имел такого намерения, — пытался я его успокоить, но незнакомец, не дав мне договорить, еще больше распаляясь, продолжал осыпая меня упреками.

— У меня на руках три маленькие горянки! — Он гордо вскинул голову. — Сейчас горянка — инженер, ученый, министр, актриса, поэтесса. О горянках книги пишут. А вы, скажу вам, просто-напросто отсталый противный тип и пустой насмешник. Вот кто вы!..

Пока отец новорожденных малюток поносил меня всюду, я вдруг с ужасом заметил, как незнакомая старуха, пыхтя и отдуваясь, с трудом поднимается по нашей лестнице с таким же свертком на руках. Лицо ее показалось мне таким сердитым и злоющим, что могло смутить и напу-

гать самого Азраила. “Может, это та самая старуха, которую я вчера поздравил с рождением внучки, о которой она мечтала, а у нее родился внук? А может, не дай Бог, с ее невесткой случилось что-то неладное или с ее ребенком?..” — тревожно пронеслось у меня в мозгу. Поспешно закрыв за собой дверь, крайне взволнованный и расстроенный, я подошел к телефону и позвонил в контору связи самому главному.

— Слушайте, почему мне все время звонят и спрашивают роддом?..

— А-а-а! — услышал я в трубке веселое восклицание и сдержанный смех. — Это очень просто: мы дали вам номер телефона, принадлежащий роддому. У них несколько телефонов. Ничего, обойдутся без этого номера. А вы не волнуйтесь.

— Как — не волнуйтесь?! — вспыхнул я. — Люди не знают, звонят без конца. У меня из-за этого большие неприятности. Не могу работать. Голова горит.

— Вполне возможно, — сочувственно произнес самый главный, — будут звонить, пока не будет издан новый телефонный справочник, в котором точно укажут, у кого какой номер. — И чтобы меня совсем “успокоить”, добавил: — Но это произойдет не раньше чем через год-два.

Услышав это, я в отчаянии схватился за голову, взмолился:

— Тогда дайте мне, ради Бога, другой номер!

— Не можем.

Я вышел из себя, стал грозить, что перережу провод, выброшу телефон в мусорный ящик... На это самый главный ответил мне своим обычным невозмутимым и приятным голосом:

— Как вам угодно. Но писать о нас фельетон из-за того, что вам не установили телефон, у вас нет оснований. Мое почтение!

Как я стал “неисправимым пьяницей”

 то бы там ни говорили, я верю в кисмат¹³⁶. Правильно говорят: что у тебя написано на роду, то и будет. Иначе как изволите объяснить, что один цветет и пахнет, жизнь для него, что называется, разлили малина, сплошное везение, живет, как в раю. На другого посмотришь, пусть он не такой, о котором можно сказать, что родился в рубашке, но все-таки по-своему счастлив. А вот я, прямо скажу, родился под несчастливой звездой. У

¹³⁶ Кисмат — судьба, удел.

меня в жизни одни обиды, неприятности и неудачи. Вот взять хотя бы недавнее происшествие со мной. А чтобы вы поняли, о чем идет речь, придется рассказать по-порядку.

У меня, как у многих других в нашем городе, есть дача. Пока я занимался ее оборудованием, пока сажал саженцы, примерно года три-четыре, я вел, можно сказать, более-менее спокойную жизнь. Но с тех пор как начал собирать виноград и давить вино, дача стала для меня сущим наказанием, Божьей карой. Кому-то с пьяных глаз понравилось мое вино, и пошел слух среди моих сослуживцев (работаю я помощником главного бухгалтера на ремонтном заводе), что у Гадаша (то есть у меня) не вино, а вроде бы райский напиток зем-зем¹³⁷.

И это сразу снискало мне “популярность”, привлекло повышенное внимание и интерес к моей скромной персоне, особенно тех, кто понимает толк в хорошем вине, но кто раньше меня вообще не замечал: ни тебе “салам алейкум”, ни тебе “алейкум ассалам”. Теперь от них, жаждущих испробовать моего “зем-зема”, жизни нет. Нередко они шумной компанией и без всякого предупреждения вторгаются ко мне домой среди ночи, порядочно нахлеставшись в ресторане или еще где-то.

— Э-эй, Гадаш! Принимай гостей, подавай свой зем-зем, хе-хе! — еще с порога кричат они хмельными голосами, будто пришли не в чужой дом, где все давно улеглись спать, чтобы завтра, едва продрав глаза, спешить на работу, а в ночной кабак.

Я встаю (что делать), бужу жену, велю ей подавать на стол вино и закуски. Не выгонишь же из дому — гости вроде. Ну, коли пришли, свалились как снег на голову, так и пейте уж сами, меня не трогайте. Нет, они и меня заставляют, принуждают. А я человек слабого здоровья. От долголетней сидячей работы страдаю, извините, геморроем. У меня к тому же больная печень, постоянно мучит изжога. Да и сон у меня чуткий, куриный. Стоит, например, моему соседу по квартире в своей комнате громко храпнуть или чихнуть, я тут же вздрагиваю, как от выстрела, и уже не могу уснуть.

— Ты, дорогой Гадаш, если рад нашему приходу, должен выпить с нами этот бокал. — Очень часто с такого провозглашения начинается тост за столом.

Чтобы мои гости не подумали, упаси Бог, что я не рад их приходу, я с принужденной улыбкой “бодро” чокаюсь с их дружно протянутыми ко мне бокалами. А за первым тостом, как это водится, следуют другие.

¹³⁷ Зем-зем — чудесная вода, возвращающая молодость, исцеляющая раны.

— Ты, дорогой Гадаш, настоящий мужчина. А настоящие мужчины пьют до дна!

Я человек с намусом, горжусь своей принадлежностью к мужскому полу. Не хочу, да и не позволю, чтобы обо мне говорили, что я не настоящий мужчина. Пусть лучше лопнет моя больная печень, изжога, как огонь, прожжет мои внутренности, чем я дам повод подумать обо мне такое. Но говорить гостям: “Друзья любезные, если бы достоинство мужчины определялось его способностью поглощать винно-водочные изделия, то самый заядлый пьяница, забулдыга сошел бы за самого настоящего мужчину” — неудобно, да и бесполезно. Поэтому я пью и этот бокал до дна, конечно.

— Ну, дорогой Гадаш, пусть в твоём доме будет столько горя, слёз, болезней и смертей, сколько капель вина останется в твоём и нашем бокалах!

Не скрою, я немного суеверен. Это осталось у меня ещё с детства. Покойные мои родители тоже были суеверными, это передалось и мне. Когда, например, по дороге мне встречаются две женщины, я никогда не решаюсь пройти между ними — вроде это дурная примета. Я обхожу их стороной, как норовистого коня, который, не ровен час, лягнет... И чтобы моя семья, мои милые дети, упаси Бог, миновали все эти беды и напасти, которые призывает на их головы мой пьяный сослуживец, я, собравшись с духом, до последней капли втягиваю в себя содержимое бокала.

— Дорогой Гадаш, пусть не пьёт с нами тот, кто не любит нас!.. — И человек, который произносит этот тост, — здоровенный детина с разбитым носом, в недавнем прошлом боксер, — точно сердитый, буйный бык, косится глазом на мой стакан.

И я пью, чтобы не подумали, что я не люблю их. Но эта “любовь” очень часто после ухода таких гостей кончается для меня катастрофически. А не на шутку перепуганной жене приходится будить кого-нибудь из соседей, имеющих дома телефон, и со слезами в голосе просить, чтобы срочно вызвали “скорую”.

— Продай дачу! — пристает ко мне каждый раз жена, как только я начинаю приходить немного в себя после очередного приступа печени. — Ни к чему она нам. Загубишь себя, изведешь меня, и дети наши останутся сиротами...

А знакомый, старый, добрый, но чудаковатый врач из “Скорой помощи”, вытаскивая шприц из моего бедра, тоже каждый раз в свою очередь грозит мне:

— Сколько раз я предупреждал вас, уважаемый Гадаш, воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя, возьмите себя в руки, иначе мы будем вынуждены насильно водворить вас в больницу для лечения, как, извините, неисправимого пьяницу.

Конечно, в моем положении лучше бы расстаться с дачей, но не могу. Дача стала для меня вроде как несчастная любовь, которую проклинаешь, но с которой не можешь расстаться. Да и шутка ли сказать: каждое деревце, каждый кустик здесь посажены и взлелеяны моими руками. И когда я бываю на даче, моя душа молодеет, радуется. Я испытываю такое удивительное чувство, которое трудно передать словами: будто каждое дерево, каждый кустик знают и любят меня как родного и, словно малые дети, ждут ласкового прикосновения моих рук, моего внимания, ведут со мной немой разговор, понятный только нам. Но поскольку жене незнакомо подобное чувство, мое упорное нежелание распрощаться с дачей она начинает истолковывать по-своему.

Дело в том, что соседка моя по даче — одинокая хорошая женщина моих лет. И как добрые соседи мы нередко встречаемся (не прятаться же нам друг от друга), иногда вместе хабарничаем, пьем чай, оказываем друг другу различные мелкие услуги. Жена же моя вбила себе в голову, что именно из-за нее я не хочу расстаться с дачей. И я теперь как между молотом и наковальней: с одной стороны, меня продолжают донимать назойливые поклонники моего “зем-зема”, а с другой — жена своей глупой ревностью. Раньше, когда муж ревновал жену, он точил кинжал, а когда жена ревновала — точила язык. Клянусь вам, он острее любого кинжала, если даже этот кинжал сделан из прославленной кубачинской стали. Уф-ф! Уф-ф! Не дай Бог никому из мужчин попасть под его лезвие.

И вот во избежание семейных раздоров я теперь не отваживаюсь идти на дачу один, без жены, если даже там все горит. Она сопровождает меня туда и обратно, как все равно конвоир безоружного пленного или арестованного. Это, конечно, меня глубоко возмущает. Но опять-таки: что делать?

Говорят, в неудачника и палка стреляет, а у невезучего лошадь в хлеву превращается в осла. Так и у меня.

Однажды утром в воскресный день приезжаю я на дачу (на этот раз без жены — у нее волдырь на языке), смотрю и глазам своим не верю: группа молодых парней с лопатами в руке вырывают с корнем лозы в моем винограднике. Я, вне себя от ярости, кидаюсь на них с поднятыми кулаками, кричу:

— Что вы делаете, разбойни-и-ки?!

— Полегче, папаша! Мы не разбойники, а студенты-практиканты, — отвечает мне таким недовольным баском высокий толстощекий парень в дорогой коричневой дубленке и блестящей норковой шапке. Он, несмотря на свой юный возраст, держался важно и самоуверенно — наверное, сынок какой-нибудь важной птицы.

— Плевать! — продолжая кипеть от негодования, как бурлящий котел на сильном огне, ору я на них не своим голосом. — Мне какое дело, кто вы? Какое вы имеете право?!

— Имеем! — отвечает мне тот самый парень начальственным баском и добавляет: — Мы должны узнать, не болеют ли ваши лозы филлоксерой.

— Это что еще за черт?! — на этот раз больше удивленный, чем возмущенный, спрашиваю у него.

— Филлоксера? Это, дядя, чума, виноградная чума, — отвечает мне другой, какой-то белобрысый, тощий, очень скромно одетый парнишка, видно, один из тех горемычных студентов, которые нередко ложатся спать на голодный желудок или без завтрака утром бегут на занятия.

По правде говоря, я до сих пор, грешным делом, думал, что чумой могут болеть только человек или курица, хотя между ними нет ничего общего. Но о том, что виноградная лоза — неодушевленный предмет — может тоже схватить эту заразу, я слышал сейчас впервые, чем, конечно, был крайне удивлен.

— Сынки мои, — сразу смягчив тон, с беспокойством говорю я студентам-практикантам, — если, допустим, человек заболел чумой, его, понятно, сразу изолируют и положат в больницу лечиться. Заболеет чумой курица или петух — это не такая уж беда, пойдут на суп. Но что надо делать с лозами, если они заболели этой самой филлоксерой?

Их ответ точно гром поразил меня в самое сердце: все лозы, если хоть одна из них заражена этой опасной болезнью, должны быть выкорчеваны и уничтожены. Таков приказ. Видя, что я начинаю бледнеть, белобрысый парень принялся успокаивать меня.

— Вы, дяденька, заранее не сокрушайтесь. Мы эти вырванные лозы подвергнем лабораторному анализу. Если они не заражены, ни одной больше вырывать не надо.

На мою беду, виноградник на моей даче, как мне сообщили из лаборатории, оказался заражен чумой, то есть филлоксерой. И я с тяжелым сердцем был вынужден выкорчевать лозы все до единой.

А любители моего “зем-зема” на днях выпили у меня последнее вино и, узнав, что мой виноградник вырублен под корень, на второй же день потеряли ко мне всякий интерес и уважение, вроде даже обиделись на меня, вместо того чтобы посочувствовать моей беде. И опять, как в прежние времена, ни тебе “салам алейкум”, ни тебе “алейкум ассалам”.

Раз под вечер, когда я, добив последнюю лозу, возвратился домой, как с похорон, жена, встречая меня у ворот, еле ворочая языком (у нее по-прежнему волдырь на языке), говорит:

— Ты знаешь, оказывается, произошла ошибка.

Я не понял, о чем она, спрашиваю:

— Какая ошибка? О чем ты говоришь?

— Проверяющие, — отвечает она, — ошиблись. Они у себя в лаборатории случайно перепутали чужие лозы с нашими. Прислали письмо, извиняются, пишут...

Что говорила дальше жена, я уже не слышал. Очнулся я в постели. И первое, что я увидел, это знакомого доктора и двух молодых здоровых ребят в белых халатах, которые перекладывали меня с кровати на носилки, чтобы понести к карете “скорой помощи”.

— Куда-а? — с трудом приподняв голову, еле слышно спросил я старого доктора.

— Надо, так надо, — печально кивая головой, мягко произнес он и тут же добавил: — Коли вы, любезный мой, при вашем слабой здоровье и болезни печени не можете воздержаться от злоупотребления алкоголем...

Я сразу понял, что доктор решил: мне плохо потому, что вопреки его неоднократному предупреждению я, будучи больным, опять напился в стельку со своими “друзьями-собутыльниками” и что я впрямь неисправимый пьяница, поэтому, ради моего же собственного спасения, должен подвергнуться принудительному лечению. Я жестом остановил его, чтобы сказать: то, что он сейчас думает обо мне, — ошибка, такая же ошибка, как злополучная история с филлоксерой, как ничем не оправданная ревность не в меру подозрительной моей жены к соседке по даче, как то, что каждый из нас думает, что идет по правильной дороге, а на самом деле блуждает по бездорожью и никто твердо не знает, куда она его приведет. И что вся наша жизнь — это сплошная цепь ошибок и заблуждений, надежд и разочарований, маленьких радостей и больших огорчений... Но, к сожалению, я ничего не успел сказать доктору. Едва я снова открыл рот, как моя голова, точно у сильно опьянен-

ного человека, вдруг опять пошла ходуном, и все передо мной закружилось, завертелось, как карусель. Тем временем карета “скорой помощи” мчала меня в больницу для лечения от алкоголизма...

Опасный гость

*Когда плачет ребенок,
мне кажется, что плачет вся Вселенная.*

Кайсын Кулиев

ано утром старый бауэр Ганс Гаммер вышел во двор. Только что выглянувшее из-за ближнего леса большое румяное солнце весело брызнуло ему в лицо золотистыми лучами. Гаммер приятно зажмурился, и едва приметная улыбка тронула его губы, почти спрятанные под обвислыми, моржовыми, прокуренными усами. Он был доволен, что погода с утра выдалась ясной, солнечной. Такое не часто случается у них в осеннюю пору. А ему как раз везти в город с десятка откормленных кроликов для продажи знакомому мяснику и купить кое-что для дома.

Но прежде чем погрузить ящики с кроликами и вывести лошадь из хлева, где она содержалась вместе с двумя пятнистыми коровами голландской породы, старик прошел на середину двора. Остановившись у большого бревна, возле которого копошились куры, он медленно опустился на него. Направо, у широких дверей хлева, стояла телега с большой охапкой сена. В дальнем углу двора, высунув из конуры острую коричневую морду и положив ее на передние лапы, тихо скулила собака, преданно и умильно глядя на своего старого хозяина. В прохладном утреннем воздухе стояли знакомые запахи сырой земли, сена, навоза и конской мочи.

Гаммер неторопливо достал из кармана полотняной куртки трубку и плоскую круглую жестяную коробочку с табаком. Набив трубку, он с наслаждением закурил и рассеянно огляделся вокруг. Дом его стоял на пологом холме, недалеко от небольшого озера с густыми камышовыми зарослями на берегу, на самом краю хутора, в котором было всего домов пять с красными черепичными крышами, расположенных в низине. Несмотря на то что стояли они на почтительном расстоянии друг от друга, отсюда весь хутор был виден как на ладони. Вокруг, насколько хватало

глаз, простирались зеленые луга и густые леса, от которых веяло дремучей, первозданной тишиной и покоем. У человека, впервые посетившего эту местность, невольно возникало ощущение, будто она находится в самой глухой и отдаленной части света и что за этими безмятежными полями и безмолвными лесами ничего больше не существует. Даже старому Гаммеру временами казалось странным, что это место — один из уголков его беспокойной родины — Германии, ввергнувшей мир в опустошительную войну.

Старик лениво смотрит, как из трубки легкими синими завитушками поднимается вверх горьковатый табачный дым и медленно тает, а сам думает и думает о войне, о том, когда она, проклятая, кончится. Если сказать правду, ему не жаль ни англичан, ни американцев, а тем более русских, с которыми немцы воюют. Англичане захватили полмира и превратили его в свою вотчину. Говорят, у американцев столько золота, хоть ковшом гребь. А у русских много, очень много земли, чего не хватает немцам... Так говорит фюрер. Гитлер-то, наверное, лучше знает, чем он, старый Ганс Гаммер, простой крестьянин из глухого, забытого Богом хутора. Когда Германия победит, у немцев всего будет вдоволь...

Но сомнение, как червь, давно грызет душу Гаммера. Война как игра ва-банк — не знаешь, чем она для тебя кончится. В прошлую мировую войну он был солдатом. Германия тогда тоже одерживала одну громкую победу за другой. Но что получилось потом? Проиграли, потерпели сокрушительное поражение. Не случится ли то же самое и в этой войне?..

Гаммер старается отогнать от себя эти мрачные, тревожные думы. Но как отмахнуться от них, если они, как кошмар, преследуют тебя повсюду, не дают покоя? Ведь позапрошлой зимой немцы проиграли битву под Сталинградом. Погибла целая армия, да и какая — самая прославленная, победоносно промаршировавшая по Европе! Сам фельдмаршал фон Паулюс, командовавший ею, вместе со своими уцелевшими генералами угодил к русским в плен. Русские гонят теперь “доблестных воинов фюрера” на запад, приближаются к границам Рейха. Если, не приведи Господи, они, обозленные и разъяренные, вторгнутся в Германию (а это не исключено), что будет тогда с ней, с самими немцами? Может, не надо было Гитлеру с самого начала заваривать эту кашу, чтобы потом не расхлебывать ее... немцам? Говорят же: “Если ошибается правитель, то спотыкается вся страна”.

Кроме того, Гаммер на своем горьком опыте знает: неудачи на фронте автоматически влекут за собой неудачи и в его личной жизни.

С него теперь берут больше налога, чем год-два назад. После того как единственный сын Гаммера разделил “славу” воинов Паулюса, жена его, человек с больным сердцем, очень скоро отправилась к ангелам. Он остался один как перст в целом мире. И что еще ждет его впереди — один Бог знает.

Старик сокрушенно вздыхает, горестно качает седой головой и делает одну глубокую затяжку за другой. Но неожиданное появление у него во дворе незнакомого странного смуглолицего мальчонки прерывает горькие размышления старого бауэра. Мальчик, низко опустив голову, тихо подошел и молча остановился перед ним. Брови Гаммера поползли вверх, он бросил на него изумленный взгляд. На вид ему от силы четыре-пять лет. Всклощенные, давно не мытые темные волосы, лицо бледное, бескровное, с набухшими болезненными мешочками под большими черными глазами, босые грязные ножки со следами свежих царапин. Из-под рваной рубашонки выглядывает тощее тело — кожа да кости...

Смешанное чувство удивления, неприязни и почти страха охватило Гаммера при виде этого мальчишка. Быстро засунув в карман горячую, но уже потухшую трубку, он машинально встал с места. Двумя пальцами брезгливо взяв за волосы малыша, приподнял его голову и пристально посмотрел в худое серое лицо, черные, затуманенные, как у сонного или умирающего, глаза. Кто он, этот неизвестный мальчик? Цыганенок, еврейчик или какой-нибудь черномазенький азиатик? Как он сюда попал?!

— Ты кто? — дергая его за волосы, грубо спросил Гаммер. На лице мальчишка не отразилось никаких чувств. Он будто и не слышал голоса, обращенного к нему, и еле стоял на ногах. Как только Гаммер отпустил его, ребенок медленно осел на сырую землю и растянулся у его ног. Бауэр кинул недоуменный взгляд в сторону собаки. Его удивило, что она ничем не проявила своего отношения к появлению незнакомого мальчишка, не издала ни звука, точно не хотела помешать ему подойти к хозяину. Старик подумал, что мальчишка, наверное, вынесли из концлагеря бежавшие оттуда лагерники. Может, уже ищут беглецов и его тоже?..

Гаммер знал отношение немецких властей к заключенным в лагерях пленным, интернированным, особенно к евреям, цыганам, русским, полякам. Он невольно вспомнил, как совсем недавно, около месяца назад, жители хутора были разбужены среди ночи стрекотанием мотоциклов, беспорядочной стрельбой, неистовым лаем собак и душераздирающими криками. Когда к утру все затихло, в хутор на мотоциклах примчались

вооруженные эсэсовцы со своими овчарками, напоминающими свирепых волков. Собрав всех взрослых жителей, они приказали взять лопаты и следовать в лес за озеро, чтобы вырыть яму и закопать в ней убитых ими, бежавших из лагеря русских и польских военнопленных.

До сих пор как кошмарный сон стоит перед глазами Гаммера зрелище, которое он увидел там. Трупы убитых пленных в полосатых робах были собраны в одно место, но лежали отдельно друг от друга. На них нельзя было смотреть без содрогания: изрешеченные пулями, растерзанные овчарками тела, проломленные черепа, обезображенные лица...

Воспоминание об этом не на шутку встревожило старого бауэра. Какой черт принес к нему этого непрошеного гостя?! Надо сейчас же посадить его в телегу и как можно скорее отвезти в город и сдать в полицию. От волнения он на какое-то время даже забыл, зачем собирался ехать в город. Он окинул мрачным взглядом маленького опасного гостя. Мухи ползли по его лицу, копошились вокруг рта, жужжали над ухом, но мальчик даже не шевелил рукой. Старик нагнулся и дотронулся до него: не умер ли? Но ребенок, не открывая глаз, тихо, едва слышно застонал. Может, прежде чем отвезти его в город, сначала лучше покормить? Ведь он еле-еле душа в теле. Все-таки живого легче везти, чем умирающего.

Гаммер настороженно оглянулся: не видит ли его кто-нибудь из хуторян? Но вокруг не было ни души. Он легко поднял мальчика на руки, поспешно отнес его в дом и посадил за стол, где со вчерашнего вечера лежала раскрытая Библия, которую старый бауэр имел обыкновение читать на сон грядущий. Он принес стакан молока и большой кусок черного ржаного хлеба и положил перед мальчиком. Голодный ребенок при виде еды сразу ожил, шумно засопел и беспокойно задвигался на стуле, но не протянул руку к пище, с тревогой и надеждой глядя на Гаммера широко открытыми глазами, в которых, казалось, навсегда застыла невыразимая тоска и страх. Тогда старик, ближе придвинув к нему стакан, неласково буркнул:

— Пей!

Мальчик схватил стакан и дрожащими руками поднес ко рту. После первого же глотка глаза его странно заблестели, округлились. Стуча зубами о стекло и прерывисто дыша, он принялся жадно пить. Едва закончив с молоком, ребенок в одно мгновение, точно кошка мышонка лапой, накрыл своей грязной ручонкой хлеб и, словно боясь, что его отнимут, обеими руками прижал кусок к тощей груди, недоверчиво и почти

враждебно косясь на хозяина. Гаммер невольно усмехнулся, но тут же, нахмутив брови, отнял у него хлеб.

— Нельзя! — строго произнес старик.

От грубого прикосновения и резкого голоса хозяина ребенок испуганно вздрогнул, но не заплакал. Видимо, его внимание было слишком поглощено безжалостно отнятым у него хлебом, который бауэр держал в своей большой, огрубевшей и потемневшей от повседневного тяжелого крестьянского труда руке. Гаммер задумчиво повертел хлеб перед собой, затем нерешительно отломил половинку и протянул ее мальчику.

— Хватит тебе и этого, — стараясь не смотреть ему в глаза, угрюмо сказал он. — Тебе сразу нельзя столько есть, понимаешь, нельзя. Умрешь!

Старый бауэр знал, что не только дни, но и часы маленького беглеца сочтены. Он все равно умрет голодной или насильственной смертью. Но старик не хотел, чтобы истощенный мальчик умер на его глазах от его честно заработанного хлеба. Гость не понял ни слова из того, что сказал ему хозяин дома, но протянутый хлеб взял и стал есть с топроливой жадностью, почти не прожевывая.

Увидев, что мальчишка молниеносно справился с хлебом, Гаммер, со сдержанной улыбкой подхватив его чуть выше локтей, слегка приподнял над стулом, на котором тот сидел, и поставил на пол.

— А теперь — айда! — кивнул головой Гаммер и тут же направился к двери, уверенный, что мальчик, как послушный песик, последует за ним.

Но ребенок, никуда не оборачиваясь, тяжело сопя, шатающейся походкой направился прямо в угол комнаты, где в беспорядке лежали пустые мешки из-под муки и отрубей, и завалился на них. Старику не понравился этот своевольный поступок несмышленного гостя. Он подошел к нему с намерением поднять его и увезти, но мальчик уже спал. “Ну, Бог с ним, пусть спит, завтра отвезу, — после короткого раздумья, неожиданно смягчившись, произнес про себя Гаммер и, как бы успокаивая себя, добавил: — Ведь сюда почти никто не заглядывает”.

А на следующее утро, к большой досаде старика, пошел дождь, сильный, частый. Не было никакой надежды, что он скоро прекратится. Небо было сплошь покрыто серыми, набухшими дождевыми облаками. В другой раз в такую погоду Гаммер ни за что не выехал бы из дому. Но во избежание неприятных для себя последствий он должен сегодня, сейчас же отвезти и сдать маленького беглеца.

Решив так, Гаммер вывел из хлева лошадь, слегка погладив ее гри-

ву, надел на нее хомут и поставил в оглобли. Дождь с шумом заливал его брезентовый плащ, хлестал по лицу. Гаммер злился на погоду, на себя и особенно на этого чужого грязного мальчишку. В душе он жалел, что вчера, поддавшись чувству, не отвез его, живого или умирающего. А мальчик в этот хмурый дождливый утренний час лежал в своей убогой постели и сквозь тяжелую дрему беспорядочно, но отчетливо видел свою коротенькую жизнь, которая теперь висела на волоске и должна вот-вот оборваться.

Вот он идет с матерью по широкой и длинной-длинной улице. На ней стоят такие огромные, высокие дома, что даже мама, такая большая, кажется на их фоне совсем маленькой. Улица полна людей, шума, движения. Вот и их квартира. Папа, склонившись, сидит за швейной машиной и что-то строчит, тихо напевая себе под нос. Он часто сидит за этой машиной, иногда целыми днями. Потом папа куда-то собирается уходить, видимо, надолго, где его, наверное, ожидает не очень приятная жизнь. За спиной у него маленький, туго набитый мешок. Когда это было, мальчик не знает, но зато хорошо помнит, что, перед тем как уходить, папа поднял его высоко-высоко на руки и, поцеловав в обе щеки, долго держал в объятиях, а мама все это время плакала и плакала навзрыд.

Помнит еще, как с улицы доносится громкая песня: "Вставай, страна огромная!.." Поют ее хором большие дяди в серых шинелях и с винтовками за плечами. Он это видит из окна высокого дома. Говорят, они идут бить каких-то фашистов-разбойников, напавших на нас. Но что такое страна, к которой они, эти дяди, в один голос обращаются, он не знает, как-то забыл спросить у мамы, хотя он сейчас смутно догадывается, что это такое.

Но вот однажды к ним в дом с шумом и грохотом ворвались эти самые фашисты с глубоко нахлобученными на головы железными котелками и с автоматами на шее. Они, схватив его и маму, потащили куда-то вниз по лестнице. Потом они долго-долго ехали в закрытом вагоне. В нем было много людей, тесно и очень душно, а колеса под вагоном все время стучат и стучат. И почему-то в нем почти всегда была ночь. Он много-много раз засыпал, потом просыпался, а утро не наступало. А совсем-совсем недавно, кажется, вчера это было, тоже ночью, колеса вдруг перестали стучать, и вагон остановился. Все те, кто находился в нем, разом хлынули во внезапно открывшуюся вагонную дверь. Очутившись на земле, где кругом было темно и пустынно, они, как стая испуганных птиц, сразу разбежались в разные стороны. Мама, быстро схватив его на руки,

тоже побежала через какое-то открытое поле к черному лесу. Небо в ту ночь было густо усыпано звездами. Он никогда не видел столько звезд. Где-то не очень далеко позади них раздаются устрашающие звуки. При каждом таком звуке мама испуганно вздрагивает и еще крепче прижимает его к груди. Он догадывается: это те самые фашисты в глубоких железных котелках гонятся за мамой, за ним и хотят убить их, а за что — он не знает, наверное, потому, что они злые, как волки, а может быть, и не люди вовсе, а настоящие волки, но принявшие обличье людей...

Постепенно одна за другой начали гаснуть на небе звезды. А когда они с мамой вышли на опушку леса у зеленого поля, далеко на горизонте расцвела заря. В деревьях и кустах весело защебетали птицы, радуясь наступающему дню, и вскоре все вокруг заблестело, засверкало в лучах восходящего солнца. Первый раз в жизни видит он, как на смену ночи приходит утро, рождается новый день.

Уставшая и совсем выбившаяся из сил, мама опускает его на землю. Но трава, по которой он ступает, мокрая и холодная как лед, и от этого у него стынют ноги. Неподалеку, на пологом холме, из-за деревьев выглядывает кирпичный дом с красной черепицей. Мама то плачет, то улыбается ему, то прижимает к сердцу и неистово целует в лоб, глаза, щеки, то, осторожно толкая в спину, негромко, но настойчиво говорит: "Беги, беги, сынок, вон к тому красивому дому, может, там кто тебя пожалеет!" И показывает рукой в сторону дома, что виднеется на холме.

Что это мама такое говорит? Куда он пойдет без нее? Соображает ли она? Нет, наверно, не очень, потому что ведет себя очень странно. У нее сейчас такие глаза, такой голос, что он даже начинает немного побаиваться ее. Он очень голоден, ужас как хочется есть и спать тоже. Если там, куда мама посылает его, дадут покушать и поспать, он хоть и очень устал, но побежит с радостью, так что даже собака не смогла бы его догнать. Но без мамы он все равно никуда не пойдет.

Мама, сказав опять, чтобы он шел к незнакомому, чужому дому, на этот раз сильно толкнула его сзади. От толчка он ничком упал в мокрую траву. Вот-вот готовый расплакаться, он встал, резко повернулся, чтобы сказать матери что-то сердитое, обидное, но ее уже не было. Она исчезла, точно испарилась. Сердечко его тревожно забилося в страхе, как у пойманной птички. Как только матери не стало рядом, ему показалось, что все-все, что окружает его, сразу приняло пугающий, угрожающий вид. Оно грозно надвигается на него со всех сторон, чтобы раздавить, проглотить его, маленького, слабого, беззащитного, покинутого

всеми в мире. И не в силах сдерживаться, он опять падает на землю и, в страхе закрыв лицо ручонками, отчаянно, во все горло кричит:

— Ма-а-ма!.. Мамочка! Я боюсь! Где ты?! Мамочка, милая! Я боюсь!..

Гаммер нагнулся над спящим ребенком, чтобы поднять его и отвезти в город вместе со своими кроликами. Но, услышав громкий плач и крики мальчика, он на минуту растерялся, а потом, быстро прикрыв его рот мокрой холодной ладонью, со злобой произнес:

— Перестань кричать! Перестань... гаденыш!..

Но мальчик, который все еще находился под впечатлением только что пережитого во сне, беспокойно заметался в своей убогой постели под его тяжелой рукой. Содрогаясь всем телом, он надрывно, с мольбой продолжал звать свою маму... Горький, отчаянный плач ребенка смутил душу старого бауэра, заставил поспешно убрать свою ладонь с его рта и отойти в сторону. Он понял без слов, кого с такой тоской и мольбой зовет мальчик. Минуту спустя маленький беглец привстал. Осмотревшись вокруг себя, он, видно, сообразил, где находится, поэтому тотчас же притих, но продолжал беззвучно всхлипывать, повторяя чуть слышно бесконечно дорогое для каждого ребенка слово...

— Боже мой, Боже мой, что мне с ним делать? — забормотал старик, не отводя растерянного и испуганного взгляда от безутешно плачущего мальчика. — Откуда он взялся на мою голову?!

Вдруг ему стало совестно и стыдно за свое жестокое намерение отвезти и отдать этого беззащитного ребенка в руки его палачей с такой же готовностью и желанием, как своих кроликов, предназначенных для продажи мяснику. Что он сделал плохого? Какую угрозу он представляет для немецкого народа? Неужели оттого, умрет этот ребенок или останется в живых, зависит судьба Германии, ее победа или поражение, величие или падение, слава или позор? Дети есть дети. У них нет ни к кому ни злобы, ни зависти. Они одинаково беззащитны и доверчивы. Даже невинных ангелов рисуют в образе детей. Да и где, в какой главе, в каком стихе Евангелия сказано, что Бог велит уничтожать или поработать всех тех, кто не является немцем, арийцем?.. Только Бог, и никто другой, может даровать жизнь своим созданиям или отнять ее...

Но мысли Гаммера опять и опять возвращаются к маленькому беглецу. Он чувствует, что душа его раздвоена, он не знает, как ему быть. С одной стороны, его мучает совесть: как можно взять грех на душу и передать его в руки полиции только потому, что ребенок родился ев-

реем (в том, что его родители — иудеи, он уже не сомневался: крайняя плоть удалена)? А с другой стороны, если он будет скрывать у себя этого мальчика и об этом разнюхают в гестапо (сами соседи могут донести), его непременно сочтут за предателя и упекут в концлагерь. Тогда он потеряет свое добро, нажитое долгим, тяжелым трудом, а возможно, лишится и жизни. Кроме того, ему, одинокому, старому, усталому человеку, и так нелегко справляться с повседневными делами дома, в хозяйстве, а с этим малышом и вовсе голова пойдет кругом. Да и мальчик, как назло, ни бум-бум по-немецки. Терзаемый противоречивыми мыслями, старый Гаммер вышел во двор, оставив мальчика наедине с собой, с его необъятным, как Вселенная, безутешным горем, и долго стоял в тяжелом раздумье, не обращая внимания на дождь и непогоду. Потом вдруг с видом человека, решившегося на что-то смелое, отчаянное, он, тряхнув головой, точно сбрасывая с себя оцепенение, медленным, но твердым шагом направился к телеге и принялся распрягать лошадь...

Германия, 1945

Пружины любви

 Иоганн Курт сидел с полузакрытыми глазами у себя дома, откинувшись на мягкую спинку кресла, когда в коридоре прозвенел звонок. Он сразу встал и, на ходу поправляя галстук, поспешно направился к двери. Но, увидев перед собой незнакомую худую женщину с пигментными пятнами на усталом лице и огромным животом, очень удивился. Та посмотрела на Иоганна с мягкой, чуть грустной улыбкой и, с трудом переводя дыхание, еле слышно поздоровалась. Удивление на лице Иоганна внезапно сменилось выражением глубокого сочувствия и готовностью прийти сейчас же на помощь.

— Проходите, пожалуйста, в комнату, я сейчас... — с ласковой участливостью торопливо проговорил он, пропуская гостью в комнату.

Он был уверен что беременная женщина шла по своим делам, но вдруг почувствовала, что у нее начинаются родовые схватки, и зашла в первый попавшийся дом, чтобы ей срочно вызвали машину и доставили в родильный дом. Поэтому, едва незнакомка успела сесть в кресло, Иоганн быстро подошел к телефону и снял трубку. Но прежде чем набрать нужный номер, он обернулся к ней и ободряюще произнес:

— Не волнуйтесь, милая фрау, все будет хорошо... Я сейчас вызову машину, и она отвезет вас прямо в больницу, то есть...

— Не надо! — прервав на полуслове хозяина дома, протестующе замахала рукой женщина. — Я не затем пришла... — И в голосе ее слышались недовольные нотки.

Иоганн, озадаченный и сконфуженный, медленно положил трубку, подошел к гостье и, опустившись напротив нее в кресло, вежливо, но холодно спросил:

— В таком случае не скажете ли мне, чем обязан?..

Беременная женщина не спеша открыла сумочку, которую держала на коленях, достала из нее вчетверо сложенную газетную страницу и протянула хозяину дома.

— Это ваше объявление в газете? Я его отметила красным карандашом...

Хотя Курт знал назубок каждое слово этого короткого объявления, не хуже, чем молитву “Отче наш”, которую твердил ежедневно, он еще раз пробежал его глазами. “Иоганн Курт, — говорилось в нем, — 40 лет, рост 1 м 70 см, шатен, владелец небольшого галантерейного магазина, ищет себе подругу жизни в возрасте 25—35 лет, блондинку, обладающую ровным, спокойным характером и небольшим капиталом. Ребенок не помеха. Можно ежедневно обращаться по адресу...”

Иоганн вернул газету женщине. Их взгляды встретились, и они теперь, поняв друг друга, молча улыбнулись.

— Прошу прощения, фрау, как вас зовут?

— Эльфрида¹³⁸.

— О, чудесное имя! — повеселевшим голосом негромко воскликнул Иоганн,

Поглаживая лысую макушку, он принялся с нескрываемым интересом разглядывать беременную невесту.

— От вас на самом деле веет миром, таким спокойствием, добротой. Я и сам по натуре добрый, миролюбивый. — Он приятно улыбнулся и сразу же сделал признание: — Вы мне определенно подходите, не знаю, как я вам...

— О, что вы, что вы, — закудаhtала обрадованная невеста, с откровенной симпатией глядя на владельца галантерейного магазина. — Вы, господин Курт, интересный мужчина.

¹³⁸ Фриден — покой, мир (нем.).

Курт был польщен. Подвинувшись ближе к Эльфриде, он заговорил интимный голосом, бросая почтительные взгляды на ее живот и слегка касаясь ее колена.

— Ребенок — радость в доме. Он укрепляет брачные узы между супругами. Если у вас родится девочка, назовем ее Эльфридой в вашу честь, если мальчик — дадим ему мое имя.

Лицо Эльфриды расплылось в довольной улыбке. Она подняла на него глаза, полные нежности и благодарности. В приятном волнении невеста вновь щелкнула замочком сумочки, достала из нее сигарету, зажигалку и закурила.

— А теперь разрешите спросить вас, дорогая фрау, гм... — скромно произнес Курт со своей неизменно вежливой улыбкой.

— Пожалуйста, спрашивайте, — с готовностью проговорила Эльфрида, выпуская изо рта и ноздрей струю сизого дыма и внимательно оглядывая потолок и стены комнаты.

— Каким капитальцем вы располагаете?

Она, конечно, ожидала этого вопроса и встретила его спокойно, даже весело. Эльфрида сказала, что у нее на счете девятнадцать тысяч марок, а в груди — золотое сердце.

Галантерейщик, хмыкнув, задумчиво коснулся рукой голой макушки.

— Хе-хе, из сердца, если даже оно золотое, монеты не отчеканишь, — сострил он.

Хотя это было произнесено в виде шутки, невеста уловила в голосе жениха нотки разочарования и иронии. Она неуклюже подалась вперед и чуть дрожащей рукой потушила недокуренную сигарету в пепельнице, затем с некоторым недоумением посмотрела на Иоганна.

— Могу наскрести еще тысячу, — после короткого молчания проговорила она и, изобразив на лице улыбку, добавила: — Будет как раз кругленькая сумма — двадцать тысяч.

Иоганн, принужденно улыбаясь, молча pokrutil головой.

— Мне очень жаль, фрау, — извиняющимся тоном произнес он, беспомощно разводя руками, — но сумма, которой вы располагаете для вступления в брак со мной, меня не устраивает. — И, точно забыв о своих словах, сказанных ей несколько минут назад, добавил: — Кроме того, скажу вам откровенно, когда я указывал в своем объявлении, что ребенок для меня не помеха, я имел в виду вовсе не такого, который еще не родился, а который уже семенит ножками. — И он, заливаясь тихим

смешком, стал двигать по столу двумя пальцами, изображая нетвердую походку малыша.

..Час спустя после ухода Эльфриды Курту пришлось бежать к двери на звонок очередной невесты. На сей раз это была женщина лет тридцати пяти. Ее сопровождал высокий угловатый мальчик-подросток, лицом очень похожий на нее. На несколько секунд задержавшись у дверей, гости переглянулись между собой. Незнакомка своей внешностью произвела на Курта очень приятное впечатление. Она была выше среднего роста, стройная, лицо открытое, нежное, с мягкими чертами; большие ясные голубые глаза с густыми ресницами смотрели приветливо, а кокетливо вьющиеся белокурые локоны красиво обрамляли белый, чистый лоб.

Хозяин любезно пригласил ее с сыном в дом и тут же гостеприимным жестом указал на кресло, в котором за час до этого сидела Эльфрида. Затем он с разрешения матери провел парня в другую комнату, где находилась личная библиотека хозяина дома, чтобы в непринужденной обстановке с глазу на глаз поговорить с невестой.

Когда Иоганн вернулся, женщина, мило улыбаясь ему, первой протянула руку, назвавшись Магдалиной. Иоганн не произнес своего имени, зная, что оно хорошо известно ей по объявлению, но с большим удовольствием прильнул губами к ее белой, пахнущей духами тонкой ручке.

— О, Магдалина! Чудесное имя! — с нарочитым воодушевлением воскликнул галантерейщик. — Этакое романтическое, библейское. Помните Марию Магдалину — близкую подругу Христа?..

После короткой беседы, когда выяснилось, что они симпатичны друг другу, Иоганн решил, что пора заговорить о самом главном — о приданом невесты, вернее, о деньгах.

— Правда, я не богата, — в ответ скромно произнесла Магдалина, но тут же не без гордости добавила: — Но и не бедна.

— Точнее?.. — сдерживая волнение и нетерпеливо ерзая в кресле, коротко спросил Иоганн.

— У меня тридцать пять тысяч чистыми.

Иоганн, резко подавшись вперед и напряженно вглядываясь в лицо Магдалины, тихо, с надеждой в голосе спросил:

— Могу ли я узнать: что это у вас за “тридцать пять чистыми”, марки или... доллары?

— Нет, марки, — коротко произнесла Магдалина, с некоторым удивлением глядя на жениха.

Рука Иоганна вновь потянулась к лысой макушке. Он медленно поднялся с кресла и с озабоченным видом прошелся взад-вперед по комнате. Затем, остановившись перед ней, неловко улыбаясь, сказал:

— К сожалению, я не могу жениться на вас, фрау, хотя, не скрою, вы мне очень нравитесь. Но дело в том, что когда я указывал в своем объявлении, что ребенок для меня не помеха для вступления в брак, то я имел в виду не такого, как ваш сын...

— Чем же плох мой сын? — с недоумением и почти с обидой спросила Магдалина. — Если мы поженимся, от него никаких забот и хлопот нам не будет. Он уже почти взрослый парень, ему пошел семнадцатый год.

Иоганн, улыбаясь, покрутил головой в знак того, что он на этот счет с ней не согласен.

— Это вы так думаете, фрау Магдалина, — вежливо, но твердо возразил Иоганн. — А я думаю совсем наоборот. Не знаю, как там в Восточной Германии, а у нас, в ФРГ, сейчас одна беда с такими юнцами. Очень многие из них после поражения нашей несчастной родины совсем отбились от рук. Ночи напролет проводят на танцульках, в сомнительных развлечениях, увлекаются наркотиками, занимаются мордобоем, попадают в полицию... О нет-нет, меня это очень пугает...

Иоганн был почти искренен, когда говорил, что не может жениться на Магдалине, хотя она тронула его сердце. Но помехой этому был вовсе не возраст ее сына, а нависшая над его магазинчиком, как дамоклов меч, угроза полной катастрофы. Два месяца назад его жена, молодая, взбалмошная красотка, сбежала за океан с одним американским офицером, с которым, видно, состояла в связи, о чем муж-рогоносец ничего не знал. Вдобавок, убегая с этим донжуаном, она захватила все деньги из сейфа — пятьдесят тысяч марок наличными. Большая часть этой суммы состояла из займа, который он взял в коммерческом банке под проценты для покупки большой партии товаров для своего почти пустующего магазина. Теперь он с содроганием думал о том, что если в самое ближайшее время у него не окажется этих денег, то ему грозит полное разорение, а может, и тюрьма.

Вот уже четвертый день по его объявлению в газете ходят к нему разные “невесты-блондинки”, предлагая себя в жены. Но он каждый раз вынужден находить какой-нибудь благовидный предлог, чтобы отказать им: ни у одной из невест не было нужной сейчас до зарезу суммы. Правда, вчера приходила одна сильно накрашенная и разряженная

экстравагантная молодая особа. Едва переступив порог, она сразу налетела на него, как муха на мед, и тут же с жаром чмокнула его в губы, уверяя при этом Иоганна, что влюбилась в него по уши с первого взгляда и что она “невеста с богатым приданым”. Целых два часа “невеста” ела, пила у него, играла с ним в прятки, кричала “ку-ку”, дурачилась, морочила ему голову, а на поверку оказалось, что она вовсе не невеста с богатым приданым, а бедный как церковная крыса, безработный, хотя и талантливый молодой актер, выгнанный из театра за чрезмерное пристрастие к спиртному и дебошам.

...После ухода очередной невесты галантерейщик сидел один, хмурый, озабоченный, печальный, и смотрел в окно, выходящее в маленький дворовый садик. Холодный осенний день клонился к вечеру. Порывы ветра срывали с темных оголившихся деревьев последние листья, предвещая скорую зиму.

Поглощенный своими невеселыми думами, Иоганн не заметил, как в комнату вошла его жена-беглянка. Услышав ее голос, он невольно вздрогнул, точно человек, которого напугали во сне. А она стояла в нескольких шагах от него, одетая по последней моде, держа в руке маленький блестящий чемоданчик из крокодиловой кожи, и смотрела на мужа весело, но чуть со смущенной, виноватой улыбкой. Наверно, если бы его жена скончалась, а затем каким-то чудом вернулась с того света, это не так поразило бы Иоганна, как ее неожиданное появление. Прошла целая минута, пока он пришел в себя. Потом Иоганн вскочил с места. Сверля ее ненавидящим взглядом и показывая рукой на дверь, он крикнул истошным голосом:

— Убирайся с моих глаз, дрянь, шлюха!.. Убирайся вон!.. Но она подошла еще ближе и сказала тихо, почти шепотом:

— Иоганн, милый, прости меня! Поверь мне, мое сердце всегда было с тобой.

— Простить тебя? — Горькая, злая усмешка искривила губы Иоганна, а лицо, искаженное гневом, все побагровело. — Мало того, что ты, будучи моей законной супругой, бессовестно изменяла мне, сбежала с чужим мужчиной, да еще ограбила меня подчистую, пустила по ветру! Убирайся вон, пока я не вызвал полицию!.. — На глазах у Курта выступили злые слезы.

— Иоганн, милый, — произнесла она громче, весело и ласково глядя ему в мокрые глаза, уже без тени смущения и сознания собственной вины, — не волнуйся и не сердись. Твои деньги никуда не делись, здесь

все до последней марки. — Она приподняла чемоданчик и слегка трянула им перед мужем. — Больше того, здесь еще пачки зелененьких — американских долларов, которых...

Но того, что говорила дальше жена, Иоганн не слышал. С округлившимися глазами он мигом выхватил чемоданчик из ее руки и быстро устремился в другую комнату, точно голодная кошка, которая держит в зубах трепещущего мышонка и спешит в угол, чтобы насладиться своей добычей.

Когда Иоганн вышел к жене, медленно потирая лысую макушку, на которой блестили крупные капли пота, он был радостно возбужден, а на еле заметно вздрагивающих тонких губах блуждала растерянная, но бесконечно счастливая улыбка...

Последний бокал

ссалам алейкум, го... го... то... то... Ах, прошу прощения, профессор. Я в затруднении. Как называть вас теперь, когда у нас в стране другие порядки: по-новому — “господин”, или по-старому — “товарищ”, чтобы ненароком не смутить или, не дай Бог, не обидеть? “Товарищ”? Баракалла! Между нами говоря, это слово мне тоже нравится.

Вы, товарищ профессор, ради Бога, не сердитесь на меня, что я ввалился к вам домой непрошеным гостем, как снег на голову, да еще в вечернее время, а не пришел со своим делом днем в поликлинику или к вам на кафедру. Ничего, говорить? Присаживаться? Премного благодарен.

У меня такое горе, такая тоска на сердце... Вы, конечно, знаете не хуже моего, что у нас не принято хвалить жену, тем более при посторонних. Считается неприличным. Я с этим согласен. Но на этот раз, пренебрегая обычаем, скажу вам: хорошим человеком была моя супруга. За сорок лет, что я с ней прожил, я не видел, чтобы она хоть раз с кем-нибудь поругалась, поссорилась, о ком-нибудь говорила дурное или кому-нибудь желала зла. А меня как жалела!.. Вот какая была моя бедная жена! Что?! Не дай Бог! Вы меня не совсем правильно поняли. Если я о ней говорю в прошлом, это вовсе не означает, что она ушла в лучший мир. Нет-нет! Моя супруга не умерла, но и живой назвать ее тоже нельзя. Сейчас объясню почему. Но прежде чем рассказать о своем горе, не дадите ли мне немножечко выпить? Да, предпочитаю водку. Нет-нет, кушать не буду.

Последнее время, когда пью, почему-то ничего есть не хочется. Плохо, говорите? Сам знаю, хуже не может быть. Соленый огурчик на закуску? Огурчик можно. Рюмку, пожалуйста, уберите. Принесите стакан. Ничего, ничего, налейте полней. Я мужик еще крепкий. Ваше здоровье! Кхе!.. Кхе!.. Ух, шайтаново зелье! Кто только его выдумал!

Последний раз пью. Надо завязывать. Иначе хана, пропаду, а жена останется одна, тем более что у меня здесь никого из близких. Дочь с зятем живут в Баку, сын с невесткой — в Казахстане. У них свои дети, свои заботы.

Вы спрашиваете, что с ней, моей супругой? Сейчас расскажу. А сначала прошу прощения, профессор, что до сих пор не поинтересовался спросить: как вас теперь, когда у нас в стране другие порядки, изволи-те называть? По-новому — “господин”, или по-старому — “товарищ”? “Товарищ”, значит? Баракалла!

Должен вам сказать, товарищ профессор, в болезни моей жены виноват базар-азар¹³⁹. Да-да! Именно он. То, что цены на базаре если раньше, несколько лет назад, просто кусались, то теперь прямо убивают наповал. Последние годы каждый раз, когда жена возвращалась с базара домой с покупками, у нее сразу резко поднималось давление. Раньше никогда с ней такого не случалось. И вот однажды, примерно год назад, пришла она с базара и, едва переступив порог, тут же грохнулась на пол и лишилась сознания. Я, ни жив ни мертв, побежал к соседу вызвать по телефону “скорую помощь” — у меня телефона нет. Приехал врач и признал у жены инсульт, вроде мозговой инфаркт. Сами лучше меня знаете, что это такое. С тех пор ей день ото дня хуже и хуже. Ходит как тень, а память начисто отшибло, ничего не помнит и совершенно ни бум-бум, беззащитна, как маленький ребенок.

Но беда не приходит одна. Месяц спустя меня на заводе уволили, вернее, сократили. И это несмотря на то, что я, скажу без бахвальства, мастер на все руки: и слесарь высшего разряда, и токарь, и сварщик, и сантехник. Кстати, если вам потребуется в доме что-то отремонтировать, сварить, я к вашим услугам. Сделаю честь честью и без всякой оплаты. Дайте мне, пожалуйста, листок бумаги, напишу вам свои координаты, имя и фамилию... Вот. Возьмите, не потеряйте.

Да! На чем я остановился? Ага! Вспомнил. Сократили меня на заводе, где я тридцать лет трудился не за страх, а за совесть. А три года

¹³⁹ Азар — зараза, болезнь.

назад, во время разгрузки большой партии арматуры, получил травму головы — краном по башке трахнуло. Сотрясение мозгов заработал. Отлежался с месяц в больнице, вроде поправился. Но с тех пор все же голова часто болит, и с памятью плохо. Раньше я много читал и все запоминал, а сейчас она у меня дырявая стала. Все забываю. Вот, к примеру, сколько времени уже беседую с вами, а все забываю спросить, уважаемый профессор: как теперь, когда у нас в стране другие порядки, называть вас — “господин” или “товарищ”? “Товарищ”? Баракалла!

Но прежде чем я продолжу свой рассказ, прошу вас, товарищ профессор, налейте еще стакан. Поверьте мне, пью последний раз. Надо завязывать, иначе хана! Кхе! Кхе! Ух, шайтаново зелье! Кто только его придумал!.. Да! На чем я остановился? Совершенно верно подсказали... Сократили меня не потому, что я плохой работник и все такое. Нет. Последнее время до сокращения я даже мастером был назначен в бригаде. Дело в том, что завод загружен только наполовину — нет сырья, материалов и все такое прочее... Вот и сократили половину работающих. В первую очередь, конечно, тех, у которых пенсионный возраст, вроде меня. А мне в прошлом году аккурат шестьдесят стукнуло. Но и многие другие, сравнительно молодые рабочие и служащие, особенно женщины, у которых дети, тоже попали под “ножницы”, оказались за воротами завода. Я-то, мало ли, много ли, пенсию получаю, а они?..

Честно говоря, я очень хотел поработать еще несколько годиков в родном коллективе, я еще крепкий мужик. Посмотрите на мои руки. Как кремь... И вот оттого, что меня, мастера на все руки, против моей воли отправили на так называемый заслуженный покой, я совсем потерял этот покой. И дома никакой радости. С женой не перемолвишься и словечком, не понимает ничего. На этой почве пристрастился я к этому захриману-водке. Организм мой, к несчастью, оказался очень восприимчивым к алкоголю. Не могу теперь без нее, проклятой.

Вот вчера пошел на почту дать телеграмму в Баку поздравить внука с днем рождения. Написал всего несколько слов: поздравляю, мол, желаю... дедушка... А с меня за эту телеграмму требуют... Сколько, вы думаете? Требуют тысячу триста пятьдесят рублей. Ни больше ни меньше.

“Что ты, девка, очумела? — говорю я молодой женщине, которая принимает телеграммы. — Где это видано, чтобы за такую маленькую телеграмму сдирали с человека такие деньги?!”

“Зарубежье! — отвечает она. — Телеграмма в зарубежье в несколько раз дороже, чем внутри России”.

“Ну и пусть зарубежье! — закипая от злости, кричу я на нее, хотя понимаю, что она тут ни при чем. — Не в далекую же Африку или на край света, в Австралию, посылаю, а в Азербайджан, в Баку, куда рукой подать и где немало наших друзей, родственников и братьев!..”

А у меня, как на грех, не больше тысячи в кармане. Вышел я с почты злой, расстроенный вконец, иду по улице, а кругом на витринах частных лотков, магазинчиков, на столиках, а то и прямо на тротуарах бесстыдно красуются бутылки со спиртными напитками и разнообразными этикетками. Они, как шайтаны, вводят меня в искушение. Не удержался. За тысячу рублей, что у меня были, купил самое дешевое — бутылку “самопала” и один пирожок — и потопал к морю. Здесь я забрался между высоких камней, чтобы меня никто не видел, и выпил все прямо из горлышка. Но, странное дело, вместо того чтобы немного отвлечься, развеселиться, я впал в такое уныние, в такую черную тоску, что заплакал навзрыд, как баба. А я, сколько себя помню, ни разу в жизни не плакал. Нет, вру! Первый раз я плакал, когда почтальон принес нам извещение о том, что отец погиб на войне. Я тогда мальчишкой был.

Конечно, если бы в тот день мне удалось дать телеграмму внуку, на душе не было бы так скверно, а в глаза назойливо не лезли бы эти проклятые бутылки, я наверняка воздержался бы от выпивки.

Ладно уж, не буду морочить вам голову своим невеселым рассказом. Ах, профессор, будь я неладен! Я уже почти кончил свою повесть, а мне только сейчас пришло в голову спросить: как теперь, когда у нас в стране другие порядки, называть вас — “господин” или “товарищ”? “Товарищ”? Баракалла! Мне тоже это слово нравится.

Погодите, я, кажется, о чем-то хотел попросить вас, товарищ профессор. На языке вертится, но хоть убей, не вспомню. Вот досада!.. Вспомнил наконец! Ведь я ради этого и пришел к вам. Если не возражаете, я хотел бы завтра вечером привести к вам свою старуху, чтобы вы ее посмотрели. Может, удастся вам ей помочь, если не здоровье, то хоть частично восстановить ее угасшую память? Хоть и невелика моя пенсия, но денег ради своей больной жены не пожалею. Что? Не надо денег? Будете так лечить?.. Очень тронут. Премного благодарен. Век не забуду вашу доброту.

Ладно, пора и честь знать. На дворе уже совсем темно, да и небезопасно нынче на улицах, особенно в такое время. Надо идти... Одну

минуту! Ай, дорогой мой профессор! Я вижу, в бутылке еще осталась водка. Зачем ей томиться там? Налейте ее мне. Не смотрите, пожалуйста, на меня так строго. Премного благодарен. Клянусь вам жизнью своих детей и внуков, пью последний раз. Иначе хана! Пропадет без меня моя старуха. Считайте, что я держу в руке бокал, который пью за ваше здоровье, го... то... то... то... Прошу прощения, профессор! Я еще в самом начале нашей встречи хотел спросить вас, но забыл: как теперь, когда у нас в стране другие порядки, называть вас: “господин” или “товарищ”? “Товарищ”? Баракалла! Итак, товарищ профессор, за ваше здоровье! Кхе! Кхе! Ух, шайтаново зелье! Кто его только придумал!.. Ладно, ухожу. До скорой встречи!..

На следующий вечер вчерашний гость “с дырявой памятью” не явился к профессору со своей больной женой, как обещал. Не пришел он ни на второй, ни на третий день. После этого у профессора сложилось о нем твердое мнение как об опустившемся пьянице. И то, что он рассказал ему при своем посещении, профессор счел сплошным враньем, нарочно придуманным, чтобы вызвать к себе сочувствие и оправдать свой визит. При мысли об этом в душе у профессора вместо прежнего сострадания росли раздражение и неприязнь к гостю.

На четвертый день вечером, прежде чем ложиться спать, профессор, водрузив на нос очки, принялся просматривать местную газету. Вдруг в разделе криминальной хроники он случайно наткнулся на сообщение, от которого сразу екнуло сердце: три дня назад, примерно в десять часов вечера, гражданин такой-то, шестидесяти одного года от роду, живущий по такому-то адресу и до недавнего ухода на пенсию работавший мастером на заводе, возвращаясь домой в нетрезвом состоянии, подвергся нападению хулиганов с целью ограбления. Пострадавший с проломленным черепом был доставлен в больницу, где и скончался через два часа, не приходя в сознание.

Адрес, имя, фамилия, профессия, возраст, время и состояние, в котором находился потерпевший в момент нападения на него грабителей, — все совпадало с тем, что было известно профессору о его недавнем госте.

Бросив газету, профессор, словно ошпаренный, вскочил со стула и стал нервно шагать по комнате. Потом, схватив первый попавшийся ему на глаза “подходящий предмет” как орудие самозащиты от возможного нападения ночных бандитов — изящную и легкую, как перышко, унцукульскую палочку, подаренную ему коллегой месяц назад, в день его

пятидесятилетия, — без плаща и шляпы, несмотря на прохладную осеннюю погоду, помчался во весь дух на улицу. Он спешил скорее отправиться по адресу, оставленному ему покойным.

1993

На белом коне — в Берлин

(рассказ-быль)

История, которую я хочу поведать, похожа на сказку. Ее, и впрямь как веселую сказку, с шуткой и смехом часто рассказывали друг другу наши однополчане, при этом каждый нередко прибавлял к ней что-то свое. Поводом к ее возникновению послужила...”лошадиная фамилия”, вернее, кличка одного из коней в нашем казачьем кавалерийском полку, куда я после окончания военного училища по ускоренной программе был направлен для дальнейшего прохождения службы на шестом месяце Великой Отечественной войны. Полк стоял в одной крупной станице на Дону — Ново-Аненкове.

Но сперва маленькая “присказка” к этой необычной “сказке”. Чтобы представить себе серьезность и в то же время весь комизм истории, о которой ниже пойдет речь, надобно сказать, что в кавалерийских частях каждый конь имеет свой “паспорт”, куда заносится в первую очередь кличка, затем следует его масть, возраст и, конечно, за кем он закреплен. Во время полковых смотров боец, ведя своего коня на поводу и браво вышагивая перед полковым начальством, по-военному громко и четко рапортует на ходу: боец такой-то, такого-то эскадрона и такого-то взвода, конь под такой-то кличкой и такой-то масти, возраста такого-то...

Надо, чтобы ни одна кличка не повторяла другую. Поэтому на этих смотрах каких только не услышишь лошадиных имен, начиная с грозных, важных, серьезных, ласковых, лирических и кончая смешными и даже нелепыми: Гроза, Молния, Ураган, Орел, Атаман, Богатырь, Платон, Философ, Азов, Ласточка, Маруся, Ягодка, Ромашка, Наливка и т.д.

Наш полк был сформирован из ополченцев — казаков-станичников. В основном это были немолодые уже люди, но еще крепкие, бодрые и выносливые, к тому же прекрасные наездники. Почти все они служили при царе.

А когда в стране произошла революция и вслед за этим разразилась гражданская война, многие из них без колебания подались в белую гвардию, что было понятно, учитывая особое, привилегированное положение казачества при царе-батюшке. Но было немало и таких, которые отчаянно рубились с белыми в армии Буденного и Ворошилова. Однако все они испытывали гордость оттого, что вновь надели традиционную казачью форму, а самое главное — им доверили защищать Отечество. Забегая вперед, скажу, что в первых же сражениях с наступающими фашистскими войсками наш полк отличился и удостоился почетного звания гвардейского.

Теперь перейдем к самой “сказке”.

Когда мы стояли в станице, из штаба дивизии прислали к нам в полк на должность командира одного из эскадронов старшего лейтенанта по фамилии Мирин. Это был молодой, крепкий, стройный красавец с синими лучистыми глазами и черными бархатными ресницами, родом из этих же мест. В полк он прибыл прямо из военной академии. О нем у нас ходили разные слухи. Одни говорили, что его просто отчислили из академии за любовные похождения, поскольку он больше занимался амурами, чем военной наукой. Другие, считая это досужими вымыслами, утверждали, что Мирин сам попросился в нашу дивизию, узнав, что на его родине формируются казачьи полки для сражения с немцами.

Хотя старший лейтенант Мирин провел в стенах академии, как говорится, без году неделю (вместо пяти лет проучился всего год), себя, однако, он считал образованнее всех нас, младших командиров, и при любом удобном случае старался продемонстрировать свои знания по военной истории и тактике, особенно перед подчиненными. Любимым выражением его, ставшим притчей во языцех, было: “Надо смотреть в корень”. Но все это, по правде сказать, не мешало ему быть хорошим, требовательным и справедливым командиром.

На третий день после прибытия в полк Мирин построил личный состав своего эскадрона на покрытой снежными сугробами окраине станицы, освещенной неярким, холодным зимним солнцем. Сначала он провел строевой смотр, строго выговаривая и предупреждая каждого, кто одет не по форме и не подтянут, как подобает бойцу в строю. Закончив с этим, Мирин произнес короткую и зажигательную речь, в которой в общих чертах рассказал казакам о тяжелом положении на фронтах и о том, что каждый из них за время, что находится в тылу, должен на занятиях по боевой и конной подготовке не жалеть сил, чтобы научиться метким выстрелом, без промаха разить фашиста-злодея или од-

ним точным молодецким ударом острого клинка снести ему меднолобую башку, начиненную, как мина взрывчаткой, опасными для мира и всего человечества бредовыми идеями.

Затем Мирин, отойдя на несколько шагов назад, неожиданно вызвал старшину и задал ему вопрос:

— А вы знаете, товарищ старшина, кто такой Македонский?

Старшина, рослый, несмотря на свои сорок пять лет, подтянутый, статный и очень смуглый мужчина с восточным типом лица (говорят, что его дед был пленный турок), по простоте душевной решил, что командир хочет проверить, знает ли он на память клички лошадей в эскадроне. А он по долгу своей службы обязан был знать не только каждого казака в лицо и по фамилии, но и кличку и масть его коня. Поэтому он не моргнув глазом бодро, почти весело отвечивал:

— Так точно, товарищ старший лейтенант! Это конь в первом взводе у казака Есаулова!

Мирин покачал головой и тихо засмеялся.

— Экая темнота, необразованность, — произнес он с легкой досадой.

— Македонский, брат, не конь, а полководец, царь древней Македонии!..

— Правильно! — держа руки по швам, поспешил подтвердить старшина. — Есть и такие кони во втором эскадроне!

В это время время кто-то из казаков, стоящих на левом фланге, с места подал голос:

— Вот какое дело, товарищ старший лейтенант. У нас тут, в третьем взводе, есть один чудной, который дал своему коню белой масти кличку Фашист, хотя по паспорту он значится Таганрог.

— Кто он?! — грозно спросил Мирин.

— Казак Свиридов, — виновато произнес старшина, стыдливо отводя глаза в сторону.

Мирин приказал казаку Свиридову выйти из строя.

Свиридов, усатый, кряжистый мужик лет под пятьдесят, с хмурым квадратным лицом и кустистыми бровями, одетый в черную папаху и темный полушубок, стянутый широким ремнем, на котором висела длинная шашка, в синих брюках с красными лампасами, предстал перед грозными очами Мирина. Не дав Свиридову и рта раскрыть, командир сердито выпалил:

— За то, что вы, казак Свиридов, называете своего боевого друга Фашистом, оскорбляете бедное животное, объявляю вам три наряда вне очереди. И еще! Прика-а-зываю просить у своего коня про-

щения в присутствии старшины и выразить это поклоном ему в пояс и трехкратным поцелуем в морду. Об исполнении приказа сегодня же доложить мне!

Необычный приказ командира эскадрона, обязывающий казака Свиридова поцеловать лошадиную морду, вызвал у всех оживленный смех.

Расстроенный Свиридов, козырнув, хотел было просить разрешения вернуться в строй, но Мирин велел стоять на месте.

— Ай-я-яй, Свиридов! — недовольно покачал головой Мирин, окидывая осуждающим взглядом коренастую фигуру казака. — Как можно своего коня, с которым ты завтра пойдешь воевать против фашистов, называть этим поганейшим именем — “Фашист”? Ведь прежде чем что-нибудь делать, надо думать, смотреть в корень.

Свиридов помялся, поводя крутыми плечами, и, нервно шевеля усами, вдруг, набравшись духу, начал оправдываться.

— Он у меня дюже злой, товарищ старший лейтенант, — с обидой произнес казак. — Как только кладу ему в кормушку овес или ячмень, звереет сразу. Без всякого почтения поворачивается ко мне задом — и давай вовсю больно хлестать меня хвостом по физиономии или норовит лягнуть куда ни попадя: думает, что и я собираюсь сунуть голову в его кормушку. Однажды, не поверите, так саданул меня в бок, чуть на тот свет не спровадил, еле откачали. Поэтому я его так...

— А ты воспитывай его, чтобы он тебя уважал, любил, — уже наставительным тоном проговорил Мирин, смягчившись. — Ведь к лошади, как и к человеку, подход нужен, нужны ласка, внимание. Вот, к примеру... За что женщины любят нашего брата? Думаете, только за силу? Сила у медведя тоже есть. Женщины больше всего любят нас за ласку, внимание! Надо, товарищ Свиридов, смотреть в корень, вот что!

С минуту Мирин молчал, сосредоточенно глядя на свои добротные яловые сапоги, утопавшие в искрящемся снеге, точно что-то обдумывая, а потом, опять посмотрев на своего подчиненного, сказал так, будто на этот раз давал ему дружеский совет:

— Знаете, товарищ Свиридов, давайте вместо клички Таганрог назовем вашего коня Берлин, а? Слава Таганрога, родины великого писателя Чехова, ей-богу, от этого не убудет. Зато вы на своем белом коне гордо въедете в Берлин, как раньше победители в завоеванный или освобожденный город. А наши воины обязательно будут там и над самой канцелярией атамана фашистских разбойников — Гитлера — водружат знамя Победы. Надо смотреть в корень!

Казаки сейчас, слушая Мирина, и верили, и не верили ему. Да и как верить, если за каких-нибудь семь-восемь месяцев фашисты, захватив чуть ли не полстраны, равной всей Европе, все больше продвигаются в ее глубь, сея смерть и разрушение?! Самое большее, во что сейчас они верили, — это то, что ценой невероятных усилий и огромных жертв удастся в конце концов остановить вооруженных до зубов захватчиков, а затем изгнать их с нашей земли, ради чего они готовы положить жизнь свою. А что до того, что мы будем в Берлине, то это бабушка еще надвое сказала. Тем более что никто, даже сам Сталин, об этом ни разу не заикался, чтобы потом не сконфузиться перед честным народом...

А Мирин, словно читая мысли казаков, продолжал свое:

— Вы думаете, спятил ваш эскадронный или сказку вам рассказывает? Но завтра эта сказка станет былью. Это я точно вам говорю. Почему я в этом уверен? Потому, что мы ведем войну — какую? Отечественную! Священную! И вы, Свиридов, — он указал пальцем в сторону набывчившегося казака, стоящего перед ним по стойке “смирно”, — на своем боевом коне въедете в Берлин, где мы отпразднуем нашу Победу. Как пить дать отпразднуем. Поэтому я и говорю вам: надо смотреть в корень. — И Мирин, гордо подбоченившись, обращаясь к строю, громко, весело-задорным голосом спросил: — Ну как, по-вашему, товарищи казаки, правильно я гутарю или неправильно?!

В ответ — громкий хор с радостным смехом:

— Правильно гутарите, товарищ старший лейтенант, пра-а-вильно!

Вслед за этим, без какой-либо команды, в едином порыве в звонком морозном воздухе, окрашенном лучами предзакатного солнца, прокатилось дружное тоекратное “ура!”, словно все те, кто сотрясал его своими громовыми голосами, видели себя сейчас не на пустынной снежной окраине донской станицы с курчаво дымящимися печными трубами на белых заснеженных крышах хат, а далеко-далеко, за тридевять земель, в покоренном Берлине, на параде победителей...

В сентябре 1942 года я был тяжело ранен осколком немецкого снаряда. После довольно долгого лечения в госпитале я обратно в свою часть не попал. Не знаю, остался ли жив гвардии старший лейтенант Мирин. Удалось ли казаку Свиридову на своем белом коне по кличке Берлин въехать как победитель в поверженную столицу фашистской Германии? Но то, о чем говорил старший лейтенант (и что многим казалось тогда сказкой), действительно сбылось. Что ни говорите, а Мирин умел смотреть в корень...

1995

Каинова печать

(быль)



Миновав окрестные сады, она вступила в родное селение, бережно неся на руках новорожденного сына, завернутого в теплое потрепанное одеяльце. Тонкая и хрупкая, с виду похожая на подростка, несмотря на прохладную осеннюю пору, одета она была в летнее серое платье из дешевого ситца, голову покрывал темный, полинявший платок.

Ребенок спал. При каждом взгляде на безмятежно спящего сына смуглое, продолговатое, в редких оспинках лицо молодой женщины освещалось безграничной материнской нежностью. Но, увидев людей, стоявших возле своих глинобитных домов со слепыми стенами и невысокими плетеными заборами в каких-то ста шагах от нее, она остановилась в нерешительности, словно наткнувшись на неожиданное препятствие, а в расширенных темно-карих глазах ее сразу вспыхнули беспокойство и тревога. Юная мать поняла, что в селе, куда она хотела бы проскочить как можно незаметнее, уже знали о том, что она возвращается с младенцем: кто-то, видно, “успел” сообщить.

Большинство собравшихся составляли женщины да еще с пару десятков молодых мужчин и дети-подростки. Они стояли молча: одни — в каком-то замешательстве, другие — настороженно, с внутренним напряжением, а некоторые мужчины — с гадливой, развязной ухмылкой на лице.

Вдруг среди этой безмолвной тишины раздался чей-то удивленный, неприязненный и насмешливый голос:

— Ха! Гляньте! Она в самом деле со своим бижом¹⁴⁰ идет!..

Этот возглас прозвучал в ушах собравшихся односельчан словно гром во время грозы, и они заговорили разом тревожными голосами, точно куры в курятнике, почуявшие приближение подкрадывающейся к ним лисицы.

— Боже мой! Что это такое творится на белом свете?!

— Как?! Она, окаянная, решила вернуться в село со своим бижом и будет после этого смотреть людям в лицо?!

— Выходит, что мы должны ее ублюдка терпеть среди наших чистых, законнорожденных детей?!

Кому-то, видимо, от всего этого стало очень смешно и весело, и он громко захихикал, мотая головой, как лошадь.

¹⁴⁰ Биж — незаконнорожденный.

Молодая женщина не слышала их разговоров. Но она чувствовала настроение односельчан, догадывалась, что они сейчас думают и говорят о ней, о ее ребенке, и у нее сразу упало сердце.

Постояв несколько минут в мучительном колебании, она прикрыла лицо краем платка, словно “держа шерм”¹⁴¹, и, крепче прижав к груди спящего ребенка, медленно, будто ступая по скользкой тропке у самой пропасти, пошла вперед, низко опустив голову. И как только она прошла мимо собравшихся людей, те с шумом и гвалтом двинулись за ней, точно за дрессированным медведем, ведомым хозяином к месту представления.

Не сворачивая никуда, она направилась в противоположный конец села и остановилась на краю небольшой площадки у старого тока, возле канала с обрывистыми берегами. Дальше, за каналом, лежал широкий овраг, где, в окружении высоких стройных тополей с пожелтевшей листвой, виднелась мельница, откуда доносился глухой монотонный шум работающих мельничных жерновов.

С. теперь слышала, что говорят за ее спиной женщины, мужчины, которых она легко узнавала по голосу, до нее ясно доносились их упреки, брань и насмешки. Дети, чувствуя настроение старших, скаля зубы и подпрыгивая вокруг нее, как вокруг ряженого, нестройным хором кричали во все горло: “Биж! Биж! Биж! С. родила бижа! Биж! Биж!” А она, растерянная, удрученная и подавленная, продолжала стоять неподвижно с младенцем на руках, все ниже опуская голову, не осмелившись ни разу взглянуть в их сторону.

Вдруг произошло то, чего никто не ожидал и не мог даже предположить. Молодая женщина быстро, словно в беспамятстве, развернула одеяльце и бросила младенца в канал. На какую-то долю секунды перед глазами у всех промелькнула крохотная фигурка внезапно проснувшегося ребенка в белой коротенькой распашонке, с голыми пухлыми ножками, раздался его тихий, жалобный голос, который тут же умолк, как только он с глухим шумом, точно брошенный камень, упал в воду.

Мать не закричала, не забилась в истерику, не упала в обморок, не издала ни единого звука, а продолжала стоять в той же неподвижной позе, как соляной столб, тупо, бессмысленными глазами глядя в то место, где только что холодная, мутная, илистая вода поглотила ее младенца.

¹⁴¹ *Шерм* — стыд (*татск.* “держат шерм”). По обычаю, сосватанная девушка при встрече с родителями своего жениха, другими его близкими родственниками, а также с его друзьями должна была краем платка закрывать лицо. Этим она выражала к ним свое уважение и в то же время показывала, что ей неловко, стыдно ходить перед ними с открытым лицом.

Ужасное зрелище произвело отрезвляющее действие на односельчан, в сущности, добрых, простосердечных и сострадательных людей. Сначала все, потрясенные увиденным, сразу замолкли, точно язык присох к гортани. Даже дети, которые неистово кричали: “Биж! Биж!”, остановились в каком-то оцепенении. А потом, так же вдруг, перекрикивая друг друга, стали раздаваться совсем иные голоса:

— Вай, что ты наделала, безумная?!

— Хоть и биж — живая душа ведь!

— Ребенок-то тут при чем!.. Разве он виноват?!

Все дружно кинулись к обрыву. Двое парней тотчас же прыгнули в воду и вытащили ребенка, но он был уже мертв.

...С была круглой сиротой. Родители ее умерли давно, когда она была еще совсем маленькой. У нее был единственный брат, года на три или четыре старше. Они выросли на тех крохах, которые подбрасывали им сердобольные соседи. И как-то выжили, несмотря на постоянное недоедание и отсутствие родительской заботы, тепла и ласки. Голодная сиротская жизнь все же сказалась на здоровье брата. Он вырос тщедушным, к тому же был слабоумным и слабовольным.

Еще совсем недавно в селе ожидали свадьбы шестнадцатилетней девушки-сиротки С. и Ш., парня из нашего села, которого она сильно любила. Это был невысокий, коренастый и крутоплечий юноша, отличавшийся грубой бычьей силой и надменным, неприятным характером. Однако свадьба не состоялась. По селу пополз слух, взбудораживший всех от мала до велика, о том, что С. не девушка. Одни винили в этом ее возлюбленного, который, не дожидаясь свадьбы, насильно овладел ею во время одного из их тайных свиданий за селом. Другие, особенно родственники парня, считали, что виновата-де С., сама вешалась ему на шею. А некоторые из них в своем родственном рвении, желая всячески выгородить Ш., не останавливались даже перед клеветой на девушку: мол, кто знает, может, С. потеряла свою девичью честь в объятиях другого человека, а вовсе не их родственника.

Как бы там ни было, отец Ш., который вообще был против женитьбы своего единственного сына на безродной сироте, после этого категорически запретил ему встречаться с “потаскухой”. И угрожающе предупредил: если тот вопреки его родительской воле будет настаивать на женитьбе и девушка не докажет своей невинности, то он ради сохранения своего намуса и чести семьи прогонит ее с позором, а может, даже отправит ее с “Обратным маршем”¹⁴² в дом брата.

¹⁴² *Обратный марш* (“Ошгуновое говол”). — По старинному обычаю нюгдинцев, если в брачную ночь у невесты не окажется доказательства ее невинности, то ее

Ш. то ли не посмел ослушаться своих родителей, то ли С. вдруг перестала нравиться ему, а может, струсив, он не решился признаться в том, что случилось с С. (виноват он, и только он), и подчинился их воле. А чтобы окончательно и навсегда разорвать связь своего сына с “негодной” С, отец и мать поспешно сосватали ему родственницу.

С. оказалась в положении. Тщедушный и слабохарактерный брат и не подумал заступиться за поруганную сестру и отомстить соблазнителю и насильнику, как это сделал бы каждый брат на его месте. Больше того, как только он узнал, что сестра ждет ребенка, он под влиянием своей жены выгнал несчастную девушку из дома. Никто теперь с ней не общался, не разговаривал. Даже постоять с ней рядом, подышать одним воздухом считалось чуть ли не смертным грехом. То, что она носила в своем чреве бيجا, внушало людям какой-то брезгливый ужас и суеверный страх, точно она несла в себе опасную заразу, чуму или бомбу.

Только одна наша односельчанка М., женщина богатырского сложения, которая была чуть ли не на целый аршин выше ростом и почти на столько же шире в плечах по сравнению со своим худым, поджарым мужем, пренебрегая мнением других, разрешила С. жить в своем дворе под открытым навесом, где находился ее тону¹⁴³, в котором она по пятницам выпекала хлеб.

Однажды соседка подозвала меня к себе и, протянув мне желтый и круглый, как голова подсолнуха, свежее испеченный чурек, сказала:

— Отнеси, сынок, этот хлеб несчастной, да смотри не подходи к ней близко. Брось ей хлеб и тут же беги назад.

С тех пор прошло много лет. Но эта картина во всех подробностях сохранилась в моей памяти. Когда я пришел к С., она, сгорбившись, неподвижно сидела на голом земляном полу, опустив ноги в холодный

должны были посадить на осла лицом к хвосту и под глумливые звуки зурны и барабана (“Обратного марша”) отправить в дом ее родителей, чтобы отец или брат совершили над ней расправу, омыть ее кровью позорное пятно, которое она наложила на честь семьи и всего рода своим поступком. Если и даровали ей жизнь, она жила в доме родителей не как равноправный член семьи, а как безропотная служанка, с сознанием вечной вины перед ними и перед людьми. Самым страшным проклятием в адрес незамужней девушки было: “Эри-ту ошгуновое говол куфде биёво!” (“Да чтоб тебе сыграли “Обратный марш!”). Подробности этого старинного обычая описаны мною в повести “Возмездие”. О нем я впервые слышал, будучи еще юношей, от своей старой тетки, известной в Нюгди сказительницы и плакальщицы. Но сам я, выросший в родном селении, подобного случая не встречал и не помню. Как правило, все наши девушки выходили замуж, будучи девственницами.

¹⁴³ Тону — специальная яма для выпечки хлеба.

тону. С. была в легком платье, которое туго обтягивало ее выпяченный круглый живот, голова была низко опущена на грудь.

Двор был открытый, без забора. Все проходившие мимо, в большинстве своем женщины, шедшие с кувшинами к роднику, увидев ее, начинали судачить о ней.

У меня, тогда одиннадцатилетнего мальчика, было какое-то смешанное чувство, когда я с чурком в руке подходил к С: мальчишеское любопытство, жалость и безотчетная боязнь чего-то, которая овладевала мною тем сильнее, чем ближе я подходил к ней. Как и предупредила меня соседка, я, не дойдя до нее нескольких шагов, прямо на ходу бросил ей хлеб и тут же, сверкая пятками, без оглядки побежал назад. Ни мое появление, ни то, что я кинул ей хлеб, не вызвали у нее никакой реакции. Она ни разу не посмотрела в мою сторону, а продолжала сидеть в той же неподвижной позе, как изваяние.

Через некоторое время С, видимо, чувствуя приближение родов, незаметно исчезла из села. Она, оказывается, уехала в город, в больницу, откуда вскоре вернулась со своим новорожденным.

За это время ее бывший возлюбленный женился и вел себя так, словно он проявил доблесть, поступив подло с бедной, беззащитной сиротой.

Вспоминая об этой трагедии, я все время думаю: почему С. совершила такой страшный, противоестественный для матери поступок? Может, под влиянием всего пережитого ею, особенно того, с каким недружелюбием, отчуждением, оскорблениями и насмешками встретили ее появление с незаконнорожденным ребенком в родном селении, она решила, что ее сыну будет трудно, невыносимо трудно жить среди своих сверстников-односельчан с позорным клеймом бижа — этой несмываемой каиновой печатью? Что его всю жизнь, за глаза и в глаза, по поводу и без повода, будут упрекать, дразнить, оскорблять этим страшным словом. И что он всю свою жизнь будет страдать, мучиться, проклиная тот день, тот час и миг, когда мать зачала его в своем чреве от незаконного отца-подлеца; чувствовать себя чужим среди своих. Поэтому не лучше ли для него сейчас один ужасный конец, чем ужасы без конца в будущем в этом странном, жестоком и безумном мире?

Но она не могла не знать, что и ее ждет нелегкая судьба отверженной среди погрязших в предрассудках односельчан и что никто из земляков ни под каким видом не пожелает взять ее себе в жены с этим несмываемым пятном. Но, как говорится, в семье не без урода. Нашелся такой странный, необычный нюгдинец, который женился на С. И вот как это произошло.

За пять лет до описываемого события, в 1922 году, один из наших од-

носельчан, молодой батрак Т., приревновав свою красавицу жену к сыну своего хозяина, зарубил парня кинжалом. Убийцу осудили и отправили в Сибирь. С тех пор прошло ни много ни мало девять лет. И в один прекрасный день, в середине лета 1931 года, бывший ссыльный, пренебрегая опасностью быть убитым своими кровниками — близкими родственниками убитого им человека, появился в родном селении в форме милиционера. Дети с восхищением смотрели на милицейскую форму, которая ладно сидела на его подтянутой фигуре, на блестящие ремень и портупею. Он пробыл в селении всего несколько дней. И за это время успел покориť сердца всех наших ребятишек. Они сопровождали его повсюду. А он держался с ними просто и доступно, ходил с ребятишками на прогулки за село, сам залезал на тутовник и тряс его. Дети заворожено, точно волшебную сказку, слушали его рассказы о далеком сибирском крае, о его людях, о царственной тайге, ее обитателях, о своей службе...

Но за время своего пребывания в селении он ни разу не был у своей жены, которая все эти годы честно ждала его. За день до отъезда он пришел в сельсовет вместе с С. и... зарегистрировал свой брак с ней, а на следующий день увез ее с собой.

Их уже давно нет в живых. Но живут их сыновья и внуки. А что касается первого возлюбленного С., предавшего ее и причинившего ей так много страданий, то он, как я слышал, в первый же год войны, в возрасте тридцати трех лет, погиб при неизвестных обстоятельствах...

1949

Сказание о любви

(Татская легенда¹⁴⁴)

Ай Табасаран, джан Табасаран!

Абумуслим Джафаров



В тридцати-тридцати пяти километрах к югу от древнего Дербента, среди объятых чуткой тишиной задумчивых лесов, зеленых полян и глухих оврагов, приютилось мое родное селение Ньюди. Название села происходит от сочетания двух татарских слов — “ньюге дигь”, что означает “новое селение”. Кто и когда основал его, почему селение получило такое название — об этом

¹⁴⁴ В народе эта легенда бытует под названием “Визирь табасаранского хана”.

рассказывал мне отец, когда я был еще мальчиком, да и от убежденных сединой односельчан не раз потом слышал об этой трагической и вместе с тем прекрасной истории.

С незапамятных времен предки наших односельчан, нюгдинцев, жили в одном из табасаранских аулов вместе с табасаранцами и вели одинаковый с ними образ жизни.

Прекрасны горы Табасарана. Если в раю есть горы, должно быть, они похожи на табасаранские. Склоны их, покрытые изумрудной травой, пестреющей разноцветными полевыми цветами, напоминают чудесные, украшенные узорами ковры, вытканые руками искусных табасаранских ковровщиц. А леса там в весеннюю пору трудно отличить от цветущих садов, столько в них плодовых деревьев. Не потому ли здесь в это время года так звонко раздаются соловьиные трели с зари и до поздней ночи и так много вдохновенных певцов и ашугов?

Говорят, когда Бог создал первых людей — Адама и Хеву, райский сад находился не на небе, а на земле. Кто знает, может, это были сады, привольно раскинувшиеся в живописных долинах Табасарана?

И душа народа под стать прекрасной природе родной земли. Она щедра, как плодоносное дерево, чиста, как бесчисленные родники, которыми богат этот край. А необыкновенное гостеприимство табасаранцев вошло в поговорку. Самое страшное проклятие на устах их: “Да чтоб гость не постучался в дверь твоего дома!”...

Хотя предки наших односельчан-нюгдинцев и табасаранцы, жившие в этом ауле, принадлежали к разным народам и исповедовали разную религию, но судьбы их были схожи: одно и то же омрачало жизнь их всех — жестокое иго ханов, которым они были подвластны.

Случилось это давно, несколько столетий назад. У одного из табасаранских ханов был приближенный — наш единоплеменник по имени Довид. Он был человеком начитанным и мудрым, немало странствовал по свету и немало повидал и испытал на своем веку. Знал много историй из жизни разных народов и минувших поколений, многое мог рассказать о чужих странах, об обычаях и нравах их жителей. А сколько Довид знал сказок и песен, легенд и притчей — никто сосчитать не мог.

По вечерам Довид развлекал властелина занимательными по-

вестованиями, услаждал его слух песнями и игрой на сазе¹⁴⁵. Он владел также искусством врачевания, знал, из какой травы какое лекарство изготовить, чтобы исцелить рану, изгнать из тела болезнь, по расположению звезд мог предсказать судьбу человека, его будущее. Да и внешность он имел самую благородную: высокий, статный, с пышной, великолепной бородой патриарха, учтивыми манерами. За эти достоинства и приблизил его хан к себе. В народе его знали и любили, называли “визирем”, хотя на самом деле он им не был.

Однажды хан, красный и веселый от выпитого вина, возлежал на топчане с золотыми ножками, покрытом ярким ковром, и, облокотившись на мягкую подушку, слушал сказку, которую рассказывал Довид. Когда он закончил, была уже глубокая ночь. Попросив позволения у хана, Довид встал. Отвесив поклон и пожелав хану спокойной ночи, он направился к двери, но хан вдруг остановил его.

— Стой, Довид! — сказал он. — Я слышал, что ты хочешь сыграть свадьбу своей дочери? Еще я слышал, что она у тебя, хвала Аллаху, прекрасна, как Лейли?.. Правда ли это?

Да, это была правда. Единственная дочь Довида была так красива и нежна, что от нее невозможно было оторвать глаз. Все называли девушку гурией — райской красавицей. Но и жених ее, Джумшуд, был под стать своей невесте: красив лицом и строен, как молодой тополь, отличный наездник и смелый джигит. Он не был ни одноаульчанином, ни единоплеменником Довида, а был рожден табасаранской женщиной. Но Довид любил его как родного сына. Родители Джумшуда умерли во время какой-то свирепствовавшей в горах повальной болезни, когда он был еще ребенком. Отец его был близким другом Довида. А у нас чего только не сделает человек ради кунака! Отец Джумшуда, умирая, завещал Довиду заботиться о его мальчике-сироте. И с тех пор Джумшуд жил в доме друга своего отца вместе с его маленькой дочерью — Шушен.

В детстве они относились друг к другу как брат и сестра. Как и Шушен, Джумшуд называл Довида отцом. А когда они стали взрослыми и узнали, что они не брат и сестра, их дружба и привязанность переросли в нежную и пламенную любовь.

Хотя Джумшуд и Шушен пытались скрыть от Довида свою любовь, но не таков он был, чтобы не заметить, что творится в душах де-

¹⁴⁵ Саз — струнный музыкальный инструмент.

тей. И вот однажды вечером Довид позвал к себе Джумшуда и Шушен и, взяв их руки в свои и с любовью глядя им в лицо, сказал:

— Дети мои! Я вижу, что вы любите друг друга. Из всех Божьих милостей, дарованных человеку, любовь — высший дар. Могу ли я пойти наперекор чувству, внушенному вам самим Богом? — И Довид после короткого молчания, молитвенно подняв глаза кверху, взволнованным голосом добавил: — С этой минуты перед Всевышним я объявляю вас женихом и невестой. Да дарует он вам счастье и долгие годы жизни!..

И вот теперь, когда Шушен собиралась стать женой своего избранника, хан неожиданно спросил о ней.

— Да, мой хан, если на то будет воля Бога, я собираюсь сыграть свадьбу моим детям этой осенью, — учтиво произнес Довид.

— Самое хорошее время для свадьбы: мука от нового урожая в кенду¹⁴⁶, а молодое вино в хюмах¹⁴⁷, — одобрительно отозвался хан и, внимательно оглядывая стоявшую в почтительной позе высокую фигуру своего приближенного, добавил: — Но не забывай, мой Довид, Бог, о котором ты только что упомянул, творит свою волю на небесах, а я, твой хан и господин, — на земле.

Смутная тревога, точно лед, коснулась сердца Довида. Но он, стараясь ничем не выдать ее, с внешним спокойствием спросил:

— Да простит мне мой хан: годы, видно, притупили мой ум. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду, напоминая сейчас о своей ханской воле?

Хана будто бы позабавили слова приближенного. Недоверчиво косясь на него, он засмеялся громким пьяным смехом. Потом, сразу замолчав, строго и испытующе глядя на Довида, сказал:

— Говорят: "Что умному — намек, то глупому — объяснение". Но ты же умный. А что я имел в виду? Я хочу, иншалла, твоей дочери-красавице оказать честь... Пусть первую брачную ночь она проведет на моем ложе...

Довид сразу изменился в лице. Пол дрогнул и качнулся под его ногами, в глазах померк свет. Но огромным усилием воли он устоял на ногах. Гордый, честный, смелый, Довид никогда ни перед кем не преклонял голову, кроме как перед ханом, своим повелителем. А на коленях не стоял даже перед ним. Сейчас, глубоко потрясенный и страшно испу-

¹⁴⁶ Кенду — глиняная бочка для хранения муки дома.

¹⁴⁷ Хюм — огромный глиняный сосуд для хранения воды или вина.

ганный услышанным, он упал на колени перед ханом и, схватив рукой свою седеющую бороду, горячо взмолился:

— Мой хан, прошу тебя, пощади мои седины, не покрывай их позором, хотя бы ради того, что я столько лет верой и правдой служил тебе. Дочь моя предпочтет броситься со скалы в пропасть, чем пережить такой позор. А Джумшуд, который дорог мне, как родной сын, тоже скорее погибнет, чем согласится на поругание своей чести.

Хан, который не привык, чтобы ему перечили, если он даже намеренно творит злое дело, вскипел гневом.

— Другому я сейчас же велел бы жоллоду¹⁴⁸ отрубить голову за такие дерзкие слова и непокорность, — вскочив с топчана и возбужденно шагая по комнате, освещенной ровным желтоватым пламенем чирака¹⁴⁹, громко произнес он с налитыми кровью глазами. — Я дарю тебе жизнь, но помни: желание мое должно быть исполнено!

Домой Довид вернулся сильно встревоженный и бледный как смерть. В ушах как приговор осужденному на казнь звучали последние слова хана: "...помни: желание мое должно быть исполнено!.."

Джумшуд первый раз видел его таким.

— Отец! Скажи, что с тобой? Почему у тебя такой вид? — с тревогой спросил он его. — Случилось что-нибудь? А может, ты просто болен?

— Ах, сын мой, — громко, как от боли, простонал Довид, хватаясь рукой за грудь и медленно опускаясь на подушку. — Лучше бы я трижды заболел и трижды умер... У этих ханов и падишахов, развращенных и ослепленных властью, видно, нет ни сердца, ни жалости...

— О чем ты говоришь, отец?! — вскричал Джумшуд, чувствуя что-то недоброе.

Довид немного помедлил, а потом, закрыв глаза ладонью, чтобы не смотреть в лицо Джумшуду, прошептал, как в бреду:

— Хан хочет твою невесту...

То, что услышал Джумшуд, огнем обожгло его душу. Он мигом вскочил на ноги и, резким движением выхватив кинжал из ножен, произнес в ярости:

— Я ворвусь во дворец хана и убью своей рукой этого насильника и злодея! Один из нас в эту же ночь должен погибнуть!..

¹⁴⁸ Жоллод — палач.

¹⁴⁹ Чирак — керосиновая лампа.

Довид, крайне встревоженный намерением Джумшуда, тоже поднялся с места и удержал его за руку.

— Стой! — закричал он на бушующего, как пламя на ветру, юношу. — Ты молод, горяч и не думаешь о последствиях своего поступка. Никогда не делай сразу того, что в горячности диктует сердце: оно слепо. Допустим, ты этой ночью убьешь хана, а завтра его место займет его сын или брат. Все останется по-прежнему. А ты и твоя невеста погибнете...

— Не уговаривай меня, отец! — прервав Довида, с мольбой и отчаянием вскрикнул Джумшуд, корчась, словно от нестерпимой боли. — Я скорее положу голову на плаху, чем смирюсь с таким бесчестьем!..

Да, Довид знал это. Будь он на месте Джумшуда, поступил бы так же. Но, с трудом удерживая распаленного гневом Джумшуда от неоправимой ошибки, он поклялся, что не отдаст ни при каких обстоятельствах на поругание развратному хану его невесту и что тому не видать Шушен, как летучей мыши ясного неба.

Прошло три дня после того памятного вечера. Хан послал одного из своих нукеров за Довидом, который за эти три дня ни разу не появился во дворце.

Войдя в ханские покои, Довид отвесил хану глубокий поклон и, словно между ними ничего не было, приветствовал владыку. Тот, кивком головы ответив на приветствие приближенного и испытующе глядя на него, спросил с нарочитой любезностью :

— Наверно, мой Довид все еще продолжает хранить обиду на своего повелителя, а?..

— О нет, мой хан, — принужденно улыбаясь и склоняясь в поклоне, произнес Довид. — Смею ли я, твой подданный и раб, обижаться на тебя, если желание господина — закон для раба?

— Ай, машаллах, Довуд, машаллах! — похвалил его хан, довольный его ответом. — А теперь, иншалла, давай посидим, выпьем вина, и ты расскажешь мне какую-нибудь занимательную историю.

Поев и выпив много вина, хан в самом веселом расположении духа растянулся на топчане, приготовившись слушать своего приближенного.

— Слушай, о повелитель! Жил-был один богатый и именитый купец, — начал Довид свой рассказ. — Он часто отлучался из дому на два-три года, водил свои караваны верблюдов, груженных ценными товарами, в разные страны.

Однажды, прежде чем отправиться в долгое путешествие, купец подошел к своим четырем женам и многочисленным домочадцам, чтобы узнать у каждого, кому какой подарок привезти из чуждадных стран.

В спальне купца висела золотая клетка, а в ней жила красивая разноцветная птица попугай, которая умела петь и говорить по-человечьи. Он и ее спросил, какой подарок ей привезти.

Птица жалобно посмотрела на своего хозяина, потом промолвила:

— Благодарю тебя, о господин, мне подарок не нужен. Если хочешь выполнить мое желание, прошу тебя об одном: в Индостане среди большого моря есть маленький островок. Называется он Остров роз. Там живет мой брат. Передай ему от меня поклон и скажи, что я жива и здорова, живу в золотой клетке.

— Хорошо, мой попугай, — сказал купец, — если доберусь туда, непременно выполню твое желание.

С того дня прошло более двух лет. Вернулся купец благополучно, выгодно продав свои товары, раздал всем обещанные подарки, а птице не сказал ничего. Она молчала день, другой, наконец не выдержала, спросила купца:

— О господин, который уж день, как ты, слава Богу, благополучно вернулся из странствия, а меня почему-то стараешься избегать, ничего не говоришь мне! Был ли ты на том острове? Удалось ли тебе увидеть моего брата?

— Не хотел я огорчать тебя, моя певунья, — скорбно вздохнул купец. — Был я на Острове роз, видел твоего брата, но, как только я передал ему то, что ты просила, он тут же замертво упал с дерева.

Услышав это, попугай в клетке издал жалобный крик и тоже испустил дух. Удивленный и опечаленный, купец открыл клетку. Увидев, что птица мертва и что тело ее одеревенело, он пожалел ее, но делать нечего — выбросил в сад.

А сад у купца был прекрасный. Как только он выбросил птицу, на его глазах произошло чудо: она вдруг ожила и, взмахнув крыльями, взлетела на самую высокую ветку ближайшего дерева.

— О птица, что все это значит? — воскликнул изумленный купец. — Зачем ты так поступила? Вернись обратно в свою клетку. Я привык на заре и в полночь слушать твое пение, любоваться твоим ярким оперением, переливающимся всеми цветами радуги. Без тебя я буду скучать.

А попугай ему говорит в ответ:

— О купец, я знал, что ты меня не выпустишь из клетки. А для пти-

цы живая ветка дороже золотой клетки. Оттого что тюрьму выстроишь из золота и серебра, она разве перестанет быть тюрьмой? Мне природа дала крылья, чтобы я могла летать на свободе под ясным небом, купаться в лучах солнца; сердце — чтобы наслаждаться жизнью, любовью. Но разве тебе есть дело до всего этого? Для тебя я только игрушка, забава — не больше. А ведь я хоть и маленькая птица, но тоже живое существо, рожденное для радости и счастья. Брат мой, которого ты видел на острове, не умер. Он только притворился мертвым, чтобы ты потом об этом рассказал мне. Я поняла его знак и тоже притворилась мертвой, чтобы ты выбросил меня. Теперь прощай, но знай, что птица, вкусившая сладость свободы, никогда не захочет вернуться в неволю.

С этими словами она расправила крылья и, счастливо запев, улетила высоко в небо.

Хану очень понравилась сказка. Он долго смеялся над одуроченным купцом.

— А смотри-ка, маленькая птичка-невеличка околпачила много видевшего и много знающего купца, — весело хохоча, проговорил пьяный хан. Затем, обращаясь к своему приближенному, сказал: — А тебе, мой Довид, за такую чудную сказку я завтра прикажу выдать новую черкеску с золотыми газырями.

Отяжелев от обильного ужина и выпитого вина, хан, как только ушел Довид, сразу уснул.

Под утро ему приснился странный сон. В ауле свадьба. Слышны веселые пронзительные звуки зурны и барабана. Он один в своей опочивальне. Кто-то снаружи толкает дверь, и к нему впускают Шушен в подвенечном платье. Обуреваемый страстью, он подходит к ней, дрожащими руками сбрасывает с ее лица перде¹⁵⁰ и, пораженный необыкновенной красотой девушки, говорит с волнением:

— Твоя красота выше всяких похвал, моя пери! Отныне ты будешь для меня самой желанной из всех моих жен и наложниц в моем гареме.

Хан, точно в лихорадке, срывает с девушки одежду и порывисто обнимает ее, обнаженную, прекрасную. Но на глазах изумленного хана девушка вдруг превращается в яркую пеструю птицу, которая с шумом выпархивает из его объятий. Она подлетает к окну, сильным ударом крыла открывает его и стрелой устремляется в небо, навстречу утренней заре.

¹⁵⁰ *Перде* — длинное покрывало, которым закрывают лицо невесты.

Хан просыпается весь в поту, сам не свой. Едва придя в себя, он, злой, взбешенный, нетерпеливый, отправляет в аул двух вооруженных нукеров, чтобы немедленно доставили к нему дочь “визиря”.

Дворец хана, окруженный высокой стеной с башнями и бойницами, стоял на вершине утеса. От него до аула, где жил Довид с семьей, было полчаса езды верхом. Но не прошло и часу, как нукеры примчались назад без девушки, растерянные и взволнованные.

— О повелитель! — падая ниц перед ханом, воскликнули они. — В ауле нет ни одной живой души, точно всех его жителей от мала до велика поглотила земля!..

Тревожная догадка, точно огненная стрела, прожгла сердце хана. Только сейчас он с неумолимой ясностью понял, к чему его приближенный вчера вечером рассказывал историю про купца и его попугая. А он, глупец, еще смеялся от души над одураченным купцом, обещая за сказку, которая ему так понравилась, подарить этой хитрой лисе новую черкеску с золотыми газырями!

— Ты обманул меня, старый пес, как та птица в клетке — своего хозяина, купца, и ушел из под-моей власти! — закричал он в бешенстве. — Но я найду вас всех, даже под землей, и месть моя будет страшна. Ты не птица, Довид, а я не купец!..

На другой день после того, как Довид поклялся избавить Джумшуда и его невесту от грозящего им бесчестья и гибели, он втайне от хана и его нукеров созвал в своем доме совет аксакалов, среди которых были таты и табасаранцы.

— Почтенные аксакалы! — обратился к ним Довид. — Мы, жители этого аула, люди разных народностей и разной веры, представляем один джамаат. Веками живем вместе, ходим по одной земле, под одним небом, дышим одним воздухом. У нас одни и те же обычаи, одни и те же радости и горести. И прах наших отцов покоится в одной земле, и дети наши растут и мужают вместе. Одно и то же иго давит нас. Хан-злодей, его беки-мюлкодори¹⁵¹ угнетают и грабят нас жестоко и безжалостно. До каких пор мы будем терпеть и молчать?..

— Все то, что ты говоришь, о визирь, верно, — сказали в один голос старейшины аула, — но власть хана сильна. У него вооруженные нукеры, злые, как цепные псы, с которыми нам не справиться. Против хана и его нукеров мы бессильны.

¹⁵¹ Мюлкодори — помещики, феодалы.

— Нам надо уйти туда, куда не простирается власть хана, где не достанут нас его нукеры, — горячо убеждал их Довид. — Далеко отсюда, на равнине, в поймах рек Самур и Григоринчай, среди девственных лесов, немало свободных земель. Уйдем тайком от хана и его кровожадных нукеров. Начнем там новую жизнь.

Долго думали аксакалы. Нелегко было жителям аула согласиться на то, что предлагал им визирь: оставить свои дома, насиженные места, поля, политые их потом. Но еще труднее и невыносимее было для них ханское иго. И в тот вечер, когда Довид развлекал пьяного хана сказкой о купце и его попугае, население аула, погрузив все свои вещи на арбы, лошадей и ослов, завязав морды животным, в строгой тишине покинуло аул.

Когда Довид вышел от хана, стояла глубокая ночь. Небо было чистым, синим. Оттуда, точно бесчисленные глаза, изумленно глядели на землю, где живут неразумные люди, далекие звезды.

Раньше Довид, возвращаясь за полночь от хана, любил прислушиваться к бойкой переключке петухов, раздававшейся из разных концов погруженного в глубокий сон аула, к встревоженному лаю собак, слабому плачу проснувшегося в люльке ребенка. А сейчас его аул, где он родился, вырос и состарился, где покоится прах многих поколений его предков, где каждая тропинка, улочка, каждый камень, каждая сакля до боли знакомы и дороги его сердцу, хранят их память, — был пуст и безмолвен, как покинутое гнездо. Над ним, как над кладбищем, висит гнетущая могильная тишина, от которой пронзительно звенит в ушах, а сердце наполняется скорбью и печалью.

Склонив голову на грудь, со слезами на глазах, в последний раз медленно ехал Довид по узким, кривым и пустынным улицам родного аула, мысленно прощаясь с ним. Потом, очнувшись от своих тяжелых дум, прищипорил коня и во весь опор помчался вслед за беглецами.

Долго шли люди в поисках свободной земли, подальше от ханской неволи, пробираясь в густых, диких, незнакомых лесах. Никто не роптал, не жаловался на тяготы и лишения. Непреклонное желание жить свободными, без ханского гнета, без издевательств злых нукеров, придавало им силу и бодрость.

Наконец они нашли среди обширных лесов на берегу реки Григоринчай подходящее место для поселения. Земля здесь была щедрая, леса богаты дичью, река изобиловала рыбой. Люди обосновали селение, обнесли его защитной стеной и назвали его Довид-Кала в честь своего серкеле¹⁵².

¹⁵² Серкеле — глава, предводитель.

Прошел год, как беглецы обосновались на новом месте. Был снят с полей первый урожай. Вскоре после этого в селе справили первую свадьбу — свадьбу Джумшуда и Шушен. Это было одновременно и общим праздником односельчан — годовщиной освобождения от ханского ига. Три дня и три ночи вольные люди на вольной земле, мужчины и женщины, юноши и девушки, под звуки зурны и барабана веселились, пели, танцевали — бурно выражали свою радость. Но на третий день, последний день всеобщего торжества, в разгар веселья, словно гром среди ясного неба, на селение обрушилась ханская дружина, вооруженная мечами и копьями. Целый год люди хана искали беглецов и наконец напали на их след.

— Джамаат! Братья! — крикнул Довид, обращаясь к односельчанам. — Если мы не прогоним ханских нукеров, нас вновь ожидает ханское иго и произвол, а многих — ханская месть и жестокая расправа. Защитим нашу свободу!..

Веселые звуки музыки, задушевные песни любви, радостные голоса сменились звоном мечей, плачем детей, криками раненых, тревожным ржанием испуганных коней, словами проклятий. Все от мала до велика, вооруженные чем попало: кинжалами, копьями, топорами, железными вилами, косами, кольями, выдернутыми из заборов, — вступили в смертный бой с ханской дружиной.

Силы были неравны. Многие сельчане сложили головы в жестоком бою. Пал с рассеченной грудью Джумшуд, который дрался как разъяренный лев. Весь обгаренный кровью, он упал на руки своей невесты, успев только крикнуть Довиду, сражавшемуся во главе своих односельчан, чтобы стояли насмерть, берегли Шушен, не отдавали ее на поругание хану-насилънику.

Немало и ханских нукеров было убито в ожесточенной схватке. Но они всё ещё были сильны. Хорошо вооруженные, обученные военному ремеслу, привыкшие к насилию и жестокости, нукеры, точно свирепая стая бешеных волков, бросались с мечами и копьями на беглецов, стойко и мужественно защищавших свою жизнь, честь и свободу. И вот, когда победа явно стала клониться на сторону ханских карателей и обескровленные и обескровленные жители села едва могли сопротивляться, вдруг между сражавшимися пронеслась, словно видение, девушка в черном платье, с развевающимися черными волосами, верхом на черном коне. Лицо ее было гневно и прекрасно. В руках молнией сверкал острый меч. То была невеста Джумшуда — Шушен. Великая любовь и беспредель-

ная ненависть придали ей, обыкновенной сельской девушке с застенчивым характером, невиданную смелость и бесстрашие. Она неслась навстречу врагам, подобно грозовой туче, гонимая ураганом, выкрикивая имя своего возлюбленного:

— Джу-у-умшу-уд!!!

Крик ее могучим эхом прокатывался по лесам и полям, со стократной силой повторяя его.

Увидев девушку, оглушенные ее нечеловеческим голосом, суеверные ханские нукеры остолбенели от ужаса. Она показалась им черным ангелом смерти — Азраилом, сошедшим с неба в образе прекрасной девушки, чтобы покарать их за кровь и слезы невинных людей. Обессиленные, потерявшие было надежду на спасение, беглецы вновь воспрянули духом, с новой яростью и отвагой вступили в бой и прогнали ненавистных нукеров.

Шушен не надолго пережила смерть своего жениха. Дни и ночи она проводила на его могиле. Горе и слезы скоро иссушили ее, превратив в каменную статую безутешно скорбящей девушки на могиле своего возлюбленного. Говорят, много-много лет, пока могила не сровнялась с землей и не заросла травой и кустарником, стояла эта каменная девушка. Такой видели ее днем. А в тревожные грозовые ночи, перед рассветом, к каменной девушке возвращался ее первоначальный облик. Одета в черное платье, с развевающимися черными волосами, с лицом гневным и прекрасным, она неслась на черном коне, выкрикивая имя своего возлюбленного, повторяемое эхом. Да и сейчас, спустя столетия, все еще встречаются люди, которые утверждают, что видели своими глазами, как ночью, перед рассветом, словно стрела, пущенная из лука, неслась девушка на черном коне среди старых развалин, где некогда происходило жестокое сражение с ханскими нукерами, в котором погиб ее жених.

Вскоре после позорного бегства ханских нукеров оставшиеся в живых люди во главе с Довидом, опасаясь нового нашествия ханской дружины, перешли реку, спустились по ней дальше вниз и основали среди дремучих лесов и глухих оврагов новое селение и назвали его Нюнди”.

Вот так возникло наше селение.

1941

Невеста с сюрпризом



Однажды звездной майской ночью, богатой событиями 1921 года, молодой партизан Шариф Шарипов возвращался в родной аул.

Больше года Шариф не был дома. Узкая каменистая дорога то круто рвалась вверх, то резко, будто в бездну, падала вниз. Старая берданка билась за плечом Шарифа, он шагал и думал о том, как встретят его мать, односельчане.

Шариф возвращался в аул, как и уходил из него год тому назад, без единого гроша в кармане, в изношенном рваном чохо и истоптанных чарыках. Но на душе у молодого человека сейчас было весело и радостно.

Время от времени Шариф заботливо поправлял выдавшую виды облезшую папаху, осторожно, почти нежно касался пальцем гладкой красной ленты, на которой была прикреплена маленькая пятиконечная звезда. Предложи ему сейчас самую дорогую папаху вместо его ободранного порзе¹⁵³ он ни за что бы не согласился.

Не променял бы он ее даже на знакомую ему серебристо-серую каракулевую папаху с блестящим зеленым бархатным верхом, гордо красовавшуюся на голове его односельчанина богача Асланбека.

Пусть у него, у Шарифа, папаха из простой овчины, старая, облезшая, отдает горьковато-острыми запахами прокисшего сыра, чеснока и пота, но зато она украшена красной лентой — почетным знаком его принадлежности к победившей революции. А горец, как известно, носит папаху прежде всего не для того, чтобы она предохраняла голову от жары или стужи, а как символ мужской чести и достоинства.

Но он, Шариф, не забыл, как однажды взбесившийся богач Асланбек топтал ногами вот эту самую папаху...

Это было три года тому назад. Восемнадцатилетний батрак Шариф, усталый, загорелый, в темной от пота грубой бязевой рубашке, возвращался на закате домой. Весь день, не разгибая спины, под палящим августовским солнцем убирал он хлеб на полях Асланбека. Шариф знал, что дома у старухи-матери, у которой он был единственным кормильцем, не было в тот день и горсточки муки, чтобы к вечеру она могла испечь горячую лепешку, которую мать обычно подавала ему на ужин

¹⁵³ Порзе — кусок старой, рваной овчины.

вместе с прохладным айраном из козьего молока. Поэтому, возвращаясь с поля, он захватил с собой пшеничный сноп, чтобы вручную вымолотить его дома.

Наверно, про таких, как он, Шариф, говорилось в пословице: «День бедняка начинается горем и кончается стоном». Когда он по кривой и тесной улочке родного аула, зажатой с обеих сторон серыми, плоскокрышиными саклями, пробирался домой, неожиданно на повороте встретился ему хозяин. Тот, как почти всегда в последнее время, был пьян и шел, слегка пошатываясь, старательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Богач поминутно морщил лицо, еще не старое, но уже немного рыхлое, словно во рту чувствовал какую-то горечь, отчего его черные, лихо закрученные усы беспрестанно вздрагивали.

Шариф вежливо поздоровался с Асланбеком и встал спиной к стенке сакли, почтительно уступая ему дорогу. Услышав приветствие юноши, Асланбек сразу остановился, обернулся к нему. Вялым, небрежным движением он отодвинул назад серебристо-каракулевую папаху с зеленым бархатным верхом, словно она сейчас мешала ему хорошо разглядеть парня. Большие, немного выпуклые серые глаза Асланбека уставились на батрака тупо и рассеянно. Но, заметив сноп с тугими желтыми колосьями в руке своего батрака, Асланбек побагровел.

— Ты это что, с-собачий с-сын! — положив руки на бедра, с нескрываемой ненавистью и насмешкой процедил он сквозь зубы. — Мое добро вздумал растаскивать, как будто меня уже и в живых нет, или я теперь, — он с силой ударил себя кулаком по груди, — не хозяин своему добру, если такие, как ты, безбожники и бунтовщики свергли царя с престола, а?!

Ярость душила богача и мешала говорить. В мгновение ока Асланбек сорвал с головы растерявшегося юноши папаху, с силой ударил ее о землю и принялся топтать ногами.

— Ты не мужчина, достойный носить папаху, а вор! — злобно выкрикивал он при этом в каком-то неистовом самозабвении. — Ты не мужчина!..

Воспоминание об этом всегда уязвляло мужскую гордость Шарифа, вызывая в душе бурное, но бессильное негодование. Но сейчас он вместе с острой ненавистью к своему обидчику почувствовал и мстительное злорадование. Вот он теперь покажет этому усатому шайтану, кто из них настоящий мужчина!

Мать писала ему, что богач со своими верными нукерами уходил в банду имама Гоцинского, теперь разбитую Красной Армией и партизанами в пух и прах. Говорят, после этого заносчивый и самоуверенный Асланбек и носа не показывает в ауле, страшится джамаата, прячется где-то. Только иногда тайком, среди ночи, как вор, подкрадывается он к аулу, посещает свой дом и, не дожидаясь утра, захватив с собой провизию, исчезает опять куда-то, как дух перед рассветом.

Рассуждая так сам с собой, Шариф не заметил, как подошел к аулу. Теперь он уже шагал мимо окрестных садов, стоявших в пышном цветении, источающих густой, пьянящий аромат. Казалось, белые пушистые облака спустились на ночь с вершины высоких гор и окутали деревья.

Он шел бодро, с веселой улыбкой оглядываясь по сторонам.

Выйдя на край аула, Шариф остановился и в волнении окинул его нетерпеливым и радостным взглядом. В саклях было темно, аул погружен в сонное безмолвие. Но молодому партизану показалось несколько странным то, что его родной аул выглядит точно таким же, каким он покинул его год назад, словно в мире не произошло за это время никаких особенных перемен. Даже каменный двухэтажный дом Асланбека, его кровного обидчика и имамовца, по-прежнему кичливо возвышался над неприметными саклями бедняков, как бы подчеркивая этим свое могущество и превосходство над ними.

Шариф с ненавистью посмотрел на этот дом, будто на самого его хозяина. Поправив на голове папаху и старенькое ружье за плечом, он решительно направился прямо к дому Асланбека: а вдруг он дома?..

Подойдя к узкой двери под высоким балконом из резного дерева, Шариф тихо, потом все громче принялся стучать. Прошло несколько минут, прежде чем за дверью раздался настороженный женский голос:

— Кто?!..

Шариф узнал по голосу мать Асланбека — Зейнаб.

Он живо представил себе седую и прямую, как шест, старуху, не по годам подвижную, с надменно-насмешливым лицом и хитрыми, выпуклыми, как у сына, серыми глазами.

— Это я! — строго произнес Шариф и, гордо распрямив плечи, поспешно добавил: — Партизан Шариф. Открой!.. — Дома никого нет, — не сразу произнесла старуха.

Юноша знал, что это означает: дома нет никого из мужчин, а женщины в счет не идут. Услышав это, он почувствовал некоторое разочарование, но решив, что его могут обмануть, он, недолго думая, снял с

плеча берданку и начал прикладом бить в дверь, несмотря на неистовый лай, поднятый во дворе собаками.

Прошло еще несколько минут, и за дверью раздался лязг засова. Войдя в большую просторную комнату, Шариф окинул ее быстрым подозрительным взглядом. Но дома действительно никого из мужчин не оказалось, были одни женщины: мать Асланбека, две его жены и несколько ближайших родственников. А в самом дальнем углу, на тяжелом сундуке, покрытом таким же ярким разноцветным ковром, какими были украшены стены и полы комнаты, сидел кто-то вроде невесты. И как положено ей, невесте, она сидела с закрытым лицом, тихо, в неподвижной позе, как изваяние. Большой белый шелковый платок величиной с полпростыни закрывал всю ее фигуру с головы до самых носков.

Одна из девушек стояла по правую руку невесты, а другая — по левую.

Шариф почувствовал себя неловко оттого, что не поверил словам старухи и среди ночи ворвался в чужой дом, где одни женщины. И чтобы скрыть свое смущение, он, нарочито нахмутив брови, раза два молча и строго прошел по комнате, потом, остановившись, снял с головы папаху, повертел в руке, погладил со всех сторон и опять водрузил на место. Женщины, сбившись в кучу, с угрюмым молчанием и плохо скрытым страхом наблюдали за каждым шагом и каждым движением непрошеного гостя.

— Невеста?... — показывая глазами в угол, сдержанно улыбаясь, тихо, почти миролюбиво спросил он Зейнаб, нарушая первым тягостную тишину.

Та, в отличие от других женщин, держалась непринужденно, стараясь придать своему лицу ласковое, приветливое выражение.

— Да, невеста, — кивнула старуха головой, потом, подойдя ближе к нему, доверительно, с теплыми материнскими нотками в голосе добавила: — Свою служанку выдала замуж за парня из соседнего аула. Скоро должны приехать за невестой.

Услышав это, Шариф недовольно, почти враждебно покосился на старуху: ему стало обидно за невесту, жаль ее. Где это видано, чтобы провожали невесту из дому вот так, без веселья, без радости, без зурны? Небось, если она была бы не служанкой, а родной дочерью этой старой ведьмы Зейнаб, непременно позаботились бы о том, чтобы все было так, как положено на свадьбе. Да еще вдобавок у всех женщин такие лица, как будто дома не невеста, а покойник.

— Разве так провожают невесту из дому? — строго спросил он хозяйку. — Где музыканты?..

Старая Зейнаб, горестно сложив руки на груди, сделала скорбное, плачущее лицо. — Да чтобы ослепнуть мне, сынок, разве нам сейчас до музыки и веселья!? Плакать нам в пору, а не веселиться, — начала она оправдываться перед Шарифом. — От сына моего никаких вестей, не знаю, жив ли он, не дай аллах, погиб ли...

Шариф резко отвернулся, не желая слушать хныканье старухи о сыне. Он подошел к курносой девушке, стоявшей по правую руку невесты прямо, неподвижно, с непроницаемым и строгим лицом, точно часовской на охране особо важного объекта. Шариф приказал ей сейчас же сбегать за музыкантом. И она из страха и почтительности перед суровым партизаном, не глядя ни на кого, пулей выскочила из дому.

Вскоре она вернулась с музыкантом, худым, немного сутулым пожилым человеком с седыми обвислыми усами и веселыми улыбающимися карими глазами. Без него в ауле не проходило ни одного торжества, ни одной свадьбы. В любое время дня и ночи Сафар (так звали музыканта), захватив свой волшебный инструмент, тотчас же с готовностью являлся на зов.

Старый зурнач и молодой партизан на виду у женщин, не скрывая своей радости от встречи, сердечно обняли друг друга и расцеловались. Затем Сафар скромно отошел к стене, вынул из кармана зурну, и тотчас же комната наполнилась пронзительно-веселыми звуками. Первой захлопала в ладоши старая Зейнаб и ее примеру тут же последовали остальные женщины. Шариф, откинув голову назад и взметнув руки в стороны, словно крыльями, с гордой счастливой улыбкой на лице пошел танцевать. Подойдя к невесте, он встал на цыпочки, вытянувшись в струнку, кивком головы почтительно пригласил ее танцевать. Но невеста продолжала сидеть молча, неподвижно. Тогда Шариф весело и озорно топнул ногой перед ней, как бы напоминая ей о своем твердом желании станцевать с ней. Наконец невеста встала и, подняв руки, грузно поплыла перед ним. Только сейчас молодой человек с удивлением заметил, что у невесты подозрительно большой живот, до того большой, что заметно выпирает даже из-под шелкового покрывала и при каждом резком движении странно вздрагивает и ходит из стороны в сторону. Шариф с брезгливым ужасом подумал, что невеста, очевидно, в положении... Видимо, старая Зейнаб и ее родственники из-за этого только решили без шума, втихую, без посторонних свидетелей сплавить ее,

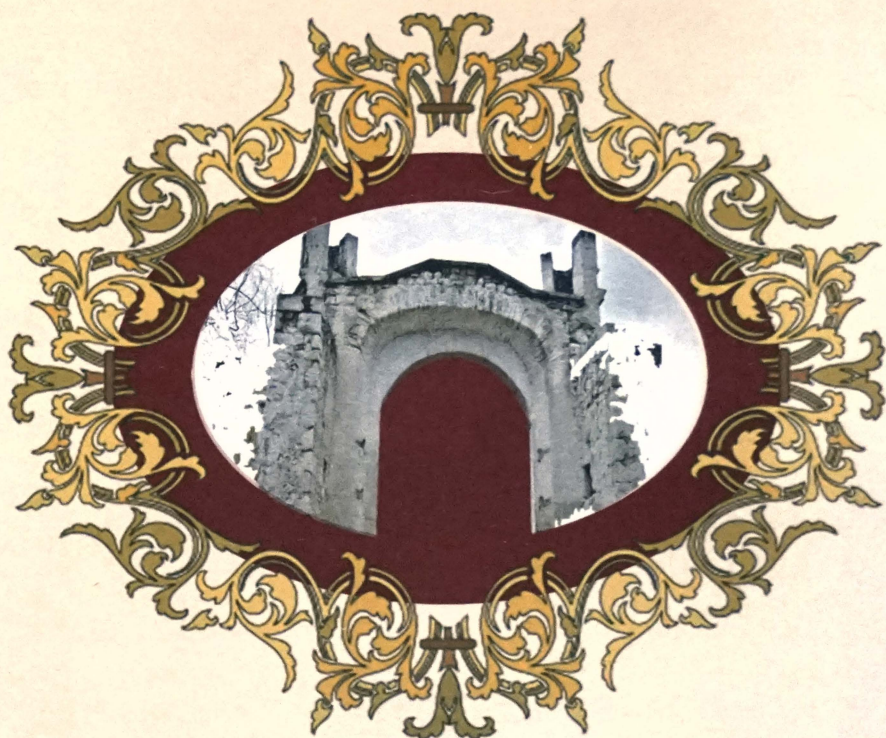
отправить к жениху, по всей вероятности, виновнику ее положения. Теперь он понял и причину нерешительности и колебания невесты, когда он приглашал ее танцевать. И невольно подумал, что как должно быть ей сейчас неловко и стыдно перед ним, Шарифом. Да и сам он чувствовал себя весьма неприятно и с нетерпением ждал, когда невеста первой выйдет из круга, чтобы поскорее уйти отсюда. И Шариф в душе начал укорять себя за то, что затеял все это, заглянул в этот ненавистный ему дом.

Вдруг что-то большое и круглое с глухим ударом упало на пол из-под платья невесты и колесом покатилося к ногам ошеломленного молодого человека. Как ни странно, это был сыр, обыкновенный овечий сыр. Не успел Шариф прийти в себя, как на пол градом посыпались солидный кусок желтого сушеного курдюка, два чурека, несколько головок чеснока, какая-то бутылка, не то с вином, не то с уксусом... На глазах пораженного юноши произошло чудо: живот у невесты опал, как кузнечный мех, из которого разом выкачали воздух. Не менее удивленный и сбитый с толку этим музыкант Сафар так и застыл с умолкшей зурной во рту, а перепуганные женщины прекратили хлопать в ладоши.

Шариф с внезапно изменившимся лицом и горящими глазами одним прыжком подскочил к невесте и резким движением сорвал шелковое покрывало, скрывавшее ее лицо. И «невестой» оказался плотный бритоголовый мужчина. Лицо его было еще не старое, но уже рыхлое, с закрученными, вздрагивающими черными усами, а серые, слегка выпуклые глаза смотрели на молодого партизана растерянно и с ненавистью.

Шариф, который был готов разорвать своего обидчика и врага на куски, увидев его сейчас в таком жалком и смешном положении, без пахаи, в просторном женском платье, вспомнив, как он только что корчил из себя скромную «невесту», невольно засмеялся, сперва тихо, почти сдавленно, а потом громко, раскатисто. Старухе Зейнаб при виде этого невыносимого и ужасного для нее зрелища стало дурно, и она с глухим стоном упала без чувств на руки своих растерявшихся и перепугавшихся невесток...

ФАМИЛЬНАЯ АРКА







ФАМИЛЬНАЯ АРКА ТРАГЕДИЯ ОДНОЙ КРАСАВИЦЫ (роман)

*Жизнь мгновенная ветром гонима прошла.
Мимо, мимо, как облако дыма, прошла.
Пусть я горе хлебнул, не хлебнув наслажденья.
Жалко жизни, которая мимо прошла.*

Омар Хайям

Была притчей во языцех

I

Я встретился с ней совершенно случайно в один из жарких дней конца августа тысяча девятьсот тридцать пятого года. Надо ли говорить, что случайности нередко играют большую роль в жизни человека, его судьбе. Я это говорю к тому, что если бы я не увидел эту женщину в тот памятный для меня день, то уверен, что уже никогда в жизни мне не удалось бы встретить ее, узнать ее удивительную историю и, разумеется, она не стала бы героиней моего скромного романа. Кроме того, кто знает, может, не будь этого случая, я никогда не приобщился бы к писательскому труду.

Но чтобы мой добрый читатель правильно понял меня, я принужден сначала немного рассказать о себе, тем более что мой роман в какой-то мере носит и автобиографический характер.

... Весной тысяча девятьсот тридцать пятого года я, тогда девятнадцатилетний сельский парень, был приглашен на работу в республиканскую татскую газету «Захметкеш» («Труженик»). Она издавалась в Дербенте — втором по величине городе Дагестана, который из-за многочисленных уникальных памятников седой старины по праву называют «музеем под открытым небом». До этого жил я в своем родном селении Ньюди (Мюшгуьр), где работал подпаском, а затем колхозником.

Мое селение находится в тридцати-тридцати пяти километрах южнее древнего Дербента. Обычаи, традиции и весь уклад жизни моих односельчан были почти такими же, как у жителей соседних селений — азербайджанцев, лезгин, табасаранцев. Но есть у нашей маленькой народности и такие обычаи, которых, как мне кажется, нет ни у одного из народов мира, каким бы великим или малым он ни был, какую бы религию ни исповедовал.

Примерно с конца восемнадцатого — начала девятнадцатого веков мои соплеменники стали постепенно переселяться с горных и предгорных аулов в города и со временем совершенно забыли многие из своих обычаев, а может, просто перестали соблюдать их. Но наши односельчане не только сохранили эти обычаи в первозданном виде, но и соблюдали их как нечто священное и, следовательно, обязательное.

А говорю я об этом к тому, что моя критическая заметка в газете (притом первая) об одном из этих обычаев и связанных с ним суеверий сыграла существенную роль в том, что три года спустя после ее опубликования меня пригласили работать в редакцию в качестве штатного сотрудника. Побудило же меня решиться на этот рискованный шаг — выступление в газете — чувство сострадания к моей доброй, но глубоко несчастной соседке, немолодой уже женщине, к которой я питал сыновнюю любовь и уважение.

Наше селение окружено густыми перелесками и глухими оврагами, между которыми, как разноцветные лоскутные одеяла, расстелились небольшие поля. На них мои односельчане — потомственные и трудолюбивые крестьяне — выращивали самые лучшие в округе сорта пшеницы, риса, овощей, сладкие, как душистый майский мед, сочные дыни. Чуть ли не с каждым полем было связано какое-нибудь предание или поверье, в которые мои односельчане свято верили. Эти поля носили самые странные и дикий названия: «Кровавое поле», «Семь братьев и одни шаровары», «Сумасшедший знак», «Гулистон» (как поэма великого Саади), «Покусанный волком». Но самое странное и пугающее название имело небольшое поле, лежавшее на южной окраине нашего села — «Смерть женам» («Пэжел зенгьо»). Существовало поверье: кто вспашет и засеет это поле, у того непременно умрет жена во время родов или вскоре после этого.

Еще с незапамятных времен это поле никто не пахал, не сеял, словно оно было отмечено каиновой печатью. Поле давно превратилось в дремотную целину, сплошь изрытую многочисленными норками сусли-

ков и полевых мышей, которых в течение столетий ни разу не потревожил плуг пахаря.

Если кто-нибудь из моих односельчан по какой-либо причине (а иногда без всякой причины, просто по пустяку - народ вспыльчивый, горячий), рассердившись на свою жену, угрожал, что пойдет и вспашет поле «Смерть женам», он, однако, никогда того не делал — слишком верил в реальность опасности для своей покорной половины.

Но больше всех прибегал к этой угрозе по отношению к своей жене наш сосед, коренастый, хмурый, как грозовая туча, мужчина лет сорока. Хотя борода у него была лопатой, как у апостола, сам он, как и все взрослые мужчины нашего села, был неграмотен и суеверен. У него было несколько дочерей и ни одного сына, поэтому он считался «хъэмолом». А что это слово означает — никто толком не знает, но для моих земляков оно звучало довольно неприятно и болезненно, как нечто вроде «скорбного бездетного». Настоящие дети, мол, это те, что носят на голове папаху, а не платок.

Согласно обычаю, «бездетный» — хъэмо́л должен был носить красный кушак — «кушак бездетности», чтобы Бог обратил внимание на его печальную участь и даровал ему сына. Почему именно красный, а не синий, голубой, зеленый, черный или белый — Бог его знает. Наверное, потому, что из всех цветов красный — самый яркий. Он больше других цветов бросается в глаза. И согласно представлению моих односельчан, Всевышний из своей далекой дали скорее заметит такой кушак, нежели кушак другого цвета (тоже резонно!).

При разговоре с хъэмолом у нас принято было говорить ему: «Да чтобы конец твой был счастливым», что означало: «Да чтобы у тебя родился сын». Но не дай Бог, если кто по дурости или злобе выпалит ему в лицо: «Да чтоб «кушак бездетности» никогда не сходил с твоего пояса!» Тогда в худшем случае это могло кончиться смертоубийством, а в лучшем — кровной обидой на всю жизнь на оскорбителя и недоброжелателя.

Годы шли, но соседка, словно заговоренная, несмотря на то, что ее супруг не расставался со своим кушаком ни днем, ни ночью, продолжала рожать ему одну дочку за другой. Сами наши односельчане, неловко шутя по этому поводу, приводили слова известной татской поговорки: «Телега с девочками сломалась у ворот его дома».

Такое «поведение» жены приводило соседа в отчаяние. Видимо, уже не очень надеясь на магическую силу своего кушака, он каждый

раз перед тем, как его жена должна была разродиться, кричал на нее в гневе:

— Ты, дочь такого-сякого!.. Если и на этот раз родишь мне девочку, так и знай: пойду вспашу поле «Смерть женам»!..

Бедная женщина жила в постоянном страхе перед этой угрозой. Она была худая, измученная, печальная, ходила с поникшей головой, точно виноватая перед Богом и людьми, особенно перед своим грозным неумолимым мужем. Колыбельная песня, которую она в день по несколько раз пела очередной новорожденной дочери по напеву напоминала похоронный плач, полный жалобы, тоски и сетования на судьбу:

Без стрелы — простреленная мать.

*Без удара сабли — израненная мать...*¹⁵⁴

Я, тогда мальчишка-подросток, все это видел своими глазами, слышал своими ушами. И мне до слез было жаль эту женщину. Тем более, она всегда была приветлива и ласкова со мной, круглым сиротой. Свою мать я не помню. А отец умер, когда мне было тринадцать лет. Я ни разу не произнес самое дорогое для всех детей слово «мама». Моя мачеха, черствая, злая женщина в первый же день, как появилась в нашем доме, строго предупредила меня, чтобы я не называл ее мамой, иначе мне будет худо, держала меня в черном теле. И соседка знала об этом. А когда умер мой отец и я начал пасти колхозных и джамаатских телят, она часто рано утром поджидала меня у ворот своего дома, с приветливой улыбкой останавливала и совала в мою котомку кусочек сыра или пару вареных яиц, а иногда — домашнюю халву. Она это делала и тогда, когда я уже немного повзрослел, ходил, как и все мужчины нашего села, на полевые работы.

И вот, как я уже сказал, из сострадания к ней, терроризируемой упрямым и безжалостным мужем, я решил, будь что будет, написать в газету об этом злосчастном поле, о ее муже (не называя имени), о том, как он постоянно грозит своей жене этим полем, вгоняя ее в дрожь, за то, что у них одни дочери.

Заметку мою опубликовали. Она произвела на моих односельчан впечатление взорвавшейся бомбы. Мужчины меня всячески ругали, по-

¹⁵⁴ Из старинной татской колыбельной песни.

носили, даже грозили надавать мне тумаков: они боялись, как бы теперь районное начальство, борющееся с пережитками прошлого в сознании строителей нового общества, не заставило их обработать это, пропади оно вместе с дерзким мальчишкой, роковое поле. Правда, были и такие, особенно среди молодых, кто, узнав о содержании моего выступления в газете, весело хохотали, но и они мой поступок не одобряли. Однако самым обидным, чего я совсем не ожидал, было для меня то, что ругали меня и ... женщины, в защиту которых я написал эту критическую заметку.

По просьбе редакции я стал писать для нее небольшие статьи, зарисовки о жизни моего села, о его людях, о ходе полевых работ в колхозе. А через три года после появления моей на шумевшей заметки меня пригласили на работу в редакцию в качестве штатного сотрудника.

Но проработав три месяца в газете, я решил уволиться, вернуться в родное селение, к своему прежнему занятию. В городе я очень скучал, тосковал по дому, по друзьям-сверстникам, с которыми вырос, дружил, по родным лесам, садам и полям, особенно по своим маленьким братьям, рожденным мачехой от моего отца, которые были очень привязаны ко мне, как и я к ним.

Мое заявление с просьбой об освобождении от работы лежало на столе у редактора.

Все работники нашей редакции были городскими и в основном молодыми людьми, за исключением редактора, переводчика и бухгалтера. Сотрудники за глаза, полушутя-полувсерьез, но с большой долей почтения называли редактора не иначе, как «красный пирафисур». В начале тридцатых годов он, участник гражданской войны, коммунист с девятнадцатого года, учился в Москве не то в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, не то в Институте красной профессуры — не знаю. За эти два или три года учебы, получив диплом красного профессора, он так и не научился более-менее правильно говорить по-русски. Вместо «фельетон» говорил «филейтун» (что, конечно, не очень похвально для редактора республиканской газеты, если даже она выходила на татском языке), вместо «трактор» — «тарактир», вместо «сроки» — «сраки». И сотрудники нашей редакции давились от смеха, когда во время планерки или летучки при обсуждении содержания очередных номеров газеты, вышедших за неделю, переходя с родной речи на русскую, он говорил примерно так: «Это важжни политичэски компание будит проведено в кроткие сраки». Один я не смеялся, не столько

из уважения к редактору, его почтенному возрасту, сколько из-за того, что сам тогда почти не говорил по-русски, а тем более совершенно не понимал разницу между словами «компания» и «кампания», «короткие» и «кроткие», «сроки» и «сраки».

В том, что он за три года учебы не научился говорить более-менее грамотно по-русски, ничего удивительного не было. Его посылали учиться на «красного профессора», когда ему было уже за сорок, что лишний раз подтверждает правоту известной поговорки: «Кто в сорок лет вздумал научиться играть на сазе, он этому ремеслу научится на том свете».

Но при всем при этом редактор у нас был хороший, порядочный, честный и доброжелательный человек, умелый организатор. Может, поэтому он не хотел, чтобы я, человек из села, из самой, как говорится, гущи народа, знающий хорошо его быт, обычаи, сельскую жизнь, ушел из газеты. Он даже польстил мне, сказав, что у меня «настоящий народный язык», что из меня со временем получится неплохой журналист.

— Только в идейном отношении тебе еще, сынок, надо подтянуться, — наставительно произнес он, проводя ладонью по своей гладко выбритой круглой голове. Но, немного помолчав, бодро, даже с некоторыми нотками гордости в голосе, добавил: — Но это ничего. У нас в коллективе ребята все грамотные, политически зрелые. От них ты многому научишься.

Но я, упрямец, продолжал настаивать на своем: хочу домой, в свое селение — и все тут.

За два дня до того, как я должен был уволиться и уехать, ответственный секретарь газеты попросил меня выполнить, как он сказал, последнее задание редакции: отправиться на виноградники одного из татских городских колхозов «Заря Востока» (их в городе тогда было пять), написать корреспонденцию или очерк о том, как колхоз готовится к предстоящему сезону уборки винограда.

Виноградники колхоза, куда я отправился, находились в пяти-шести километрах к югу от города. Освещенные ярким солнцем, они привольно раскинулись в широком проходе между цепью невысоких гор и лазурным морем, простиравшемся до самого горизонта. На зеленых кустах, сплошь покрытых лапчатыми листьями, вызревали тяжелые гроздья с сочными янтарными ягодами.

Около проезжей пыльной дороги, у входа на виноградники колхоза, возвышалась высокая каменная арка, сложенная из белого, гладко

отесанного камня, похожая на мраморную. Она стояла на краю узкого арыка, по дну которого с тихим монотонным журчаньем бежала мутная илистая вода. Я невольно остановился, увидев незнакомую женщину, стоявшую под палящим солнцем прямо посреди дороги перед этой аркой. Взор ее был устремлен на нее, а губы что-то горячо шептали. Со стороны можно было подумать, что она молится, точно идолопоклонница перед своим идолом-истуканом. Женщина так была погружена в себя, что даже забыла поправить на голове платок, который сполз у нее на плечи, обнажив густые черные волосы.

Одежда на ней была такая, какую обычно носили тогда наши женщины среднего и пожилого возраста: просторное платье из дешевого темного ситца, длинные до пят широкие шаровары в глубоких складках (из того же материала). Только платок на ней был шелковый, с затейливыми рисунками по краям, правда, уже порядочно поношенный, полинявший. Легкие кожаные чуваки с острыми загнутыми кверху носами, в которые были обуты ее ноги, утопали в мягкой горячей серой пыли.

Даже тогда, когда я, весьма удивленный ее поведением, сделал несколько шагов вперед, чтобы посмотреть вблизи на эту странную женщину, она продолжала стоять также неподвижно. Казалось, она перестала ощущать окружающее и для нее сейчас ничего во всем мире не существовало, кроме этой арки.

Там, где стоял я, росли почти с меня ростом кусты терна и ежевики с красными и черными ягодами. Побуждаемый любопытством, я зашел за эти кусты и стал наблюдать за ней. Ей было на вид лет тридцать семь — тридцать восемь, во всяком случае не больше сорока. Продолговатое белое гладкое лицо, прямой тонкий нос, большие черные выразительные глаза, еще не потерявшие блеска молодости, обрамленные черными густыми ресницами. Но в этих глазах, как мне показалось, было что-то напряженное, беспокойное и тревожное: в них горели мрачные огоньки.

Я невольно перевел недоуменный взгляд со странной женщины на арку, стараясь понять: чем она так приковала к себе ее внимание? Почему в такую нестерпимую полуденную жару, когда почти все живое замирает, ищет прохлады, она стоит посреди дороги, как вкопанная, перед этой аркой, и что она так самозабвенно шепчет про себя?..

На одной из больших каменных плит верхней части арки был высечен мужской профиль с острой бородкой. Левее от него красовалась

изогнутая узловатая каменная лоза с широкими листьями, увешанная увесистыми гроздьями. Выше над живописной лозой и человеческим профилем виднелась половина солнечного диска с расходящимися веером острыми лучами. И все это было обрамлено пышной гирляндой, сплетенной из цветов и травы, над которой парочками друг против друга были изображены какие-то птички с раскрытыми клювами.

Мое внимание больше всего привлекли надписи, высеченные крупными буквами на высоких круглых столбах, поддерживающих примечательное сооружение. Мне показалось, что это какие-то мудрые восточные изречения или афоризмы в стихах. Приглядевшись повнимательнее, однако, я понял, что это были священные заповеди, вроде: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его...»

Арка, видно, стояла давно, не первый десяток лет. Краски на ней местами совсем сошли, а там, где они еще держались, почти поблекли, покрылись пылью.

Вдруг незнакомая женщина, точно очнувшись от забытья, беспокойно оглянулась вокруг. Заметив меня за кустами, она сразу всполошилась и, недовольно нахмутив брови, тотчас же повернулась ко мне спиной. Затем она поспешно накинула на голову платок, быстро зашагала в направлении города, вздымая острыми носками чувяков густую дорожную пыль.

Постояв еще немного, пока она не исчезла за поворотом извилистой дороги, и все еще думая о ней, я перешагнул через арык и медленно направился по узкой протоптанной тропе вдоль арыка мимо залитых солнцем виноградных кустов.

Вдруг чей-то веселый голос окликнул меня. Я оглянулся. Неподалеку стоял маленький шалаш на неровных тонких деревянных столбах, покрытый сверху сухим сеном. По приставленной к нему кривой узенькой лесенке спускался какой-то мужчина. Едва я увидел его смуглое лицо со слегка выдающимися скулами, темно-кариими глазами и черной, как смола, бородой, сразу узнал его. Это был мой знакомый Юсуф Соев.

Два месяца назад в разгар созревания черешни здесь, на виноградниках, колхозу «Заря Востока» в торжественной обстановке вручали Государственный акт на «вечное и безвозмездное пользование землей». Это событие в жизни колхоза было отмечено как праздник. Были приглашены музыканты и певцы. За накрытыми столами люди пили, ели,

веселились, провозглашали заздравные тосты. Среди приглашенных почетных гостей были и сотрудники нашей областной газеты во главе с редактором. Торжества проходили на нижней половине обширной плантации, ближе к берегу моря, довольно далеко от места, где стояла арка. Поэтому я тогда не видел ее вблизи.

Накануне торжества наша газета дала целую страницу с выступлениями и портретами передовых людей колхоза, в том числе выступление и портрет бывшего батрака, ныне колхозного сторожа Юсуфа Соболева. Его выступление для этой страницы было записано и подготовлено мною, для чего мы пригласили его в редакцию.

Дядя Юсуф, подойдя ко мне, с приветливой улыбкой поздоровался и по-дружески крепко пожал мне руку. Затем, не сводя с меня весело-лукавого взгляда, он с нарочитой медлительностью снял с чисто выбритой головы, напоминавшей ободранную круглую репу, мохнатую коричневую папаху и с такой же спокойной медлительностью извлек оттуда, из-за подкладки, сложенную вчетверо страницу нашей газеты. Он торжественно развернул ее и с признательной улыбкой на губах, почти скрытых под пышными черными усами, ткнув грубым толстым пальцем с обломанным ногтем в нее, показал свой портрет и заметку в газете.

— Видишь, сынок, храню на память, всегда с собой ношу.

Сказав это, дядя Юсуф, прежде чем обратно водрузить папаху на голову, аккуратно сложил газету и бережно положил ее на прежнее место. Потом он вдруг, точно вспомнив о чем-то, посмеиваясь в бороду и хитро подмигнув мне, весело спросил, указывая глазами в сторону каменной арки.

— Хе-хе! Видел эту «прекрасную ведьму» — Марал, как она торчала тут?

— Да?! Неужели это была она? — удивленный и вместе с тем обрадованный, воскликнул я, сразу догадавшись, о ком он говорит.

Дядя Юсуф, слегка прищулив один глаз, недоуменно и почти недоверчиво покосился на меня.

— А ты что, не знал ее до сих пор? — спросил он меня, а потом, чуть помолчав и покачав головой, добавил: — Странно! У нас в городе ее каждая собака знает.

Дядя Юсуф ничего не знал обо мне, разве только то, что я из газеты. Я всего три месяца назад переехал из своего селения в город, поэтому ничего не было удивительного в том, что я ни разу не видел Марал в лицо. Но даже я, живущий в этом городе, как говорится, без

году неделя, был много наслышан об этой женщине. Она была, можно сказать, притчей во языцех. О ней ходили разные толки, и дурные, и смешные, правда, в большинстве своем относящиеся к годам ее молодости.

По тому, как дядя Юсуф отзывался о ней, назвав ее «прекрасной ведьмой», по его неуважительному тону, я сразу понял, что и он разделяет худую молву, которая идет об этой женщине среди жителей города. Но как ни был молод, я понимал, что иногда людская молва, выражаясь словами известной поговорки, «может иглу превратить в бревно, а бревно — в иглу». Хотя сейчас то, что я услышал из уст дяди Юсуфа, к которому питал полное доверие, не вызывало у меня сомнений в правдивости всего того, что люди говорят о Марал.

Я не стал объяснять дяде Юсуфу, почему я в отличие от других жителей Дербента до сих пор не знал, не видел эту печально знаменитую женщину, а только коротко заметил, что я тоже кое-что слышал о ней, и спросил, зачем она приходила сюда в такую жару.

— Думаешь, это в первый раз? Она часто ходит сюда, — с нескрываемым неудовольствием произнес колхозный сторож. — И каждый раз подолгу стоит перед этой аркой, как столб, и все что-то без конца бубнит себе под нос, аж неприятно смотреть со стороны. Может, заклинания какие шепчет, а может, просто разговаривает сама с собой — пес ее знает... А как увидит кого вблизи, сразу становится мрачнее тучи, отворачивается, шипит, как змея, которой неожиданно наступили на хвост, и тут же спешит удалиться прочь. Поэтому, пока она была здесь, я не высовывал носа из шалаша, не хотел показываться ей на глаза. И хорошо, что ты оказался тут, иначе она еще долго торчала бы здесь. — Дядя Юсуф на минуту умолк, а потом, неловко улыбаясь, добавил: — Неудобно говорить: иной раз из-за нее не могу выйти даже по нужде, хоть из ружья стреляй, чтобы вспугнуть ее и заставить убраться вон.

— Она что, тронутая? — спросил я, вновь вспомнив, как странно вела себя эта женщина.

— Нет, вроде бы, — произнес мой собеседник, а потом, немного подумав, вздохнув, сказал тихо, с сомнением и даже, как мне показалось, с некоторыми нотками сочувствия: — А впрочем, кто знает, сынок. От такой жизни, какая у нее была, не то что тронуться, повеситься можно.

Поскольку дядя Юсуф не ответил на мой вопрос, что заставляет

Марал тащиться в такую жару и в такую даль к этой арке, я вежливо напомнил ему об этом.

— А-а! Ведь эту самую арку в свое время поставил Ошир Тряпичный Котелок. — Он улыбнулся во весь рот, показывая крупные, здоровые, но слегка желтые зубы заядлого курильщика. И как бы объясняя причину своей невольной улыбки, добавил: — «Тряпичный Котелок» — такое смешное прозвище было у ее покойного мужа. Это, знаешь, их, так сказать, фамильная арка, а все эти виноградники, — мой собеседник сделал широкий жест рукой, указывая на плантацию, раскинувшуюся от арочного сооружения до самого берега моря, — принадлежали ее мужу, а после его смерти, вплоть до организации колхозов, она одна владела ими. Между прочим, я хорошо знал ее мужа, знаю и ее, как облупленную. Да и как не знать, сынок: ведь я работал батраком у ее мужа, а потом, когда он отправился к праотцам, у его вдовы, то есть у этой самой Марал.

Заметив, что я с интересом слушаю его, дядя Юсуф внимательно и испытующе посмотрел на меня, а потом неожиданно спросил:

— Хочешь, я расскажу тебе о ней? О, у этой женщины, клянусь моими сыновьями, такая история, такая история, хоть в книгах пиши.

Я, заинтригованный его словами, недолго думая, согласился, решив в случае чего отложить сбор необходимых мне данных для написания очерка на завтра. Кроме того, слушая сейчас дядю Юсуфа, мне вдруг пришла в голову соблазнительная и очень дерзкая для девятнадцатилетнего юнца, не имеющего за плечами никакой литературной подготовки и навыков, мысль: «А может, история жизни этой женщины действительно такая необычная и занимательная и мне удастся написать о ней книгу, потом отрывками отпечатать в нашей газете? Какой это вызовет необычайный интерес у наших читателей! — заранее воодушевлялся я. — Поэтому, стоит ли мне сейчас торопиться уходить из редакции и возвращаться в селение, когда у меня впереди такая заманчивая перспектива? А почему я не могу написать книгу? Ведь не боги горшки обжигают. А в селение вернуться всегда успею — дорога мне не заказана».

Велев мне подождать немного, дядя Юсуф, захватив круглую плетеную корзину, лежавшую вверх дном под шалашом, зашел в виноградник и на некоторое время исчез среди высоких кустов, точно с головой нырнул в воду.

Вскоре, вернувшись с корзиной, доверху наполненной сочными

гроздьями, он кивком головы пригласил меня к старому инжировому дереву с раскидистой кроной, росшему на краю арыка.

Через минуту мы уже сидели в прохладной тени дерева, подомашнему скрестив под себя ноги. В арыке тихо и монотонно журчала вода. В дрожащем от зноя раскаленном воздухе стояло ликующее стрекотанье бесчисленных цикад, от которого звенело в ушах. Временами до нас доносились приглушенные расстоянием голоса колхозников, работавших где-то внизу, ближе к берегу, которые, впрочем, вскоре я перестал слышать.

Колхозный сторож вытер рукавом темной сатиновой рубашки мокрый от пота загорелый лоб, неторопливым движением достал из кармана желтый кисет, пропитанный коричневой табачной пылью. Насыпав в клочок газетной бумаги мелко нарезанный табак, он деловито свернул сигарку, закурил.

— Ты, сынок, угощайся, а я начну свой рассказ, — держа в зубах дымящуюся папиросу, сказал он, гостеприимно придвинув ко мне обеими руками корзину с виноградом.

То, что рассказал мне дядя Юсуф, я лишь дополнил некоторыми деталями и фактами, о которых узнал позже, кое-что домыслил сам.

«А дочь халвачи еще слаще»

 Дербенте есть старая, очень тихая и ничем не примечательная короткая улица, которая носит название «Садовая». Теперь трудно даже представить себе, что некогда здесь было самое многолюдное и оживленное место в южной половине города.

Здесь же почти рядом находились три нумаза — молитвенных дома. Вдоль всей улицы, тесно прижав боками друг друга, словно каждая хотела вытеснить, вытолкать соперницу, сделать себе место попросторнее и быть на виду, тянулся длинный ряд мелких лавок. Наемные босоногие мальчишки с утра до вечера, надрывая глотки, стараясь перекричать друг друга, пронзительными голосами зазывали людей покупать нехитрый товар своих хозяйчиков: иранский кишмиш, турецкий табак, ханский рис, астраханскую воблу, сладкую нюгдинскую дыню, гянджинские платки для невест, готовые чарыки, керосин, спички... Здесь же, прямо на улице, под открытым небом, продавали домашнюю восточную долму, кислый айран, вареную грушу, разнообразную зе-

лень и всякую всячину. Усатый цирюльник в облезлой папaxe с закатанными до локтей руками старого бешмета, посадив клиента на голую землю между ворохами зелени и вооружившись острой бритвой, старательно брил ему голову.

На противоположной стороне этой неширокой улицы, мощенной темно-серым булыжником, весь день непрестанно стучали деревянными молотками жестянщики в своих мастерских. Перед их настежь открытыми дверями, отливаясь серебристым цветом, красовались выставленные для продажи жестяные ведра, печные трубы, керосиновые лампы, железные чайники, «печки-буржуйки», которые только начинали входить в «моду». Выше, возле дверей своей кузницы, бородатый кузнец богатырского телосложения в широком темном кожаном переднике подковывал лошадей, сбившихся в тесную кучку.

Но жителей южной части города, главным образом бедноту, привлекали сюда не лавчонки мелких хозяев и молитвенные дома, не сам базар, а небольшая площадь на середине улицы, носившая название Фэхле-базари — Рабочий рынок. Сюда обычно сходились батраки и бедняки, где подрядчики нанимали их для работы на виноградных плантациях и рыбных промыслах, принадлежащих дербентским богачам, или на разную строительную работу. Кроме того, для многих дербентцев Фэхле-базари в то же время был чем-то вроде годекана в ауле, где земляки собираются на досуге, коротают время за непринужденной беседой, рассказывая друг другу разные истории, хабары, были и небылицы.

Здесь же на Фэхле-базари в сыром, слабоосвещенном подвале с низким прокопченным потолком и унылыми обшарпанными стенами ютилась маленькая кондитерская, где готовили халву. Принадлежала она некоему Худодоту, пожилому, невзрачному человеку с узкой впалой грудью, нездоровым чахоточным румянцем на худых морщинистых щеках и непомерной грыжей, которая мешала ему свободно передвигаться. Но в искусстве изготовления сочной и вкусной халвы не было мастера, который мог бы с ним сравниться. Из настежь открытых дверей его крохотной кондитерской вырывался на улицу такой аппетитный, щекочущий ноздри, умопомрачительный аромат, что даже многие из тех, у кого на дне пустого кармана была припрятана одна единственная монета, очутившись рядом с кондитерской старины Худодота, не могли удержаться от искушения, чтобы не спуститься туда и не попробовать его халвы. Наверно, поэтому ныне здравствующ-

щие старики-аксакалы, не раз в свое время отведавшие чудесной халвы Худодота, клянутся своими седыми бородами, что с тех пор никогда и нигде ничего подобного не пробовали. И они с сожалением говорят, что их покойный земляк (да не взыщет ему Бог за это на том свете) всю жизнь держал про себя секрет приготовления такой халвы и унес его с собой в могилу.

Но как ни душиста и сладка была халва, изготовленная Худодотом, некоторые «романтически» настроенные посетители кондитерской, по мелким кусочкам глотая ее, словно густой горный майский мед, мечтательно закатывая глаза в темный от копоти потолок со свисающими по углам паучьими «замками», вздыхая, тонко, страдальческим голосом восклицали: «Э-э-эх!.. А дочь халвачи еще слаще!...»

Говорят, бытующая и поныне в народе пословица «А дочь халвачи еще слаще» родилась именно в ту пору в Дербенте и не где-нибудь, а в убогой, как ее хозяин, кондитерской Худодота.

В то время, если не первой красавицей, то по крайней мере, одной из самых красивых девушек в Дербенте была единственная дочь Худодота-халвачи семнадцатилетняя Марал.

Почти все девушки ее возраста были замужем, а многие из них имели детей. Ведь для того, чтобы выдать девушку замуж, как говорили тогда в народе, достаточно кинуть в нее папаху. Если девочка при этом устоит на ногах, стало быть ее можно сосватать и выдать замуж.

Но расчетливый и себе на уме халвачи не торопился, однако, с замужеством дочери. Старый Худодот был уверен, что такая девушка, как его дочь, все равно не засидится в девках, и ждал «достойного жениха». В его глазах, конечно, это будет тот, кто заплатит ему за нее наибольший рэхь-пули — калым.

У Марал были густые, длинные до пят, черные блестящие волосы, большие черные глаза с пушистыми ресницами, белое продолговатое овальное лицо с нежными чертами, небольшой, чуть выпуклый лоб, будто высеченный из мрамора. А когда она улыбалась своей ослепительной белозубой, лучезарной улыбкой, казалось, само солнце озаряет и ласкает тебе душу. Ростом, правда, она была невысока, но стройна, как тополе. И столько врожденной женской грации было в движениях, походке этой белолицей, чернобровый и жиз-

нерадостной красавицы с обворожительными глазами, что многие девушки с невольным восхищением и черной завистью называли ее Ол¹⁵⁵, а неженатые парни и молодые мужчины с сердечным волнением — бике¹⁵⁶.

Незамужние девушки и молодые женщины были, конечно, неправы, называя Марал именем прекрасной, но злой богини Ол, буд-то похищающей сердца у рожениц, чтобы погубить их. Если дочь халвачи похищала или ранила сердца, сама того не ведая и не желая, то только не у них, а у «бедных» мужчин. В праздничные дни, когда она, омыв свои пышные волосы в мягкой, как эфирное масло, и прозрачной, как девичья слеза, ключевой воде из знаменитого источника «Шах-булага», — от чего они еще больше блестили, словно покрытые лаком, — выходила постоять у ворот, многие мужчины, проходя мимо, невольно оборачивались, чтобы еще раз взглянуть на эту очаровательную девушку, полюбоваться на ее красоту. А некоторые из них после этого, особенно молодые, надолго теряли душевное равновесие.

Марал знала, что она красива и что парни равнодушны к ней, а иные совсем без ума от нее, но вела себя тихо, скромно. Однако никакие ее достоинства не смогли оградить юную красавицу от разных злословий. Даже то, что она в свои семнадцать лет, несмотря на свою красоту, все еще ходит в девушках, истолковывалось завистниками и сплетниками как следствие ее дурного нрава, из-за чего якобы никто из юношей или овдовевших мужчин не берет ее в жены. По городу гуляла пошлая песенка, сочиненная про нее каким-то пакостным парнем, безнадежно влюбленным в Марал и мстившим ей за это: мол, мне не досталась, так тебе и надо!..

Первый же куплет этого стихотворения-пасквиля звучал так:

*Эз руй рачи, эз дуьл — оворе
Марал духдер эн Худодот,*

¹⁵⁵ Ол (Дедей-Ол) — злая богиня в татской мифологии в образе красивой женщины с черными густыми волосами. Ол — гроза рожениц. Она обитает в лесу, ходит нагая, прикрываясь своими волосами. Чтобы погубить роженицу, Ол появляется перед ней в образе одной из ее близких родственниц. Вынув ее сердце и легкие, она спешит обратно в лес. Ополоснув их в лесной речке, Ол проглатывает добычу, после чего роженица сразу умирает.

¹⁵⁶ Бике — красивая госпожа, аристократка.

*Воро э у ошугъ бире,
Домуни э доди-бидод!..¹⁵⁷*

Но вскоре всю округу обошло известие — Марал вышла замуж, притом за знатного человека.

Очарованный красотой юной дочери халвачи, женился на ней один из дербентских богачей, владелец виноградных плантаций, бездетный вдовец по имени Ошир, дородный мужчина лет сорока с аккуратно подстриженной темно-каштановой бородкой и пышными усами.

Ошир был в своем роде белой вороной среди своих земляков: единственным человеком, который любил щеголять в европейской одежде. Его элегантный костюм английского покроя, белоснежные рубашки с высокими накрахмаленными воротничками, украшенные бантом, казались им странными. Но более всего странным и смешным в туалете богача казалась им его тирольская шляпа. Они даже не знали, как называется этот диковинный, «несуразный» головной убор, и искренне удивлялись, как можно променять гордую папаху — истинное украшение мужской головы — на этот тряпичный котелок, который если и годится на что-нибудь, так разве сороке на гнездо или старой бабке держать в нем свои нитки и спицы для вязанья, а еще лучше — вместо ночного горшка детям?.. С тех пор земляки за глаза называли его Ошир Тряпичный Котелок.

Ошир Тряпичный Котелок был еще, пожалуй, и единственным в городе среди своих соплеменников с гимназическим образованием (даже местные богачи здесь были или вовсе неграмотны или малограмотны, не говоря уже о бедноте) и одним из влиятельных людей. Он состоял членом городской Думы, которую раз в четыре года избирали на своем сходе местные беки и крупные домовладельцы, хозяева виноградных плантаций и рыбных промыслов; ездил не раз на знаменитый курорт Карловы Вары и даже был удостоен чести быть представленным самому императору России. А случилось это, когда царь Николай II в тысяча девятьсот тринадцатом году совершал поездку по Кавказу и на пару дней остановился в Дербенте. Встреченный приветственным

¹⁵⁷ Лицом (с виду) красавица, сердцем ветрена

Марал дочь Худодота,

Поостерегитесь влюбиться в нее,

Чтобы потом не охать, не стенать...

(Подстр. перев. с татского)

колокольным звоном всех трех церквей, он в сопровождении генерал-губернатора Дагестанской области, офицеров гарнизона, представителей городских властей, местной знати и шумной толпы, под звуки браурного марша духового оркестра прямо с перрона нарядно украшенного вокзала последовал на банкет, который в его честь был дан в доме-дворце дербентского мультимиллионера и известного благотворителя Сефтера Ахундова. На банкете среди приглашенных почетных гостей находился и Ошир Тряпичный Котелок и даже удостоился крепкого августейшего рукопожатия.

Отец Марал в душе разделял нелестное мнение своих земляков относительно туалета своего зятя, считая его шутовским и неприличествующем мужчине, дерзким вызовом обычаям и традициям своего народа. Тем не менее он был до смерти рад, что богатый и почтенный господин породнился с ним, женившись на его дочери. Но больше всего Худодот был рад тому, что получил за нее такой выкуп, который ему и во сне не снился.

Ошир Тряпичный Котелок, то ли желая сделать приятное своей юной невесте, то ли решив потряхнуть мощной, нисколько не торгуясь, с легким сердцем отвалил Худодоту тысячу рублей золотыми царскими монетами. И халвачи, безмерно счастливый и довольный тем, что не спешил сбывать дочку с рук кому попало, любил как похвалу самому себе произносить к случаю известную поговорку: «На дне терпения оседает золото».

Бедному халвачи женитьба расщедрившегося богача показалась истинным спасением. Как он ни выворачивался все эти годы, выбиваясь из последних сил, стараясь не щадить себя в деле, беречь копейку, накопить немного деньжонок на черный день, — ему это не удавалось. Его крохотное предприятие приносило мизерный доход. Он едва покрывал расходы, связанные с арендой помещения, налогами, с покупкой необходимых продуктов для изготовления халвы, которую надо было скорее продать по сходной цене, чтобы не залежалась, не испортилась. К тому же Худодот чувствовал, как с каждым годом уходит его здоровье, иссякают силы и может настать такой день, когда он свалится с ног. Тогда не миновать ему горькой участи нищего ходить с сумой. Этого он страшился пуще смерти. Но о том, что, когда он будет совсем не в силах работать, ему придется жить у зятя, халвачи не только не думал, но и всячески гнал от себя такую оскорбительную для него, его намуса и достоинства мужчины мысль. Жить у дочери, быть у зятя

на иждивении, «нахлебником», считалось унижением, чуть ли не позором у его земляков. Отца на старости лет должен кормить и ходить за ним собственный сын, а не «чужой» человек — зять.

Теперь халвачи чувствовал себя как тот счастливчик-бедняк из известной сказки, который по воле доброго волшебника нашел в земле клад и вмиг разбогател. Поэтому вместе с гордостью за своего зятя-богача он испытывал к нему бесконечную благодарность.

Став обладателем кругленькой суммы, халвачи мечтал расширить свою кондитерскую, нанять двух работников и одного помощника, возложить на них всю работу, а самому на старости лет насладиться покоем, приятным времяпрепровождением в кругу наиболее уважаемых и почтенных аксакалов. И халвачи не без гордости считал, что он заслужил такое право благодаря новому счастливому положению — родству с таким именитым человеком, как его зять, и щедрому калыму, который он получил от него за свою красавицу дочь.

Зять халвачи, Ошир Тряпичный Котелок, своей дородной фигурой и внешне каменным спокойствием производил на окружающих впечатление человека с могучим здоровьем и железными нервами. Никто никогда не видел, чтобы он волновался, суетился, выходил из себя или спешил куда-либо. Люди, близко знавшие Ошира Тряпичного Котелка, рассказывали о нем любопытную историю, лишней раз характеризующую его как человека на редкость спокойного и невозмутимого и в то же время очень не глупого.

Однажды на заседании городской Думы обсуждался весьма «деликатный» вопрос, связанный с существованием в Дербенте публичного дома. Дело в том, что некая приезжая Мадам (так ее называли некоторые горожане, одни с иронией, другие — просто так) с хваткой прожженного дельца на ссуды, полученные у купцов, выстроила в Дербенте за крепостной стеной около Шуринских ворот публичный дом, не огородив его ничем. «Предприятие» Мадам оказалось настолько «рентабельным», что она вскоре на полученные прибыли смогла не только погасить долги с процентами, но и стать пайщицей одного из крупных рыбных промыслов недалеко от Дербента.

Но с возникновением позорного заведения в городе, который всегда гордился строгими нравами и крепкими, вековыми семейными устоями его жителей, почтенные и добропорядочные отцы и матери потеряли душевный покой. Женщины и дети, по утрам прогонявшие коров и коз в стадо, не могли миновать Шуринских ворот, за которыми начина-

лись общественные пастбища. При этом они нередко становились невольными свидетелями непристойных сцен, происходивших в открытом дворе заведения Мадам между пьяной солдатней, городскими гуляками и его беспутными обитательницами. Многие суеверные дербентцы со страхом думали о том, что по вине этого «исчадия ада» и «начала греха» заразы Мадам их город ждет ужасная судьба и бесславный конец проклятых Богом Содомы и Гоморры. Поэтому не на шутку встревоженные и возмущенные дербентцы в своей коллективной жалобе на имя местных властей категорическим образом потребовали закрытия этого заведения, «являющегося позором города и оскорблением нравственности», а ее владелицу арестовать, посадить в тюрьму или выслать из Дербента.

При обсуждении этой жалобы некоторые члены городской Думы, боясь недовольства земляков и потери своего престижа людей добропорядочных и благородных, безоговорочно поддержали требование, содержащееся в ней. Но городской глава, однако, стал возражать против такой «крайней меры». Свое возражение он мотивировал тем, что заведение Мадам построено и открыто с разрешения его высокопревосходительства генерал-губернатора Дагестанской области с целью «свести к минимуму число жертв общественного темперамента» и что такие дома существуют во многих городах «цивилизованного мира». Существуют, мол, они также и в городах Порт-Петровске и Темир-Хан-Шуре, под боком у самого генерал-губернатора.

И как наисамый главный аргумент в пользу своего довода городской глава сослался на то, что закрытие заведения Мадам явилось бы покушением на священные принципы частной собственности и предпринимательства, охраняемые всей «несокрушимой мощью» государства. Он не возражал, однако, против перенесения его «в более удобное место», подальше от глаз общественности, чтобы не возбуждать ее недовольство и протест.

Но находчивая Мадам, которая тоже была официально приглашена на это обсуждение, ссылаясь на те же «законные права» и «священные принципы», потребовала, чтобы городское управление в таком случае взяло на себя расходы по перемещению ее заведения в другое место и, конечно, оплатило все убытки, которые она понесет за время его вынужденного простоя.

Требование Мадам поставило городского главу в весьма затруднительное положение. Городская казна и без того была скудна, поэто-

му он сразу пошел на попятный — поспешил взять обратно свое предложение.

И вот когда жалоба дербентцев повисла в воздухе, заседание городской Думы на некоторое время стало походить на шумный кабак, где между разгулявшимися пьяными посетителями разразился очередной скандал. Между теми, кто поддерживал требование жителей, и теми, кто соглашался с мнением городского главы — оставить в неприкосновенности заведение Мадам, возник ожесточенный спор. Почтенные высокородные беки и солидные богачи, точно укушенные мухой, отбросив всю свою важность и степенность, энергично размахивая руками, пустились в громкую перебранку между собой, не останавливаясь при этом перед прямыми оскорблениями и угрозами в адрес друг друга. Один только Ошир Тряпичный Котелок, удобно развалившись в мягком кресле и бездумно вертя тростью с серебряным набалдашником, с которой он никогда не расставался, сохранял абсолютное спокойствие, словно он ничего не видел и ничего не слышал. Он со скучающим выражением на массивном лице все это время смотрел в окно, откуда взору открывался вид на покрытую зеленым бархатом Джалганскую гору, на вершине которой горделиво и величаво возвышалась древняя цитадель Нарын-Кала — немая свидетельница многовековой истории города, его взлетов и падений.

И только когда, несмотря на умоляющие призывы городского главы «сдержать эмоции», «сохранять благоразумие» и угрозы присутствующего на заседании сурового полицмейстера вызвать наряд полиции, некоторые беки в пылу ожесточенного спора начали хвататься за кинжалы, прикрепленные к наборным серебряным ремням на их элегантных черкесках, а не на шутку перепуганная Мадам, приподнимая до колен подол своего длинного, пышного, но сильно декорированного платья с визгливым криком выбежала из зала, Ошир Тряпичный Котелок неохотно зашевелился. Он медленно поднялся с места и настойчиво постучал несколько раз концом своей трости о полированный паркет тесного зала, призывая не в меру разбушевавшихся членов городской Думы, среди которых пользовался уважением, выслушать и его мнение на этот счет. Наконец, когда воцарилась тишина, он, обводя внимательным и чуть насмешливым взглядом еще не остывших, шумно дышавших своих коллег, заговорил в своей обычной спокойной манере:

— Я вот думаю, господа, коль закрытие заведения Мадам счита-

ется покушением на принцип частной собственности, а наше городское управление не может взять на себя расходы, связанные с перемещением его в другое место, считаю целесообразным ... — Он поднял руку, сделав предупреждающий жест, ожидая возможных возражений и протестов со стороны коллег. — Только, господа, прошу меня не перебивать!.. Вот я считаю целесообразным оставить заведение Мадам на прежнем месте, но при одном условии, если она обязуется обнести свое заведение каменным забором высотой не менее четырех аршин, чтобы скрыть от посторонних глаз то, что происходит там...

Мало сказать, что предложение Ошира Тряпичного Котелка пришлось всем по душе. Они просто были в восторге, — как говорится, и волки сыты и овцы целы. В конце концов никому из этих людей всерьез не хотелось идти наперекор решению генерал-губернатора, которого они, несомненно, почитали и в то же время побаивались как ставленника самого царя. Кроме того, некоторые члены городской Думы, в том числе и кое-кто из тех, кто запальчиво «защищал» жалобу своих земляков, сами были не без греха. Они тоже время от времени, тайком от своих покорных жен, любили заглядывать в веселое заведение Мадам, с которой поддерживали «теплые сердечные отношения» и которая, к тому же, сама еще была недурна собой. Некоторые из них даже находили ее «аппетитной». Один из их коллег, сравнительно еще молодой мужчина, даже скончался от сердечного приступа в страстных объятиях этой «жрицы любви» в ее же заведении.

И вот после бурных дебатов по этому щекотливому вопросу в анналах Дербентской городской Думы по предложению Ошира Тряпичного Котелка появилось следующее поистине «соломоново решение»: «Оставить дом Мадам на прежнем месте с тем, чтобы он был обнесен кругом забором не менее четырех аршин высоты, чтобы обитательницы дома не были видны с имеющихся окон и не было разрешаемо им без нужды выходить за забор дома; при желании кого-либо выстроить такой дом — разрешить строить на тех же условиях».¹⁵⁸

Но этот полный, очень спокойный, с виду пышущий силой и здоровьем господин, был на самом деле больным и несчастным человеком. Ошир Тряпичный Котелок страдал желудком, почками, его душила астма. Богач, который мог позволить себе есть, пить что душа пожелает, из-за своего тяжелого недуга был вынужден отказывать себе

¹⁵⁸ Постановление Дербентской городской Думы приведено здесь дословно.

во многих жизненных удовольствиях, питался в основном молоком и до жути опротивевшим ему пресным творогом.

Когда Ошир Тряпичный Котелок женился на красавице Марал, в первую же ночь с новобрачными произошло нечто очень глупое и досадное, что едва не привело к разрыву между ними. Но виною этому было вовсе не то, о чем только что говорилось, то есть — болезнь и возраст жениха. Он, несмотря на свои недуги, медленно, но упорно, точно червь спелый плод, подтачивающие его от природы могучий организм, чувствовал себя еще мужчиной в полном соку. Притом за несколько лет скучной безрадостной вдовой жизни он порядком истосковался по женской ласке. Все эти годы Ошир Тряпичный Котелок ни разу не искал близости ни с одной женщиной, не пытался заводить любовниц, ни разу не посетил «веселое заведение» Мадам, не желая, как он говорил, есть «чужие объедки». Он был для этого слишком брезглив и целомудрен. Будучи человеком большой воли, он умел держать себя в руках.

Но в первую брачную ночь, войдя в спальню, где на постели со стыдливо опущенной головой покорно сидела его юная невеста, он сразу потерял обычное для него самообладание. Воспламененный страстью жених непривычными для него резкими, торопливыми движениями быстро снял с себя одежду, небрежно бросил ее на край пушистого ковра и кинулся обнимать свою невесту. Но девушка при виде его голой, толстой, волосатой фигуры испуганно закрыла глаза руками. Едва она ощутила на своем лице его жаркое, напряженное дыхание, ее охватил непреодолимый страх. На какое-то мгновение ей показалось, что на нее набросился голодный зверь, готовый проглотить ее живьем. Из стесненной груди потрясенной девушки вырвался крик ужаса. И она, впад в истерику, начала плакать, принялась отбиваться от него руками и ногами, пытаясь сбросить его с себя.

Ее крики, отчаянное сопротивление быстро отрезвили нетерпеливого жениха. Он в смущении сразу отстранился, встал и начал поспешно одеваться. А невеста, воспользовавшись этим, как угорелая вскочила с постели, побежала, путаясь босыми ногами в длиннополой сорочке, к закрытому окну с опущенными тяжелыми бархатными занавесками. Пряча мокрое от слез лицо в их складках, она, дрожа всем телом, как в лихорадке, принялась горестно восклицать одно и то же: «Ой, Худо-лей ме!..».¹⁵⁹

¹⁵⁹ «Ой, мой Бог (Боженька)!»

Ошир Тряпичный Котелок, сильно расстроенный и сконфуженный, медленно подошел к Марал и принялся утешать ее.

— Не плачь, милая, прошу тебя! — со сдержанным волнением в голосе, тихо и ласково произнес он. — Зачем ты так?..

Сказав это, он помолчал, а про себя невольно подумал: не совершил ли он глупую ошибку, взяв себе в подруги эту юную, красивую дикарку, которой он годился в отцы? Ведь такие неравные браки очень часто кончаются плохо, а иногда даже трагически. Опечаленный жених невольно вспомнил индийскую поговорку, которую он где-то слышал: «Старый муж — яд для молодой жены». Но тут же, оправдывая свой поступок, он принялся уверять себя в том, что бывают же исключения, когда старый муж и молодая жена живут как влюбленные? Да какой же он старик в сорок лет?!.. Это все так, продолжал он грустно размышлять про себя, но если она будет и впредь вести себя на такой манер: брыкаться, впадать в истерику, испытывать к нему отвращение и страх? Что тогда?!

Как ни неприятно и ни досадно было ему представлять себе такую невеселую перспективу, Ошир Тряпичный Котелок, будучи человеком умным, притом великодушным, сдержал свой гнев и досаду на невесту. Более того, он неожиданно даже для себя самого предложил ей, если она хочет, то может вернуться в дом своего отца. И что он без всякой обиды на нее разрешает ей это.

Марал слышала, что говорит ее жених, но не знала: верить ли его словам? Если даже то, что он говорит, — правда, что будет потом? Она знала, что отцу ее возвращение будет не по душе. Он непременно постарается уговором, угрозой, а то и побоями заставить ее вернуться к мужу, с которым она обвенчана, посчитает ее поступок безумным, скандальным и позорным. Кроме того, он будет бояться, что в случае ее ухода от Ошира Тряпичного Котелка, тот потребует у него все деньги до последней монеты, которые он дал как выкуп. А что делать, если от одного его прикосновения она испытывает страх и ужас и небо кажется с овчинку?

Когда Ошир Тряпичный Котелок засватал Марал, она первое время была рада и в то же время огорчена. Рада оттого, что и у нее будет муж, семья, как и у многих девушек ее возраста. Она невольно вспомнила, как некоторые ее бывшие подруги, теперь уже замужние, при встрече с ней кичились тем, что они: «Просеяли муку и сито повесили на гвоздь»¹⁶⁰. С притворным сочувствием наставляли ее:

¹⁶⁰ Поговорка. Здесь она означает: девичьи заботы и волнения, к счастью, закончились — дочери благополучно вышли замуж.

— До каких пор ты думаешь сидеть в девках?

— Ты что, милая, ждешь сына падишаха, когда он придет с богатым караваном, нагруженным сокровищами, чтобы взять тебя в жены?

— Не задирай хвост, что ты красавица. Выходи за того, кто судьба твоя. Знаешь поговорку: «Кто ищет себе дорогу среди цветов, тот натыкается на навозную кучу».

Хотя они не хуже нее знали, что не она, Марал, вольна выбирать себе мужа, а ее отец. Им просто хотелось похвастаться перед ней, незамужней, и почесать языки.

Как бы там ни было, Марал все же не могла удержаться от почти детского восторга при виде богатых подарков, которыми щедро одаривал ее жених. И то, что он дал за нее тысячу золотых монет рэхь-пули, тоже тешило ее самолюбие. Но в то же время она чувствовала себя при встрече с ним какой-то робкой, скованной и подавленной, боялась его строгого и важного вида, не смела смотреть ему в лицо. Она никогда не думала, что у нее будет такой старый и грозный на вид жених. Какая у нее будет жизнь с ним?.. Да еще те же подружки, которые раньше так торопили ее выйти замуж, чтобы не прозевать свою молодость, теперь, глядя на ее дорогую одежду, золотые украшения, подливали масла в огонь, с нескрываемой завистью говорили:

— Эле!¹⁶¹ За кого ты выходишь замуж, глупая?

— Зачем тебе, такой красавице, нужен такой старый жених да еще Али-Бобо?¹⁶²

— Мало ли что он богатый. Жена, прости за откровенность, спит в обнимку с милым, а не с богатством...

К тому же между сватовством и свадьбой прошел всего месяц. За это время она не успела хоть сколько-нибудь присмотреться к нему, привыкнуть. Да и встречались они всего два-три раза. Во время этих коротких встреч они больше молчали, чем разговаривали. И о чем могли говорить между собой эти совершенно разные по возрасту, характеру, воспитанию люди: респектабельный, чопорный сорокалетний жених с гимназическим образованием, сдержанными манерами, вращающийся среди таких же господ, как он сам, не раз побывавший за границей, и юная, совершенно неграмотная девушка, весь мир которой ограничивался главным образом пределами своего дома, махала, в лучшем случае своего небольшого города.

¹⁶¹ Эле! — междометие, выражение насмешки, иронии, а нередко искреннего удивления, недоумения.

¹⁶² Али-Бобо — так иногда называют толстого человека.

Марал уже не плакала и почти успокоилась, видя, что жених не упрекает, не грозит, не применяет силу — не тащит ее обратно в постель, настаивая на своих «супружеских правах». Более того, он обещает ей, что не потребует ни одного рубля тех денег, которые дал за нее. И даже хочет через нумаз объявить общине, что она вернулась домой девственницей, что даст ей возможность скорее выйти за парня, который ей по сердцу.

Наконец, когда девушка совсем успокоилась и, оторвав от занавески все еще мокрое от слез лицо, робко, искоса взглянула на Ошира Тряпичного Котелка своими большими черными глазами, а на вздрагивающей верхней губе обозначилась слабая улыбка, жених, вздохнув, оставил ее наедине с собой, а сам вышел во двор. Хорошо, что у дверей его спальни, как это заведено в первую брачную ночь, не стояли насто-роже енге.¹⁶³ Он, вопреки обычаю, не разрешил им ожидать его выхода с «платком» от невесты. Ошир Тряпичный Котелок еще с вечера дал каждому из них по червонцу и велел присоединиться к приглашенным на свадьбу гостям. А во дворе еще продолжалась свадьба: играла музыка, захмелевшие гости за обильно накрытыми столами громко провозглашали тосты за «влюбленного соловья и прекрасную розу», желали им счастья и большого потомства.

Оставшись одна, Марал задумалась над последними словами Ошира Тряпичного Котелка. Из всех молодых людей, которые были влюблены в нее и помогали ее руки, ей почему-то сейчас больше всего вспомнился смуглолицый парень с веселыми темно-кариыми глазами из ее махала. Этим юношей был Юсуф, тот самый дядя Юсуф, который рассказал мне любопытную и волнующую историю, вернее трагедию Марал.

Незадолго до сватовства, однажды в полдень, когда Марал с глиняным кувшином за спиной шла к колодцу, Юсуф, подкараулив девушку за углом, спеша и волнуясь, сказал ей:

— Марал! Душа моя! Я люблю тебя больше жизни. Ты не против, если я пришлю сватов к твоему отцу?

Марал знала этого парня, но они ни разу не встречались вместе, не говорили между собой. Поэтому вопрос Юсуфа застал ее врасплох, хотя она тоже втайне симпатизировала ему.

¹⁶³ Енге — доверенные лица (женатый мужчина и замужняя женщина), которым жених на свадьбе выносит платок с доказательством невинности невесты.

Обычно в подобных случаях Марал без лукавства и притворства отвечала так, как подобало благонравным и скромным девушкам:

— Я выйду за того, за кого пожелает мой дорогой родитель.

Хотя ответ ее ничего не решал, но девушка не смогла сказать ему, что в таких случаях обычно говорила другим парням. Зардевшись, она со смущенной улыбкой посмотрела на ожидавшего ее ответа взволнованного парня и вдруг с неожиданной для себя смелостью произнесла:

— Я не буду против, Юсуф. Пришли в добрый час твоих сватов!..

Сказав это, Марал, поправив на спине кувшин, тут же быстро удалилась, чтобы посторонние не увидели ее разговаривающей с чужим парнем на улице.

После встречи с Марал радостно возбужденный юноша сразу, не теряя ни минуты, как на крыльях, помчался к своей тете — сестре своего отца. С трудом переводя дух, он сообщил ей, что безумно любит дочь халвачи Худодота — Марал и пусть отец немедленно, не откладывая это дело в долгий ящик, засватает ее для него.

Это известие не только не обрадовало отца Юсуфа сколько-нибудь, наоборот, сразу повергло в глубокую печаль. Он долго сидел в задумчивости, нервно теребя седеющую бороду и морща коричневый от загара лоб.

В сущности, отец не видел ничего дурного в том, что его сыну нравится дочь Худодота и он хочет на ней жениться. Парню, слава Богу, пошел двадцать второй год, а девушка, в которую он влюбился, — красавица. Что бы о ней ни говорили злые языки — обычно «за жирной коровой ходит нож, а за красивой девушкой — сплетня»¹⁶⁴, она не только хороша собой, но (он в этом твердо уверен) и нравом. Да и его сын, Юсуф, хотя чрезмерно смугл, как абаш¹⁶⁵, но чтоб не сглазить, сильный, стройный, трудолюбивый и симпатичный юноша. Чем он не жених для такой красавицы? Но отец знал, что халвачи не выдаст свою дочь за его сына. Худодот — это давно всем известно — ждет богатого жениха, который даст ему за дочь большой выкуп. Им, беднякам, едва зарабатывающим на хлеб насущный, не по карману такой выкуп. Так зачем идти на поклон к нему, собака его укуси?!

Но не это, вовсе не это было сейчас главной причиной его печали. Если бы даже Худодот согласился без всякого выкупа выдать свою

¹⁶⁴ Пословица.

¹⁶⁵ Абаш — эфиоп.

дочь за его сына, он и тогда не желал бы, чтобы Марал при всех своих несомненных достоинствах стала его невесткой. Не хочет он этого лишь из-за своего брата, вернее его дочерей. У него их трое. И все три на выданье. Но никто из них не может выйти замуж. Старшая — потому что калека, хромая, вдобавок не удалась лицом, хотя и добронравная и работающая. А по обычаю, пока старшая сестра сидит в девках, младшие не должны выходить замуж. Такой поступок с их стороны был бы оскорблением старшей сестры. Поэтому, как положено в таких случаях между близкими родственниками, отец Юсуфа должен выручить брата, заставить сына жениться на хромой и некрасивой дочери своего дяди. Да и брат, который сильно переживает за судьбу своих взрослых дочерей, последнее время стал все чаще напоминать ему об этом.

Хотя браки между двоюродными братьями и сестрами в народе считались более предпочтительными и благословенными, согласится ли его сын жениться на своей двоюродной сестре-калеке, особенно теперь, когда сердце его пылает любовью к другой девушке, притом красавице? Вот что тревожило старика.

Шли дни и недели, отец, чуть ли не на коленях, просил, уговаривая своего первенца выкинуть из сердца дочь халвачи, ради родного дяди, его дочерей, во имя чести, намуса своего рода пожертвовать своими чувствами, согласиться жениться на своей старшей двоюродной сестре. В это время, к большому облегчению старика, богатый садовладелец Ошир Тряпичный Котелок засватал дочь халвачи, а вскоре, ровно через месяц после этого сыграл свадьбу и ввел невесту в свой дом.

После того, как Марал навсегда была потеряна для него, Юсуф, уступая настойчивым просьбам, уговорам и давлению со стороны отца, с тяжелым сердцем согласился сочетаться браком со своей нелюбимой двоюродной сестрой. Несмотря, однако, на то, что Марал не была виновата в том, что она не стала женой Юсуфа и в том, что ему пришлось пережить, женившись на хромой и некрасивой девушке, он тем не менее в своей израненной душе долго хранил обиду на нее, хотя, правда, никому не выказывал, таил глубоко внутри себя. Только изредка она у него нет-нет да прорывалась наружу, как в тот раз, когда он рассказывал мне ее историю.

Марал, однако, не покинула Ошира Тряпичного Котелка. Правда, прошло много дней, пока они стали жить как муж и жена, и надо сказать, полные доверия, симпатии и нежности друг к другу. Секрета этой перемены, особенно со стороны Марал, я, чтобы не затягивать пове-

ствования, не буду объяснять. Пусть читатель сам догадается, почему и как она могла произойти.

Ошир Тряпичный Котелок обожал свою жену, был ласков и предупредителен с ней. Даже, когда астма душила, как в тисках сжимала ему грудь, чтобы не тревожить, не расстраивать Марал, он старался скрыть от нее свое мучительное состояние, сохраняя на бледном лице нежную приветливую улыбку, незаметно глотая пилюли и вытирая испарину со лба.

Марал знала, что муж болен, в душе очень жалела его. Но поскольку сам он никогда не жаловался на свои недомогания, она не испытывала особенного беспокойства и тревоги за его жизнь и здоровье.

Замужем Марал еще больше расцвела и похорошела, была довольна собой и своей жизнью. Отправляясь с мужем на виноградники на собственном фаэтоне или разъезжая с ним по городу, разодетая в шелка, сверкая драгоценностями, она, горделиво откинувшись на мягкую, покрытую зеленым бархатом спинку фаэтона, чувствовала себя шахиней, восседающей на троне рядом со своим повелителем и супругом — шахом. Сам городской глава — столбовой русский дворянин — при встрече с Марал и ее мужем, приветствуя их, почтительно приподнимал шляпу. А начальник военного гарнизона (в Дербенте всегда из-за сложных отношений с соседними Турцией и Персией находился крупный гарнизон), бывалый генерал с седыми бакенбардами и гренадерскими усищами, щелкая каблуками и звеня шпорами, лихо, точно молодой, бравый корнет, отдавал ей честь. Молодые мужчины исподлобья бросали на богатую красавицу горящие взоры. Все это очень нравилось Марал, тешило ее самолюбие, вызывая в ней бурную радость.

Но предметом особой гордости и восхищения Марал была высокая белокаменная арка с высеченным профилем Ошира Тряпичного Котелка и священными надписями, возвышавшаяся над проезжей дорогой на краю журчащего арыка у входа во владения ее мужа, как символ их непоколебимого семейного благополучия и счастья. Верхняя часть арки покоилась на высоких круглых столбах. Вся она была выкрашена в разноцветные краски и производила на простодушную дочь халвачи неотразимое впечатление. Проезжая через фамильную арку, она чувствовала себя на седьмом небе, и наивно-восторженное воображение рисовало ей лучезарные райские ворота, услужливо распахнутые перед ней и ее мужем добрыми ангелами-небожителями.

Вдова брата — жена брата



Все люди видят сны: мужчины и женщины, старики и дети, богатые и нищие, цари и пророки. Еще в древние времена люди пытались проникнуть в тайны сновидений, сильно волновавшие их умы и воображение: почему человек видит сны? Он лежит неподвижно с закрытыми глазами, спит себе без задних ног, но видит себя во сне, видит такие картины, как будто все это происходит с ним наяву. Не является ли это чудом? Не ниспосылают ли сновидения боги, добрые или злые духи? Зачем, с какой целью? Какой скрытый смысл заложен в том, что видит человек во сне? К радости ли это или к печали, к добру или несчастью, к любви или разлуке?.. О чем сны вещают? Как защитить себя в случае угрозы, которую они предсказывают?..

Еще от древнего Египта до нас дошел «Сонник», который дает толкование двумстам снам. Количество «сонников» возрастало с каждой эпохой. Росла и армия толкователей снов в лице волхвов, гадалелей, прорицателей, мудрецов и прочих. Более трех тысяч лет назад библейский Иосиф Прекрасный, оклеветанный сладострастной женой своего господина — царедворца Потифара, был заключен в темницу, но за то, что удачно истолковал сон могущественного фараона, получил от него не только желанную свободу. Как повествует Библия, благодарный монарх сделал его вторым лицом после себя «над всею землею египетской».

Часто снились сны и молодой жене богача Ошира Тряпичного Котелка. Наутро, едва проснувшись, она первым делом спешила рассказать мужу о том, что видела во сне и простодушно просила истолковать ее сон. Просвещенный муж лишь добродушно посмеивался над ее наивными просьбами, ее страхами и сомнениями, вызванными увиденными во сне картинами. Он старался убедить ее, что то, что человек видит во сне, ничего на деле не означает. Не предвещает ни хорошего, ни плохого, не содержит никаких тайн или знамений, поэтому не нуждается в толковании. А если что-нибудь и сбывается из того, что снилось человеку, то это случайное совпадение. Поэтому вера в сновидения — это признак невежества и суеверия. И что сны видит не только человек, но и животные, и птицы.

После таких поучений Марал уже стеснялась рассказывать мужу о

своих снах. Но однажды она увидела сон, который сильно взволновал и напугал ее. И не на шутку обеспокоенная и встревоженная, она все же решила рассказать о нем.

Произошло это два года спустя после их женитьбы. Ей снилось, что ясным весенним днем, когда все вокруг цветет и благоухает, они с мужем сидят в собственном фаэтоне, счастливые и радостные, и под веселый перезвон бубенцов едут осматривать свои владения, расположенные в пяти-шести километрах от города, как всегда они делали это в весеннее и летнее время. Как всегда, на облучке сидит их верный домашний слуга семнадцатилетний паренек Бобои и управляет резвыми лошадьми.

Как только они подъехали к белой арке, стоящей у дороги на краю арыка, Ошир Тряпичный Котелок коснулся концом своей трости плеча слуги, чтобы он остановил фаэтон. Он слез сам и помог сойти молодой жене, затем, не говоря никому ни слова, к большому удивлению жены и слуги, тут же повернувшись к ним спиной, быстро зашагал вперед дальше по дороге, точно спеша куда-то. Очень скоро, когда Ошир Тряпичный Котелок оказался в каких-нибудь трехстах метрах от них, он на виду у пораженных супруги и слуги внезапно исчез, точно провалился сквозь землю. Обеспокоенный этим, слуга быстро спрыгнул на землю и со всех ног побежал за ним. Но добежав до того самого места, где пропал его хозяин, исчез и он. В ту же минуту и лошади стали проявлять непонятное беспокойство. Высоко задрав морды, с тревожным ржанием и развешивающимися тяжелыми гривами они пустились в стремительный бег, увлекая за собой фаэтон, который сильно подбрасывало и резко кидало из стороны в сторону. Через минуту их тоже не стало, точно растворились в воздухе.

Обезумевшая от страха и горя молодая женщина, издав душераздирающий крик, хотела было пуститься бежать по следам пропавших мужа, слуги и коней, но в полном оцепенении не могла сделать и шага. В этот самый момент небо неожиданно заволочло тучами, раздались оглушительные раскаты грома, сопровождаемые частыми вспышками молнии, а из глубины вздрагивающей, точно бьющейся в судорогах земли вырвался протяжный грозный рев. Марал совсем потеряла голову, когда арка, возле которой она находилась, вдруг, точно смертельно раненый сказочный великан, с трудом удерживающийся на ногах, покачнулась раз-два, затем с грохотом рухнула на землю, превратившись в большую груды беспорядочных камней, только чудом не раздавившую

ее саму под своими обломками, окутанными облаком густой пыли. И тут Марал, объятая ужасом, проснулась.

Когда Марал открыла глаза, то не сразу поверила, что все то, что она видела и пережила минуту назад, было всего лишь сном, дурным сном. Поэтому очень обрадовалась, увидев себя в уютной, красиво обставленной спальне, лежащей в мягкой чистой постели рядом с мужем, за широкой спиной которого она себя чувствовала как за каменной стеной.

Марал решила рассказать свой сон мужу, даже если он будет опять смеяться над ее наивностью. А когда она, приподнявшись в постели, со смущенной улыбкой посмотрела на мужа, то сразу замерла от охватившей ее смутной тревоги. Ошир Тряпичный Котелок лежал на спине без нательной рубашки, выставив широкую волосатую грудь. Его полное лицо было сейчас белым, как мел, глаза с сильно припухшими за ночь посиневшими веками неподвижно смотрели в высокий потолок, а широко раскрытый рот точно застыл в немом крике. Она осторожно, бояливо положила маленькую руку на лоб, затем на лицо, грудь мужа и тотчас же испуганно отдернула ее назад. Они были холодны, точно угасшие уголья в давно остывшем очаге.

Марал никогда не видела покойников вблизи, но всегда представляла их, как спящих: с закрытыми глазами и сжатыми губами. Поэтому она, вначале больше удивленная, чем взволнованная, принялась слегка тормошить и окликать его:

— Эй, мерд!¹⁶⁶ Эй! Что с тобой?

Но Ошир Тряпичный Котелок не отозвался на зов жены, не пошевелился. Теперь она стала по-настоящему волноваться, тормошить его изо всей силы и кричать на всю комнату:

— Ошир! Оши-и-ир! Не пугай меня! Зачем ты молчишь?!.. Оши-ир!..

Страшная мысль о том, что муж умер, молнией пронзила ее сознание. А невольная догадка, тут же пришедшая ей в голову, что ночью, он, видно, почувствовав себя плохо, проснулся и, вопреки своему обыкновению, на этот раз звал ее на помощь — иначе, почему он умер с открытыми глазами и открытым ртом, — а она, трижды проклятая, спокойно спала себе в это время — едва не свела ее с ума. Несчастная женщина считала себя чуть ли не виновной в смерти мужа.

¹⁶⁶ По татским семейным обычаям, считалось неприличным, если жена окликала мужа по имени. Вместо имени она звала его «Эй, мерд!» («Эй, мужчина!») или просто «Эй!».

Хотя Марал знала о болезни Ошира, но тем не менее внезапная смерть его показалась ей страшной неожиданностью, громом среди ясного неба. И она, потрясенная, взволнованная и очень напуганная, точно в беспамятстве, вскочила с постели, рвя на себе волосы и царапая в кровь лицо, в одной ночной сорочке, босая, простоволосая, с громкими рыданиями и отчаянными воплями выбежала во двор.

Сорок дней молодая вдова, одетая во все черное, убитая горем, не выходила за порог своего дома, держала по мужу траур. Она все это время проводила в слезах, в кругу женщин, которые приходили к ней в дом, чтобы вместе с ней оплакивать покойного, разделить ее горе. Печать глубокой печали и невыразимой скорби легла на ее прекрасное лицо.

И все сорок дней почти безотлучно находился в доме покойного его брат Эбой, который и ночевал здесь.

Он ни внешностью, ни характером не только не был похож на своего покойного брата, а являл собой его прямую противоположность. В отличие от полного, трезвого, солидного, всегда спокойного и уравновешенного Ошира Тряпичного Котелка, этот высокий, косая сажень в плечах, жилистый, прямой, как жердь, тридцатипятилетний мужчина имел нрав дикий и необузданный. Жесткие и прямые, как у кота, усы на смуглом с крупными чертами лице, большие воловь глаза с рассеченным нижним веком под левым глазом, глубокий малиновый шрам, пересекавший всю его левую щеку от виска до самого крутого подбородка — след кинжальной раны — придавали ему какой-то пугающий и свирепый вид. Притом в отличие от интеллигентного многознающего брата Эбой был малокультурным и невежественным человеком. Он с грехом пополам окончил начальную школу, а дальше ничто не могло заставить его учиться, продолжить образование: ни угрозы старого отца, ни его побои и увещевания.

В городе Эбой слыл скандалистом первой руки и опасным человеком. От малейшей обиды он моментально вспыхивал, взрывался, как бочка с порохом, и сразу хватался за кинжал. Не один человек в Дербенте носил на своем теле отметины от его кинжальных ударов, да и сам он не раз был ранен в кровавых уличных стычках с другими. Иного на его месте давно упрятали бы за решетку или загнали бы туда, куда ворон костей не заносит. Но каждый раз, когда его арестовывали, он выходил сухим из воды: дружеские связи уважаемого старшего брата, влиятельного члена городской Думы, и его щедрые пишкешиподарки помогали Эбою избежать наказания.

Но Ошир Тряпичный Котелок делал все это не из любви к своему единственному брату, дикие выходки которого осточертели ему до смерти и, кроме того, стоили не только многих хлопот и больших затрат, но и немалого беспокойства и душевного волнения. Он спасал его каждый раз потому, что скандальные истории этого сумасброда прямо или косвенно бросали тень и на их семью, на самого Ошира Тряпичного Котелка, как на старшего брата, который дорожил репутацией человека солидного, благородного, добрым мнением людей не меньше, чем своим достоянием и благополучием. И, конечно же, не меньше он дорожил и своим покоем, не только из себялюбия и эгоизма, которых, нельзя сказать, был лишен, но и из-за своего шаткого здоровья. Если бы брата за его непростительные поступки надолго засадили бы в тюрьму или сослали в Сибирь, то ему пришлось бы против своей воли обременить себя заботами о его детях — своих племянниках и племянницах, которые один за другим спешили появиться на божий свет. Такая в целом невеселая перспектива представлялась ему куда тяжелее и мрачнее, чем с помощью своих связей и тугого кошелька спасти непутевого брата.

Но в отличие от Ошира Тряпичного Котелка Эбой любил своего брата слепой и преданной любовью. Как принято в татских семьях, где младшие с самого раннего возраста воспитываются в духе почитания и преклонения перед старшим братом, Эбой клялся жизнью, именем своего брата, которого он боготворил и считал самым дорогим ему на свете человеком. Ради него он, не задумываясь над последствиями, готов был идти и в огонь и в воду, подвергнуть себя любым испытаниям и опасностям, даже если бы это стоило ему жизни. Однажды он только за то, что один из его земляков, такой же сумасброд и скандалист, как он сам, посмел оскорбить на улице Ошира Тряпичного Котелка, Эбой, придя в страшный гнев, отхватил тому кинжалом руку. А тот, здоровой рукой, пытаясь расцечь ему голову, промахнулся и угодил лезвием кинжала Эбою в лицо.

Хотя шрам, оставивший память на всю жизнь, портил, уродовал лицо, Эбой, однако, нисколько не жалел о своей поступке. И в душе даже гордился своим шрамом, как все равно солдат почетным рубцом на теле — следом раны, полученной в бою.

Однако все это было в прошлом, хотя и недалеко, но все же в прошлом. С годами его бывшее чувство к брату претерпело большие изменения. Эбой, видя, что у Ошира Тряпичного Котелка, в отличие от него, нет детей, и зная о его тяжелом недуге, с течением времени привык счи-

тать себя наследником своего единственного брата. Эта мысль настолько прочно укоренилась в его сознании, что Эбой в душе уже не желал брату, чтобы он когда-нибудь испытал счастье отцовства. Поэтому, когда тот женился на дочери халвачи, Эбой воспринял это как большой удар, не находил себе места, кипел от злости и негодования. После чего он совершенно перестал видиться с братом, разговаривать с ним.

Об истинной причине своего недовольства и возмущения братом он открыто не говорил никому. Свое негодование Эбой объяснял тем, что Ошир Тряпичный Котелок, женившись на безродной девушке, не только уронил себя в глазах родных и близких, оскорбил этим честь их знатного рода, да еще вдобавок дал какому-то «вонючему халвачи» одурачить себя, заплатив за его презренную дочь тысячу рублей золотыми монетами, которые в мыслях Эбой, конечно, тоже считал своими.

Правда, ненавидя свою юную невестку, как кровного врага, и посылая на голову старшего брата тысячу бед и напастей из-за того, что тот женился на ней, единственно чего он не желал ему — это смерти: сохранившаяся еще где-то в уголке его души какая-то искра прежнего чувства к брату не позволяла ему желать этого. Но как бы там ни было, истинная подоплека недовольства Эбоя была вовсе не уязвленная гордость кичливого богача, а боязнь: как бы юная, цветущая дочь Худодота не подарила мужу сына и таким образом не лишила его права на наследство. Но внезапная кончина Ошира Тряпичного Котелка, так и не ставшего, к несказанному удовлетворению и тайной радости Эбоя, отцом, разом развеяла его опасения и тревоги.

С первого же дня после смерти брата Эбой, вступив в свои права, взял на себя роль безраздельного хозяина в доме. Он лично договаривался с подрядчиком, который по его указанию нанимал и увольнял батраков, работавших на виноградниках покойного Ошира Тряпичного Котелка, отдавал необходимые распоряжения по дому, хозяйству.

Иногда Эбой, заходя в комнату, где в дни траура собирались женщины, садился в углу и оттуда все время беззастенчиво пялил свои бычьи глаза на вдову брата. Траурная одежда, выражение глубокой скорби и нежная бледность на лице, задумчивый и печальный взгляд придавали всему ее облику трогательный вид. И Эбой, несмотря на свою дикую, грубую натуру, понимавший толк в женщинах, находил ее очаровательно красивой.

Эбой, хотя не отличался особой добродетелью, но еще две-три недели назад, когда был жив Ошир Тряпичный Котелок, даже в мыслях

своих не допустил бы, что жена брата нравится ему как женщина. И при всей своей враждебности к ней и недовольстве братом, найдись такой безумец, который позволил бы себе чем-либо, хоть словом, оскорбить женскую стыдливость или честь его невестки, тому бы совсем несдобровать. Эбой, если бы и не снес ему голову, но в любом случае основательно пересчитал бы ему все кости. Этого требовали от него, независимо от отношения к брату и его жене, его мужской намус, обычай. Но теперь после смерти брата все обстояло иначе. Согласно опять-таки обычаю, установленному предками, если умирает мужчина, не оставив после себя сына, его здравствующий брат становится не только законным наследником и владельцем всего имущества покойного, но и законным мужем его жены, независимо от того, хочет ли он этого или не хочет. И она не имеет права уйти от него, выйти за другого.

Правда, приличие и уважение к памяти покойного требовали, чтобы, пока в доме траур, деверь не только не помышлял о какой-либо близости с его вдовой, как с законной женой, но даже ничем не обнаруживал своего желания и чувства к ней. Но Эбой, который еще недавно не прощал больному и несчастному брату то, что он якобы оскорбил честь их рода, женившись на девушке «черной кости», теперь, не стесняясь присутствия посторонних женщин, самодовольно поглаживая колючие усы, бросал на нее нетерпеливые, вожделенные взгляды. Теперь он не только не презирал, не ненавидел ее, напротив, казалось, лучшей женщины, лучшего подарка судьбы себе не желал. Еще не так давно одна только мысль о том, что она может родить ребенка, бросала его в бесильную ярость или повергала в уныние. Будучи по природе своей чадолюбивым отцом семерых детей, он теперь был вовсе не прочь, Бог даст, иметь ребенка и от этой красавицы.

Под неотступным, жадным и беззастенчивым взглядом деверя бедная вдова ежилась, как кролик под гипнотизирующим взглядом удава, то бледнея, то краснея от смущения, стыда и страха. Она страшно боялась этого человека и всей душой ненавидела его.

Будущий муж Марал был к тому же двоеженцем. Вступая с ним в невольный брак, она должна была, кроме всего прочего, мириться с унижительным, неравным положением младшей соперницы, быть у его жен в подчинении и покорно, молча сносить всевозможные обиды от них. Сам Эбой, правда, несмотря на свой дикий нрав и сумасбродство, по отношению к своим женам вел себя покладисто, даже нежно, насколько он был на это способен: не бил, не тиранил, как иные мужья. И

жены любили его. Каждая из них, соперничая с другой, старалась больше угодить ему, целиком завоевать его любовь и симпатию.

Марал знала об этом. Поэтому ей невольно приходило на ум, что Эбой, пожив с ней, рано или поздно под влиянием своих жен даст ей развод. И она вынуждена будет уйти, не имея права претендовать ни на что из наследства своего мужа. И уходить-то ей, собственно, теперь было некуда. Мать ее умерла, когда она была еще ребенком, а отца теперь тоже не было в живых.

Не впрок пошло бедному халвачи полученное им за красавицу-дочь золото. Три месяца спустя после свадьбы дочери, однажды рано утром его нашли повешенным на одной из потолочных балок в собственной кондитерской. Говорили, что какие-то грабители, узнав о том, что у старого халвачи завелись деньги, проникли ночью в кондитерскую и повесили его. Но по городу ходили и другие слухи, о которых знала и Марал: будто ее отца убил не кто иной, как ее деверь Эбой. Поводом для таких слухов, очевидно, послужил следующий случай.

Как-то раз, вскоре после женитьбы брата на дочери халвачи, Эбой, распаленный гневом против него, разъяренным тигром ворвался в кондитерскую. На виду у посетителей он обрушил на голову ошеломленного и насмерть перепуганного Худодота поток угроз и проклятий, обзывая его «низким холопом», «грязным сводником», ради выгоды подтолкнувшего свою смазливую дочь в объятия его больного и «слабохарактерного брата». И люди видели, как Худодот, у которого от страха, стыда и возмущения дрожали руки и голос, слезно клялся и божился Эбою в том, что он до того дня, когда сам Ошир Тряпичный Котелок не пришел к нему просить руки его дочери, нигде и никогда с ним не разговаривал. Да о чем, собственно, было ему говорить с таким важным господином, как его брат, а теперь божьей милостью и своим зятем? И что он, Худодот, хоть и беден, но честью своей дорожит не меньше, чем иные кичливые богачи. И что никогда и ни за что сам он никому не предложил бы свою дочь замуж, унизив себя этим, если бы даже это сулило ему шахскую казну или от этого зависели бы его жизнь или смерть.

Но возбужденный Эбой мало слушал халвачи и, покидая его кондитерскую, пригрозил расправиться с ним.

Марал знала характер своего деверя, знала о его недовольстве и возмущении братом в связи с его женитьбой и поэтому больше других верила этим слухам. Кроме личной неприязни к этому противному ей

человеку, она ненавидела его еще и как своего кровника, убийцу отца, хотя справедливости ради надо сказать, что к убийству халвачи Эбой был совершенно непричастен.

Но сейчас, размышляя над своим бедственным положением, Марал не знала, как ей быть, что предпринять. Мысли, одна горестнее и тягостнее другой, терзали ей ум и душу. «Мало того, что отец умер такой жестокой смертью и душа его не отмщенная блуждает по свету, не находя покоя,¹⁶⁷ — с ужасом думала Марал, — да еще я, дочь его, его кровь и плоть должна спать в объятиях его убийцы...»

Марал была уверена, что если она, даже против воли, станет женой Эбоя, то тень покойного отца будет вечно преследовать ее, немым укором стоять перед глазами, проклинать тот день и тот час, когда она появилась на свет на его погибель и позор.

Молодая вдова, привыкшая за эти два года к сытой и беспечной жизни, готова была претерпеть любые лишения и страдания, лишь бы не стать супругой своего кровника.

Но видя, какими плотоядными глазами смотрит на нее деверь, приводя в смущение и вгоняя в краску даже посторонних женщин, приходивших к ней в дни траура и с осуждением и насмешкой шептавшихся об этом друг с другом, Марал с тревогой в душе думала о том, что он, видно, ни за что не согласится дать ей развод, по крайней мере в ближайшее время, пока не поживет с ней, как с женой. А право на развод признается только за мужем — хозяином. Недаром же покойный отец, отправляя ее в дом мужа, напутствовал: «Войдешь, дочь моя, в дом своего мужа в этом венчальном платье и выйдешь оттуда только в погребальном саване». И Марал только сейчас, когда на нее свалилась такая страшная, непоправимая беда, стала по-настоящему понимать весь трагический смысл этих суровых слов.

Не привыкла Марал, да и не умела, что-либо решать за себя, самостоятельно. Когда она была девушкой, за нее думал и решал отец, после свадьбы — муж. И теперь она не знала, как ей, слабой, беззащитной, неопытной и одинокой женщине выйти из этого заколдованного круга, что ей делать.

За эти дни Марал заметно похудела, спала с лица, чувствовала себя совершенно разбитой и больной не столько уже из-за постигше-

¹⁶⁷ По поверью, пока кто-нибудь из родственников убитого не отомстит убийце или одному из близких ему родственников, кровь умершего будет «кипеть в могиле», а душа не будет знать покоя.

го ее тяжкого горя — смерти мужа, сколько из-за тревоги и непреодолимого страха, что станет женой ненавистного ей человека. Если Эбой с радостным нетерпением ждал конца траура, когда он сможет держать в своих объятиях эту хрупкую и прелестную женщину и чуть ли не на каждом шагу преследовал ее наглым похотливым взглядом своих бычьих глаз, то она, пряча от него испуганные глаза, молила в душе Бога, чтобы он, если ничего другого для нее не хочет сделать, то явил бы чудо — продлил бы до бесконечности этот траур.

Поскольку Бог чуда не явил и сороковой день — конец траура наступил в свой обычный естественный срок, Марал или должна была покориться своей участи или же на что-то решиться. А на что — она сама не знала, хотя все эти дни думала только об этом. И все ее мысли, усилия найти какой-нибудь выход из положения, в котором она оказалась, как птица в силках, точно наталкивались на непреступную стену. На сорок первый день молодая вдова, подстегнутая отчаянием, придавшим ей силу и решимость, не дожидаясь, пока Эбой войдет к ней на правах ее законного мужа, сама предстала перед ним. Хотя Эбой не ожидал первого шага с ее стороны, но в то же время не очень удивился этому. «Куда же деваться ей, бедняге!» — с довольной ухмылкой подумал он про себя. Эбой был уверен в том, что эта молодая и беззащитная двадцатилетняя женщина, у которой нет ни родителей и ничего за душой, пропадет без него за милую душу, без его мужского защитного крыла, тогда ей придется выпить до дна всю горькую чашу испытаний, страданий, которых в большом запасе у суровой жизни для таких, как она. И она, Марал, видимо, поняла это. Не ребенок же в конце концов!..

На какое-то мгновение в душе Эбоа появилось даже нечто похожее на жалость к ней, желание погладить по голове, приласкать. Но он сдержал этот порыв, также и другое свое желание, куда сильнее — немедленно схватить ее в свои объятия. Однако он ждал, пока она самакинется ему на шею, как к своей единственной опоре и спасителю, и признается ему в этом. И он, Эбой, великодушно примет эту вполне понятную и заслуженную им дань.

И в ожидании этой сладостной минуты Эбой, растянув рот в широкой улыбке и прищулив левый глаз с рассеченным нижним красным веком, привычно поглаживая пышный ус, молча и вожаденно разглядывал ее лицо, по-девичьи стройную фигуру, неподвижно застывшую перед ним. Эбой в этот момент искренно верил, что ей с ним будет не хуже, а даже лучше, чем с его покойным братом. Он, хотя был еще не

старый, но больной, холодный и скучный человек. Какой из него, с позволения сказать, муж для такой женщины, у которой самое время, когда играет кровь?..

Сейчас, бесцеремонно разглядывая ее, Эбой уже не жалел, что покойный брат ухлопал за нее тысячу золотых. Теперь они, эти золотые, вернулись к нему — его наследнику — в образе юной прелестной женщины. И эта мысль примиряла его с памятью покойного, тем более Эбой по натуре не был жадным. Это была в нем, пожалуй, единственная черта, сближавшая его с покойным братом.

Молчала и Марал, низко опустив голову. Хотя она внешне держалась спокойно, но слегка подрагивающие руки, напряженное дыхание, от которого часто вздымалась грудь, выдавали ее волнение, которое, видно, мешало ей говорить.

— Ну, чего ты молчишь? — с веселой улыбкой спросил Эбой.

— Дай мне развод! — вскинув голову, произнесла она вдруг дрогнувшим, но решительным голосом.

С трудом сдерживая подступившие к горлу слезы, она заявила: если он не даст ей развода, она обольется керосином и превратит себя в горящий факел на виду у всего города.

Ее слова настолько для него были неожиданными и расходились с тем, о чем он все это время мечтал, что Эбой, которого не так-то было легко смутить, устроить, сразу оторопел, растерялся. По выражению лица, голосу этой обычно тихой и безответной молодой женщины он понял, что это не пустая угроза и что она и впрямь может это сделать. Случаи самосожжения были нередки среди молодых женщин, доведенных до крайней степени отчаяния. У многих из них жизнь в доме нелюбимого мужа, где царили чрезмерно суровые патриархальные обычаи и традиции, под неограниченной властью капризной и своевольной свекрови — домашним тираном, — была не лучше, чем у невольницы. Видно, о таких свекровях говорили в народе: «У невестки во рту нет языка, а у свекрови над головой — Бога».

Хотя власти проявляли полную «лояльность, понимание и уважение» к обычаям местного населения, какими бы суровыми они ни были, а некоторые — просто дикими, но демонстративное самосожжение на виду у всех молодой красавицы, вдовы известного в городе богача и влиятельного члена городской Думы, которого сам русский царь удостоил дружеским рукопожатием, могло обратить на себя внимание, иметь для Эбоя неприятные последствия. Тем более в городе еще про-

должали ходить слухи о том, что невинная кровь халвачи лежит на нем, Эбое. В случае ее гибели ему, Эбою, могли припомнить и прошлые, еще не совсем и не всеми забытые скандалы. Тем более теперь, когда спастись его было некому.

И Эбой, который не отличался ни благоразумием, ни дальновидностью, все же столкнувшись с отчаянной решимостью и упорным сопротивлением Марал, дрогнул. Он с сердечным сокрушением был вынужден уступить, решив не доводить дело до греха, «выпустить пичужку из клетки» — дать ей талогъ — развод.

Но если для мужа не составляло большого труда дать жене талогъ — подготовил разводное письмо о том, что он ее «увольняет, разлучает...», подкинул ей или передал через другого и делу конец, — то развод с вдовой брата выглядел совсем иначе. Он был сопряжен с выполнением сложного обряда «Хьэлисо», не оставляющего почти никаких шансов для вдовы получить свободу и выйти замуж за другого человека.

Согласно этому обряду, деверь в присутствии нескольких старейшин должен был обуться в сапог, сделанный из пергамента и вымачиваемый сажей. Сапог прикреплялся от голени до самого колена хитроумно и искусно переплетенными ремешками и застегивался пуговицами, спрятанными как-то особо под ремнями. Вдова должна была прикреплять сапог к ноге деверя этими ремешками и пуговицами, а затем развязать ремни и расстегнуть пуговицы, не запутываясь и не сильно пачкая руки сажей. Если она справлялась с этой задачей, то считалась свободной и могла выйти замуж за кого пожелает, а если нет, то должна была «остаться вечной вдовой». Практически невозможно было справиться с требованиями этого обряда.¹⁶⁸ Поэтому, когда Марал поняла, чем может кончиться для нее обряд «Хьэлисо», она совсем растеря-

¹⁶⁸ По рассказам стариков, с которыми автор ещё до войны беседовал по поводу этого обряда, он у нас в народе почти не применялся, т.к. был связан с большим риском для женщины остаться вечной вдовой. Поэтому, как правило, деверь венчался с вдовой своего покойного брата и жил с ней как с законной супругой не меньше шести месяцев. После этого, если он не хотел жить с двумя или тремя женами, мог дать ей развод в обычном порядке. То же самое утверждает наш земляк ученый-этнограф Илья Щербатович Анисимов, который писал об обычаях (адатах), обрядах и поверьях своих соплеменников.

Впрочем, следует отметить, что те же старики считали, что обычай, по которому бездетная вдова должна стать женой или одной из жен своего деверя, был прежде всего в ее интересах — таким образом она приобретала законного мужа, который заботился о ее пропитании и защите.

лась, пришла в большое отчаяние и не стала настаивать на его исполнении. Эбой очень обрадовался этому.

— Вот хорошо! Вот молодчина! — искренне похвалил он ее.

Но когда Эбой, от переполнявшего его чувства хотел обнять ее, она испуганно отшатнулась, предупредив, что непременно исполнит свою угрозу — покончит жизнь самосожжением, — если он силой заставит ее жить с ним, как с женой. Эбой сразу расстроился, но не подал виду. Он решил не укорять, не ругать, не спорить с ней сейчас, не оказывать на нее давление. Кроме того, Эбой не мог не видеть, что она совсем больная, еле держится на ногах, а в последние дни с ней дважды приключился глубокий обморок. Зато теперь он был уверен в том, что раз она сама не настаивает на разводе, все образуется наилучшим образом. Другого пути, выбора у нее все равно нет, как смириться с положением его третьей жены.

А до следующего месяца Эбой решил удалиться к себе домой, провести его со своими женами и детьми, дать время Марал успокоиться и прийти в себя.

Но Эбой, прежде чем уйти, пошел искать слугу своего покойного брата Бобои. Он застал его в конюшне около лошадей. Слуга был угрюмый, молчаливый парень с большими натруженными руками и со следами давно перенесенной оспы на смуглом скуластом лице. Большие темно-карие глаза его смотрели на мир сонно, жалобно и угрюмо. И он производил впечатление человека, которого к его большому неудовольствию, в самый разгар крепкого сна разбудили, не дав выспаться. Притом слуга был малый с большими странностями. Он ни с кем не общался. Общество посторонних людей тяготило его. Был безразличен ко всему, что происходило вокруг. Он чувствовал себя свободно, более раскованно, как говорится, в своей тарелке, только оставаясь один, наедине с собой или лошадьми, за которыми присматривал. И почти все свободное время он или крутился возле лошадей, или же, зарывшись лицом в ворох сена, беспробудно спал. И сейчас, когда Эбой зашел в конюшню, он, лежа на куче сена, спал без задних ног, сладко посапывая. Сон его, видно, был настолько крепким, что Эбою пришлось поднять его лишь с помощью пары чувствительных пинков.

— Вот что, Бобои, — проговорил строго Эбой, с брезгливой гримасой оглядывая его распухшее от долгого сна рябоватое лицо с жалобно и сонно моргающими глазами и нескладную, слегка сутулую фигуру в помятой, провонявшей навозом одежде, густо облепленной соломой. —

Твоя хозяйка нездорова. Недели две-три, а может и месяц, пока она не поправится, не придет в себя, меня не будет здесь. Если ей вдруг станет плохо или с ней что-нибудь случится, беги сразу ко мне, одна нога здесь, другая — там! Понял?!..

Сказав это, Эбой заставил себя улыбнуться, и поскольку настроение у него сейчас в целом было хорошее, приподнятое, он покровительственно похлопав юного слугу по крепкой спине, дал ему на прощанье новенькую рублевую бумажку «на халву».

Бобой после ухода Эбоя постоял минуты две точно оглушенный, тупо разглядывая рублевую бумажку, переворачивая ее из стороны в сторону, силясь вспомнить, что собственно сказал ему новый хозяин и отчего он вдруг так расщедрился? Не то спросонья, не то с перепугу он ничего толком не разобрал из его слов. А догнать сейчас Эбоя, пока еще он недалеко, попросить, чтобы тот повторил то, что он сказал ему, робкий слуга, которому тоже был известен крутой нрав и драчливый, как у петуха, характер Эбоя, не решился, боясь получить от него пинки, подзатыльники. Поэтому, спрятав деньги в папаху, слуга, неопределенно улыбнувшись, безразлично махнул рукой, упал на кучу помятого сена и опять погрузился в сон.

* * *

За то время, пока молодая вдова должна была «поправиться и прийти в себя» и волей-неволей смириться с участью третьей жены Эбоя, в мире произошли события, всколыхнувшие весь свет и предreshившие не только судьбы многих миллионов людей, занятых своими повседневными делами и интересами, нуждами и заботами, горестями и радостями, но и целых царствующих династий, в течение столетий самовластно распоряжавшихся жизнью и смертью своих подданных — началась война между великими державами, вскоре превратившаяся в Первую мировую.

В Дербенте, как только стало известно о том, что Германия объявила войну России, по инициативе городских властей и членов местной монархической группы была организована шумная «народная манифестация». Впереди торжественного шествия в трогательном единении в этот «великий час испытаний» для судеб Родины и трона вместе с городским главой, членами городской Думы, начальником военного гарнизона и другими официальными лицами шли представители православного, мусульманского и иудейского духовенства и местной знати.

Вместе с ними шел, гордо закинув голову, и Эбой, ставший теперь после смерти брата одним из самых богатых людей в городе.

Манифестанты дружно направились к главной городской площади, которая находилась перед двухэтажным зданием городского управления. Здесь же возвышалась огромная церковь с голубым куполом, увенчанным позолоченным трехметровым крестом, сверкающим в ослепительных полуденных солнечных лучах. За официальными представителями местных властей, знати, четко отбивая шаг по гулкой мостовой, шли солдаты во главе со своими офицерами, одетыми в парадные мундиры при всех регалиях. За войском беспорядочной толпой тянулись служащие государственных учреждений и городские обыватели.

Манифестанты шагали под гром духового оркестра, с портретами царя и наследника, знаменами, транспарантами и лозунгами, то и дело выкрикивая угрозы в адрес «немецких разбойников» и патриотические возгласы.

Когда манифестанты достигли площади, перед заполнившей ее толпой выступили главы всех трех религиозных общин города: православный архиерей, человек богатырского телосложения, с длинной гривой и окладистой каштановой бородой, в черной просторной сутане и сверкающим серебряным крестом на шее; глава мусульманской общины, с короткой выкрашенной хной бородой, в белоснежной чалме хаджи, совершившего паломничество в священную Мекку, и в длиннополом коричневом абае; и иудейский доен — в мягкой каракулевой папахе, шелковом темно-синем бешмете, с густой черной бородой. Они один за другим вознесли молитвы во здравие «божьего помазанника», его августейшей супруги и всего царствующего дома о даровании победы русскому оружию над «немецкими супостатами».

На какое-то время наступила пауза, которую тут же заполнил оркестр гимном «Боже, царя храни!». Солдаты замерли в строю, офицеры вытянулись в струнку, подняв руки к козырькам. Как только гимн закончился, над площадью волной прокатилось трехкратное «ура».

После глав религиозных общин с наспех сколоченной по этому случаю из наструганных досок трибуны, украшенной большим портретом царя Николая Второго в мундире полковника гвардии, один за другим выступили ораторы. Начальник гарнизона, бывалый генерал, пригрозил «кичливому и самонадеянному» германскому императору Вильгельму Второму тем, что русские воины под священным девизом «За Веру, Царя и Отечество» дадут ему такой же предметный урок, какой

был дан его предку королю Фридриху Второму во время Семилетней войны, когда наши войска промаршировали по улицам Берлина.

Эти слова были встречены громкими криками, а военный оркестр тут же исполнил гимн «Коль славен наш Господь».

Последним от именитых горожан выступил перед собравшимися на площади Эбой. Он с утра был «под мухой». Ибо его бессвязная речь, насыщенная бранью, непристойными словами и угрозами в адрес «немецких разбойников», в другое время и в другой обстановке наверняка шокировала бы слушателей из среды почтенной публики, вызвала бы у них брезгливый ужас. Но присутствующие дамы и господа, сейчас слушая его, снисходительно и одобрительно улыбались. А когда не в меру ретивый оратор под воздействием винных паров и произносимых им угроз резким движением выдернул из ножен свой длинный кинжал и взмахнул им в воздухе как бы в подтверждение того, что он завтра же готов отправиться на войну, как он выразился, снести свиньи головы врагов, кто-то в толпе, придя в дикий восторг от его «пламенной» речи и особенно от его выразительного жеста, натужным голосом крикнул «ур-ря-ря!» Но его никто не поддержал.

Впрочем, судя по тому, что говорили в начале войны самые высокопоставленные лица и в Германии и в России, можно сказать, что каждая из этих противоборствующих сторон была уверена в своей быстрой и сравнительно легкой победе. Вильгельм Второй, напутствуя солдат и офицеров своей гвардии на фронт, уверял их в том, что они еще до осеннего листопада вернутся домой, то есть через каких-нибудь два-три месяца Германия выиграет войну. Не менее хвастливый и самоуверенный военный министр России генерал Сухомлинов говорил, что через месяц русские солдаты будут маршировать по улицам Берлина.

Однако вместо быстрой и легкой победы обе стороны и их союзники оказались в мясорубке долгой и изнурительной войны. А в результате разразившихся революций в России и Германии кичливый германский кайзер потерял корону и бежал из страны, а русский царь вместе с короной лишился и головы, что очередной раз подтвердило известную истину: предугадывать судьбу очень рискованно. Как не вспомнить в этой связи вещие слова великого Горация: «Не спрашивай, не выпытывай, Левкония, нам знать не дано, какой конец уготовили тебе и мне боги...» А еще проще говорит об этом народная мудрость: «Не говори «гоп!», — пока не перепрыгнешь».

В отличие от государственных служащих, чиновников, военных и

богатого сословия население этого небольшого типично азиатского города, находящегося на далекой южной окраине обширной Российской империи, не разделяло их воодушевления и воинственного настроения. Подавляющее большинство жителей, придавленное нуждой, постоянной заботой о хлебе насущном, темнотой, вообще не знало, где и что творится в мире, что за народ эти «немей», которых так поносят, где они обитают, что не поделили между собой народы немецкий и русский, из-за чего собственно сыр-бор разгорелся?.. Зато те же бедняки, простые люди, у которых жизнь и без того была полна забот и невзгод, хорошо понимали, что война для них — новые жертвы, новые беды, новые налоги, лишения и страдания.

На второй же день войны несколько сот резервистов было мобилизовано в армию. Кроме того, в городе в срочном порядке приступили к составлению отряда добровольцев из местного населения для отправки на фронт. Группа учащих старших классов реального училища, открыто выступавшая против войны, была арестована, а некоторые преподаватели, поддержавшие «смутьянов» и «подстрекавшие» их «к бунту», уволены с работы и взяты под строгий надзор полиции.

Были произведены аресты и среди рабочих железнодорожного депо. Здесь на единственном промышленном предприятии Дербента трудился сравнительно большой коллектив рабочих, состоявший главным образом из русских. Они в знак протеста против войны объявили забастовку. Власти, опасаясь распространения их «вредного влияния» на окружающих, всех арестованных объявили мобилизованными в армию и этапом отправили на фронт.

Три дня спустя после памятной манифестации и шумного митинга на городской площади, на котором Эбой был одним из «пламенных» ораторов, он верхом на сером в яблоках иноходце тихим, размеренным шагом, точно выступая на параде, въехал во двор своего покойного брата, вернее, теперь в свой собственный двор. Конь под ним, украшенный расшитой розовой бархатной попоной с бахромой, был высокий, стройный, с горящими глазами; пышный хвост был завязан в тугой узел.

Вид у Эбоя сейчас был весьма импозантный. На нем была новая с иголочки (с серебряными газырями) элегантная черкеска кремового цвета, красиво облегавшая его высокую ладную фигуру. Вместо кинжала, который он обычно носил, у него сейчас на левом боку висела длинная кавалерийская сабля, а на правом — револьвер в желтой блестящей кобуре. На голове Эбоя красовалась лихо заломленная каракулевая па-

паха, а на прямых плечах — свеженькие вахмистрские погоны — предмет его особенной гордости.

Горделиво откинувшись в седле, он левой рукой придерживал повод, а правой, на которой висела плеть, упирался в бок.

Эбой и раньше числился вахмистром запаса. Он однажды проходил переподготовку в школе унтер-офицеров в кавалерийских полках, сначала при дербентском военном гарнизоне, а затем в городе Темир-Хан-Шуре, где находилась резиденция генерал-губернатора Дагестанской области. После окончания школы ему было присвоено звание вахмистра запаса. Теперь, видно, он был бесконечно рад тому, что наконец настало время, когда он сможет щеголять в вахмистрских погонах, и в душе лелеял мечту в скором времени в связи с войной сменить их на офицерские.

Марал в это время стояла на веранде, бледная, печальная, горестно сложив руки на груди и опустив глаза. По траурной одежде, которую она до сих пор не снимала, по ее бледному лицу и скорбному виду не трудно было догадаться, что она еще не оправилась от обрушившегося на нее горя.

Подъехав к дому, Эбой, натянув на себя поводья, остановил лошадь. Не меняя позы, он продолжал еще сидеть в седле, чтобы дать возможность Марал полюбоваться на него, на его погоны, которыми Эбой, видимо, хотел ослепить ее. Сдерживая самодовольную улыбку и играя глазами, Эбой исподлобья бросал нетерпеливый, испытующий взгляд на молодую жену, с которой ему, к его большому огорчению, еще не удалось провести ни одной ночи. И новоиспеченный вахмистр до того пыжился, напуская на себя важность, то и дело покручивая жесткие усы, что она, несмотря на подавленное удрученное настроение, в котором пребывала, невольно наблюдая за ним, не удержалась от насмешливой улыбки. И чтобы, не дай Бог, не расхохотаться, она, до боли прикусив нижнюю губу и потупив глаза, уставилась в пол.

Решив, что дал ей достаточно насмотреться на себя, Эбой легко спрыгнул с коня. Поспешно накинув повод на шею лошади, он, гордо выпрямившись, придерживая левой рукой эфес сабли, быстро, словно танцуя на ходу, торжественный и сияющий, взбежал по невысокой деревянной лестнице. Остановившись перед Марал, Эбой нарочно, точно балуясь, вытянулся в струнку, встав по команде «смирно», и, держа правую руку, на которой висела плеть, у виска, громко, по-военному отряптовал, будто своему непосредственному начальнику:

— Ва-ш высокоблагородиэ! Вахмистр такой-то явился в ваш распоряжениэ сраком на ... час! — И желая объяснить причину столь короткого визита, он, энергично взмахнув рукой над головой и словно сообщая о чем-то радостном и очень важном, добавил громко и коротко: — Эду воевать!..

Отправляясь сейчас к Марал, Эбой не только надеялся, но почти был уверен в том, что она за этот месяц с лишним, что он не видел ее, наверняка, отошла, успокоилась. Иначе, мол, и быть не могло. Она даже приятно удивится, увидев его в таком великолепном наряде, при погонах. А когда Марал узнает от него, что он едет на фронт, она от неожиданности и испуга даже охнет, расстроится, бедняга, заплачет. Хотя она и женщина, но, должно быть, понимает, представляет себе, что война — это не забава, не игра в жмурки. Там на войне на каждом шагу человека подстерегает опасность, он каждый час, каждую минуту, каждый миг может быть убит, изувечен. Чужого и то жалко, а он как-никак муж ей...

И Эбой верил, что эта встреча с Марал будет теплой, сердечной и трогательной. И она на прощанье позволит ему заключить ее в горячие объятия...

Размышляя сейчас об этом, Эбой уже в который раз искренне недоумевал, почему Марал настаивала, чтобы он дал ей развод. Ведь в ее положении это было не только глупо, но и сущее безумие. А такой, как он, муж — богач, состоятельный человек, к тому же еще молодой, полный сил и здоровья, — на улице не валяется. Неужели это желание Марал было вызвано ее обидой на него за то, что он сердился на брата из-за его женитьбы на ней, не разговаривал с ним?..

А что Марал, помимо всего прочего, считала его убийцей ее отца, Эбою и в голову не приходило. Эбой сам после бурного объяснения с халвачи, когда он, разъяренный, ворвался к нему в кондитерскую, понял, что отец девушки был ни при чем. Да и не такой был его брат человек, которого можно было легко надуть, обвести вокруг пальца, тем более такому простаку, как покойный Худодот. А то, что он, Эбой, в тот день, с шумом покидая его кондитерскую, пригрозил расправиться с ним, то это было сгоряча, в порыве гнева, просто так, для отвода души. Поэтому об этом случае он начисто забыл, словно его вовсе и не было.

Но ни импозантный вид, ни вахмистрские погоны Эбоя, ни его сообщение о том, что он едет воевать, казалось, не произвели никакого впечатления на Марал. Вопреки ожиданию, она стояла перед ним без-

участная, хмурая, скорбная и совершенно безразлично глядела куда-то мимо него. Это сразу расстроило и сконфузило Эбоя. Он с горечью и обидой подумал, что за это время в ее чувствах к нему не произошло никаких перемен, что она по-прежнему относится к нему холодно и отчужденно и что все его нетерпение и старание вызвать к себе ее доверие, уважение и симпатию оказались напрасны.

Веселое, приподнятое настроение, с каким он приехал, предстал перед ней, сменилось горьким разочарованием и досадой. Эбой тяжело вздохнул, молча оглядывая ее застывшую тонкую фигуру, такую близкую и вместе с тем далекую. После короткого тягостного молчания он, осторожно взяв ее за плечи, заговорил голосом, в котором прозвучали мольба и скрытый упрек:

— Давай, женушка, хоть на прощание побудем немного вместе.

Марал, испугавшись его прикосновения, а еще больше его слов, вздрогнула и мигом отскочила назад. Ее глаза глядели на Эбоя с каким-то ужасом и неприкрытым отвращением. Но непокорность Марал, ее упрямство, тем более сейчас, когда он идет на войну, откуда, неизвестно, вернется живым или нет, окончательно вывели Эбоя из себя. Его густые широкие брови грозно сдвинулись, бычьи глаза налились кровью, как это обычно бывало с ним, когда он вдруг вспыхивал гневом, а лицо побагровело так, что не стало заметно даже багрового шрама на щеке.

— Я что, по-твоему, сделан из бревна или камня?!.. Хватит крутить хвостом! — закричал он не своим голосом, грозно вращая глазами. — Ты жена мне или кто?!..

Не дав Марал опомниться, Эбой тут же схватил ее в охапку, легко, точно перышко, поднял на руки и поспешил с ней в ее спальню. Сердце бедной женщины замерло от страха и провалилось куда-то, по всему телу прошла дрожь и она, забившись в его руках, точно птица в когтях коршуна, закричала изо всех сил:

— Пусти меня!.. Пусти меня! Я ненавижу тебя!.. Пус-ти-и-и!..

Но Эбой, распаленный неистовым желанием обладать ею и разгневанный ее непокорностью, сгоряча наступая ногами на свисавшие длинные косы Марал, концы которых волочились по полу, не обращал внимания на её истошные крики.

Вдруг Марал внезапно умолкла, тело ее обмякло, руки и ноги беспомощно свесились, а глаза закатились, как у мертвой. Эбой, хотя и догадался, что с ней опять случился обморок, все равно испугался не на шутку, как бы она и впрямь не испустила дух, если он сейчас не оставит

ее в покое. Все еще кипя от злости, он поднес Марал к кровати и как какой-то неодушевленный предмет с сердцем швырнув ее, бесчувственную, на постель, тут же, не оглядываясь, с громкой бранью, заспешил во двор. Пройдя к лошади, смирно дожидавшейся своего хозяина, не касаясь ногой стремени, ловко прыгнул в седло и, резко взмахнув плетью, словно желая сорвать на ней сердце, с силой огрел животное. Конь от неожиданного удара и боли весь встрепенулся. Он с громким, возмущенным, протестующим ржанием сразу встал на дыбы, сильно мотая головой, едва не скинув хозяина со своей спины. Затем, резко опустив на землю передние ноги, сорвался с места в галоп, промчавшись через настежь открытые ворота на улицу.

Когда Марал пришла в сознание, солнце смотрело в окно и заливало комнату розовым светом, от которого находящиеся в ней предметы, казалось, принимали какой-то неестественно волшебный блеск. Она сначала очень удивилась и никак не могла сообразить, каким образом она оказалась здесь, на кровати? Почему она лежит, когда на дворе день и светит солнце, что с ней произошло?.. Но через несколько минут у нее понемногу начало проясняться в голове, и она медленно, с трудом, словно сквозь какой-то теплый, липкий и одуряющий туман, нагоняющий вялость и сонливость, начала восстанавливать в памяти то, что случилось с ней только что, может, всего четверть часа тому назад.

Хотя она чувствовала чрезмерную слабость и невероятную усталость во всем теле, словно налитом свинцом, а перед глазами все качалось и плыло, Марал через силу заставила себя подняться. Ступая осторожно, неуверенно, точно по мокрой скользкой тропе, она прошлась так несколько раз по комнате взад-вперед. Затем, остановившись возле кровати, подняла глаза, полные печали и боли, на портрет мужа, висевший на стене в позолоченной рамке. С портрета муж смотрел на нее своими умными, спокойными и немного грустными, все понимающими глазами, какими она запомнила их навсегда. Сердце Марал внезапно дрогнуло и закипело слезами, как котел на сильном огне.

— Ошир, дорогой мой, свет очей моих, если бы ты знал, как тяжело мне, как я страдаю!.. Почему ты оставил меня, сироту несчастную? Почему я не умерла с тобой в ту роковую ночь, когда Азраил¹⁶⁹ унес твою душу? Что мне делать, как мне жить?..

Слезы, частым дождем хлынувшие из глаз, душили ее, мешали го-

¹⁶⁹ Азраил - ангел смерти.

ворить, а выговорить ему, единственному близкому и родному, надо было непременно. Ведь за это тяжкое время после его смерти столько наболело, накопело у нее на сердце, если не высказаться, не излить душу, оно не выдержит, разорвется...

От сильного расстройств у Марал опять голова пошла кругом. И она, не в силах стоять на ногах, тяжело опустилась на пол. Подобрав под себя ноги и не сводя затуманенных мокрых глаз с портрета мужа, она принялась, как это делают наши женщины на похоронах близкого человека, бить себя по груди и коленям, причитать, оплакивая свою горькую участь.

К вечеру Марал почувствовала сильное недомогание. Ее от слабости покачивало и знобило, как в лихорадке. В ушах стоял какой-то немолчный шум, точно она находилась у быстроводной реки, а к горлу подступала тошнота. Все, что она пережила за последние недели, видно, совсем подточило ее физические и душевные силы. Поэтому она сегодня раньше обычного легла, стараясь как-нибудь уснуть, забыться. Единственным для нее утешением теперь, в связи с отъездом Эбо в армию, было то, что этот ненавистный ей человек, во власть которого ввергла ее немилосердная судьба, внушающий ей почти суеверный ужас и отвращение, не скоро вернется назад, а может, там на войне оставит свою шальную голову и навсегда исчезнет из ее жизни.

Вскоре озноб прошел, но он сменился сильным жаром. Бледные, похуевшие щеки Марал покрылись ярким нездоровым румянцем, и вся она словно горела в огне. Всю ночь Марал металась в бреду, то неистово кричала, отбиваясь руками и ногами от кого-то или от чего-то, призывая на помощь, то заливалась, точно безумная, громким истеричным хохотом, то горько плакала, сетуя на свою несчастную долю...

Лишь на следующее утро она успокоилась, пришла в себя. Марал сначала как в тумане, издали, а потом совсем близко и отчетливо увидела перед собой своего слугу Бобои, который сидел на краешке стула у ее постели. Вихрастая, нечесаная голова слуги медленно склонялась набок, веки были опущены, рот широко открыт, точно застыл в зевоте. В правой руке, лежавшей на колене, он держал мокрую тряпку. Его широкое, скуластое, с оспинками лицо было серым, утомленным: видно, он не спал всю ночь.

Марал тихо окликнула слугу. Тот, услышав голос хозяйки, сразу вздрогнул, усиленно заморгал глазами и встряхнул головой, как бы собираясь сбросить с себя сонное оцепенение. Потом, точно спохватив-

шись, тут же встал и быстро отошел в сторону, нечаянно уронив тряпку на ковер.

— Как ты себя чувствуешь, тетя Марал? — справившись с минутным замешательством, с застенчивой улыбкой спросил он сиплым голосом.

Весь вид его выражал сейчас сострадание и вместе с тем тихую радость: слава Богу, хозяйке полегало.

Хотя хозяйка была старше слуги лишь на два-три года, но из почтения к ней, он называл ее «тетя Марал».

— Спасибо, Бобои, спасибо, дорогой, — глубоко тронутая его беспокойством и заботой, тихо и ласково проговорила Марал. — А я, признаться, не знала, что лежу больная.

— Хм, «лежу больная!» — как бы удивляясь ее словам, воскликнул Бобои, грустно усмехнувшись и пожав плечами, а потом со свойственным ему наивным прямотушием, с тревогой и горечью добавил: — А я думал, ты умираешь совсем или того ... сошла с ума. Я такого страха натерпелся, хо-хо!..

Но о том, что он не спал всю ночь, все время дежурил возле ее постели, накладывая холодные примочки с уксусом на ее пылающий лоб, с усилием вливал ей в рот сладкий щербет, чтобы сердце его госпожи «держалось на месте» и прикрывал ее одеялом, которое она то и дело сбрасывала с себя в бредовом забытии — обо всем этом он промолчал. Он сам едва держался на ногах, но старался не подавать виду.

Бобои, несмотря на то, что был всего лишь слугой, пользовался добрым расположением своего бывшего покойного хозяина и хозяйки. Отношение к нему с их стороны было мягким, снисходительным. Бобои наверняка давно бы умер голодной смертью или околел где-нибудь под чужим забором в одну из зимних ночей, если бы случай не свел бездомного сироту со своим будущим хозяином.

Лет пять назад однажды весенним утром Ошир Тряпичный Котелок, выйдя во двор, вдруг заметил под навесом, где стояла глиняная печка-харек для выпечки лепешек, лежащего чужого человека. Подойдя ближе, он еще больше удивился, увидев рядом с ним спокойно дремавшую дворовую собаку, которая, свернувшись калачиком, тихо скулила во сне.

Неизвестным, который забрался в чужой двор, оказался мальчик-подросток лет тринадцати. Он был страшно худ — кожа да кости, в грязных вонючих лохмотьях, без шапки и обуви. Мальчик спал с широ-

ко открытым ртом, запрокинув скуластое лицо в оспинках. Мухи роем кружились над ним, словно над бездыханным телом, облепили рот, закрытые веки, ползали по голым, покрытым грязью, тощим, потрескавшимся подошвам: он их не чувствовал — спал как убитый.

Ошир Тряпичный Котелок, сердито скосив глаза на собаку, мирно спавшую с мальчиком-бродягой, невольно подумал про себя, что тот, видно, не впервые забирается во двор, коли она не только не накинулась на него, а напротив, по-приятельски улеглась рядом с ним.

Пес, почуяв появление хозяина, неохотно и медленно поднялся с места. Разинув рот и потягиваясь, он взвизгнул жалобно, потом, осторожно и виновато покосившись глазом на хозяина и по его сердитому виду поняв, что ему сейчас попадет из-за непрошеного гостя, сразу дал тягу.

Ошир Тряпичный Котелок подошел близко к спящему, молча склонился над ним и резким движением крепко схватил его за руку. Тот, вздрогнув всем телом, сразу проснулся, широко открыв глаза, со страхом посмотрел на него. Поднявшись мигом, мальчик, свободной рукой поправляя штаны, которые у него, видно, плохо держались, сделал отчаянную попытку вырваться из рук Ошира Тряпичного Котелка, но тот еще крепче сжал его руку в своей. Почувствовав, что ему не удастся освободиться, он проникся еще большим страхом, завопил вдруг пронзительно и жалобно, заслоняя рукой лицо в ожидании ударов (наверно, его не раз били за подобные дела).

— Дяденька, милый, не бей меня! Я не вор, клянусь Богом, я не вор! Я только спать прихожу сюда! Дяденька, у-у-у!..

Слезные мольбы и отчаянные крики перепуганного мальчика, которому Ошир Тряпичный Котелок и впрямь собирался задать хорошую трепку, чтобы он больше не забирался к нему во двор, весь его жалкий и несчастный вид, смутили, тронули богача.

— Не бойся, я тебя бить не буду! Я верю, что ты не вор, не бойся, — с необычным для него волнением принялся он успокаивать плачущего мальчика.

И чтобы он поверил ему, Ошир Тряпичный Котелок выпустил его руку из своей и заставил себя даже улыбнуться. Подавив брезгливость, он чуть дотронулся своей мягкой пухлой ладонью до его черной, покрытой гнидами взлохмаченной головы. Мальчик, почувствовав себя свободным, не пустился, однако, бежать, хотя и продолжал смотреть угрюмым, испуганным взглядом затравленного зверька, одной рукой нелов-

ко придерживая падающие штаны, а другой вытирая слезы, которые все еще текли у него из глаз.

— Хочешь, оставайся у меня, плохо тебе не будет, — вдруг великодушно предложил он мальчику, а потом чуть помолчав, спросил: — За лошадьми сможешь присматривать?

Ошир Тряпичный Котелок по примеру некоторых дербентских богачей недавно купил фаэтон, завел пару отличных лошадей, и ему как раз требовался человек, который постоянно находился бы при них.

Как только мальчик, который не успел еще как следует прийти в себя, услышал о лошадях, он моментально оживился, сразу перестал хныкать, а мокрые глаза его неожиданно заблестели весело и озорно.

— За лошадьми?!.. — задохнувшись от радости, воскликнул он, придерживая штаны, которые у него на этот раз чуть не упали совсем, когда он, услышав такое предложение, взмахнул одновременно обеими руками. — Да я люблю лошадей больше жизни!..

Совершенно забыв о том, что каких-нибудь две-три минуты назад он весь трепетал от страха, как под ножом Азраила,¹⁷⁰ перед этим полным и грозным на вид господином, мальчик тут же, с необычной для него живостью, принялся перечислять известных ему горожан, у которых были свои лошади, рассказывать о том, как он за кусок хлеба, а иной раз просто задаром сам, добровольно, напрашивался к ним убраться за их лошадьми, чистить их, водить купать на море.

Вот так Бобой стал слугой в доме Ошира Тряпичного Котелка, совмещая обязанности конюха, кучера, сторожа и домашнего слуги. Для жилья ему отвели место в маленькой пристройке рядом с конюшней.

Мальчик и впрямь оказался большим лошадиником. Он старательно ухаживал за животными, в день по несколько раз менял под ними подстилки из соломы, чистил их, следил за тем, чтобы кормушка никогда не пустовала. А с весны и до середины осени он каждый день водил купать лошадей на море. И чтобы они выглядели красивыми, маленький слуга любовно заплетал в косички их тяжелые гривы, расчесывал и распушивал длинные пышные хвосты, награждал своих любимцев ласкательными прозвищами. А все свободное время он только и делал, что спал без задних ног в углу конюшни, растянувшись на куче сена, под громкий лошадиный храп.

¹⁷⁰ По поверью татов, Азраил появляется у постели умирающего с кривым ножом в руке, который виден только обреченному на смерть.

Настоящим праздником бывал для Бобои день, когда он по указанию хозяина запрягал в фаэтон сытых, хорошо ухоженных, чистых, с лоснящейся шерстью лошадей и под переливчатый звон бубенцов, прикрепленных к их хомутам, выезжал с ним и хозяйкой на виноградники или просто разъезжал по городу. Этот обычно апатичный, сонный и нелюбимый парень совершенно преображался, когда, сидя на козлах, держал в своих руках вожжи и кнут с тонким длинным кожаным бичом. Надо было видеть, как он от переполнявшей его гордости и радости то и дело вскакивал с места, громко подзадоривал лошадей своим излюбленным «Ге-ге-ей, мои ласточки! Ге-ге-ей, мои соколики!..», распевал для них, не стесняясь присутствия хозяина и хозяйки, какие-то непонятные и одному ему известные песенки или беспричинно заливался тихим, счастливым смехом. Глаза его в такие минуты совершенно утрачивали свое обычное сонное и жалобное выражение, а нередко смотрели почти дерзко, сияли восторгом.

Хозяин был доволен слугой, тем более, что за его усердную работу ему ничего не приходилось платить, кроме как кормить его со своего стола и заботиться о его одежде. Да и молодая хозяйка, сама выросшая в бедности, лишенная предрассудков и высокомерия, нередко свойственных людям из богатых семей, несмотря на странности слуги, относилась к бедному сироте хотя и несколько насмешливо, но благожелательно, без неприязни. Лишь иногда, когда почему-либо сердилась на него, она брезгливо морщила тонкий изящный нос и, чтобы поддеть его, с преувеличенным ужасом восклицала, махая на него руками:

— Ф-ф-фи-и! Какой вонючий! Прочь с моих глаз сейчас же!..

...Вот и сейчас, как только он услышал голос своей хозяйки, тут же вскочил со стула, который стоял у изголовья ее кровати, скромно отошел в сторону, боясь, что ей будет неприятно от того, что он рядом и от него исходит неприятный ей запах конюшни. Марал, поняв это, сама смутилась, виноватая улыбка появилась на ее бледном болезненном лице.

— Не стой так, садись, — указывая глазами на стул, на котором он только что сидел, слабым голосом произнесла она.

— Нет, не сяду, — решительно замотал он головой. — Мои лошади с вечера голодные, не кормленные — я уже дважды слышал их ржание — зовут меня.

Марал в ответ лишь кивнула головой в знак согласия: говорить у нее сейчас не было ни сил, ни настроения. К тому же она считала, что он прав, ему надо уходить, тем более его помощь ей сейчас не требуется, да

и самой ей надо попытаться встать и как-нибудь привести себя в порядок. И Бобой, подняв с пола тряпку, поспешил к выходу.

Оправившись от болезни, Марал первым делом отвела для слуги маленькую комнатку, совершенно изолированную от остальных ее комнат, которая помещалась в конце веранды и использовалась до этого как кладовая.

Велев Бобой переселиться поближе к себе, она тогда и в мыслях не допускала того, что произойдет потом между ними и, к несчастью, кончится непоправимой бедой для обоих, в особенности для юного, наивного, простодушного слуги. Она предприняла это единственно ради своего спокойствия. Марал, хоть и жила в доме, окруженном высоким каменным забором с крепкими воротами, но ей, молодой и одинокой женщине, было спокойнее, когда рядом находился свой, близкий, преданный человек. Кроме того, хозяйка жалела Бобой, особенно после того случая, когда она лежала в горячке, а слуга ни на шаг не отходил от ее постели, волнуясь за ее жизнь и здоровье. Благодарная, она хотела, чтобы он жил в более-менее человеческих условиях, а не рядом со скотиной.

Все, что было связано с домом, по поручению Марал делал слуга; белье стирали, хлеб выпекали для нее специальные женщины, которым она щедро платила за их труд. А что касается найма батраков, присмотра за обработкой виноградников, сбора урожая, фильтровки и продажи вина — все это осуществлял ее подрядчик, человек весьма расторопный и опытный в таких делах, работавший многие годы при ее покойном муже. Сама она время от времени выезжала на виноградники вместе со своим слугой не столько ради дела, сколько для того, чтобы хоть немного развеять тоску, отвлечься от тягостных мыслей, не покидавших ее, и посмотреть на арку.

Камень преткновения



Прошло около года, как началась война и Эбой уехал на фронт. Он редко писал письма своим женам, жившим вместе с детьми под одной крышей. А ей, Марал, за все это время он не послал ни одной весточки, ни слова приветия.

С фронта то и дело приходили печальные вести о гибели многих несчастных, и во многих домах с утра и до вечера стоял плач: ма-

тери и жены оплакивали своих убитых сыновей, мужей и братьев. Марал знала об этом, в душе жалела этих людей, глубоко сочувствовала безмерному горю овдовевших жен и осиротевших детей. А то, что Эбой жив и невредим — у нее вызывало совсем другое чувство. Днем и ночью молила она Бога, чтобы он не вернулся с войны, чтобы ей никогда не видеть его. Тогда она станет свободной, полноправной хозяйкой в своем доме, законной наследницей покойного мужа, а главное — сможет по своему усмотрению и желанию устроить свою личную жизнь, выйти замуж по своему выбору. А пока жив Эбой — ее «законный муж» — она даже не смеет мечтать об этом. Он как камень преткновения стоял на пути к ее счастью и свободе.

Но того подавленного и удрученного настроения, в котором Марал пребывала первые месяцы после смерти мужа и пережитой ею драмы, у нее уже не было. Мало-помалу она вошла в колею, обрела волю к жизни и к ней вернулось ее обычное настроение. Она выглядела сейчас такой же цветущей и очаровательной, какой ее знали при покойном муже: время и молодость делали свое дело. Однако беспокойная мысль о ненавистном девере, невольной пленницею которого она себя чувствовала даже в его отсутствие, неопределенность ее положения время от времени давали о себе знать. Оставшись одна в целом доме, несмотря на то, что была избавлена от жизненных забот и тягот, тяжких и мучительных для многих, особенно в такое суровое время, полная молодой энергии, она все же чувствовала себя глубоко несчастной и бесконечно одинокой.

День ото дня, слоняясь без дела из одной безлюдной комнаты в другую, она не знала, куда девать себя, и временами готова была завывать от тоски и отчаяния. Тоска о том, чего она была лишена — о любимом муже, о детях, о тихом семейном счастье, о простых человеческих радостях, составляющих смысл жизни, — все сильнее овладевали ее душой и сердцем. Иногда, чтобы отвлечься, забыться от этих волновавших ее мучительных мыслей, она заводила граммофон, слушала часами песни-мугамы с их за душу хватающими мелодиями. Эти песни, словно вырывались из глубины ее страдающего сердца, разрывающегося на части, еще больше бередили раны. И Марал в такие минуты, хватаясь за голову, точно от нестерпимой боли в груди, плакала навзрыд, заглушая своим плачем песню.

Однажды среди ночи, когда слуга спал крепким сном в своей каморке, его разбудил стук в дверь. Он, с трудом отгоняя сон, сразу вскочил с постели и, приоткрыв дверь, высунул наружу кудлатую голову.

На дворе стояла осень. Ночь была лунная, светлая, тихая, но холодная. Слуга, увидев перед собой хозяйку с низко опущенной головой, очень удивился. Вот уже больше года, как он по ее указанию перебрался сюда, но не помнил ни одного случая, чтобы хоть раз она побеспокоила его среди ночи.

— Тетя Марал, что случилось? — почесывая волосатую грудь и с трудом подавляя зевоту, заспанным голосом спросил он, выйдя за дверь.

В ответ хозяйка, странно блестя черными большими глазами, молча без слов подошла к нему и порывисто схватила его руку, судорожно сжав в своей. Слуга только сейчас обратил внимание на то, что его хозяйка, несмотря на ночную прохладу, стоит совсем босая, в одной ночной сорочке, едва прикрывающей ее белую грудь, и с распущенными волосами. При свете полной луны ее лицо, на котором блуждала странная улыбка, казалось еще чище и белее, чем днем, точно мраморное, а глаза глядели на оторопевшего слугу тепло, завораживающе и призывно.

— Я боюсь одна, иди посиди со мной немного, — едва слышно прошептала она с легкой дрожью в голосе, в котором, однако, не было ни испуга, ни тревоги, а была нежность, волнение и скрытая мольба.

И не дав Бобои опомниться, Марал, выпустив его руку, тут же обхватила его руками, за шею, спрятала свое лицо на его груди, обдавая вконец растерявшегося и ошеломленного Бобои теплым волнующим запахом женского тела, ароматом женских волос.

Конечно, будь слуга сколько-нибудь наблюдательнее и догадливее, он давно заметил бы сам, что когда они садятся вдвоем за стол, большие черные глаза хозяйки, устремленные на него, становятся очень нежными, ласковыми и какими-то жалобными, как и интонация ее голоса, что она нет-нет да и коснется «невзначай» его плеча своей по-девичьи упругой грудью или, потянувшись зачем-либо через стол, заденет горячей шелковистой щекой его уже зарастающую темной жесткой шерстью щеку. Но все эти «случайные» прикосновения, немые, но красноречивые объяснения ее томных глаз, голос, который при разговоре с ним временами становился необыкновенно нежным и взволнованным, не вызывали никакого движения, отклика в его душе. Он на самом деле не замечал их, не чувствовал, настолько был далек от мысли, что прекрасная хозяйка может желать с ним сближения.

Наутро, когда приятно расслабленный, опустошенный и словно хмельной слуга проснулся в постели хозяйки, которая лежала рядом с задумчиво устремленными в потолок широко раскрытыми глазами, он

очень удивился, не увидев над кроватью портрета покойного хозяина. На том месте, где он висел еще вчера, виднелись только темные разводы.

— Тетя Марал, куда делся портрет дяди Ошира? — с искренним недоумением спросил Бобои, не сводя взгляда со стены.

Марал молча, недовольно покосилась на него. «Боже ты мой, до чего же глупый!..» — чуть не простонала она с досадой. Кроме того, после всего, что произошло между ними в минувшую ночь, неприятно резало слух и заставляло краснеть то, что он по обыкновению продолжает называть ее «холе» — тетей.

Слуга, тут же забыв о вопросе, преисполненный нежности к своей хозяйке, хотел обнять ее, прижаться к ней, но она, резко оттолкнув его, сердито повернулась к нему спиной.

Тем не менее не проходило теперь ни одной ночи, чтобы одинокая хозяйка и одинокий слуга не проводили ее вместе. Но мысль о том, что связь со слугой, которому она сама навязала свою любовь, в конце концов может открыться, бросала ее в дрожь, вносила горечь отравы в ее отношения с ним. Она знала, что если, не дай Бог, вернется Эбой и ему станет известно о ее близости со слугой, то ей не сносить головы. Он, не задумываясь, убьет ее, чтобы смыть свой позор кровью изменницы-жены. И сочувствие всех — она в этом не сомневалась — будет не на ее, а на стороне «обманутого мужа». Да и в глазах земляков Эбой перестал бы считаться мужчиной, достойным носить папаху, если он, зная о ее измене, поступил бы иначе. А он и впрямь может вернуться. Вот уже третий год идет война, а он до сих пор жив и невредим, точно заговорен от пули и сабли.

Но в отличие от хозяйки ограниченный и простодушный слуга был совершенно спокоен и в ус себе не дул. Он был уверен в том, что их совместная тайна, так надежно укрытая от постороннего глаза глухими каменными стенами дома, где они обитают только вдвоем, никогда не станет известной другим. Но, как говорится, домашние секреты узнают на базаре. Многие в городе догадывались об истинных отношениях госпожи со своим слугой. Иногда эти слухи доходили и до Марал. Поэтому однажды, когда соперницы получили письмо от мужа, в котором Эбой писал им о том, что он был тяжело ранен, но теперь, слава Богу, поправился и скоро приедет домой, Марал прониклась таким страхом перед местью Эбоя, что сразу же предложила Бобои перебраться обратно в свое старое жилье, и после этого стала поддерживать с ним прежние отношения доброй хозяйки со своим верным слугой.

Но Эбой почему-то тянул с приездом. С тех пор, как он написал последнее письмо, в котором извещал о скором приезде, прошло ни много ни мало почти целый год. За это время в Дербенте уже дважды сменилась власть. Один раз это произошло вскоре после того, как был объявлен царский манифест о том, что «божьей милостью Николай Второй, самодержец всероссийский, царь польский, курляндский, эстляндский и прочая, и прочая...» отрывается от престола.

В Дербенте перемена власти, казалось, произошла чисто внешне. Во всех государственных учреждениях были сняты царские портреты и царские флаги, вывешены «красные флаги революции». Многие чиновники ходили с красным бантом на груди в знак своей поддержки революции, вернее, своей верности Временному правительству. Но в тех же учреждениях сидели на своих местах прежние царские чиновники.

Так же, как и при царе, продолжалась война. В положении простых людей ничего не изменилось к лучшему. Они страдали от недоедания, голода, дороговизны, главной причиной которых была затянувшаяся война.

Спустя полгода после свержения Временного правительства, сравнительно небольшой, но сплоченной и по-боевому настроенной группе дербентских большевиков удалось, опираясь на активную поддержку рабочих железнодорожного депо, завоевать абсолютное большинство депутатских мест в городском Совете, которые до этого занимали меньшевики и эсеры. Они на первом же заседании объявили о своей полной поддержке политики Советского правительства, возглавляемого Лениным.

Новая власть в первые же дни своего существования объявила о национализации единственного в Дербенте винокуренного завода, установлении восьмичасового рабочего дня для рабочих, батраков и государственных служащих. Она наложила один миллион рублей контрибуции на крупных виноградарей, владельцев рыбных промыслов и купцов для оказания материальной помощи голодающей городской бедноте, вдовам и сиротам, чьи мужья и отцы погибли на войне, а также для вооружения и содержания красногвардейских отрядов, состоявших из представителей всех национальностей, проживающих в Дербенте: азербайджанцев, татов, русских, армян, лезгин. В близлежащих селениях уполномоченные Советской власти отбирали у беков — местных помещиков-дворян — землю и раздавали ее безземельным крестьянам.

Было объявлено о роспуске монархической, а также и других организаций, которые поддерживали Временное правительство. Наконец был услышан возмущенный голос протеста общественности города — позорное заведение Мадам с красным фонарем за Шуринскими воротами было закрыто, а сама она подверглась аресту и заключению в тюрьму.

Боясь самосуда со стороны возмущенной и разъяренной толпы, ее вели к месту заключения в окружении большой милицейской охраны под неистовые выкрики, громкие проклятия и угрозы. Какой-то пожилой мужчина в черкеске и с длинным кинжалом на поясе пытался из всех сил выдернуть черный булыжник из мостовой, чтобы швырнуть его на грешную голову Мадам, но ему помешали. Говорят, это был несчастный отец того самого члена городской Думы, который испустил дух в ее страстных объятиях.

Мероприятия большевиков, та решительность и последовательность, с какими они проводили их в жизнь, вызывали страх и панику среди богатых и зажиточных горожан. И только вторжение вооруженных до зубов казачьих войск царского полковника Лазаря Бичерахова, которое произошло третьего августа тысяча девятьсот восемнадцатого года — три месяца спустя после прихода большевиков к власти — вывело их из этого шокового состояния.

Бичерахов ознаменовал взятие города и установление в нем своего режима расстрелом видных руководителей свергнутой Советской власти и преследованием ее активных сторонников.¹⁷¹ Многие люди были вынуждены бежать из города.

* * *

Возвращение Эбоя на родину совпало с временным падением Советской власти в Дербенте и его оккупацией бичераховскими казаками.

Еще раньше, после свержения царского правительства, в Дербенте были созданы комитеты по национально-религиозному признаку. Рас-

¹⁷¹ В августе 1918 г. белоказачьи войска полковника Л. Бичерахова, оттеснив малочисленные и плохо вооруженные отряды Красной гвардии, с бою взяли Дербент. В революционном штабе Обороны бичераховцами были схвачены Г. Канделаки, А. Эрлих, И. Кобяков, вскоре и Бешенцев. После трехнедельного пребывания в застенках бичераховской контрразведки и страшных пыток 27 августа 1918 г. они были расстреляны. А. Эрлиху и его близкому другу Г. Канделаки было тогда всего лишь по девятнадцать лет. Немного позже были убиты К. Агасиев и Г. Таги-заде.

пущенные в первые же месяцы после провозглашения Советской власти, с приходом Бичерахова они вновь выступили на арену политической жизни города.

Эбой, вернувшись на родину, сразу же вступил в национальный комитет и очень скоро зарекомендовал себя как один из активных его деятелей. Одновременно он устроился на службу при штабе бичераховских войск в Дербенте. С фронта Эбой вернулся в звании подпоручика (сбылась-таки его гордая мечта нацепить на плечи золотые офицерские погонны) и с двумя георгиевскими крестами. Новый «главнокомандующий», учитывая знатность его происхождения, фронтовые заслуги и ту помощь, которую он может оказать, как активный деятель антибольшевистской организации, вскоре произвел его в поручики.

Сами члены национального комитета были очень рады ему. Он был, пожалуй, единственным человеком среди них, прошедшим всю войну от начала до конца и удостоенный за проявленную храбрость двух георгиевских крестов. И то, что «нынешний повелитель» Кавказа Бичерахов произвел члена их организации в чин поручика, как бы поднимало ее в глазах оккупационных властей, чье доверие она должна была заслужить своим «честным сотрудничеством» в борьбе с «общим врагом» — большевизмом.

В первый месяц после возвращения Эбой ни разу не показался у своей третьей жены. Хотя Марал была бы бесконечно рада и счастлива никогда не видеть и не слышать его, но все же то, что за все это время он ни разу не появился у нее, внушало ей сильное подозрение и острое беспокойство. В голову лезли разные тревожные мысли. То ей казалось, что Эбой, прослышав о ее связи со слугой, затаил месть против нее и готовится расправиться с ней. То она думала, что он, рассердившись на нее за ее прежние «капризы», решил дать ей развод, попросту говоря, выгнать вон, как прогоняют собаку, уже не нужную хозяину. Незнание томила Марал, усиливая тревогу. Возбужденное воображение рисовало картины, одну мрачнее и ужаснее другой, — она чувствовала себя на самом краю пропасти.

Как-то утром Марал, погруженная в свои невеселые думы, сидела во дворе под тутовым деревом возле колодца на деревянной скамейке, где они часто с покойным мужем любили просиживать часами. Чтобы как-нибудь убить время, отвлечься немного от гнетущих мыслей, Марал, как она это делала и раньше, принялась за вязанье.

Была середина сентября, а погода стояла по-летнему жаркая. Из

открытых дверей конюшни, где возился Бобой, вместе с ароматом сухого сена и запахом прелого навоза то и дело доносились храп и громкое фырканье лошадей. Расшалившийся пес, подняв хвост трубой, сломя голову гонялся по двору за громко кудахчущими курами. В это время калитка в воротах резко хлопнула и во двор стремительно вошли две женщины. Увидев Марал, они, не сворачивая в сторону, прямо направились к ней, ускоряя шаг. Впереди шла высокая, худощавая и белолицая с черными глазами, тонким, с маленькой горбинкой носом, за ней — ростом ниже среднего, полная, пышногрудая и смуглолицая, с томными карими глазами и сочными вишневыми губами. Последняя, придерживая руками подол своего широкого цветастого платья, прерывисто дыша, трусилась за своей спутницей, с трудом поспевая за ней. То были жены Эбоя.

Их появление было совершенно неожиданным для Марал, поскольку они и при жизни Ошира Тряпичного Котелка не особенно жаловали ее, а после его смерти вообще перестали с ней видаться, ненавидя ее еще и за то, что она стала их соперницей.

Как только они стали приближаться. Марал, отложив вязанье в сторону, встала с места и как младшая пошла навстречу, чтобы, приветствуя их, любезно пригласить в дом. Но глядя на их злые, возбужденные лица, она сразу насторожилась, почувствовав что-то неладное.

— Да будет к добру ваш приход: случилось что-нибудь? — с недоумением спросила она.

— Не прикидывайся, сука, невинной овечкой, ничего не знающей! — громко крикнула на нее не своим голосом бледнолицая женщина, у которой злобно сверкнули глаза и затрепетали ноздри тонкого носа, как у загнанной лошади. — Скажи, гахба,¹⁷² чем ты присушила и околдовала нашего мужа, что он, как приехал, на нас и смотреть не хочет?!..

— Я, что ли, не знаю своего мужа, — в отличие от соперницы скорее жалобным и обиженным, нежели негодующим тоном произнесла другая жена Эбоя. — Раньше он, бывало, как медоносная пчела к цветку лип ко мне, а сейчас и пальцем не коснется, словно я — харам.¹⁷³ Это ты, ты виновата!..

Марал онемела. У нее было такое состояние, точно ее неожиданно оглушили сильным ударом по голове. Если бы все то, что они сказали

¹⁷² Гахба (гъэгъбе) — потаскуха, блудница.

¹⁷³ Харам — запретное, нечестивое.

ей сейчас, было бы произнесено не с такой злобой и откровенной ненавистью, то можно было подумать, что они просто решили глупо подшутить над ней, разыграть ее.

Сердце у нее бешено забилося, а лицо густо залилось краской. Широко раскрытыми глазами она растерянно и беспомощно смотрела то на одну, то на другую соперницу, не зная даже, как ответить на их дикие, нелепые обвинения и оскорбления.

— Клянусь сотворившим меня Богом, я совсем ни при чем тут, — дрожащим от волнения голосом промолвила она наконец.

— Хе! Так мы тебе и поверили! — криво усмехнулась толстушка. И изобразив на своем полном, гладком лице презрительную и насмешливую гримасу, осуждающе качая головой, добавила ехидным голосом: — Ты своими ласками, наверно, так умеешь развлекать его, так умеешь, что после тебя, бесстыжей, он от нас нос воротит.

Жены Эбоя — еще молодые женщины, которые все эти четыре долгих года день и ночь, переживая и волнуясь за своего мужа, наконец, дождались его, были действительно крайне удивлены и обижены его поведением. Их муж, обычно такой женолюбивый, полный сил и здоровья мужчина, после возвращения с войны был к ним безразличен, словно перестал видеть в них женщин. Спал в отдельной комнате и на ночь запирали дверь на ключ, чтобы ни одна из жен не вздумала входить к нему. А спросить у него, почему он ведет себя так необычно по отношению к ним, пренебрегает ими, они стеснялись и боялись. Не принято, чтобы жена откровенно сказала мужу о том, что она желает его, навязывала ему свои ласки. Такая инициатива должна исходить только от него, мужа. И жены Эбоя были уверены в том, что виною всему этому — проклятая дочь халвачи, которая и моложе и красивее их, сумела своими ласками и «сладким языком» заморозить, околдовать мужа, отвлечь от них его сердце. Поэтому они, оскорбленные в своих чувствах и охваченные жгучей ревностью к ненавистной сопернице, решили проучить ее как следует, отомстить ей за те унижения, переживания и страдания, которые им приходится терпеть из-за нее.

— Побойтесь Бога, зачем вы наговариваете на меня, невинного человека? — проговорила Марал плачущим голосом, возмущенная и потрясенная их наглым обвинением. — Провалиться мне на этом месте, если я с тех пор, как приехал ваш муж, хоть раз видела его в глаза, и если хотите знать — и видеть не желаю!

Соперницы, конечно, не поверили ей, решив, что она просто хитрит,

обманывает, и это еще больше распалило их гнев. Бледнолицая коршуном налетела на Марал. Она с яростью сорвала у нее с головы платок, желая унизить ее этим, и тут же, вцепившись пальцами в ее пышные волосы, принялась с силой тянуть ее за косы. А вторая подбежала к Марал сзади и начала с ожесточением колотить ее по спине и кусать зубами.

Неизвестно, чем кончилась бы вся эта потасовка разъяренных соперниц, если бы на отчаянные крики Марал вовремя не прибежал слуга. Размахивая плоской деревянной лопатой, Бобои принялся усердно колотить разошедшихся вовсю жен Эбоя куда попало, пока они, визжа от боли и страха, не оставили свою жертву и не кинулись бежать со всех ног. Но слуга, все еще пылая гневом, продолжал преследовать бегущих во весь опор жен Эбоя и на улице, на виду у прохожих, усердно охаживая их навозной лопатой.

Вскоре об этом скандале и о причине его возникновения узнали многие в городе. А на второй или третий день стало известно и другое: как немецкий снайпер своей меткой пулей угодил многоженцу Эбою в то самое место, повреждение которого сделало его непригодным для супружеской жизни, короче говоря — охолостил его.

О том, как это произошло, со смехом поведал землякам один из жителей Дербента, служивший в одном полку с Эбоем и вернувшийся с войны без одной руки.

Конечно, война есть война. В этой опасной игре со смертью никто из участников не гарантирован от того, что он может быть в любую минуту ранен, изувечен, а еще хуже — убит. Но в том, что случилось с Эбоем и что навсегда лишило его мужского достоинства, прежде всего виноват был он сам, его экспансивный, необузданный, скандальный и заносчивый характер.

Весною тысяча девятьсот семнадцатого года полк, в котором служил Эбой, держал оборону в открытом поле, которое простреливалось со всех сторон. На расстоянии менее пятисот метров, можно сказать, почти нос к носу от него, находились немецкие позиции. Обе противостоящие стороны — и русские и немцы, — зарывшись в землю, выставили у своих окопов тщательно замаскированные пулеметы, орудия, а солдаты укрылись в глубокие траншеи. И те и другие под покровом ночи скрытно накапливали силы, подтягивали резервы, подвозили боеприпасы, готовясь к новым, предстоящим сражениям. Время от времени между сидевшими в обороне противниками происходили ружейно-

пулеметные перестрелки, разведка боем. Но без нужды из своих окопов не высывались.

Накануне этого трагикомического происшествия Эбой почти всю ночь напролет беспробудно пьянствовал со своими друзьями — младшими офицерами — по случаю награждения его вторым георгиевским крестом за храбрость — обмывал награду. Еще до этого ему было присвоено звание — «подпоручик».

Под утро, находясь изрядно под градусом, Эбой выбрался из блиндажа, чтобы справить нужду, хотя в траншеях были устроены безопасные отхожие места отдельно для офицеров и отдельно для нижних чинов.

Справив нужду, Эбой тут же спустил штаны ниже колен и в таком непотребном виде демонстративно повернулся лицом к немецким окопам. Схватившись рукой (стыдно сказать) за свой срам, он с пьяной беспечностью начал кричать им во все горло:

— Э-эй нэмчур, сукини дэти, мать вашу размать!.. Нате вам, выкуситэ!.. Ха-ха-ха!..

Голос его гремел в утренней тишине и был хорошо слышен и на той стороне «ничейной полосы». Несмотря на то, что утро только занималось, на фоне чистого сиреневого неба были отчетливо видны каждый кустик, каждый бугорок и каждый изгиб на нем. Немцы могли за просто одной короткой пулеметной очередью сразить насмерть пьяного нахала. Но они молчали. Видимо, их очень забавляла его рискованная и шутовская выходка. Ободренный их молчанием. Эбой, еще больше куражась, в той же манере, начал крыть матом их кайзера, угрожал «сбрить ему усы», как только займут Берлин, выкрикивал непристойные слова и ругательства в адрес всех немецких фрау.

Вдруг в тишине раннего весеннего утра, нарушаемой лишь громким, как иерихонская труба, голосом разошедшегося во всю Эбоя, со стороны немецких окопов раздался винтовочный выстрел, единственный выстрел. Эбой, сразу отпрянув, тихо застонал и умолк. Корча усащенное лицо от внезапной пронзительной боли, он немедленно опустился на корточки, с тревогой и страхом посмотрел у себя между ног. Там на месте своего естества, которое он только что «геройски», а вернее бесстыдно демонстрировал перед «проклятой нэмчурой», сейчас, к его ужасу, «красовался» окровавленный комок, из которого тонко струилась густая черная кровь в низко опущенные штаны, как ржавая вода из закрытого, но испорченного крана. Видно, по нему стрелял

опытный снайпер. А времени у него для того, чтобы не промахнуться и попасть точно туда, куда он целился, было предостаточно.

Лишь на пятую неделю приезда Эбо в Дербент и неделю спустя после драки между его женами, Эбой наконец явился к своей третьей жене. Но пришел не один, а с каким-то русским полковником интендантской службы, пожилым и тучным человеком лет около шестидесяти, с круглым розовым добродушным лицом и маленькими зелеными глазками. Приказом Бичерахова полковник, который до этого служил заместителем начальника тыла при штабе его армии в Моздоке, получил временное назначение в Дербент, чтобы возглавить снабжение войсковых подразделений, расположенных в этом очень важном в военно-стратегическом отношении городе, за счет «местных ресурсов».

Обстановка в Дербенте с каждым днем становилась все более напряженной и угрожающей для бичераховских казаков и тех, кто помогал им хозяйничать в городе. Партизаны, базировавшиеся в ближайших селениях, время от времени совершали дерзкие вылазки против бичераховцев. Нередко потом на улицах города находили трупы казаков, убитых ночью «неизвестными лицами».

Из-за грабежа и бесчинств казаков подвоз продовольствия крестьянами из сел в Дербент почти прекратился. Деньги резко упали в цене, росла безработица, население голодало. Дербентцы были настроены крайне враждебно к бичераховским воякам.

Полковник, видно, пользовавшийся репутацией опытного интенданта, был направлен лично Бичераховым с чрезвычайными полномочиями для того, чтобы, как он надеялся, выправить положение. А Эбою, как человеку, хорошо знающему свой город, местные условия и обычаи, штаб вменил в обязанность помочь ему в его «трудной и почетной миссии».

Мало сказать, что встреча мужа с женой была нерадостна для обоих. С минуту они молча стояли лицом к лицу, не зная, что сказать друг другу. От волнения и тревоги сердце у Марал учащенно билось, похолодевшие тонкие пальцы нервно теребили край большого шелкового платка. Эбою она показалась такой же красивой и очаровательной, какой он видел ее в день их последней встречи. Воспоминание об этом вызвало сейчас в нем острую обиду и чувство неловкости. И он, нахмурившись, тяжело вздохнул и на какое-то мгновение отвел глаза в сторону, чтобы не глядеть на нее.

А Марал Эбой показался таким же статным и полным сил и энер-

гии мужчиной. Но в лице он заметно изменился. Он сейчас скорее казался угрюмым, мрачным и даже несколько печальным, нежели надменным и заносчивым, как раньше. Даже шрам на левой щеке, который теперь время от времени дергался от нервного тика, и рассеченное нижнее веко под левым глазом не придавали его лицу обычной свирепости. Несмотря на то, что Эбою было тридцать девять лет, виски под высокой каракулевой папашой отливали серебром, а две крупные продольные морщины прорезали его покатым упрямым лоб.

Прежде чем сказать о цели своего прихода с русским полковником, Эбой, не столько из желания разузнать, а сколько приличия ради, хотел спросить, как ей жилось все эти годы, но обратив внимание на следы еще незаживших царапин на ее лице, оставленных его женами (Эбой на второй же день узнал об этом, весьма неприятном для него скандале), густо покраснел и ничего не сказал.

— Вот что, Марал, — произнес он после короткого напряженного молчания с деланной бодростью и спокойствием, — господин русский полковник на некоторое время поселится у нас... — Он замолчал, опять нахмурившись, а потом, видимо, желая поскорее положить конец тягостному разговору с ней, тут же обернулся к полковнику, с принужденной улыбкой на лице, скороговоркой промолвил: — Эта женщина — вдова моего покойного брата. Пожалуйста, почувствуйте себя как дома.

Поскольку слова Эбоя, обращенные к полковнику, были произнесены по-русски, Марал ничего не поняла из сказанного, поэтому она не могла знать, что он назвал ее не своей женой, а вдовой покойного брата.

Полковник молча вежливо кивнул Эбою в знак благодарности. Затем, подойдя ближе, он почтительно взял руку Марал и, слегка прикоснувшись к ней губами, с искренним восхищением воскликнул:

— О, какая очаровательная мадам!

Он еще что-то хотел произнести в этом же роде, но неожиданно умолк с озадаченным и сконфуженным видом, увидев вблизи (полковник был немного близорук) следы царапин на гладких нежных щеках молодой хозяйки. И это не укрылось от настороженного и беспокойного взгляда Эбоя. Воспользовавшись наступившей паузой, он, лихо козырнув ему и сославшись на срочные неотложные дела, попросил разрешения уйти. Получив согласие, Эбой в самом мрачном расположении духа торопливо удалился.

С тех пор он больше не появлялся у Марал, только время от времени посылал одного или двух чаушов — посыльных при «национальном

комитете», — чтобы доставить из прохладных каменных подвалов своего покойного брата вина к пиршественному столу кутящих бичераховских офицеров.

Полковник, видно, и впрямь был очень деятельным человеком. Он рано утром отправлялся на службу и лишь поздно вечером возвращался домой. И каждый раз, встречая хозяйку, он галантно расшаркивался перед ней, почтительно целовал ручку и, слегка прищутив свои близорукие, зеленоватые глазки, всматривался ей в глаза. Но, не желая оказаться в роли мышиного жеребчика, он не приставал к ней и не докучал своими ухаживаниями. А на «праздную» болтовню, хотя бы из простой вежливости, внимания к ней, у него просто не было времени, тем более, он знал, что эта молодая очаровательная дикарка ни бельмеса по-русски. А сама хозяйка, не знакомая со светскими манерами, очень скоро составила о русском полковнике не совсем лестное мнение, как о чудаковатом человеке со смешными, шутовскими выходками.

Но тревога за свою судьбу, страх перед деверем не покидали Марал ни на час. Последний визит Эбоя не внес сколько-нибудь успокоения в ее сердце. Холодность и подчеркнутая отчужденность, которые сквозили в тоне и поведении Эбоя, еще больше убедили ее в том, что он настроен крайне враждебно и, наверняка, затекает что-то недоброе. И эта неизвестность, тревожное ожидание беды продолжали пугать ее, отравлять само ее существование. По ночам ей снились сны, полные кошмаров, навеянные ее угнетенным и удрученным состоянием. Очень часто ей приходилось бежать от чего-то страшного, неведомого, чему не было имени и от чего невозможно было ни скрыться, ни спастись. Каждый раз, когда она, охваченная паническим страхом, пыталась бежать от него, ноги ее наливались свинцом, будто вязли в трясине. И это страшное, неведомое легко настигало ее и тут же на глазах изумленной и трепещущей Марал в мгновение ока превращалось в грозного Эбоя. И он больно, грубо хватая ее за руку, злобно сверкая налитыми кровью бычьими глазами и дергая парализованной щекой с багровым шрамом, кричал на нее: «Куда ты бежишь от меня, несчастная?! Неужели до сих пор ты не поняла, что я — судьба твоя? От судьбы не дано никому ни уйти, ни спрятаться!..»

Сказав это, он тотчас же, довольный и торжествующий, заливался каким-то неестественным, дьявольским смехом, от которого Марал вся цепенела и дрожала, как в лихорадке. Нередко она просыпалась среди

ночи после такого жуткого сна вся мокрая от холодного пота и больше не могла сомкнуть глаз.

Но вскоре случилось то, чего Марал не могла даже и предположить. Однажды в полдень, когда она во дворе развешивала мокрое белье, неожиданно пришел полковник в сопровождении какого-то человека из местных жителей, крайне возбужденный и взволнованный. Он никогда раньше не приходил домой в такое время, и Марал по его виду сразу догадалась, что толстяк явно чем-то встревожен и удручен. Она невольно насторожилась и, перестав вешать белье, молча, выжидающе посмотрела в его сторону. Полковник поспешно подошел к ней, чуть дрожащей рукой почтительно взял ее руку, но против обыкновения, не целуя ее и не заглядывая своим обычным добродушно-лукавым взглядом в лучистые глаза хозяйки, заговорил взволнованным голосом:

— Мадам, я вынужден сообщить вам прискорбную весть: один из ваших соплеменников, видно, красный бандит, час тому назад убил вашего деверя, нашего дорогого друга и доблестного офицера...

Когда пришедший с полковником человек перевел его слова Марал, она на несколько минут так и застыла на месте, потеряв дар речи: настолько эта весть была для нее ошеломляюще неожиданной и вместе с тем невыразимо сладостной. Бурная радость горячим потоком захлестнула сердце. Она чувствовала сейчас бесконечную радость человека, приговоренного к смертной казни и за минуту до ее исполнения вдруг получившего весть о помиловании.

С этой минуты она — свободный человек! Никто и ничто больше не грозит ни ее жизни, ни ее благополучию и счастью. И в эту минуту она была уверена в том, что судьба рукой этого «красного бандита» отомстила Эбою за ее бесконечные муки, тревоги и страдания.

И чтобы не выдать своих чувств, она быстро закрыла лицо. От внезапного наплыва всех этих чувств вдруг из груди ее вырвался громкий крик и бурное рыдание сотрясло все ее тело. Полковник, который не знал об истинном отношении хозяйки к Эбою, видя ее истерику, невольно подумал, что «злодейское убийство» деверя потрясло до глубины души бедную женщину, поэтому он тут же принялся, как мог, утешать ее.

— Мадам, не надо слез, прошу вас, возьмите себя в руки, — глубоко растроганным голосом проговорил он с заметным волнением. — Мы отомстим за вашего деверя. Сегодня же убийца умрет лютой смертью.

При последних словах зеленоватые глазки полковника в обрамлении мелких морщин вспыхнули злыми огоньками.

Как только полковник со своим сопровождающим удалились, Марал убрала руки от лица, мокрого от слез, но сияющего безмерным счастьем. Она сразу кинулась в дом, спеша и волнуясь, быстро сменила домашнее платье на траурную одежду и выбежала во двор. Но прежде чем выйти на улицу, Марал остановилась у ворот и дважды громко окликнула слугу. Тот сидел возле своего жилья у конюшни и, прислонившись спиной к колесу только что до блеска промытого и начищенного им фаэтона, чинил хомут.

Услышав голос хозяйки, Бобои сразу оставил свое занятие и поспешил к ней. Но когда он посмотрел на нее вблизи, то тут же застыл в удивлении, беспомощно заморгал глазами. Он давно не видел ее такой веселой и счастливой. И в то же время на ней почему-то черная траурная одежда. Это явное, кричащее несоответствие между настроением и нарядом хозяйки было совершенно непонятно ему. А она, точно потешаясь над его изумленным видом, с неудержимой улыбкой на сияющем лице и озорно блестящими глазами, смотрела на него, ничего не собираясь объяснять. Потом вдруг разразившись громким смехом, порывисто бросилась на шею Бобои. Крепко, с чувством поцеловав его в обе щеки, она мягко, игриво оттолкнув от себя вконец ошарашенного, сбитого с толку слугу, сказала:

— Я уйду, не скоро вернусь. Закрой за мной ворота — никому не открывай.

Очутившись на улице, молодая женщина, не чуя под собой ног, заторопилась к своим соперницам, чтобы «разделить» их горе, а про себя моля Бога о спасении души неизвестного «красного бандита» — ее невольного спасителя.

Всю дорогу чувство невыразимого счастья не покидало ее. И ей с трудом удавалось придать своему лицу хотя бы подобие скорбного выражения — как выжать из себя «горе», когда душа ликует?!

В то время, когда Марал проходила мимо большого сквера, расположенного против городской бани, позади нее торопливой походкой шел молодой человек с биллом на плече. То был уже знакомый читателю Юсуф. Он не узнал Марал, одетую во все черное, поэтому проскочил так же быстро, как и шел. А если бы даже узнал и тогда сделал бы вид, что не заметил ее, прошел бы не поздоровавшись, не улыбнувшись ей, несмотря на то, что всего лишь четыре года назад он был без памяти влюблен в нее.

Еще до женитьбы Юсуф вместе со своим отцом, опытным садовником, работал батраком на виноградниках Ошира Тряпичного Котелка. В отличие от других сезонных батраков они круглый год трудились на его плантации, а в свободное от сезонных работ время работали в его обширном каменном винном подвале. Здесь в полумраке прохладного помещения с низкими зарешеченными окошками, пропитанного терпким винным духом, острым запахом сырой земли, на толстых бревнах рядом, точно громадные туши слонов, лежали огромные дубовые бочки, стянутые стальными заржавленными обручами. Отец и сын наблюдали за брожением вина, занимались его обработкой и фильтрацией.

За эти четыре года, прошедшие с того времени, ей, Марал, не раз случалось видеть Юсуфа очень близко. Но если до замужества она была бы не прочь, а может быть даже рада стать его женой, будь на то ее воля, то после того как на ней женился богатый и знатный человек, каким был Ошир Тряпичный Котелок, она при встрече с молодым батраком своего мужа первой отворачивала лицо в сторону, притворяясь, что не видит, не знает его. Так продолжалось и после смерти ее мужа. Но на сей раз увидев Юсуфа, Марал очень обрадовалась, точно встретила родного человека. Оттого, что сердце ее было переполнено ликованием, она испытывала почти непреодолимое желание встретить кого-нибудь из своих старых знакомых, чтобы просто поговорить с ним, неважно о чем. Поэтому Марал, едва увидев Юсуфа, сразу окликнула его.

Юсуф сейчас возвращался с виноградников, принадлежавших покойному Оширу Тряпичному Котелку, а после его смерти, его брату и мужу Марал — Эбою.

Юсуф знал многое из жизни Марал после ее замужества. Слышал и о том, что будучи третьей женой Эбоя, когда тот находился на войне, она сошлась со своим глуповатым слугой, сделав его своим ошне. Об этом между разговорами о своих житейских заботах и тяготах, о разных новостях иногда судачили батраки, работавшие с Юсуфом. При этом о ней говорили, как правило, с осуждением, а «бедного, богом обиженного слугу-сироту» жалели. Были и такие, которые иронизируя над любовными шашнями молодой, богатой и красивой госпожи с ее придурковатым слугой, по-своему завидовали ему: мол, поистине человек при жизни попал в рай — ест, пьет всласть и спит с прелестной хозяйкой. Умри — не хочу!

Когда между работниками заходила речь о Марал, Юсуф предпочитал молчать, делая вид, что этот вопрос его совершенно не интересу-

ет. Он ни разу, нигде не обмолвился и словом о том, что как многие парни в городе тоже был без ума от нее и даже хотел на ней жениться.

Юсуф, узнав Марал, стараясь скрыть свое невольное смущение, сразу подошел к ней и почтительно поздоровался.

— Куда ты это, в добрый час, летишь как на крыльях и никого вокруг не замечаешь? — с шутливым упреком произнесла она, приветливо и дружески оглядывая его.

— У меня сын родился, — застенчиво смеясь, произнес батрак. — Об этом час назад сообщил мне соседский мальчик, прибежав ко мне на работу. Первая у меня, если слышала, родилась дочка, а теперь Бог послал сына, — скромно заключил Юсуф.

Как ни радостно было сейчас на сердце у Марал, в глубине души она просто, по-женски позавидовала хромой жене своего батрака, которая не в пример ей успела уже дважды стать матерью и точно по заказу родила девочку и мальчика. Несмотря на это, Марал искренне поздравила Юсуфа с рождением сына, затем спросила:

— Выходит, что ты спешишь сейчас домой повидать малыша своего? В таком случае иди, дорогой, я не стану тебя задерживать.

Но когда Юсуф сказал ей о том, что он спешит не домой, а к Эбою попросить у него денег в счет будущего заработка, чтобы подготовиться к обрезанию сына, купить необходимые вещи для меджлиса¹⁷⁴ по этому случаю, Марал сразу сделала плаксивое лицо, вынула шелковый платочек из рукава своего платья и поднесла к сухим глазам.

— Эле! Горе твоим недоброжелателям! Пусть теперь к нему, бедному, спешат наши враги, — притворно всхлипывая, запричитала она.

У Юсуфа екнуло сердце. Его смуглое до черноты лицо стало сразу озабоченным, хмурым. Он понял, что с Эбоем случилась большая беда, притом в такой момент, когда он нужен был ему до зарезу. И прежде чем спросить Марал, что все-таки произошло с ним, он безо всякой нужды сначала снял бил с плеча, прислонил его к железной ограде сквера, а затем нерешительно произнес:

— Неужели, что-нибудь серьезное?

Марал, часто моргая глазами, горестно кивнула головой.

— Убили... Какой-то залум¹⁷⁵ убил его, — тихо промолвила она, а потом, печально вздохнув, добавила: — Я иду к ним домой.

¹⁷⁴ Меджлис — компания с угощением, выпивкой.

¹⁷⁵ Залум — насильник, тиран, жестокий человек.

Юсуф только сейчас сообразил, почему Марал одета во все черное.

Когда он взялся за свой бил, Марал мягко удержала его за локоть.

— погоди, Юсуф, не спеши, не спеши, — попросила она. И тут же вынув из внутреннего кармана своего платья маленький зеленый бархатный кошелечек, протянула Юсуфу. — Здесь десять золотых монет, — продолжала она. — Хватит тебе на все, даже корову можешь купить — молоко для детей. Пусть это будет подарком от меня...

Юсуф заупрямился, ни за что не хотел брать у нее деньги. Но Марал все же удалось уговорить его. Чуть ли не насильно вложив в его широкую заскорузлую ладонь кошелек, она быстро удалилась.

В это время по мощеной мостовой, гремя подкованными солдатскими сапогами, шла строем рота казаков. Впереди шагал молодецкато-го вида есаул, высокий, подтянутый, тонкий в талии молодой мужчина в черной, лихо заломленной барашковой папахе, с темными, закрученными острыми кончиками вверх, усами. На левом боку у него висела длинная казачья шашка, на правом — маузер в деревянной гладко отполированной кобуре. Тонкие упругие ноги облегали мягкие блестящие горские онучи, сшитые из шевровой кожи.

Казаков, заметивших проходившую мимо Марал, будто током ударило. Они разом повернули головы в ее сторону и, пожирая глазами, начали отпускать в ее адрес скабрзные шутки и остроты. Рота перестала идти в ногу. Сзади идущий попадал на пятки впереди идущего. Невольно обратил внимание на молодую женщину и бравый есаул. Он тут же привычно закрутил ус, как это делал по обыкновению, встретив красивую барышню. Но тотчас же, повернувшись к роте и придав лицу строгое выражение, громко крикнул:

— Отста-а-авить разговорчики в строю! Идти в ногу! Не зыркать глазами в разные стороны, а смотреть в затылок идущего впереди товарища!.. — Затем после короткой паузы уже не так громко и строго добавил со снисходительной усмешкой: — Вы что, хлопцы, красивой бабенки сроду не видели, что ли?

Марал, чувствуя на себе бесстыжие, жадные взгляды казаков, испуганно закрыла лицо краем платка и пустилась бежать со всех ног. Сразу вслед ей раздался пронзительный хулиганский свист и весь строй, несмотря на предупреждение есаула, громко и весело расхохотался.

Юсуф подождал, пока пройдет рота, потом сразу, повернувшись лицом к ограде, с волнением раскрыл кошелек. Он сначала вынул из

него одну золотую монету с изображением царского герба и самого царя, с тихой радостной улыбкой повертел между пальцами, а затем почему-то протерев ее о свои пыльные штаны, положил в карман. После этого он начал перебирать остальные монеты — ровно девять. Для него это было целое состояние. Никогда в жизни он не держал в руках такие деньги.

Юсуф, продолжая перебирать монеты, размышлял, на что и сколько ему надо потратить, чтобы кое-что оставить про запас. Но в то самое время, когда молодой батрак был погружен в свои мысли, он не заметил, как двое злоумышленников бесшумно подошли сзади и грозно встали за его спиной. Один из них был вахмистр, другой — ефрейтор, каптенармус. Последний нес на спине большой узел, в котором было казенное чистое белье для казаков, только что последовавших в баню. Вахмистр был плотный, широкоплечий мужчина с квадратным бульдожьим лицом и добродушно-свирепым выражением. На поясе у него висела кавалерийская шашка. В отличие от него каптенармус был худой, с впалыми щеками, которые несмотря на его сравнительно молодой возраст, были иссечены сплошь мелкими морщинами, словно покрытые паутиной. От обоих разило самогонным перегаром. Тщедушного ефрейтора слегка пошатывало.

Юсуф, почувствовав подозрительное присутствие незнакомых людей, хотел быстро спрятать кошелек в карман, но вахмистр тут же схватил его за руку, а ефрейтор, не дав ему опомниться, изо всей силы ударил кулаком по лицу.

— Отдай, басурман, кошелек сейчас же! — крикнул он, шумно вздыхая.

Видно, за два месяца оккупации Дербента они еще не могли различать хотя бы приблизительно, кто из жителей мусульмане, кто армяне, а кто иудеи.

— Может, он не басурман, а армяшка или жид? — шутливо заметил вахмистр ефрейтору, продолжая цепко держать руку Юсуфа в своей лапше.

— Поди разбери, кто он, — небрежно бросил ефрейтор. — Все они, черти, на одно лицо и смахивают на иранцев (некоторое время до вторжения в Дербент корпус Бичерахова нес службу в Иране, а затем в Азербайджане). Я и там, в Иране, так и не смог отличать их друг от друга, — сердито заключил он.

Прохожие, одни с любопытством, другие с возмущением смотрели

на этот разбой среди бела дня, но никто из них не рискнул заступиться за Юсуфа. Вахмистр, видя сопротивление «басурмана», его упорное нежелание расстаться с кошельком, с силой дернул на себя его руку и тут же резко повернул ее в сторону, применив к нему один из приемов рукопашного боя. Юсуф сразу почувствовал нестерпимую боль в запястье. Рука его сама по себе разжалась, и кошелёк с глухим стуком выпал на тротуар. Каптенармус быстро нагнулся, шатаясь под тяжестью своей ноши, и, точно голодный кот когтистой лапой вожаденную мышь, быстро накрыл его дрожащей рукой.

Юсуф с горечью понял, что ему с этими разбойниками не справиться. Он с болью, досадой, мысленно прощаясь с подарком, протянул было руку, чтобы взять свой бил и отправиться домой, но подозрительный вахмистр, решив, что пострадавший хочет схватить свою диковинную лопату, чтобы пустить ее в ход против них, сразу рассвирепел. Он разом выдернул шашку из ножен и замахнулся на Юсуфа. Вахмистр непременно убил бы или искалечил его, если тот вовремя не успел бы шарахнуться в сторону на мостовую, точно конь, внезапно увидевший у себя под ногами зияющую пропасть.

От сильного расстройства и обиды Юсуф даже не пошел на похороны своего хозяина. Кроме того, как и большинство его земляков-дербентцев, он не любил Эбоя. А когда тот после войны вернулся на родину, стал активно помогать бичераховцам, оккупировавшим и угнетавшим их город, многие земляки вовсе возненавидели его. Да и к национальному комитету, членом которого был Эбой, к его деятельности, они относились по-разному.

Члены этой организации в большинстве своем состояли из средних садовладельцев и домовладельцев, а некоторые из них являлись хозяевами небольших рыбных промыслов, расположенных недалеко друг от друга на морском побережье от Дербента до реки Рубас. Почти все они весьма отрицательно относились к самодержавному режиму, если не сказать, враждебно, и с воодушевлением встретили установление Временного правительства, пришедшего на смену царской власти.

Справедливости ради надо сказать, что большинство членов нацкомитета, в том числе его руководитель, пошли на сотрудничество с бичераховцами, затем и с деникинцами, которых они в душе боялись и ненавидели, не только ради сохранения своей жизни и собственности, предотвращения возврата большевиков. В сложившейся после свержения царской власти обстановке анархии, безвластия и беспредела

они боялись за жизнь и безопасность своего маленького народа, ставшего по существу беззащитным. Всему населению этого многонационального города было тяжело и тревожно в условиях оккупации, когда бесчинствующие казаки Бичерахова, войска Деникина, иностранные интервенты сменяли друг друга. Однако по отношению к татарам-иудеям оккупанты, в частности разнузданные казаки Бичерахова, белогвардейские отряды царского генерала, рьяного монархиста Деникина, не ограничивались одними грабежами и поборами. Они могли устраивать и кровавые погромы.

Положение татарского населения города в это время усугублялось еще тем, что жившие некомпактно жители некоторых татарских селений, расположенных от двадцати до пятидесяти километров от Дербента, из-за участившихся нападений неконтролируемых вооруженных бандитских отрядов были вынуждены бежать со своими семьями в Дербент, где проживало немало их соплеменников.¹⁷⁶ Убегая, они оставляли в родных селениях все: привычный образ жизни, свои дома, поля, пашни, скот, домашний скраб. Бежали в том, в чем были, без всяких средств к существованию. Их бедственное положение не поддавалось описанию. Первое время беженцы целыми «таборами» располагались прямо на улицах под открытым небом или ютились в старых, пропитанных зловонием развалившихся домах без крыш, окон и дверей. Изнуренные и ослабленные голодом дети умирали на глазах у родителей, родители — на глазах у своих детей. Младенцы терзали пустые, лишенные молока груди матерей, исходили криком.

Смерть безжалостно косила беженцев, особенно детей. Люди умирали не только от голода, истощения. Среди беженцев свирепствовали эпидемии. Нередко больные сутками лежали среди трупов своих близких — детей и взрослых. Обессиленные люди не всегда были в состоянии вовремя предавать земле своих покойников, как этого требовал обычай. А само кладбище находилось далеко за городом. Кроме того, больные и ослабленные были лишены элементарной медицинской помощи. Женщины перестали оплакивать своих умерших. Непереносимое горе выжгло их слезы, как злой сухой вей вод в родниках. Смерть стала среди них не только частой «гостьей», а повседневным явлением их жизни и быта. В то горестное время у автора книги умерла от тифа

¹⁷⁶ Следует, однако, отметить, что отношения самих дагестанских народов к татарскому населению были добрососедскими, во многих случаях дружественными.

мать, которой едва минуло двадцать семь лет, а сам он еще был совсем ребенком. Как все их односельчане-нюгдинцы, она и ее муж были в числе этих несчастных беженцев. Подавляющее большинство жителей Дербента, которые сами испытывали крайнюю нужду, мало чем могли помочь им.

Члены национального комитета, решившиеся сотрудничать с оккупантами ради сохранения собственности, себя и земляков от угрозы уничтожения, наверное, сами не очень ясно представляли, как далеко может завести их это сотрудничество.

Оккупационные власти, особенно при Деникине, требовали от комитетчиков собирать с населения деньги и продовольствие. А садовладельцы и домовладельцы сверх того должны были поставлять теплую одежду и вино для нужд деникинских войск.

Однако самым неожиданным, притом весьма трудным и неприятным для членов национального комитета явилось то, что деникинский режим в Дербенте обязал их мобилизовать в свою армию тех, кто прошел срочную службу в царской армии или участвовал в первой мировой войне. А таких в Дербенте было немало среди наших земляков.

Но почти все, подлежавшие мобилизации в армию Деникина, получив повестки, бежали из города в разные селения, скрываясь у своих кунаков — азербайджанцев, лезгин, табасаранцев и других, а еще больше подавались в партизанские отряды. Таким образом, вольные и невольные действия «комитетчиков» возбуждали против них острое недовольство не только среди бедняцкого населения города, но даже и значительной части зажиточных людей.

После того, как была провалена мобилизация, деникинские военные власти, недовольные «пассивными действиями» национального комитета, уже не питали к нему особого доверия, но несмотря на это, все же продолжали пользоваться его услугами.

Юсуф, идя домой, тяжело переживал только что случившееся с ним. Радость его была омрачена. Кроме того, что он был ограблен, он чувствовал себя и глубоко униженным. К тому же молодой человек никак не мог забыть, как пьяный вахмистр поднял на него, безоружного человека, саблю. Вместе с золотыми монетами, он запросто мог бы лишиться и жизни, и детки его остались бы сиротами.

Но, будучи человеком суеверным, батрак видел причину случившейся с ним беды в том, что эти деньги им получены из рук грешницы, какой и он считал Марал, поэтому они не пошли ему впрок. Чувство

благодарности, которое он только что испытывал к Марал за ее дорогой подарок, сменилось обидой и злостью на нее.

Охваченный такими мрачными мыслями, Юсуф решил расстаться с последней монетой, которая была припрятана у него в кармане. Он отдал ее без всякого сожаления, испытывая при этом даже чувство некоторого облегчения, как садага, какой-то молодой женщине-беженке с усталым печальным лицом, которая сидела прямо на голой земле с двухлетним малышом на коленях, усердно сосущим свой большой грязный пальчик. Кто знает: этой женщиной могла быть и моя бедная мать, а этим малышом — я. На этом свете все может быть.

Обширная веранда двухэтажного дома Эбоя, куда пришла Марал, была полна женщин, сидевших на полу, устланном большими разноцветными сумахами. Медленно покачиваясь, женщины громко причитали по покойному и ритмично били себя по груди и коленям в такт плачу. Во дворе с сумрачными лицами сидели несколько пожилых людей. Здесь же на самодельном очаге в огромном, закопченном медном котле грелась вода, чтобы обмыть покойного, прежде чем облачить его в саван. Рядом лежали погребальные носилки, покрытые сверху черной материей.

Как только Марал, запыхавшись от волнения и быстрой ходьбы поднялась на веранду, какая-то старая женщина тотчас же встала с места и со строгим скорбным выражением пошла ей навстречу. Жены Эбоя, сидевшие рядом и повязанные черными платками, завидев Марал, сразу переменились в лице. Они, недовольно и сердито нахмурившись, начали о чем-то напряженно перешептываться друг с другом. И это не ускользнуло от внимания Марал.

Старуха, взяв Марал за руку, ввела ее в переднюю комнату. Здесь, в углу, завешенном белой простыней, лежал мертвый Эбой. Марал до этого ни разу еще не была в доме своего деверя. Хотя ее мысли сейчас были целиком поглощены другим, все же, войдя в комнату, она не смогла удержаться от чисто женского любопытства, чтобы хотя бы мельком не оглядеть стены, убранство. Правую стену сплошь покрывал огромный нарядный, цветастый, точно красочный весенний луг, ковер, на котором висели широкий кинжал Эбоя с серебряной рукояткой, кавалерийская сабля и пистолет в армейской кобуре. На других стенах, соседствуя рядом друг с другом, висели бронзовые и медные тазы, доска для раскатки теста, сито для просеивания муки. У входа, прямо возле двери,

стоял, грубо выпирая пузатым коричневым боком, девятиведерный глиняный хюм, как все равно в домах простых бедняков. Марал мысленно сравнивала убранство своих комнат с убранством комнаты соперниц и с тайным злорадством заметила отсутствие вкуса у этих женщин, родившихся в зажиточных семьях и живущих в достатке.

Старуха, сопровождавшая Марал, чуть одернула сухой морщинистой рукой занавеску и, указав на мертвого Эбоя, у изголовья которого горела лампа, сказала тихим, соболезнующим тоном, выпустив ее руку из своей:

— Прощайся, дочь моя, со своим бедным мужем!

Сказав это, она тотчас же удалилась. Оставшись одна в комнате, Марал медленно опустилась на пол. Покойник, как полагается по обычаю, перед тем как его обмыть и облачить в саван, лежал голый на полу, вытянувшись во весь свой огромный рост, и потому казался сейчас еще более рослым, чем при жизни.

При первом же взгляде на лицо покойного, Марал поразило выражение, совершенно не характерное для Эбоя, когда он был жив. Обычно подвижное, надменное и грозное, полное страстей лицо, было спокойным, умиротворенным и каким-то отрешенным. Словно это были не его, а чужие черты. Лицо не было искажено ни гримасой боли, ни муками предсмертной агонии, которые надо полагать, он испытывал, прежде чем наступила смерть. А в углах губ, почти скрытых под пушистыми, длинными усами, слегка тронутыми сединой, застыла едва заметная насмешливо-горькая улыбка. Казалось, в момент расставания с жизнью он с сожалением и горечью осознал, что прожил ее глупо и безрассудно, не останавливаясь ни перед чем ради удовлетворения своих необузданных страстей.

Обычно робкая, суеверная Марал, боявшаяся покойников, сейчас, к своему удивлению, глядя на труп Эбоя, не только не испытывала страха и отталкивающего чувства, а смотрела на него почти спокойно и без неприязни. На какое-то мгновение в ее мягкой, доброй душе зашевелилось даже нечто похожее на жалость и сострадание к человеку, которого еще каких-нибудь пару часов назад, до того, как он был убит, боялась и ненавидела всем сердцем, денно и нощно желая ему как раз этого — смерти.

Зная, что за ней наверняка следят, Марал больше для видимости, нежели из душевной потребности, слегка дрожащей рукой провела по холодному лбу, колючей щеке и крутому подбородку покойника, и что-

бы женщины на веранде, особенно соперницы, могли ее слышать, громко запричитала без слез и без скорби в голосе:

— О ты, славный из мужей, наша единственная опора и защита! Почему ты нас, несчастных женщин, оставил, чтобы последовать за своим любимым братом?.. Неужто привязанность к нему оказалась сильнее, чем твоя любовь к своим златокудым и златощекам женам, ва-а-а-ай!..

Потом незаметно для себя, под влиянием собственного печального голоса и общей траурной обстановки в доме, напоминавшей ей сейчас о своих потерях — смерти отца, мужа, о страданиях, тревогах и волнениях, которые ей пришлось испытать, пережить, Марал заплакала по-настоящему. Наконец, когда она облегчила душу и, решив, что просидела и проплакала достаточно, встала, чтобы выйти на веранду к женщинам и там посидеть с ними — она, обернувшись, увидела вдруг перед собой жен Эбоя, неслышно вошедших в комнату. Вид, с каким они сейчас смотрели на Марал, не предвещал ничего хорошего. Сердце у Марал сразу замерло. Она боялась, что они, обезумев от постигшего их горя, продолжая, может, по-прежнему верить, что их муж из-за нее принижал и отвергал их, а теперь, ревнуя ее даже к его памяти, могут запросто оскорбить, а еще хуже — на виду у всех вытолкать с позором и грубой бранью. Поэтому, пока они не успели что-либо предпринять, она, стараясь не выдать своего испуга и тревоги, с притворной скорбью и печалью глядя на них и как бы призывая соперниц последовать ее примеру, принялась вдруг бить себя по груди, царапать щеки, подпрыгивать на месте и в такт ритмичным ударами и прыжкам громко кричать «Эй, вай, изар!»,¹⁷⁷ как это принято делать по обычаю женам и самым близким родственницам покойного, пока его не похоронили. Женам Эбоя, чтобы не нарушать обычай, не позориться перед людьми, волей-неволей пришлось поддержать ненавистную соперницу, которую они на самом деле намеревались порядком избить, исцарапать, а потом спустить с лестницы так, чтобы треснули все ее косточки. Стоя друг перед другом, они тоже принялись, подпрыгивая, бить себя по груди, хлестать по щекам и кричать «Эй, вай, изар!» до тех пор, пока несколько женщин не вошли к ним в комнату, уговорами и силой не увели на веранду.

¹⁷⁷ «Эй, вай, изар!» — горестное восклицание, которым женщины на похоронах выражают скорбь по умершему, ударяя при этом себя по груди.

Немного погодя, Марал из разговора с другими женщинами узнала об обстоятельствах убийства деверя.

В тот роковой для Эбоя день он в сопровождении двух вооруженных казаков пришел на Фэхле-базари, куда иногда крестьяне привозили из ближних и дальних селений продукты, чтобы продать их или обменять на нужные товары. Поскольку в городе ощущалась острая нехватка продовольствия, во избежание большей напряженности среди голодающего населения, по совету вновь прибывшего в Дербент бичераховского полковника интендантской службы, комендантом гарнизона был отдан приказ не препятствовать жителям выходить за стены города для работы в садах и на виноградниках, полях и рыбных промыслах, а также не мешать ввозу продовольствия крестьянами из окрестных и дальних селений.

Фэхле-базари был далеко не тот, каким знали его еще каких-нибудь лет пять назад. Голосистые мальчишки больше не зазывали покупателей. Большинство лавок было закрыто, да и в тех, которые еще торговали, почти ничего не было. Покрытые пылью прилавки были пусты — хоть шаром покати. Из памятной всем дербентцам кондитерской Худодота уже давно не доносился аромат вкусной халвы. В прежней кондитерской теперь была мясная лавка, но и она почти всегда была закрыта.

Все же какое-то оживление наблюдалось на этом, еще не так давно бойком месте. Свалив прямо на мостовую свой скудный товар, несколько бедолаг продавали тара¹⁷⁸ и другие съедобные травы, а также репу, чеснок, фрукты, рыбу, вязанки дров или сухой лозы на топливо. Батраки по-прежнему приходили сюда, чтобы наниматься на работу. Истощенные, бледные, исхудалые мальчишки-нищие с протянутыми иссохшими руками и ноющими голосами приставали ко всем, прося милостыню.

Поразительным контрастом, точно не из реального мира, казалось на этом грустном фоне неожиданное появление лакированного фаэтона какого-нибудь богача, с шиком проезжавшего мимо поспешно расступающихся перед ним людей с усталыми и безрадостными лицами.

Эбой, придя на Фэхле-базари, постоял с минуту и внимательно огляделся вокруг. Возле маленькой, словно игрушечной, горской арбы на двух колесах, запряженной рыжеватым бычком и накрытой сеном, стояли люди и о чем-то переговаривались. При виде Эбоя в сопрово-

¹⁷⁸ Тара — съедобная трава, из которой готовят похлебку.

ждении двух казаков собравшиеся сразу приумолкли и расступились. Хозяин арбы, высокий, сутулый, но еще крепкий на вид старик с длинными усами, одетый в изношенное чохо и опоясанный большим кинжалом в простых деревянных ножнах, оказался из Ньюгеди.¹⁷⁹ Эбой по его выговору сразу догадался, что он из кайтагских татов.

— Что привез? — начальственным тоном спросил Эбой старика.

— Сено, — неохотно ответил крестьянин, стараясь не смотреть ему в глаза.

Эбой не очень поверил старику: едва ли из-за того, чтобы продать охапку сена, он мог проделать такой путь. И он решил проверить, нет ли еще чего в ней, кроме сена. И старик, вдруг испугавшись, как бы его обман не навлек беды на его голову, поспешил признаться, что привез пять мешков муки.

— Дачтоби ты, сынок, увидел радость своих детей, — заискивающим голосом проговорил внезапно заволновавшийся нюгединец, чтобы смягчить в глазах этого сердитого хакима свой вынужденный обман, — младший мой женится, свадьба скоро. Забрал всю муку, привез сюда в город поменять на нужные мне вещи: одежду для жениха и невесты, сладости для гостей, немного водки, а вино у меня свое.

Недовольный его обманом, Эбой сердито посмотрел на него, но принудив себя улыбнуться, сказал:

— Продай мне муку для нужд армии, а на деньги, что я тебе дам, купишь то, что тебе нужно.

Эбой тут же вынул из кармана своего френча пачку ассигнаций с изображением Николая II, протянул ему. Крестьянин даже не пошевелил рукой. Усмехнувшись, он отрицательно помотал головой.

— Николаевские? Нет, не возьму. На что они?!

— Не хочешь николаевские, дам тебе керенские, — предложил Эбой.

— «Киринские»?! — точно удивленный этим его предложением, с явной насмешкой в голосе повторил нюгединец. — Отродясь не слышал про такие деньги. Мне их даром не надо.

Старик прекрасно знал, что такие деньги существовали и кое-где, в том числе и у них, были в обращении. Он просто хитрил. Для него сей-

¹⁷⁹ В отличие от селения Ньюгди (Мюшгуьр), находящегося в Южном Дагестане, в Дербентском районе, селение Ньюгеди, или, как его теперь называют, Янгикент, расположено в Кайтагском районе. Говор у татов, живущих в Южном Дагестане, отличается от говора их соплеменников, проживающих в Кайтаге, Буйнакске и Хасавюрте.

час ни Николай, ни «Киринский» не имели никакой цены и деньги, связанные с их именем и властью, канувшими в Лету, тоже.

Упрямство старика, его явное пренебрежение к царским и керенским деньгам возмутили Эбоя. Он сразу вспыхнул, глаза сверкнули злобой, а левая щека с малиновым шрамом стала чаще дергаться от нервного тика.

— Может, ты, старый пес, ждешь, когда у нас в обращении будут большевистские монеты? — закричал Эбой на нюгединца и, резко взмахнув кнутом, стеганул старика по сутулой спине. Затем, обернувшись к сопровождающим его казакам, велел им увести арбу с мукой.

Эбой, не успокоившись на этом, схватил крестьянина за пояс, пытаясь отобрать у него и кинжал. Нюгединец, хоть и кипел весь гневом, но сурово молчал. Лишь когда Эбой потянул руку к его кинжалу, он сразу изменился в лице, а глаза загорелись бешеным огнем.

— Убери свои лапы! — заорал он, хватая его за руки. Привлеченные шумом, люди обступили их со всех сторон. В глазах разъяренного старика поступок Эбоя выглядел не только как разбой, наглый грабеж среди бела дня, но и как злонамеренная попытка унижить, обесчестить его. Этого он не смог стерпеть.

Нюгединцы вообще отличались воинственностью, крайней вспыльчивостью и большой привязанностью к оружию. Они никогда не расставались с ним и дорожили им больше собственной головы. И эта привязанность была настолько сильна, что вопреки существующему запрету, они и в нумаз ходили опоясанные кинжалами и увешанные тапанжами — самодельными пистолетами. Говорили, что молящиеся нюгединцы в нумазе, прежде чем коснуться губами священных свитков, сначала наполовину вынимали из ножен свои кинжалы, целовали их холодную вороненую сталь. Нередко в самом помещении нумаза, или во дворе его, кровники с обнаженными кинжалами кидались друг на друга, совершая акт кровной мести.

Желая отучить нюгединцев ходить в божий храм при оружии, как-то раби¹⁸⁰ предпринял попытку постращать их божьим гневом. В день какого-то большого праздника, когда в нумазе было полно народу, он, возвышая голос, пригрозил нюгединцам с амвона тем, что Бог, разгневавшись на них за такое святотатство, накажет их суровыми карами. И когда пастырь в числе других кар: землетрясения, чумы, лихорад-

¹⁸⁰ Раби — священнослужитель.

ки, засухи, падежа скота и прочего из того, что Господь может обрушить на несчастные головы ослушников, назвал и такую кару, как закрытие всех «естественных отверстий» у мужчин, многие нюгеди́нцы, точно по молчаливому уговору, разом вскочили со своих мест и стали стрелять вверх из своих самодельных пистолетов. Перепуганный насмерть раби, поняв, что погорячился, перехватил через край, сразу прикусил язык и пулей выбежал из нумаза, как, не рядом будь помянуто, из горящего сарая.¹⁸¹

Дарить же оружие другому, как и у всех горцев, считалось у нюгеди́нцев признаком особого уважения и доверия, но попытка силой или угрозой отобрать его — величайшим оскорблением.

— Убери руку, говорю! Я сам отдам его тебе! — задыхаясь от охватившей его ярости, придушенным голосом повторил старик, тяжело сопя.

Эбой, сердито хмуря брови, отстранился, ожидая, пока нюгеди́нец сам отдаст кинжал. Тот, прерывисто дыша и зло улыбаясь, делал вид, что расстегивает ремень на поясе, а потом в мгновение ока выхватил кинжал из ножен и с силой вонзил его по самую рукоятку Эбою в живот.

Для сопровождения похоронной процессии и произведения траурного салюта у могилы Эбоя, погибшего «при исполнении своего воинского долга», комендантом бичераховского гарнизона был выделен взвод вооруженных казаков. Кладбище находилось у подножия горы, около двух километров от города. Поговаривали, что недалеко от него, возле одного из близлежащих селений, расположенных на горе, разместились партизаны. Поэтому, чтобы не привлекать к себе их внимание, не провоцировать к нападению или устройству засады на пути возвращения участников похоронной процессии, Эбоя похоронили без шума, без речей и без траурного салюта. Едва священник прочитал заупокойную молитву и участники похоронной процессии дружно произнесли «Аминь!», как тут же заспешили обратно в город, изредка тихо переговариваясь друг с другом.

Почти в то же время, когда должен был прозвучать траурный салют у могилы Эбоя, раздались ружейные залпы далеко от кладбища, в противоположной части города, за городской стеной, где была проведена казнь старого нюгеди́нца, от руки которого пал Эбой. После короткого

¹⁸¹ Об этом случае еще до войны рассказывали автору двое стариков-нюгеди́нцев, которые, по их словам, были очевидцами этой истории, когда они еще были молодыми.

«допроса» с пристрастием его в сопровождении пятерых вооруженных казаков и уже знакомого нам бравого есаула вывели за городскую черту. Здесь «красного бандита» со связанными руками, босого, в одном нижнем белье, запачканном кровью, казаки поставили спиной к крепостной стене, а сами отошли назад метров на десять. Выстроившись в ряд, они четко отработанными движениями вскинули ружья с примкнутыми штыками и замерли в ожидании последней команды есаула.

Большое предзакатное солнце багряным светом освещало дорогу, опустевшие бахчи и огороды, раскинувшиеся вокруг, простиравшееся за ними обширное поле с пожухлой травой, над которыми висела безмолвная тишина, фигуры старика и его палачей. Косые лучи кровавым светом играли на сверкающих граненых штыках, придавая им неестественно зловещий блеск.

Старик перед смертью окинул помутневшим прощальным взглядом лежавшую перед ним местность, бросил тоскливый взор на неровную серую ленту дороги, по которой он сегодня рано утром въехал в город и по которой сегодня же должен был вернуться назад в родное селение с подарками к свадьбе своего младшего сына. Он стоял, прислонившись истерзанной спиной к еще теплomu, нагретому сентябрьским солнцем, огромному квадратному темно-серому камню стены, упершись босыми, разодранными ногами в землю.

Вдруг старик тряхнул непокрытой седой головой, весь передернувшись, словно корчась от острой боли. Затем он, с силой оттолкнувшись от стены и шатаясь, как пьяный, с вытаращенными красными глазами, с искаженным от ярости лицом, двинулся на своих палачей, натужно выкрикивая на ходу ругательные слова. И в ту же минуту раздался отрывистый голос есаула, и вслед за этим одновременно прогремели пять выстрелов, разорвавших застывшую предвечернюю тишину...

«Сладкая добыча»



Жизнь полна неожиданностей. Бичераховский полковник, который всего неделю назад, выражая соболезнование Марал по поводу убийства ее деверя, говорил ей, что убийца будет без промедления казнен, на восьмой день после этого был вынесен из своей комнаты на санитарных носилках тяжелораненым и в весьма критическом состоянии.

Обычно полковник, как мы уже знаем, рано утром уходил на службу и возвращался затемно. Никогда не задерживался дома. Работал без выходных. Лишь в воскресные дни, прежде чем пойти на работу, посещал небольшую красивую церковь с чистым ухоженным садиком во дворе, обнесенную каменным забором, которая находилась в нижней части города. Он не выстаивал все богослужение, как другие офицеры, тоже посещавшие эту церковь по воскресеньям. Осенив себя несколько раз крестным знамением перед образом Божьей матери и прошептав короткую молитву, он сразу спешил к выходу. Благо, что сам храм находился недалеко от военного городка, где были расположены воинские казармы, склады, размещался штаб и другие служебные помещения, как было еще при царе.

А в тот злосчастный день время близилось уже к обеду, но полковник почему-то не выходил из своей комнаты. Марал сначала не придавала этому особого значения, а потом вдруг ею овладело беспокойство: не заболел ли он случаем или не умер во сне?

После того, как ее покойный муж Ошир Тряпичный Котелок скончался во время сна, ей теперь казалось, что это может случиться с любым человеком, а тем более с русским полковником, которого она, двадцатидвухлетняя молодая женщина, про себя считала престарелым. Но Марал и стеснялась и боялась зайти к нему. Она хотела вызвать слугу, но его как назло не было дома. «А вдруг он умер на самом деле?!» — с тревогой подумала она.

После недолгого колебания Марал тихо, боязливо подошла к двери его комнаты. Но прежде чем постучаться, она остановилась и стала напряженно вслушиваться. Как это ни странно, ей показалось, что из комнаты доносятся какие-то приглушенные, прерывистые звуки, похожие на сдавленное рыдание. Марал не поверила своим ушам: не может быть, чтобы мужчина, притом боевой офицер, важный, серьезный, самоуверенный человек, проявлял такую слабость — плакал! Да и что могло заставить его плакать?..

Собравшись духом, Марал взялась за дверную ручку, но тут же, вздрогнув, отпрянула в страхе, услышав оглушительный выстрел, раздавшийся в комнате.

Прошла целая минута, пока она пришла в себя и бросилась к воротам, чтобы позвать на помощь. У самой калитки Марал неожиданно столкнулась с каким-то офицером и сопровождавшим его вооруженным казаком, видно, пришедшими за полковником. Глядя в испуганное, встре-

воженное лицо хозяйки дома, которая начала дико вопить: «Полковник! Полковник!» — они поняли, что с их офицером произошло что-то неладное, а может, самое худшее, и пустились бегом, спеша на помощь.

...Турки, недовольные захватом английским ставленником Бичераховым Северного Кавказа, большими силами шли с юга в направлении Дербента, не встречая на своем пути никакого сопротивления, чуть ли не «победным маршем». Полковник знал об этом. Он знал и то, что бичераховцам не удержать город перед натиском превосходящих сил противника, притом в окружении враждебно настроенного населения. И что им придется дать «задний ход», отступая в направлении Порт-Петровска, который пока еще находился в их руках. Поэтому тем большее удивление и беспокойство начальника гарнизона и работников штаба вызвало то, что такой аккуратист, строгий и требовательный к себе и подчиненным старший офицер, близкий человек «самого главнокомандующего», в такой напряженный и ответственный момент отсутствовал на службе.

Офицер, который пришел за полковником, молчаливый, суровый на вид человек с пытливым взглядом серых глаз, был из контрразведки. Когда он вместе с сопровождавшим его казаком вбежал в комнату полковника, тот распростертый лежал ничком на полу, покрытом мягким пушистым ковром, в одежде, но без мундира. Там, где безжизненно покоилась его полусогнутая правая рука, лежал пистолет. Ниже левого плеча, около груди образовалась небольшая лужа крови, которая еще не успела свернуться.

Офицер с помощью казака перевернул полковника на спину. Глаза его были закрыты, он не дышал и казался мертвым. Контрразведчик, склонившись над ним, пощупал пульс и, через минуту выпрямившись, облегченно вздохнул и коротко произнес: «Жив!..» Он тут же отдал приказ казаку отправиться бегом в гарнизон за врачом, сестрой милосердия и санитарями.

Оставшись один с лежавшим без сознания полковником, контрразведчик медленно прошелся по комнате, внимательно и изучающе оглядывая стены, потолок, проверил, закрыто ли изнутри окно, выходящее во двор. Заглянул под кровать, на которой постель была аккуратно убрана, видимо еще со вчерашнего дня. Возле кровати стоял небольшой полированный стол, а перед ним — стул с мягким бархатным сиденьем, на спинке которого висел, как на вешалке, коричневый мундир с полковничьими погонами.

Еще в первую минуту, как только офицер вошел в комнату, его цепкий взгляд среди многих мелочей заметил на столе какое-то письмо. Сейчас, подойдя к столу, он обратил внимание на фотографию в резной деревянной оправе, с которой ясным лучистым взглядом смотрела мило улыбающаяся гимназистка с косичками.

Офицер неторопливым жестом взял письмо и бегло прочитал его. Оно было от супруги полковника. Письмо было печальное, очень печальное для того, кому оно адресовано, а еще больше для той, которая его написала. В нем жена писала о том, что после гибели их сына — корнета Добровольческой армии генерала Деникина на них обрушилось новое горе. Их дочь-любимица после окончания гимназии прошла краткосрочные курсы сестер милосердия и вскоре, несмотря на слезные мольбы и протесты матери, уехала на фронт с каким-то знакомым студентом, очевидно, сочувствующим большевикам, чтобы воевать на их стороне.

Письмо все прояснило. Оно, видимо, было получено вчера вечером. Очевидно, потрясла полковника не столько гибель сына (из письма можно было заключить, что у них, кроме единственного сына и единственной дочери, нет детей), сложившего голову за свои монархические идеи и дворянские привилегии, сколько бегство любимой дочери в стан их врагов. Да и серьезные неудачи, а точнее поражения, которые они, бичераховцы, терпят сейчас повсюду, где еще недавно чувствовали себя хозяевами положения, победителями, окончательно добили удрученного горем старика. Он был в таком отчаянии и такое невыразимо горькое чувство безысходности и черной тоски было у него на душе оттого, что его мира, в котором он жил, любил, радовался, трудился, боролся, — вдруг не стало. Этот мир рухнул в одночасье, разрушился, и казалось, что и сам он с раздробленными костями, истекая кровью, умирает под его обломками от нестерпимого удушья и пронзительной боли во всем теле.

Всю ночь он не спал, сидел вот так до утра, а потом до самого полудня, держа перед собой письмо убитой горем жены, то и дело с бесконечной болью, горечью и упреком поглядывая на фотографию радостно улыбающейся дочери. Желая скорее положить конец своим страданиям, рука его сама собой потянулась к револьверу. Он хотел выстрелить в сердце, но пуля прошла мимо, пробив легкие, застряла под левой лопаткой.

Пришедшие вскоре врач и сестра милосердия с большой санитар-

ной сумкой на плече оказали полковнику первую неотложную помощь, привели в сознание. Когда санитары выносили его на носилках, лицо его было белым, как простыня, которой он был накрыт. Марал стояла задумчивая и испуганная. Полковник, встретившись с ней взглядом, слабо улыбнулся и, выпростав руку из-под простыни, перекрестил, как бы благословляя и благодаря ее на прощание.

На третий день — шестого октября тысяча девятьсот девятнадцатого года турецкие войска заняли Дербент. Султанская Турция, которая уже четвертый год воевала на стороне своих союзников — Германии и Австро-Венгрии — против Англии, Франции (союзница последних — Россия — в результате Октябрьской революции вышла из войны), хотя была изрядно ослаблена, особенно после потери ею еще до первой мировой войны своих колоний в Северной Африке, на Балканах, частично и на Ближнем Востоке, — но все еще оставалась крупной колониальной державой. Она сама хотела властвовать на Кавказе, чтобы подчинить его богатые ресурсы интересам своей империи.

После вторжения турок в Дербент почти в течение трех дней в городе царили тревога и паника. Турецкие аскеры под предлогом поисков большевиков и армян врываются в дома обывателей, занимались мародерством, а нередко и насилием. Руководители местных большевиков еще до прихода турок большей частью были расстреляны бичераховцами, а оставшиеся в живых ушли с отступающими подразделениями Красной Армии и отрядами Красной гвардии, оборонявшими Дербент во время наступления на него казачьего корпуса Бичерахова, или находились в глубоком подполье. А что касается армян, то большинство из них перед приходом турок бежали со своими семьями навстречу неизвестности. Но немало их по каким-либо причинам не смогли или не захотели покинуть город. Отдав себя на волю судьбы, они скрывались у местных жителей, которые, рискуя жизнью, прятали их у себя, выдавая за членов своих семей, родственников.

Надо сказать, что армяне издавна составляли часть населения этого древнего города и его района. Еще в сравнительно недалеком историческом прошлом, до Персидского похода Петра Великого и екатерининских войн с султанской Турцией и шахским Ираном, значительное число армян проживало на Мюшкюрском участке, расположенном в двадцати пяти-тридцати километрах от Дербента, ниже Табасаранских гор.

До прихода арабов армянская религия, как и иудейская (библейский иудаизм), во времена владычества хазар была широко распростра-

нена в Южном Дагестане. И сейчас в двух километрах от селения Нюгди, рядом с дубовой рощей, можно видеть забытое армянское кладбище с надгробными камнями, лежащими ровными рядами, на которых высечены армянские надписи. Его давно никто не посещает, никто не приходит сюда, чтобы выразить свою скорбь или пролить слезу по тем, кто покоится под этими молчаливыми камнями. Армяне, жившие некогда в этой местности, давно и почти одновременно покинули ее. Остались только могилы среди безмолвной тишины; лишь голоса залетных птиц, а в летнее время и однообразное пение цикад, истомленных и опьяненных зноем, нарушают ее. Впрочем, остались не только могилы... Недалеко от того же селения Нюгди, в полукилометре от него, в селении Молла-Халил, у глубокого арыка с живописными кустами по обе стороны, на краю изумрудной поляны, с трех сторон окруженной вековым лесом, и сейчас стоит армянская церковь, построенная из тесового камня по всем правилам армянской культовой архитектуры. Она построена на месте бывшего старинного храма, где, согласно преданию, покоится прах убитого армянского подвижника-миссионера святого Григория. Протекающую недалеко от Нюгди реку его жители называют «Григорий-чай» («река Григория»).

¹⁸² В прошлом этот горный край, где жили трудолюбивые и мужественные люди, никогда не знал войн на национальной и религиозной почве. Еще за много веков до буржуазных революций в Европе, провозгласивших свободу всех вероисповеданий, в Дагестане, несмотря на доминирующую роль ислама, рядом с мечетью соседствовали нумаз — иудейский молитвенный дом и христианская церковь. В одном из дагестанских ханств (Кайтагском уцмийстве) в X веке, где наряду с преимущественно мусульманским населением проживало значительное число татов-иудеев и христиан, его правитель молился: в пятницу — в мечети с мусульманами, в субботу в нумазе — с иудеями, а в воскресенье — в церкви с христианами.

¹⁸³ Такого феномена не знает мировая история. Дербентскому коменданту турецкого гарнизона, человеку, видно, твердому и волевому, удалось быстро положить конец бесчинству своих распоясавшихся солдат. А трое из числа заядлых мародеров, как свиде-

¹⁸² Сравнительно подробно об этой армянской церкви в селении Молла-Халиле, которая до середины тридцатых годов была местом паломничества для некоторой части дербентских армян, и армянском кладбище написано у автора в его повести «Возмездие» (М., 1978. С. 120-131).

¹⁸³ См.: История Дагестана. М. Т. I. 1967. С. 165.

тельствуют очевидцы, были публично повешены на одной из городских площадей. После этого жители города могли заниматься каждый своим делом, не опасаясь за свою жизнь и имущество.

А для Марал первые дни оккупации Дербента прошли, можно сказать, без тревоги и волнения, почти незаметно. Укрывшись за каменными стенами своего двора с наглухо закрытыми воротами, она даже не знала, что происходило в городе. За эти три дня только один раз какие-то люди настойчиво стучали в ее ворота, чем вызвали неистовый лай дворовой собаки — и на этом все закончилось.

Но на пятый день после прихода турок место прежнего постояльца в доме Марал занял турецкий офицер. Его привел один из членов национального комитета, как месяц назад покойный Эбой приводил бичераховского полковника.

Казалось бы ее, Марал, как женщину, живущую одну, без мужа, должен был шокировать, возмутить недостойный поступок ее земляка, который привел на постой постороннего мужчину, притом иностранного офицера. Но вопреки этому, она без всякого притворства приняла турка приветливо и радушно, как все равно дорогого и желанного гостя. Объяснялось это очень просто. С тех пор, как погиб Эбой от руки разгневанного крестьянина-нюгединца, в настроениях и взглядах молодой вдовы произошли существенные перемены. При жизни ненавистного деверя Марал, казалось, было все равно, что станет с владениями ее покойного мужа, если большевики вновь возьмут верх: пусть, мол, все пойдет прахом. Но после того, как она стала его единственной наследницей, ей уже было небезразлично. Как и все крупные собственники в Дербенте, к числу которых теперь принадлежала и она, Марал боялась большевиков, а в турецких интервентах видела своих друзей и защитников.

Да и сам турецкий офицер был такой, словно сошел с ярко нарисованной картины. Одетый в блестящий мундир с золотыми погонами и серебряными аксельбантами, в красной феске, в начищенных до зеркального, блеска высоких сапогах со шпорами — он был строен, молод и очень красив собой. Продолговатое лицо его с тонкими чертами было белое, по-девичьи чистое, гладкое и нежное; большие голубые глаза, небольшой рот с чуть припухшими чувственными губами — алый, точно подкрашенный. Если бы вместо фески ему на голову надели платок, его можно было бы принять за прелестную миловидную женщину. Правда, при близком рассмотрении наблюдательный взор мог бы заметить в

этом красивом лице и что-то неприятное, хищное, что ускользало с первого взгляда: тонкий, чуть изогнутый ястребиный нос, слегка выдающаяся вперед верхняя челюсть, белые крупные зубы, которые, казалось, могут раздробить камень и разгрызть железо, какой-то жадный, точно голодный блеск в глазах.

Увидев Марал, турок, церемонно приложив руки к груди, с почтительным поклоном поздоровался с ней своим сладкозвучным голосом, назвав ее «ханум-эффенди».¹⁸⁴

Говорили, что отец Шефик-паши (так звали турка) был видным сановником при дворе султана в Стамбуле и что он родился от матери-немки, которая, прежде чем стать женой, вернее одной из жен отца Шефик-паши, несколько лет провела в гареме султана Абдул-Гамида II, у которого, как у библейского царя Соломона, была тысяча жен, но который после тридцатитрехлетнего царствования последние годы своей жизни провел в заключении и там отдал Богу душу.

Султан в знак своей особой милости и расположения к своему приближенному, оказавшему своему монарху неоценимую услугу при устранении от власти и последующем убийстве великого визиря Мидхдата-паши,¹⁸⁵ которого повелитель османов и «халиф всех правоверных»¹⁸⁶ ненавидел и боялся, подарил ему из своего гарема красивую немку с белоснежной кожей, как дарят коня или ковер.

Многие друзья отца молодого офицера, хорошо знавшие султа-

¹⁸⁴ *Ханум-эффенди* — почтительное обращение к женщине, принадлежащей к привилегированному обществу.

¹⁸⁵ *Мидхдат-паша* — выдающийся турецкий государственный деятель и реформатор. Будучи великим визирем, он добился провозглашения первой турецкой конституции. Абдул-Гамид II, боясь огромной популярности Мидхдата-паши, его реформ, ограничивающих султанскую деспотическую власть, отстранил его от высокого поста, упразднил введенную им конституцию, подверг аресту и казни многих его сторонников, в том числе своего зятя — военного министра.

Самого великого визиря он выслал из страны, а затем по ложному обвинению отправил в тюрьму в далекий Таиф (Аравия), являвшийся тогда одним из колониальных владений Турецкой империи, где он был задушен подосланными им убийцами. Вскоре по требованию султана тело великого визиря было извлечено из могилы и обезглавлено. Его голова была привезена в Стамбул через Японию в специальной шкатулке с невинной надписью на крышке: «Японские безделушки из слоновой кости для его величества султана».

¹⁸⁶ С XVI века турецкие султаны, после завоевания Египта, носили также титул халифа.

на Абдул-Гамида II в лицо, находили немалое сходство в чертах юноги паши с султаном, а некоторые даже утверждали, что он почти живой портрет его. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Шефик-паша родился ровно пять месяцев спустя после того, как его мать из гарема султана попала в дом его сановника-фаворита. Неизвестно только, знал ли сам султан, что он отдает своему приближенному наложницу, которая готовится стать матерью его ребенка? А может и знал, но просто не хотел, чтобы к многочисленным принцам, бывшим в его роду, прибавился еще один возможный претендент на его престол, ради которого каждый из них при удобном случае готов физически устранить не только своих единоутробных братьев, но и уничтожить его самого. Что-то, а кровавую историю борьбы за трон, нередко происходившую между представителями многовековой царствующей династии османов, он хорошо знал. Один из его предшественников на султанском престоле приказал даже утопить в водах Босфора беременных наложниц своего отца. Да и сам он пришел к власти путем дворцовых интриг, заговоров, убийств, за что в народе был прозван «кровавым султаном».

Бобои, которого Марал теперь уже без страха и опасения за свою жизнь и судьбу снова приблизила к себе, был явно расстроен и подавлен появлением молодого турка. Какая-то смутная тревога, предчувствие неотвратимой беды охватили его с первых же минут прихода Шефик-паши. Несмотря на то, что турок вел себя отменно вежливо все время улыбался своей обычной ослепительной улыбкой, слуга, не умеющий скрывать свои чувства, притворяться, стоял, надув губы, как обиженный ребенок, и смотрел на него удивленными и сердитыми глазами. Не то под влиянием зависти к этому изящному молодому человеку, не то из-за внезапно пробудившегося в нем чувства ревности, которого он раньше ни разу не испытывал, этот турок почему-то напоминал ему опасную змею — шах-мар, которая с виду пестра, гладка и красива, а под языком носит смертельный яд. И он сейчас мучился, страдал от того, что Марал этого не понимает, приветлива и любезна с ним, очарованная или введенная в заблуждение его картинной внешностью и притворной почтительностью.

Внутри у Бобои все кричало, вопило и бунтовало. Ему хотелось упасть на колени перед Марал, слезно умолять ее: «Прошу тебя, не будь так доверчива и ласкова с этим проклятым турком. Скажи, проси, чтобы он убрался отсюда, оставил нас в покое. Чует мое сердце — он наделает нам бед, тогда поздно будет!..»

Турок не знал, какие мысли и чувства бушуют сейчас слугу, но он не мог не заметить надутое, откровенно недружелюбное выражение на его скуластом рябоватом лице, беспокойный и неприязненный взгляд, обращенный к нему. Поведение слуги, казалось, только забавляло его, и с его красивого лица не сходила беспечная веселая улыбка.

Молодой офицер продолжал спокойно шагать по коридору, слегка играя хлыстом с разукрашенным кнутовищем, пока его денщик, невысокий, но подтянутый молодой человек, примерно его возраста, с серьезным смуглым, загорелым лицом, чуть раскосыми черными глазами, расседлав во дворе лошадей, заносил вещи своего барина в отведенную для него хозяйкой комнату. Офицерского денщика Марал устроила в комнате на веранде, где жил Бобои, а ему, вконец расстроенному и подавленному, вновь пришлось перебраться в свое старое жилье, рядом с конюшней.

Марал первый раз в жизни видела живого турка перед собой. До нее доходили недобрые слухи о том, что турецкие аскеры ведут себя не лучше, чем бичераховские казаки, и стараются повсюду насильственно насаждать свои порядки, притесняют население, пристают к женщинам, убивают. Но она знала, что больше всех об этом говорят те, кто ненавидел Бичерахова, а теперь — турок, сочувствуют большевикам, ждут их возвращения. Марал не верила, или просто не хотела верить, что такие люди, как Шефик-паша, могут зря обидеть людей, если даже те им чужие. Если они прибегают к насилию, то, наверно, в случае крайней нужды, чтобы поддержать закон и порядок. Поэтому, когда как-то вечером Шефик-паша любезно пригласил в свою комнату хозяйку, чтобы отужинать с ним, Марал, правда, немного поколебавшись, все же согласилась, не заставила себя долго уговаривать, питая к нему полное доверие.

За столом гость показался хозяйке еще более симпатичным, благородным и милым. Она даже позволила ему налить ей немного вина, чтобы поддержать компанию. Шефик-паша непринужденно шутил, развлекая ее смешными, но вполне приличными анекдотами, которых у него в запасе, видно, было немало, не позволяя себе ничего, что могло быть неприятным для ее слуха или оскорбить ее женскую стыдливость.

Хотя офицер говорил на своем родном языке, Марал понимала его. Она, как большинство ее земляков-дербентцев, почти с детства знала тюркский язык, являвшийся языком межнационального общения в Южном Дагестане, особенно в Дербенте и Дербентском районе, где проживало много азербайджанцев.

Но в середине беседы Шефик-паша, держа в руке хрустальный бокал с вином, чуть склонив набок свою красивую голову и мило улыбаясь ей, как бы между прочим спросил:

— Да, ханум-эффенди, скажите ради Аллаха, что за парень этот ваш слуга? Или он ревнует меня к своей прекрасной госпоже или просто он ... большевик?

Когда офицер спрашивал об этом свою собеседницу, ни он, ни она не подозревали, что слуга, о котором неожиданно зашла речь, в это время, покинув свое жилье, которое показалось ему сейчас хуже подземной тюрьмы, метался по двору, как затравленный зверь в железной клетке. Потом вдруг, привлеченный светом в окне комнаты, соседней со спальней хозяйки и до боли знакомой ему, подошел к тутовому дереву возле колодца и с проворностью кошки быстро взобрался на него. Отсюда он глазами, полными напряженного любопытства и ненависти, начал наблюдать, затаив дыхание. В свете горящей лампы, стоящей на столе, он отчетливо видел довольные и веселые лица Марал и ее постояльца, замечал каждый их жест, каждое движение. И у него было такое ощущение, что он словно сидит на раскаленных углях.

Замечание офицера, несмотря на то, что было высказано в добродушно-шутливом тоне, смутило и не на шутку напугало Марал. Она вспыхнула и про себя сильно разозлилась на слугу за то, что он вел себя так дико и неосторожно в присутствии иноземного офицера, дав ему повод для такого «ужасного подозрения». Но Марал неожиданно для себя быстро справилась с минутным замешательством и, принужденно улыбаясь, ответила без волнения:

— Что вы, ага,¹⁸⁷ он о большевиках понятия не имеет. Он слишком юн и наивен, как ребенок. Кроме лошадей, за которыми он у меня смотрит, поверьте мне, ничто другое в жизни его не интересует.

Офицер поверил ей, решив, что слуга просто безнадежно влюблен в свою очаровательную хозяйку и, видимо, действительно дурак от природы. Подумав так, Шефик-паша вспомнил, какой глупый, недовольный и несчастный вид был у слуги и как он косился на него, надувшись, словно мышь на крупу, и весело, от души расхохотался.

В то самое время, когда охмелевший офицер, держа в руке бокал с янтарным вином и откинувшись на спинку стула, громко смеялся, он не мог и предположить, что не пройдет и месяца, как погибнет от руки

¹⁸⁷ *Ağa* — господин.

этого самого «дурака от природы» — слуги, над которым он сейчас весело потешался.

Вино и усталость начали клонить Шефик-пашу ко сну. Откинувшись на спинку стула, он зевнул, изящно прикрыв рот ладонью, потом, с улыбкой посмотрев на разбуряившуюся хозяйку и указав глазами на кровать, тихо сказал:

— Ну что ж, давайте раздевайтесь — будем спать. Марал сперва показалось, что она ослышалась или он просто неудачно пошутил. Поэтому в первую минуту хозяйка даже не поверила в серьезность его слов. Но Шефик-паша, заметив ее недоумение и смущение, чуть нахмурился.

— Да, да, ханум, — небрежно кивая головой, без прибавления почтительного «эффенди», вежливо, но твердо произнес он. — Я не оговаривался: раздевайтесь — нам тоже пора бай-бай, — для большей убедительности он сложил обе ладони и наклонил на них голову.

Марал вздрогнула, щеки ее сразу запылали, словно ей надавали пощечин, а сердце тревожно забилось в груди. Она округлившими глазами посмотрела на турка. Его бесстыдное предложение, при том произнесенное таким спокойным и уверенным тоном, словно речь шла об обыденном и пустячном деле, так поразило и взволновало растерявшуюся женщину, что она была близка к обмороку. «Что он?.. Неужели он думает: я какая-то падшая женщина и со мной можно поступать, как ему захочется?» — пронеслось в ее затуманенной голове. Все ее самолюбие, вся ее женская гордость и стыдливость встали на дыбы. Прошло минуты две, прежде чем она, хватаясь судорожными пальцами за край стола, чтобы не упасть, смогла сказать ему с вызовом, дрожащим от волнения голосом:

— А если я этого не желаю и не хочу?!

Офицер засмеялся беспечным пьяным смехом, настолько ее слова показались ему нелепыми и смешными.

Потом он внезапно умолк и, горделиво вскинув голову, посмотрел на Марал повелительным взглядом, скривив припухлые чувственные губы в надменной улыбке.

— Ханум, милостью Аллаха и моего повелителя султана я, надо тебе сказать, не гость в твоём доме, — гордо выпятив грудь, строго произнес он и, сузив голубые, с жадным блеском глаза, сердито добавил: — Я — победитель, офицер победоносной армии, а ты, ханум, — моя сладкая добыча и больше ничто!

Марал только сейчас, в эту минуту, с мучительной ясностью по-

няла, что вся сдержанность, почтительность и уважительный тон иноземного офицера были, оказывается, маской, коварной игрой кошки с мышкой. Теперь, когда он сбросил маску, этот красивый, благовоспитанный с виду молодой человек с изящными манерами, интересный собеседник и веселый шутник показался ей в тысячу раз хуже, злее и страшнее, чем внешне грубый и необузданно-вспыльчивый ее покойный деверь, у которого, в отличие от этого, все было наружу: и плохое, и хорошее.

Марал чувствовала, как ее руки и ноги цепенеют, а сердце бешено колотится в груди. Она, со страхом и мольбой глядя на турка, заставила себя подняться, чтобы убежать от него. Но офицер «победоносной армии», догадываясь о ее намерении и не желая упускать свою «сладкую добычу», не спуская с нее весело-насмешливого взгляда, тоже поднялся с места. И когда она сделала шаг в сторону двери, Шефик-паша сразу преградил ей дорогу и, схватив ее за тонкие плечи, с силой привлек к себе, впившись губами в ее крепко сжатый рот, и тут же, при свете горящей лампы, повалил ее на кровать, еще днем заботливо убранную ею для него.

У слуги, который с замиранием сердца следил за ними, потрясенного представшей его взору ужасной сценой, голова пошла кругом, в глазах потемнело. И он, точно подстреленная птица, с приглушенным стоном упал с дерева на землю...

Когда Марал проснулась, Шефик-паши уже не было дома. Видно, ушел на службу. Настенные часы мелодичным звоном отбивали десять часов. Марал чувствовала себя усталой, разбитой. И настроение было самое поганое. У нее было такое ощущение, будто ее публично раздели, выпороли, а затем искупали в помоях. Она сама казалась себе сейчас грязной, отвратительной.

Ночь провела она, как в кошмаре. Пьяный офицер не давал ей покоя почти до самого утра, терзал ее душу и тело, вел себя с ней без всякого уважения к ее человеческому достоинству и женской стыдливости, как с обыкновенной шлюхой. Ей невольно пришла мысль: захватить свои драгоценности и спрятаться у кого-нибудь из своих земляков или у одной из знакомых женщин, которые приходят убирать ее комнаты, постирать белье, испечь хлеб. Но она тут же испугалась своей мыслью: вдруг Шефик-паша с помощью своих аскеров разыщет, найдет ее? Тогда он не только лишит ее жизни да еще завладеет всем ее состоянием, ее виноградниками с бесконечно милой ее сердцу белокаменной ар-

кой. Марал была уверена в том, что он так и поступит, что от такого, как Шефик-паша, можно ожидать всего.

Потом она вспомнила о своем слуге и друге. Марал удивилась, почему его до сих пор нет, почему он не идет завтракать. Думая сейчас о нем, она не могла и предположить, что Бобои вчера вечером, взобравшись на дерево, видел через окно все, что происходило между нею и турецким офицером.

Марал вышла на веранду, искала глазами Бобои, но его нигде не было видно. Недалеко от веранды денщик Шефик-паши, держа в вытянутой руке кусочек жареного мяса, стоял на корточках перед дворовым псом, который, не сходя с места громко, но не зло лаял на него. А аскер, добродушно смеясь, ласково уговаривал собаку:

— Скушай, мой хороший, этот лакомый кусочек и дай мне немножечко погладить тебя по шерсти. — Но вдруг заметив на веранде хозяйку, невольно наблюдавшую за ним, смутившись, тотчас же умолк. Быстро бросив собаке мясо, аскер поднялся и, глядя на Марал, застенчиво улыбнулся, зажмурив чуть раскосые глаза и обнажив ровные, крепкие зубы.

— Ханум! Удивительное дело! Ваш пес очень похож на нашего дворнягу, точно два близнеца, — радостно произнес он, но тут же вздохнув, задумчиво добавил: — Увидев его, я невольно вспомнил свой дом, свою деревню, где не был целых три года, ханум.

По голосу, выражению лица аскера Марал поняла, что он сильно переживает разлуку с домом, родной деревней, где у него, наверное, есть родители, а может, и молодая жена или невеста. Хотя у Марал сейчас не было никакого настроения вступать в разговор с кем бы то ни было, но она приличия ради все же заставила себя сочувственно улыбнуться ему, затем тихо спросила, как его зовут.

Приободренный тем, что хозяйка заговорила с ним, аскер ответил с застенчивой улыбкой:

— Я, ханум, тезка нашего султана Мехмеда — Мехмед меня зовут, — сказал он это без тени хвастовства и гордости, скорее с легкой иронией над собой и царствующим султаном, Мехмедом V, при этом невольная кривая усмешка тронула его тонкие губы.

Многие не любили Мехмеда V, считали его безвольным, бесхарактерным, рано одряхлевшим и неспособным руководить страной, тем более в такое сложное время, когда идет война. Особенно он был непопулярен среди военных. А между тем его родители при рождении буду-

щего султана специально нарекли свое любимое чадо Мехмедом в честь Мехмеда Фатиха (Завоевателя)¹⁸⁸ в надежде на то, что он, Бог даст, займет султанский престол и чем-то будет похож на своего знаменитого предка. Но Мехмед V ни одной черточкой своего характера не походил на Мехмеда II, обладавшего недюжинным умом, неукротимой волей и полководческим талантом. И то, что ему в пожилом возрасте вместе с султанским тронном, словно по иронии судьбы, достался и огромный гарем из тысячи красивых женщин, принадлежавших к разным народам и расам, порождало много шуток, анекдотов и насмешек в его адрес, особенно среди аскеров, состоявших в основном из молодых деревенских парней, оторванных от родных очагов, своих близких и недовольных затянувшейся войной.

Среди расхожих анекдотов о незадачливом султани был анекдот «О бунте в гареме», который якобы произошел на третий год царствования Мехмеда V. Женщины гарема, видя, что их новый повелитель с тех пор, как взшел на престол, ни разу не посетил ни одну из своих многочисленных подруг, пришли в отчаяние и подняли бунт. Они схватили главного евнуха — начальника над остальными евнухами, день и ночь охранявшими святая святых — султанский гарем. Не считаясь с тем, что статус главного евнуха приравнялся чуть ли не к статусу главного визиря, разъяренные женщины повалили его на пол и принялись немилосердно дубасить, острыми, холеными ногтями царапать его безволосое бабье лицо. Они пригрозили бдительному стражу гарема, если он сейчас же не пойдет к их господину-султану, не доложит ему о том, что его верные подружки жаждут лицезреть его светлый лик, ждут от него внимания и ласки, то непременно растерзают его, главного евнуха, а поганое его мясо выбросят на съедение псам.

Когда дрожащий от страха и еле живой от побоев евнух прибежал к султану и, упав к его ногам, доложил о бунте в гареме и чем он вызван,

¹⁸⁸ Мехмед II Фатих (1432-1481) — турецкий султан и крупный полководец. Создал мощную армию, ядро которой составляли янычары (регулярная пехота) и конница. Вел завоевательную политику. Сам возглавлял походы своей армии. В 1452 г. завоевал Константинополь и сделал его своей столицей, переименовав в Стамбул.

Захватом Константинополя он фактически положил конец существованию многовековой великой державы — Византии. При Мехмеде II были завоеваны Трапезундская империя, Морья, Босния, о. Эвбея, ликвидирована независимость Сербии, завершено завоевание Албании, подчинено Крымское ханство.

По сведениям некоторых летописцев, Мехмед II получил хорошее для своего времени образование, любил поэзию, писал стихи.

султан, говорят, явился туда. Он, выстроив своих жен, нежно поцеловал каждую из них, а затем скорбно промолвил:

— О мои красавицы! Я каждую из вас удостоил нежного поцелуя, Но больше этого, при всем моем и вашем желании, я вам не могу дать.¹⁸⁹

Денщик Шефик-паши, видно, не составлял исключения из числа тех, кто в душе не любил султана и относился к нему иронически. Вот почему он, назвав свое имя Марал, сказав, что он тезка ныне царствующего султана, не смог удержаться от саркастической улыбки.

После короткого молчания Мехмед, глядя в лицо хозяйки и почтительно приложив руки к груди, с готовностью произнес:

— Ханум, если вам потребуется моя услуга, я буду всегда рад выполнить любое ваше поручение.

— Спасибо, Мехмед, — усталым голосом, в котором слышалась искренняя благодарность, произнесла она.

Было уже за полдень, а Бобои все не показывался. Марал положила в глубокую тарелку плов с мясом, а сверху — полчурека и отнесла в домик, где он жил.

Вчера вечером, когда Бобои, потеряв сознание, упал с дерева, он долго лежал на голой земле, не приходя в себя. Очнулся от сильного холода, сковавшего все его тело, и нежного прикосновения чего-то мягкого и теплого. Это лизал его ледяную щеку его четвероногий друг — дворовый пес, обдавая Бобои густым псиним запахом.

Когда он открыл глаза, уже начинало светать, но звезды еще блистали на небе. Бобои чувствовал себя совершенно разбитым, болела, кружилась голова. Но он с трудом заставил себя подняться. Кое-как притащившись к себе в домик, в сопровождении преданной собаки, Бобои, едва очутившись у себя, бессильно рухнул на топчан, накрытый постелью, и опять впал в забытие.

Когда Марал отворила дверь, слуга лежал на спине, уставившись в потолок отсутствующим взглядом. При виде хозяйки он беспокойно зашевелился и с выражением явного недовольства сразу повернулся на

¹⁸⁹ Наличие больших гаремов у восточных монархов не обязательно следует понимать как их необузданное желание обладать как можно большим количеством женщин. При их неограниченной власти и огромном богатстве для них это не могло составить проблему. Иметь собственный гарем с возможно наибольшим количеством жен считалось престижным, одним из важных атрибутов, составляющих величие, блеск и богатство государства, возглавляемого монархом, несмотря на то, что содержание такого гарема с его обслугой тяжелым бременем ложилось на казну.

живот, уткнувшись лицом в подушку, всем своим видом демонстрируя, что не хочет ее видеть. Марал по-своему поняла его «каприз», поэтому не рассердилась, но все же недовольно сказала:

— Чего ты надулся на меня, как индюк?! Я тебе кушать принесла, а ты как меня встречаешь?!..

— Отнеси назад! Назад отнеси! — не поднимая лица от подушки и дергаясь всем телом, точно от боли, вскричал слуга. — Я все равно есть не буду!

Марал положила тарелку с пловом и хлебом на узкий подоконник, затем, постояв еще немного возле топчана, тяжело вздохнув, вышла во двор. Марал было до слез обидно и больно, что в такое тяжелое для нее, одинокой и беззащитной женщины, время единственный человек, который был близок ей, отворачивается от нее.

Только на третий день похудевший и сильно изголодавшийся слуга появился в доме. Не вступая в разговор с хозяйкой, он молча взял хлеб и еще кое-что из еды и так же молча вернулся в свое жилье. Так он поступал все остальные дни, пока Шефик-паша жил у них.

После появления в доме турецкого офицера к слуге невозможно было подступиться, поговорить, он был зол, как черт. Поэтому волея-неволей пришлось Марал просить Мехмеда, чтобы он вместо Бобои ходил на базар, покупал нужные продукты для приготовления пищи.

Шефик-паша, как и бывший постоялец Марал — бичераховский полковник, целыми днями не бывал дома. Нельзя сказать, чтобы служебное рвение заставляло его рано утром спешить на работу и лишь поздно вечером возвращаться домой. Большую часть времени он вместе со своими друзьями убивал в казарме за картежной игрой, к которой имел сильное пристрастие, или проводил в кутежах. Узнав о том, что на окраине города за крепостными воротами действует публичный дом, где есть и буфет с набором самых различных напитков и курительные кальяны с анашой, он нередко проводил ночи в одном из номеров этого пресловутого заведения, пропитанном целым букетом различных запахов: дешевых духов, косметической мази, табачного дыма, винных паров, несвежего женского белья и еще Бог знает чем.

Этот избалованный жизнью богатый аристократ, которому доступны все земные блага, незаконнорожденный принц с блистательной внешностью, несмотря на свои молодые годы, был глубоко порочен. Еще с юных лет он был частым посетителем полулегальных стамбульских притонов и во время своих увеселительных путешествий по

европейским странам любил заглядывать в зланные места. Испорченная его натура не только не могла довольствоваться любовью одной женщины, какой бы преданной, нежной и привлекательной она ни была. Шефик-паша вообще не считал женщину за человека, достойного уважения, поклонения и любви. Страстные стихи, поэмы о любви, полные восторга, тоски и томления, готовность влюбленных жертвовать своей жизнью ради друг друга, вызывали у него недоверчивую усмешку, иронию. Он считал все это плодом фантазии романтически настроенных поэтов, живущих на земле, полной грехов и соблазнов, но витающих в облаках или сочиняющих все эти привлекательные небылицы из-за своего тщеславия, чтобы выделиться из среды обычных смертных, вызвать к себе внимание и восхищение, особенно представительниц слабого пола, более склонных к химерам, или же, чтобы поддержать свое трудное материальное положение: наверное, знал, что талант и деньги, как талант и совесть, не всегда встречаются вместе.

Марал бывала рада, когда Шефик-паша ночью не возвращался домой или приходил поздно вечером. С наступлением темноты она, поужинав на скорую руку, закрывала дверь своей спальни на ключ, ложилась в постель, притворяясь спящей. Если он возвращался домой, то, как правило, поздней ночью и будучи сильно под мухой. Как только он появлялся на веранде, сразу же рвался к двери спальни хозяйки, стараясь силой отворить ее. И денщику каждый раз стоило больших усилий оттащить его назад, отвести упрямого, до невменяемости пьяного в его комнату, и уложить спать.

Марал сначала думала, что Мехмед проявляет к ней почтительность из-за того, что она стала невольной наложницей его господина. Мысль об этом глубоко оскорбляла ее. Но очень скоро она поняла, что этот скромный, простой деревенский парень, в отличие от своего высокородного господина, обладает благородным сердцем.

Однажды ночью, когда Марал спала крепким сном, а денщик, по обыкновению сидя на веранде, бодрствовал, ожидая своего разгульного хозяина, кто-то начал сильно стучать в ворота и чей-то старческий голос несколько раз выкрикнул ее имя. Мехмед, быстро схватив свой карабин, подбежал к воротам.

— Кто спрашивает? Что надо? — строго спросил Мехмед.

— Да буду я жертвой за тебя, — послышался хриловатый голос с улицы, — открой, пожалуйста, калитку, я сейчас тебе объясню.

Мехмед открыл калитку и впустил во двор ночного гостя. Им оказался старик с сутулой спиной и широкой седой бородой. Он был очень взволнован и тяжело дышал. Прижимая руки к груди, старик произнес дрожащим голосом:

— Сын мой, прости меня, ради Бога, за беспокойство в такую ночную пору. Но у меня другого выхода не было. Если Всевышний на небесах, а вы на земле не поможете нам сейчас, считайте, что мы — аман-аман! — погибли.

Марал тоже услышала стук в калитку и голос старика. Она сразу вскочила с постели, быстро накинув на голову и плечи большую шерстяную шаль, поспешила к воротам, где стояли Мехмед и какой-то старик. Как только Марал подошла к ним, она сразу узнала старика. Это был известный в округе бондарь и плотник. Он изготовлял бочки для хранения вина, кадки для соленья овощей, а из гладко оструганных досок — специальные прямоугольные желобы для давки винограда. Несколько таких желобов он смастерил по заказу ее мужа Ошира Тряпичного Котелка. Жил он на противоположной улице, около городского рынка. Звали его Шишет.

Старик, увидев Марал, очень обрадовался. Попросив у нее извинения, он, торопясь и волнуясь, рассказал о том, что невестка его должна рожать, но, бедная, не может разродиться, страшно мучается. Ходил за мому, но она не идет, боится, потому что на днях ее задержали турецкие патрули и приказали немедленно вернуться домой: ночью, мол, запрещено появляться на улице.

Как только Шишет закончил, Мехмед, тот час же закинув за плечо карабин, сказал с готовностью:

— Отец, не волнуйся! Я сейчас же пойду с тобой, захватим повитуху, отведем к вам, а потом в целости и сохранности я доставлю ее обратно домой.

Старик, бесконечно обрадованный, молитвенно вознес руки вверх и горячо произнес:

— Да чтоб великий и всемилостивый Бог вознаградил вас за вашу доброту!..

Как только они ушли. Марал, закрыв за ними калитку, зябко поеживаясь под теплой шалью, быстро вернулась в свою спальню и легла в постель. Но она долго не спала, ожидая возвращения Мехмеда. Кроме того, Марал по-женски тревожилась о том, как прошли роды у невестки старика, кого, интересно, она родила: мальчика или девочку? Но вско-

ре незаметно для себя она уснула, а проснулась, когда уже было утро и Мехмед стучал в калитку.

Как только денщик вошел во двор, Марал с нетерпением спросила его:

— Ну как? Все благополучно? Мехмед печально покачал головой.

— Нет, ханум. Она родила мертвого ребенка, и сама еле жива — повитуха пришла слишком поздно, — устало ответил он.

До веранды они оба шли молча. Марал исподлобья посмотрела на аскера, на его смуглое, утомленное, печальное лицо. Хотя, как он рассказывал, в доме старика ему отвели отдельную комнату для отдыха, но из-за душераздирающих криков и воплей роженицы, он не спал всю ночь: переживал за нее. По всему было видно, что чужая боль ему не безразлична.

— А знаете, ханум, что сказал мне старик на прощанье? — после минутного молчания воскликнул Мехмед, в голосе которого слышалось сейчас откровенное восхищение. — Он сказал: «Мой внук, который сейчас родился мертвым, — тоже жертва войны. Но пусть он будет последней ее жертвой».

После этой памятной ночи, когда Мехмед без малейшего колебания вызвался помочь старику Шишету, проявил искреннее сочувствие к горю его семьи, Марал все больше проникалась уважением и доверием к этому простому турецкому парню.

На следующий день, как это она делала нередко, Марал сидела на скамеечке возле колодца под почти наполовину оголенным тутовым деревом и от нечего делать вязала теплые журабы. Тонкие стальные спицы быстро мелькали между ее пальцами. Несмотря на позднюю осень, день выдался солнечным, теплым. Солнечные лучи золотили пожелтевшие листья на дереве, вспыхивали ярким светом на оконных стеклах, освещали по-девичьи гибкую и тонкую фигуру молодой женщины. Мехмед в это время набирал ведром воду из колодца и выливал ее в широкое деревянное корыто, чтобы потом напоить лошадей.

В последние три недели, что он жил у нее в доме, Марал не могла не заметить, что аскер при всей внешней почтительности, готовности служить своему барину Шефик-паше, в душе недолюбливает его. Сначала она объясняла себе это тем, что своим необузданным характером и недостойным поведением тот доставляет ему немало забот и хлопот: часто приходит поздно ночью, и ему приходится без сна и отдыха сидеть, как собаке у ворот, караулить, ждать его. И что, будучи му-

сульманином, Шефик-паша питает пристрастие к вину и редко бывает трезвым. Но потом, как ей стало известно, главная причина тщательно скрываемой неприязни к своему начальнику таилась совсем в другом, более печальном, можно сказать трагическом, для денщика случае, который невозможно забыть, простить. Правда, виновным в этом был не сам Шефик-паша, а его отец...

Эта тайна для Марал так и осталась бы за семью печатями, если бы не случайный вопрос, заданный ею молодому аскеру из чисто женского любопытства: есть ли у него дома, в деревне жена, любимая девушка? Мехмед только что вытащил из колодца очередное ведро воды и собирался вылить его в корыто, но услышав вопрос хозяйки, на минуту так и замер с ведром в руке. Лицо его обычно простодушное, открытое сразу стало серьезным и непроницаемым. Он глубоко вздохнул.

— Была, ханум, была у меня любимая девушка, но потом ... — он запнулся на полуслове и умолк, задумчиво глядя перед собой.

— Ну что «потом»? — с веселым любопытством переспросила Марал. — Наверное, предпочла тебя другому? — И желая польстить самолюбию молодого человека и вызвать его на откровенный разговор, лукаво добавила: — Видно, она была глупой, легкомысленной девушкой, коли не могла оценить такого достойного парня, как ты. В таком случае тебе нечего жалеть о ней.

После такой похвалы от молодой, доброй, красивой женщины на какое-то мгновение губы Мехмеда тронула невольная улыбка, а чуть раскосые глаза зажмурились, точно от внезапно вспыхнувшего яркого света. Но в ту же минуту его лицо вновь приняло серьезное, задумчивое, грустное выражение.

— Нет, ханум, нет, — отрицательно покачал он головой. — Она была не только красивой, но умной и порядочной девушкой. И очень любила меня, как и я ее.

Марал сделала удивленное лицо.

— А что тогда?..

Мехмед не спеша вылил воду в корыто, поставил пустое ведро на каменную стенку колодца, затем медленно приблизился к скамейке.

— Ханум, — почтительно произнес молодой аскер, — если позволите, я сяду вот здесь на краюшке и — так и быть — расскажу как на духу свою историю. Она длинная, но я, чтобы не утомлять вас, постараюсь изложить ее покороче. — Он тяжело вздохнул. — Да и мне, сказать по правде, нелегко о ней рассказывать.

Удивленная таким признанием денщика, Марал молча кивнула ему. Мехмед, присев на почтительном отдалении от хозяйки, целый час рассказывал ей историю своей несчастной любви, и это была исповедь глубоко страдающего человека. Когда он рассказывал, лицо, глаза и голос молодого человека резко меняли свое выражение в зависимости от того, что он переживал в тот или иной момент, излагая свою горестную повесть.

...Примерно в тридцати километрах южнее Стамбула находилась одна из деревень, принадлежавших отцу Шефик-паши — Сулейману-паше. Он почти каждое лето приезжал в свое имение вместе со своими тремя женами, чтобы жаркое время года провести вдали от шумной и душной столицы. Здесь у него был двухэтажный особняк с двумя широкими балконами, увитыми живописными виноградными лозами. Один из них выходил в сад, обнесенный высокой чугунной оградой, за которой простирался зеленый луг и чернел густой лес, окутанный сиреновой дымкой. Во дворе барского особняка стоял одноэтажный домик, в котором жила семья Мехмеда: отец, мать, два младших брата и шестилетняя сестренка.

Отец Мехмеда в имении Сулеймана-паши совмещал несколько обязанностей: садовника, сторожа и поставщика первосортных фруктов для семьи своего хозяина. За это ему разрешали жить в домике при особняке паши. Кроме того, он получал ежемесячную плату за свой труд.

Садовник он был опытный и старательный. Какие только фрукты и ягоды не росли в этом красивом, ухоженном саду. Большую часть он возил на телеге в Стамбул ко двору своего барина, из остальной — его жена, выполнявшая обязанности поварихи, когда Сулейман-паша проводил лето в деревне, готовила варенье для барской семьи.

После завтрака жены паши, а нередко и он сам (но всегда один) до того, как начинало припекать солнце, любили прогуляться в прохладном саду, пройтись по его ровным чистым дорожкам, посыпанным желтым песочком, мимо растущих благоухающих кустов роз, пестрых цветочных клумб и живописных декоративных растений.

В верхней части обширного сада среди большого цветника сверкал мраморный бассейн для купания с чистой проточной водой и четырьмя высокими стройными фонтанами по углам. Летом при ярком солнечном свете над водяной пылью, разбрасываемой фонтанами, воздушной сказочной аркой висела многоцветная радуга, придавая этому уголку сада особое очарование.

Родителям Мехмеда в их нелегкой повседневной работе помогали дети, но больше всех, конечно, старший из них — Мехмед. А все необходимые продукты для приготовления пищи для паши и его жен в летние месяцы доставлял на кухню староста деревни.

Почти каждый год, обычно в начале августа, в имение приезжал и молодой Шефик-паша ко дню своего рождения. По настоянию отца этот день отмечали в узком семейном кругу, без гостей, без старых друзей, чтобы не возбудить у кого-либо из них желание вспомнить (пусть даже про себя) о тайне рождения молодого Шефик-паши или по секрету посплетничать на этот счет. Все три жены Сулеймана-паши готовились к нему, как к важному семейному торжеству и втайне соревновались между собой: кто купит подарок пооригинальнее, поизящнее, который больше понравится имениннику.

Шефик-паша всех трех жен своего отца называл «мамами». И все они, не говоря о родной матери, искренне любили его. Поскольку Сулейман-паша был бесплодным, жены его (кроме матери Шефик-паши) не имели детей. И для всех трех стареющих женщин он был единственным сыном. И все трое мечтали о том времени, когда молодой Шефик-паша женится, приведет в дом невесту и та народит им внуков и внучек, которых они будут любить и нянчить. Дети принесут им не только радость, но и разгонят одолевающие их скуку и тоску, порожденные их однообразной, несмотря на окружающую роскошь, по существу затворнической жизнью, и наполнят ее смыслом.

Но время шло, а молодой паша, как его ни уговаривали, ни умоляли, не торопился жениться, не желая связывать себя узами брака.

В деревне Шефик-паша долго не задерживался. На второй или третий день после своих именин он спешил обратно в Стамбул, где его ожидали друзья и развлечения.

Каждый год во время приезда Сулеймана-паши староста посылал на все лето в помощь матери Мехмеда кого-нибудь из молодых не обремененных своей семьей девушек. В последний приезд паши в деревню (это было три месяца спустя после возвращения Мехмеда со срочной службы) староста прислал на кухню девушку по имени Юлдуз.¹⁹⁰ Это была жизнерадостная, белолицая, стройная девушка со здоровым румянцем на щеках и веселыми искорками в лучистых темно-карих глазах, подвижная, расторопная. Мехмед с первого взгляда влюбил-

¹⁹⁰ Юлдуз — звезда (тюрк.).

ся в свою юную односельчанку. Под разными предлогами он старался быть поближе к ней, перекинуться словечком, шуткой. Мать очень скоро обратила внимание на то, что ее первенец равнодушен к Юлдуз. Да и её девушка пришлась по нраву. И она хотела, чтобы они полюбили друг друга, а там, Бог даст, скоро, к осени, сыграть свадьбу. И каждый раз она находила повод, чтобы отправить Мехмеда и Юлдуз в сад: нарвать цветы для жен паши, собрать свежие фрукты к их столу. Здесь в саду, в окружении развесистых деревьев, отягощенных сочными плодами, благоухающих цветов, под веселое щебетание вольных птиц, они, не стесненные присутствием посторонних людей, свободно и весело болтали между собой. Очень часто их радостно блестящие глаза, сияющие лица говорили больше, чем они позволяли себе выражать в словах друг другу.

Почти каждый раз, когда Мехмед и Юлдуз бывали в саду, они любили постоять рядом среди цветника перед мраморным бассейном, где поверх фонтанов на фоне чистого синего неба, точно волшебное видение, переливалась многоцветная радуга. И каждый из них смутно воспринимал ее как некое доброе знамение, предвещающее им счастливое будущее.

Прошло два месяца после знакомства Мехмеда и Юлдуз. Однажды вечером в доме старого садовника царил радостный суета: он вместе с женой делал последние приготовления, чтобы завтра с подарками и угощениями пойти к родителям Юлдуз и засватать ее в добрый час для своего сына. Но неожиданно произошло то, чего никто не мог предвидеть: в ту же ночь девушка исчезла. Где она, что с ней, никто не знал, даже горем убитые родители. Это печальное происшествие точно громом поразило всю деревню. Юлдуз искали повсюду: в окружающих садах, оврагах, полях, в густых камышовых зарослях, в лесу, — но нигде ее следы не были обнаружены. Девушка словно в воду канула.

Случилось так, что на следующий день после этого трагического происшествия Сулейман-паша вместе со своими женами в самый разгар жары укатил на фаэтоне в Стамбул. Ни у кого тогда этот преждевременный отъезд старого паши не вызвал ни удивления, ни, конечно, сожаления: уехал — тем лучше, скатертью ему дорога, меньше забот для жителей деревни, с которых староста взимал лучшие продукты для его кухни.

Сулейману-паше в то время было лет семьдесят, но выглядел он намного моложе. Это был крутоплечий здоровый старик, казалось, весь

спрессованный из железных мускулов, кроме немного отвислого живота. Широкие, круглые ноздри короткого толстого носа на смуглом полном лице с массивным подбородком напоминали черные отверстия двуствольного ружья. Пышные, темные усы с проседью закручены колесом, выпученные черные немигающие глаза смотрели пронзительно, словно буравили, гипнотизировали человека. Многие не выдерживали его тяжелого пронизывающего взгляда, особенно женщины, на которых он бесстыдно пялил глаза. Они при случайной встрече с ним, будто почувствовав какую-то опасность, исходящую от этого странного человека, сразу отводили глаза в сторону и убыстряли шаг.

Всем своим внешним видом Сулейман-паша скорее напоминал циркового силача или грозного сказочного главаря сорока разбойников, нежели придворного сановника с аристократическим титулом «паши». А он и впрямь не принадлежал к знатым турецким родам. Сын безземельного крестьянина, он юношей пришел в столицу в поисках работы и пропитания. Работал амбалом в порту. Отсюда его вскоре по призыву взяли в армию, где он удивлял командиров и сослуживцев своей бычьей силой и выносливостью, чрезмерным усердием в службе.

Особенно отличился будущий паша своей «доблестью» и бесстрашием при подавлении антитурецких выступлений в некоторых колониях на Балканах и Ближнем Востоке, за что был удостоен ордена. После этого «неустрасимый» и обладающий богатырской силой аскер оказался в числе самых верных ближайших телохранителей его величества султана Абдул-Гаида II. И это послужило счастливым началом его будущей головокружительной (если учесть его низкое происхождение и отсутствие элементарного образования) карьеры. Вскоре за активное участие в физическом устранении сторонников главного врага султана — великого визиря Мидхдата-паши — верный телохранитель, готовый на все, чтобы угодить своему монарху, получил от него титул «паши» и в придачу обширные поместья с несколькими деревнями и красивую наложницу-немку.

Вечером перед сном старый паша любил проводить время в одиночестве в своей комнате, напоминавшей что-то среднее между кабинетом, библиотекой и музеем. Одну стену ее украшали портреты наиболее выдающихся турецких султанов и военачальников, заключенные в серебряные рамки, другую, противоположную — образцы холодного и огнестрельного оружия разных времен. Половину передней стены за-

нимал высокий черный дубовый шкаф с книгами преимущественно на турецком языке. Он стоял рядом с широким окном, выходившим в сад.

Старый паша, не в пример своим женам, редко пользовался своей библиотекой. Чтение книг вызывало в нем сонную одурь и легкую головную боль. Но, покуривая кальян или попивая густой ароматный чай с дарчином,¹⁹¹ он мог часами рассматривать с жадным интересом парижские альбомы с изображением голых мужчин и женщин, с бесстыдством, не знающим границ, демонстрирующих приемы «сексуального искусства». Нередко, сидя в кабинете, он от нечего делать (после устранения Абдул-Гамида II от власти он не числился больше придворным и ничем не занимался) охотно предавался воспоминаниям своей бурной молодости, связанным с придворными интригами и любовными похождениями.

По обыкновению, вечерний чай приносила ему в кабинет мать Мехмеда или девушка, которую выделял староста для работы на кухне. Старому сластолюбцу приглянулась свежая, здоровая, кровь с молоком, очаровательная Юлдуз. Но хорошо зная нравственную стойкость и целомудренную чистоту турецких девушек, похотливый паша не рассчитывал на то, что ему удастся соблазнить ее дорогими подарками и уговорами.

Однажды вечером, когда ничего худого не подозревающая девушка, по обыкновению, принесла Сулейману-паше на серебряном подносе чай, тот незаметно для Юлдуз торопливо закрыл за ней дверь на ключ. Едва девушка успела поставить серебряный поднос с чаем на стол, как старый паша, распираемый животной похотью и сладострастно блестя выпученными глазами, осторожно, вкрадчивыми тигриными шагами, неслышно следуя за ней сзади, внезапно накинулся на нее, точно зверь из засады на свою жертву. Левой рукой крепко зажал ей рот, а правой, — точно стальным обручем, обхватил ее спереди. Охваченная страхом, в обморочном состоянии девушка из последних сил пыталась вырваться из медвежьих лап насильника, но не смогла...

С той ночи Юлдуз исчезла. Только три месяца спустя, односельчане узнали, что она скрывается у своей тетки по отцу, которая жила со своим мужем и детьми в отдаленной деревне. Ей рассказала Юлдуз о гнусном поступке старого паши, и добрая женщина, сжалившись, приютила свою несчастную племянницу. Мехмед клялся, что узнай он о

¹⁹¹ Дарчин — корица.

подлом надругательстве паши над его любимой девушкой, ни за что не выпустил бы этого шайтана живым из села.

Молодой человек страшно переживал эту трагедию. Отец и мать, видя его душевное состояние, уговаривали, умоляли его забыть о Юлдуз, обещали найти ему девушку красивее и милее ее, но сын, к великому огорчению родителей, сердился на них за это, категорически отвергая их предложения.

Неизвестно чем бы все это в конце концов кончилось, если бы вскоре не началась война. Когда Шефик-пашу отправили на турецко-русский фронт, то Сулейман-паша и немецкая мать Шефик-паши пожелали, чтобы Мехмед отправился с их сыном на войну в качестве его денщика.

— Вот такая история у меня, ханум, — тяжело вздыхая, закончил свою печальную повесть Мехмед и, немного помолчав, с грустной улыбкой добавил: — Иногда, ханум, в жизни случаются странные совпадения. Я вот, к примеру, часто любил петь Юлдуз такую песню:

*Любимая! Кто я без тебя?
Сердце полно печали без тебя.
Олень, который рыдает на горе,
Знай — это я без тебя.¹⁹²*

— Я, ханум, — продолжал он, горестно покачав головой, — разве мог подумать тогда, в самые веселые и счастливые дни моей жизни, что окажусь на месте того рыдающего оленя..

Спицы с пряжей давно покоились у Марал на коленях. Она сама, раненная судьбой, была глубоко взволнована рассказом этого чужого ей человека, искренне сопереживала ему. Они долго молчали. Потом Марал опять взялась за свое вязание и, не глядя в сторону Мехмеда, язвительно бросила:

— И ты — денщик его сына?!

Мехмед понял скрытый упрек в ее вопросе и беспокойно заерзал на скамейке, а лицо залилось краской. Но он не обиделся на нее.

— Ханум, я вас понимаю, — с волнением и горечью в голосе произнес Мехмед. — Но поверьте мне, я с тяжелым сердцем согласился на это. Если бы я отказался, Сулейман-паша на второй же день уволил бы

¹⁹² Ашугская песня (подстр. перевод с тюркского).

отца и запретил жить в доме, принадлежащем ему, а у отца нет ни земли, ни своего дома, он их давно продал за долги... Кроме того, ханум, — продолжал Мехмед после короткого молчания, надеясь, что она поймет его правильно, — каким бы плохим ни был Шефик-паша, не он виноват в гнусном поступке своего отца. Может, я неверно рассуждаю?

Марал ничего не ответила, а только спросила:

— А что теперь с бедной Юлдуз?

При упоминании ее имени, губы молодого аскера растянулись в задумчивой улыбке.

— Юлдуз? Она вернулась в родное селение и по-прежнему живет с родителями, — проговорил он. — Мне писали, что на ней хотел жениться один бездетный молодой вдовец, но... — Мехмед, чуть помолчав, добавил, не скрывая своего удовлетворения: — Но она отказала ему.

Марал, прищулив глаза, испытующе посмотрела на аскера.

— Я бы на твоём месте, Мехмед, не стала бы рыдать, как тот олень на горе, — после короткого молчания твердо произнесла она.

Мехмед сразу насторожился и недоуменно посмотрел на нее.

— А почему вы так решили, ханум? — с удивлением и чуть ли не с обидой воскликнул он. — Забыть мне ее, что ли, как предлагали мои родители?

Марал, непроизвольно закинув голову назад, рассмеялась весело, звонко, как не смеялась давно.

— Ой, какой дуралей ты, Мехмед, ей-Богу! — произнесла она, едва справившись со своим смехом. — Я напротив, совсем напротив, хочу, чтобы ты женился на Юлдуз.

Мехмед недоверчиво, почти подозрительно искоса взглянул на собеседницу, решив, что она просто хочет испытать его.

— Ханум, вы сами должны понимать: даже при желании я не могу это сделать, — с болью в голосе произнес он, вздыхая. — Как же я, холостой парень, могу на ней жениться, если она обесчещена?

Марал вспылила. Она быстро положила спицы с пряжей на скамейку, осуждающе, сердито посмотрела на Мехмеда.

— Вон как! — гневно воскликнула она. — Мало того, что этот старый распутник, душегуб, ваш хозяин, надругался над ни в чем неповинной, твоей любимой девушкой, да еще и ты хочешь наказать ее из-за его же преступления?! И не стыдно тебе?!..

Аскер ничего не сказал. Опершись локтями о колени и обхватив голову руками, молчал. Лица его сейчас не было видно Марал. Но она

догадывалась, о чем он думает, какие жгучие противоречивые мысли и чувства бушуют его страдающую душу. Марал искренне пожалела его. Пододвинувшись ближе к нему, она, дружески коснувшись его плеча, тепло, почти по-матерински, ласково сказала:

— Вы же любите друг друга. Оба страдаете... Поженитесь в добрый час и будете вновь чувствовать себя счастливыми. Разве я не права?...

Марал ждала, как Мехмед отреагирует на ее слова. Не прошло и минуты, как он вдруг порывисто поднялся со своего места и встал перед ней. Вид у него в этот момент был совсем другой — уверенный, решительный.

— Ханум, — чуть дрогнувшим голосом произнес он, прикладывая руку к сердцу, — вы правы. Я сам, мучаясь, страдая, думал об этом не раз, но не мог, не мог перебороть себя. — Аскер на минуту умолк, затем глубоко вздохнув, продолжил: — Клянусь вам, если я, дай Аллах, вернусь живым на родину, я обязательно женюсь на Юлдуз. — И он, вскинув голову, с гневным выражением на лице и злыми огоньками в горящих чуть раскосых глазах, громко воскликнул: — А старому шайтану, ханум, Сулейману-паше, не будь я сыном своего отца, если не отомщу за его вероломный, гнусный поступок!..

* * *

Прошел почти месяц, как турки оккупировали Дербент. Этот месяц показался Бобои целой вечностью. С каждым днем в его наболевшей и истерзанной ревностью душе росло ожесточение против Шефик-паши, упрямое желание отомстить ему. Замкнутый, нелюдимый, необщительный и туповатый слуга был безразличен ко всему, что не касалось его и его хозяйки, в том числе и к присутствию турок в его родном городе. Он просто не воспринимал их. К туркам он не питал ни ненависти, ни симпатии. Но Шефик-пашу ненавидел всеми фибрами души. Он денно и нощно думал только о мести. Эта навязчивая идея неотступно преследовала его повсюду, гвоздем засела в его убогом мозгу. Но в чем должна была выражаться эта месть, он сам ясно не представлял себе. В то же время ему и в голову не приходила мысль убить Шефик-пашу. Нет, не из трусости. Трусом он не был. Он даже не мог представить себе, как можно убить человека, если даже этот человек такой его враг, как Шефик-паша. Кроме того, слуга понимал, что убийство турецкого офицера может стоить жизни его хозяйке. При всем его глубо-

ком недовольстве и возмущении нынешним поведением своей госпожи, он не хотел, чтобы ее жизнь подверглась опасности. О себе он не думал.

С тех пор, как умер Ошир Тряпичный Котелок, Бобои ни разу не приходилось запрягать лошадей для выезда. Последнее время, как у них в доме поселился турецкий офицер, он ничего не делал, кроме как вовремя кормил, поил, чистил лошадей, убирал за ними. Почти все остальное свободное от работы время он неподвижно лежал на скрипучем топчане, заложив руки под голову и напряженно, до боли в мозгах, думал все о том же — своей мести, уперев взгляд в потолок, словно желая найти там ответ. Но однажды его осенило: он понял, как отомстить ненавистному Шефик-паше. Бобои так обрадовался этому, что, вскочив, начал быстро шагать по комнате, весело потирая руки.

В представлении его земляков очень обидным и унижительным для чести и достоинства мужчины было отрезать хвост коня, на котором он ездит.¹⁹³ Это считалось в такой же степени позорным, как если бы насильно сбрили усы, публично плюнули в лицо или, содрав с головы папаху (гордость мужчины), бросили на землю и принялись топтать ее.

Бобои заточил топор до острия бритвы, чтобы осуществить свою месть. Ему, правда, было очень жаль бессловесную скотину, хотя она и принадлежала его врагу. Но желание опозорить Шефик-пашу, надсмеяться над ним, насладиться его позором взяло верх над чувством жалости к лошади. Ему даже приснился сон: Шефик-паша, гордо восседая на своем жеребце, у которого отсечен хвост, едет по улице. Все прохожие невольно останавливаются и, показывая пальцем на него и его бесхвостого коня, раздражаются громким хохотом. Больше и громче всех смеется сам Бобои. Схватившись за живот, он катается по земле, пронзительно визжит, гогочет. Удивленный и разозленный офицер, не зная, что он сидит на коне, у которого отрублен хвост, кричит, орет на смеющихся над ним людей, отчаянно ругается, грозит им пистолетом. Но это еще больше смешит их. Лишь после того, как он в недоумении оборачивается к крупу своего коня и понимает причину гомерического хохота дербентцев, собравшихся по обе стороны улицы, Шефик-паша, мигом спрыгнув с лошади, опозоренный, осмеянный бежит из города.

Султанским войскам действительно очень скоро пришлось в спешном порядке покидать Дербент и другие города и села Дагестана.

¹⁹³ В татском языке есть такое бранное выражение «Душ бурра» («Отрезанный хвост»). Возможно, что оно возникло под влиянием этого обычая.

Сама Турция переживала в эти дни драматический период своей истории. По воле незадачливых правителей втянутая в мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, Османская империя, потерпев сокрушительное поражение, окончательно развалилась. Турция не только полностью потеряла свои последние колониальные владения, но и значительная часть ее собственной территории, включая столицу — Стамбул, оказалась оккупированной войсками Антанты. С кораблей, стоящих в водах Босфора, жерла дальнобойных орудий были грозно направлены на султанский дворец. Сам султан, который еще недавно самовластно распоряжался судьбами целых народов, теперь чувствовал себя в своем дворце, как пленник. Из страха потерять свой трон, а может, и голову, он вместе со своими приближенными готов был согласиться на все условия, которые диктовали победители. Одним из этих условий было требование, чтобы турецкое командование немедленно вывело все свои войска с территории Кавказа и Дагестана.

Победители-англичане, предложившие туркам убрать свои войска с Кавказа, сами хотели превратить его если не в свою собственную колонию, то в сферу своих интересов.

И вот однажды на рассвете, холодного ноябрьского дня тысяча девятьсот девятнадцатого года настойчивый голос Шефик-паши разбудил спавшую крепким сном Марал. Проснувшись, она с недоумением уставилась на офицера, который стоял перед ней одетый в полную форму, с саблей и пистолетом на боку.

Как только Марал открыла глаза, Шефик-паша заговорил с необычным для него волнением и поспешностью:

— Ханум, ханум, вот-вот в город вторгнутся проклятые гяуры... — он хотел сказать — англичане, но решил, что лучше говорить — большевики, чтобы напугать эту столь же красивую, сколь и недалекую молодую богачку, — да, большевики. Вставай скорее, завяжи в узелок все, что у тебя есть ценного, и сейчас же отправляйся со мной.

Сонливость Марал словно ветром сдуло. Она расширенными от испуга глазами молча и растерянно посмотрела на Шефик-пашу, не зная, что делать, что сказать. Турок, который очень спешил и заметно нервничал, видя ее колебания, сильно разозлился. Он грубо схватил ее за руку и резким движением стащил с постели.

— Ну-у, пошевеливайся же побыстрее, ха-ну-ум, черт тебя побери!...

Марал от боли и оттого, что была почти раздетая, дико вскрикнула и тотчас же, стащив с кровати простыню, прикрыла ею раскрытую грудь и колени. Молодая женщина, которая за этот месяц была вынуждена жить с ним на правах наложницы в ее же собственном доме и хорошо изучила его нрав, была уверена в том, что он ограбит ее дочиста и бросит где-нибудь на полдороге на произвол судьбы или же, в лучшем случае, после приезда на родину продаст какому-нибудь сластолюбивому паше для пополнения его домашнего гарема. И она решила: лучше уж остаться при большевиках, но у себя на родине, чем последовать за этим разбойником в офицерском мундире.

— Не-ет! Не-е-ет! Никуда я из своего дома не уеду! Умру — не уеду! — забившись в угол и дрожа от страха, завопила она истошным голосом.

Шефик-паша понял, что ее, видно, не так-то сейчас легко будет заставить последовать за ним, а чтобы уговорить, уломать, принудить к этому, у него не было времени. Он спешил к назначенному месту сбора, о котором еще вчера вечером известили их, офицеров, в штабе гарнизона под строжайшим секретом, откуда они в спешном порядке должны были эвакуироваться. Дорога была каждая минута. Задержаться — значило наверняка попасть в плен к англичанам или же погибнуть от рук враждебно настроенных к ним местных жителей. Поэтому он очень волновался и нервничал. Вдруг глаза его вспыхнули яростным огнем. Он выхватил из кобуры пистолет и направил его на Марал.

— Последний раз спрашиваю: пойдешь со мной или нет?!

Марал онемела от ужаса, не в состоянии вымолвить слова. Она поспешно закрыла лицо простыней из страха встретить смерть с открытыми глазами. В то же мгновение раздался выстрел. На простыне, в том месте, которое прикрывало грудь, проступило и расплылось большое красное пятно крови. Марал, уронив простыню и коротко вскрикнув, упала без чувств на пол.

Озверевший офицер, решив, что с хозяйкой покончено, выскочил в другую комнату и в бессильной ярости начал все крушить, палить куда попало: в стенное зеркало, посуду, мебель. Заметив на стене портрет Ошира Тряпичного Котелка, который из позолоченной рамы смотрел на безнаказанно разбойничающего в его доме иноземного офицера, Шефик-паша выстрелил и в него. Он целился в глаз, видимо, раздраженный его спокойным, вместе с тем упорным и строгим взглядом, словно устремленным на него. Но пуля попала в верхнюю часть рамы,

и портрет вместе с рамой тотчас же вздрогнул, будто живой, покачнулся и, со скрипом оцарапав стену, за которую он словно пытался удержаться из последних сил, сорвался и с резким стуком упал на пол у ног Шефик-паши. Вбешенный и нервно-возбужденный Шефик-паша сам вдруг вздрогнул и отскочил назад, как все равно от брошенной ему под ноги гранаты или бомбы. Но тут же устыдившись своего невольного испуга, он коршуном налетел на портрет и, держа в руке пистолет с дымящимся стволом, принялся с мстительным наслаждением топтать его ногами, прыгать над ним, точно дикарь, исполняющий ритуальный танец над трупом поверженного врага.

Швырнув носком блестящего сапога растоптанный и испачканный до неузнаваемости портрет, Шефик-паша, шумно дыша, стремительно выскочил на веранду, на ходу засовывая пистолет в кобуру.

В тот день слуга тоже встал затемно. Он почти всю ночь провел без сна, боясь проспать рассвет, чтобы успеть осуществить свою месть, пока ни Мехмед, ни Шефик-паша еще не проснулись, и сразу же после этого бежать куда глаза глядят. Он понимал, что лично для него, это кончится плохо. Если ему даже удастся избежать физической расправы со стороны турок, он, лишившись крыши над головой, не имея никаких средств к существованию, особенно в такое трудное и голодное время, непременно пропадет, погибнет. Несмотря на это, Бобои решил не отступать. Взяв топор, он провел ногтем по его лезвию, чтобы еще раз убедиться: достаточно ли он хорошо заточен, чтобы, не причиняя лошади слишком сильной боли, одним энергичным ударом отсечь ей хвост. Но когда слуга зашел в конюшню, к своему великому изумлению и разочарованию, не застал там ни коня Шефик-паши, ни коня его денщика. Что могло это значить? Бобои знал, что за время, которое Шефик-паша жил здесь, он с денщиком несколько раз спозаранку выезжал по своим делам. Но такого, чтобы они ни свет ни заря отправлялись куда-нибудь, еще не было. Бобои стоял в глубокой задумчивости, когда вдруг услышал истошный крик своей хозяйки и несколько выстрелов, раздавшихся в доме. Дрожь пробежала у него по телу. Почувствовав опасность для своей хозяйки, он как ветер сорвался с места и стремительно побежал к дому.

Когда Шефик-паша, скрипя сапогами, уже спускался с лестницы, вдруг увидел слугу хозяйки, с перекошенным лицом бегущего ему навстречу, грозно размахивая топором. На какое-то мгновение Шефик-паша остановился в ошолоблении, но тотчас же спохватившись и овла-

дев собой, поспешно потянулся за пистолетом. Но пока он дрожащими от сильного возбуждения непослушными пальцами безуспешно отстегивал кобуру, Бобой успел подскочить к нему вплотную и нанести ему страшный удар обухом по темени. Шефик-паша дико вскрикнул и как-то странно, точно крылья, раскинул руки в стороны, словно желая оторваться от земли и подняться в воздух, стремительно унести от нее далеко-далеко, где никто и ничто не угрожает его жизни, но тут же упал как подкошенный с рассеченной окровавленной головой на сырую холодную землю.

Денщик в это время, сидя верхом на своей лошади и держа наготове коня Шефик-паши за повод, с нетерпением ждал его на улице за воротами. Услышав вдруг выстрелы, а затем его душераздирающий крик, он понял, что произошло что-то ужасное. Охваченный тревогой, он моментально спрыгнул с коня и, быстро сняв с плеча карабин, поспешил было на помощь, но в этот самый момент где-то не очень далеко в утренней тишине прогремело несколько беспорядочных ружейных выстрелов, а снизу, со стороны моря раздался громовой пушечный залп. Это англичане ознаменовали свое победное вторжение в древний город, не встретив здесь никакого военного сопротивления.

Встревоженный и растерявшийся денщик на минуту остановился в нерешительности, напряженно думая, что делать. Турецкие войска покидают Дербент, а англичане, видно, уже занимают город. Стоит ли ему в такой опасной ситуации задерживаться, рисковать жизнью?.. Притом, ради кого? Сына ненавистного ему Сулеймана-паши?.. А там, на родине, его ждут бесконечно дорогие его сердцу люди: старые отец и мать, родные и близкие, по которым он за эти три года проклятой войны сильно истосковался душой. А самое главное: там, на родине, в его милой деревне ждет его любовь — чудесная девушка по имени Юлдуз.

И Мехмед, обуреваемый этими мыслями, со счастливой надеждой в сердце, поспешно вскочил на лошадь и погнал ее вскачь, ведя за повод второго коня с пустым седлом.

Разрыв



ана у Марал, к счастью, оказалась неопасной: пуля прошла косо, пробив лишь мякоть. Недели через три она совсем зажила, оставив лишь розовое пятно на груди, как память о неблагодарном постояльце.

В то же утро, несмотря на царившую в городе суматоху в связи с поспешной эвакуацией турецких частей, отягощенных многочисленными обозами, и “мирным” вторжением англичан, многим здесь стало известно о ранении Марал и убийстве ее слугой турецкого офицера.

Поскольку турки покинули Дербент, а на их место пришли англичане, никто не стал расследовать обстоятельств ранения Марал и убийства Шефик-паши, привлекать Бобои к ответственности. Никому, видно, в этой обстановке военной вакханалии, смены одного оккупационного режима другим, не было до этого дела. Были дела и поважнее этого. Тем более, одно было очевидно: турок сам был повинен в своей смерти. Кроме того, новые завоеватели, сменившие турок, все еще считались их противниками. Но после этого случая ни при англичанах, ни при деникинцах, сменивших их, в дом Марал больше никого на постой не приводили.

Бобои, сбежавший сразу после убийства им Шефик-паши, на второй же день каким-то образом узнал, что Марал осталась жива. Несмотря на боль и муки, причиненные ему изменой хозяйки, он, который уже не надеялся когда-нибудь увидеть ее, думая, что она погибла, сейчас несказанно обрадовался этому неожиданному известию. С трудом дождавшись ночи в заброшенных развалинах на краю города, где он прятался, Бобои осторожно выбрался на улицу. Боясь наткнуться на английские военные патрули, шнырявшие по безлюдным ночным улицам и базарным площадям, Бобои, поминутно озираясь по сторонам, торопливо пробирался к дому своей хозяйки.

Как и слуга, хозяйка тоже не надеялась, что когда-нибудь им доведется увидеться. Она была уверена в том, что турки тотчас же схватили Бобои и жестоко расправились с ним. Поэтому тем более неожиданной, непередаваемо радостной и счастливой была эта встреча для обоих.

Едва Марал увидела Бобои, как она, несмотря на недомогание и пережитое потрясение, с криком радости кинулась ему на шею. Поток

горячих поцелуев хлынул на лоб, глаза, щеки сразу обмякшего, тихо всхлипывающего слуги. Несколько минут они, плача и смеясь, стояли так посередине комнаты, обнявшись, словно не в силах оторваться друг от друга, полные любви, жалости и преданности друг другу.

Но скоро в отношениях Бобои и Марал наступила резкая перемена. Мысли юноши все чаще возвращались к тому времени, когда здесь жил Шефик-паша. Он не смог простить Марал всего, что было между нею и турецким офицером, особенно того, как она сразу, едва тот появился, с легким сердцем отдала его, Бобои, погнала опять жить рядом с лошадьми. Он продолжал с прежней силой ревновать свою хозяйку.

Первое время под влиянием всего случившегося и пережитого чувство ревности у него, казалось, на какое-то время несколько затихло, притупилось. Но потом оно, точно дремлющий до поры до времени вулкан, взорвалось с новой невиданной силой. Нередко в самый неожиданный момент перед глазами Бобои, словно страшное видение, вставала сцена, которую ему пришлось видеть в ту ужасную для него ночь. И это видение, точно зловеющий призрак, порою часами не покидало его, едва не сводя с ума. Он был уверен в том, что, если бы Марал сама не захотела сближения с турком, ничего бы этого не произошло. Ведь он видел собственными глазами, как хозяйка сама пришла в комнату Шефика-паши и долго сидела там, любезничая с ним. Она, должно быть, заранее знала, что все это кончится именно так, и втайне, видно, хотела, желала этого. И Бобои в такие минуты ненавидел хозяйку больше турка, а еще больше — самого себя: за то, что не смог перебороть себя, свои чувства, привязанность к Марал, не ушел от нее куда глаза глядят, а на второй же день, после ее ранения, как только узнал, что она жива, сразу прибежал к ней, прибежал, как глупая, слепо преданная собачонка, которую бессердечный хозяин бьет, пинает ногой, гонит прочь, а она с покорным видом заискивающе и жалобно повизгивает, униженно ласкается у его ног, не в силах покинуть его.

Нередко Бобои среди ночи внезапно просыпался, точно человек, чем-то сильно взбудораженный или напуганный во сне. И он, глядя на сладко и беспечно спавшую рядом хозяйку с чуть раскрытым маленьким ртом, с разметавшимися на белой подушке пышными черными волосами, сразу, как будто видел это наяву, представлял себе возле нее своего блистательного соперника Шефика-пашу... И, как ошпаренный, вскакивал с постели и, не взирая на погоду, выбегал из комнаты, не находя покоя.

С той памятной ночи, когда удрученная своей беззащитностью, одинокая и тоскующая хозяйка впервые увлекла слугу в свою спальню, он впервые познал, почувствовал женскую ласку. Несчастный юноша, росший, как одинокий чахлый куст на заброшенном пустыре, и не знавший ни материнской ласки, ни тепла и сочувствия родных и близких, совсем неожиданно для себя очутившись вдруг в нежных объятиях красавицы-госпожи, о чем он не мог даже и мечтать, привязался к ней всем сердцем, вспылал к ней безграничной любовью. О своей любви он никому, даже ей, Марал, не говорил. Да он и не знал, как о ней можно говорить. Разве есть в человеческом языке слова, способные передать это удивительное и необъяснимое чувство?!..

Все это время Бобои жил будто в каком-то блаженном сне, весь поглощенный своей любовью, до того рокового дня, пока в его жизни не появился чужеземец, не растоптал его душу, его любовь. Турок ушел в небытие, а рана, нанесенная им его сердцу, осталась, продолжая кровоточить, причиняя ему нестерпимую боль, лишая сна и покоя. У него теперь было такое ощущение, будто он заново осиротел и к нему вернулись тяжелые дни его детства, полные муки и гнетущей тоски, и что он беззащитен и одинок в своем беспредельном несчастье.

Горе Бобои было так безмерно, что он потерял интерес даже к своим любимцам — лошадям. Теперь, появляясь у дверей конюшни, он не окликал их, не произносил озорно и радостно их милые прозвища, как бывало раньше, не разговаривал с ними “по душам”, не распевал знакомые им песни. Да и сами кони теперь не ржали дружески и весело, когда он заходил к ним, не тянулись к нему своими мягкими теплыми губами, тычась ими в руки, в лицо Бобои, точно лобызаясь с ним. Они будто тоже чувствовали, что с их хозяином происходит что-то неладное, ему теперь не до них, и грустно опускали свои лобастые головы, точно молча разделяя с ним его затаенную печаль, его горе. Да и дворовый пес, который был сильно привязан к нему, раньше при виде его с радостным визгом прыгал на него и, дружески положив передние лапы ему на грудь, старался облизать ему щеки, теперь, словно догадываясь о его подавленном состоянии, тихо плелся за ним, задумчиво опустив морду, или жалобно скулил, не вставая с места.

Бобои похудел, сильно осунулся, точно неизлечимый недуг день и ночь точил его изнутри. Оспинки на лице, которые еще недавно почти не были заметны, теперь, в связи с сильной худобой, опять бросались в

глаза, как и в те годы, когда он был маленьким бездомным сиротой, жестоко страдал от голода, холода, а нередко от побоев жестокосердных людей, в дворы и сараи которых он забирался на ночлег.

Марал видела состояние Бобои, знала, что творится у него на душе. Она, в какой-то степени чувствуя себя виноватой перед этим чистым, простодушным юношей, жалея его, старалась, как могла, утешить его, вывести из этого состояния. Но вопреки своему ожиданию, казалось, еще больше бредила его рану.

Видя тщетность своих попыток, Марал временами так злилась на своего слугу, что готова была прогнать его, порвать с ним навсегда. Он всем своим видом и поведением заставлял ее все время вспоминать о позоре, о том ужасном времени, когда в ее доме хозяйничал Шефик-паша. "В конце концов, — рассуждала она про себя, — почему этот дурень, Бобои, должен портить мне кровь? Во-первых, недоброй памяти турок силой заставил меня жить с ним, а во-вторых, если уж на то пошло, какое его собачье дело? Я, слава Бргу, ему не жена, не невеста, вольна распоряжаться собой, как мне захочется..."

Но гнев ее быстро остывал, уступая место жалости и состраданию. Она привыкла к своему слуге, в ласках которого было столько детской нежности и сердечной привязанности, по-своему любила его. Потом она не могла забыть и то, как этот робкий и застенчивый от природы парень, едва услышав предательский выстрел Шефик-паши и ее крик, рискуя жизнью, бросился на него с топором.

Но Марал ошибалась, продолжая видеть в Бобои прежде всего слугу, с чувством и достоинством которого можно не очень считаться, полагая, что он не имеет никаких прав на нее и должен быть доволен и благодарен ей за все, что она сделала для него.

Сам же Бобои давно не чувствовал себя по отношению к своей хозяйке просто слугой. Не он в этом был виноват. Он любил ее, и она сама пробудила в нем это чувство, сама же заронила в его чистое, нетронутое юношеское сердце искру, которая, разгоревшись, превратилась в неугасимое всепоглощающее пламя. Он, может быть, потому, что был слишком наивен и простодушен, никак не мог допустить, что хозяйка, которая дарит ему свои ласки, не питает к нему и частицы того чувства, которое владеет всем его существом, и что она только играет, забавляется им, как с собачонкой. До появления Шефик-паши он думал, был уверен, что и она любит его, Бобои. Иначе, зачем она привязала его к себе? Бог свидетель, он любит свою хозяйку не за ее положение. Лишись она

сегодня всего, что есть у нее, останься она голой, босой, он продолжал бы любить ее больше собственной жизни. Ведь любовь, как цветы: они не могут жить, когда их топчут — они просто погибают. А она, Марал, обманула его чувство, растоптала его любовь, которая гибнет вместе с ним, причиняя ему невероятные страдания...

Общение с людьми — лучшее лекарство от печалей и тягостных дум. Но Бобой по-прежнему вел жизнь замкнутую. У него не было ни близких товарищей, ни друзей. Он жил в своем маленьком, тесном мирке. И то, что выходило за пределы этого мирка, его мало волновало, интересовало. В нынешнем его состоянии это обстоятельство еще больше усугубляло тоскливое чувство полного одиночества и потерянности, которое последнее время многопудовой тяжестью давило на душу.

А саму Марал теперь беспокоило и удручало не только дурное настроение и несносное поведение Бобой, но и откровенно недоброжелательное отношение к ней земляков. В этом древнем, маленьком городе, с населением каких-нибудь два с лишним десятка тысяч жителей, чуть ли не каждый взрослый человек знал, что в ее доме стоял бичераховский полковник, что она у себя принимала турецкого офицера и наверняка была его любовницей. В глазах земляков этот ее поступок был страшнее смертного греха. Кроме того, они давно догадывались, что она превратила своего наивного и безответного слугу-сироту в тайного любовника и довела его до умопомрачения. Сложилось мнение, что она женщина сладострастная, полная греха и коварства. И когда она шла по улице, прохожие дербентцы многозначительно переглядывались и, заговорщицки подмигивая друг другу, с откровенным осуждением и язвительной насмешкой говорили о ней:

— Вот она идет, вавилонская блудница!..

— А вы заметили, до чего довела она своего несчастного слугу?

— Не плачет ли она о своем турке, хе-хе?!

— Да ей все равно, что казак, что турок, что свой, что чужой, лишь бы было, с кем трепать хвост.

— А про англичона¹⁹⁴ не слыхали? Как его, переодетого в женскую одежду, поймали в тот самый момент, когда он собирался пробраться к ней в дом?..

— Как не слыхали! Говорят, она сама надоумила англичона переодеваться женщиной, когда идет к ней на свидание, чтобы земляки не до-

¹⁹⁴ Англичон — англичанин.

гадались, что она завела себе нового ошне — “Лиса сунет голову в куст и думает, что никто не видит ее хвоста”.

Случай с “переодетым” англичанином, который действительно имел место, произошел на третий день после вторжения англичан в Дербент и ранения Марал. Хотя Марал не имела никакого отношения к нему, тем не менее он послужил темой для новой дурной сплетни.

Среди английских оккупационных частей были и шотландские подразделения. Необычная для солдата традиционная форма белолицых и светловолосых молодых шотландских солдат — мягкий белый берет и короткая клетчатая юбка — первое время вводили в заблуждение многих местных жителей, считавших их женщинами, которых привезли англичане для обслуживания своих солдат.

Как-то поздно вечером один из загулявших шотландских вояк, напевая песенку, в приподнятом настроении возвращался к себе в казарму. Несмотря на то, что ноябрь был на исходе, погода стояла сравнительно теплая и солдат был в берете и юбке. В это время двое местных жителей, будучи тоже навеселе, невзирая на строгий “комендантский час”, с пьяной беспечностью разгуливали по темной пустынной улице при тихшего города, освещенной лишь призрачным светом луны. Они, увидев молодого шотландца, очень обрадовались, приняв его за публичную женщину из числа тех молодых “женщин”, которых привезли англичане со своей родины.

Гуляки, остановив солдата среди улицы, стали бесстыдно лапать его со всех сторон, приставать к нему. У того с перепугу сразу выветрился хмель из головы. Вырвавшись из их рук, он подбежал к ближайшим воротам и силой толкнул калитку, чтобы спрятаться в чужом дворе, по чистой случайности оказавшимся двором Марал. Калитка на ночь была накрепко закрыта. Тогда шотландец, держась спиной к калитке, вступил в отчаянную схватку со своими преследователями. Чувствительные удары крепкого молодого шотландца, порядочно наставившего им синяков и шишек, быстро убедили обоих гуляк в том, что они по ошибке приняли за женщину мужчину, притом настоящего пехлевана.

Весной тысяча девятьсот двадцатого года после вступления в Дербент частей одиннадцатой Красной Армии и изгнания деникинцев, занявших место ушедших англичан, в родной город Марал вновь вернулась власть Советов, свергнутая в августе тысяча девятьсот восемнадцатого года.

Советская власть в Дербенте в первые годы своего существования оставила нетронутой собственность дербентских богачей, в том числе и Марал. Поэтому дом и виноградники Марал по-прежнему оставались в ее владении. Она, как и в былые годы, свободно разъезжала в собственном фаэтоне, запряженном шустрой парой откормленных, хорошо ухоженных рысаков гнедой масти.

Марал все еще была молода и красива. Теперь, будучи вольной, независимой, она хотела иметь мужа по сердцу, как и каждая женщина испытать материнское счастье, обзавестись детьми. До сих пор, чтобы скрыть от людей свой грех, она не допускала появления ребенка, по которому давно тосковало ее сердце, зная, что для слуха ее земляков нет более оскорбительного слова, чем слово биж.

Ни с одним из мужчин, с которыми судьба сводила ее, она не видела, не испытала настоящей радости, не ощутила полноты счастья. Покойный Ошир Тряпичный Котелок, которого она больше уважала и почитала, чем любила, был в два с лишним раза старше ее, к тому же страдал тяжелым недугом. От второго “мужа” — Эбоя у нее в душе ничего не осталось, кроме страха и отвращения. Шефик-паша, хоть и был молод и красив, может, даже слишком красив для мужчины, но он, живя в ее же собственном доме, относился к ней, как к своей пленнице, а под конец чуть не отправил на тот свет. Слуга и молод и любит ее, готов за нее и в огонь и в воду, но глуп, со странностями, а последнее время стал совершенно невыносимым, словно тронулся умом.

Долго Марал не могла забыть случай, который сильно взволновал и потряс ее до глубины души.

Месяц назад как-то рано утром она, по обыкновению, отправила Бобои на базар за продуктами. Через некоторое время слуга вернулся и, с шумом хлопнув дверь, — так, что Марал невольно вздрогнула, — вошел в комнату и остановился у порога. Кинув на хозяйку свирепый взгляд, он с сердцем швырнул перед собой полную корзину, которую держал в руке. Мясо, рис, кишмиш, купленные им для плова, выпали из корзины и рассыпались по полу.

Марал, уже привыкшая видеть его мрачным и взвинченным, не хотела обращать на это внимание, чтобы не расстраивать себя напрасну. Но таким страшно взволнованным и раздраженным она видела его впервые.

— Бобои, скажи, что с тобой? — с удивлением, но как можно мягче,

с дружеским участием в голосе, спросила хозяйка, подойдя к нему ближе и стараясь заглянуть ему в глаза.

Слуга будто только ждал этого.

— Ты — ведьма! Ведьма проклятая! — закричал он вдруг резким срывающимся голосом, яростно топая ногами и судорожно сжимая руки в кулаки.

Марал опешила. Жгучая обида волной поднялась в душе и захлестнула сознание. Она уже готова была сорваться, разразиться бранью, проклятиями, прогнать его, но тут же, посмотрев на его низко опущенные плечи, на землистое, почти бескровное осунувшееся лицо с заострившимися скулами и глубоко запавшими глазами, напоминавшее лицо обреченного, преследуемого роковой болезнью человека, пересилила себя, не давая волю своему гневу. У нее даже защемило сердце от внезапной и острой жалости. Марал попыталась обернуть его слова, так больно кольнувшие ее, в шутку, поэтому, заставив себя улыбнуться, спросила с легким укором:

— Бобои-джан? Ты соображаешь, что говоришь? Кто сказал тебе, что я — ведьма? — Она ласково коснулась рукой его плеча и, показывая на свое чистое, белое и гладкое, как мрамор, лицо, добавила в шутовом и чуть хвастливым тоне: — А разве ведьма бывает такой красивой и доброй, как я?..

Но вопреки ожиданию Марал, ее слова привели Бобои в еще большее неистовство. Глаза его как-то странно округлились, изможденное с рябинами лицо побагровело, точно запыхало пожаром.

— Все говорят! И правильно говорят! — закричал он истошным голосом, задыхаясь от распиравшей его грудь ярости. — Все, кто связывается с тобой, кончает плохо. Разве нет?!.. Бедный дядя Ошир, какой был мужчина — богатырь! Умер! Дядю Эбоя убили. Проклятый Шефик-паша, твой ошне, да! да! ошне твой, тоже... И я умру скоро. Ты — смерть моя. — Он на мгновение умолк, с трудом переводя дух, а потом, продолжая смотреть на Марал безумными глазами и гневно стуча ногой о пол, с плачем в голосе добавил: — Если ты не ведьма, скажи, почему околдовала меня? Почему я не могу уйти, бежать от тебя куда мои глаза глядят? Почему?! Почему-у-у-у?!

Последнее “почему-у-у-у?” он произнес голосом, напоминавшим протяжный отчаянный рев смертельно раненого зверя. Подбородок Бобои задрожал, глаза наполнились слезами. Не в силах совладать с собой и, стесняясь своих слез, он закрыл руками лицо, отвернулся

к стене и, низко опустив голову, заплакал громко, навзрыд, вздрагивая плечами.

Марал точно обдало кипятком. Слова и тон, каким они были произнесены сейчас взбесившимся слугой, потрясли ее, глубоко ранили в самое сердце. Она, не помня себя от охватившего ее негодования, сверкая злобно глазами, закричала не своим голосом:

— Ах ты, несчастный холоп, неблагодарная скотина!.. Кто ты такой, чтобы со мной так разговаривать?! — Решительным жестом указав на дверь, добавила: — Убирайся вон с моих глаз на все четыре стороны! Видеть тебя не хочу!..

В тот же день Бобои покинул дом своей хозяйки. И когда он в последний раз шел, крайне взволнованный и возбужденный, через двор к воротам с одной твердой мыслью никогда больше не возвращаться к Марал, — он невольно вздрогнул, услышав ржание лошадей из конюшни. Ноги Бобои сразу остановились сами собой. Ему почудилось, что лошади — единственные его друзья, так сильно привязанные к нему, как и он к ним, — рыдают, зовут его, просят, чтобы он не уходил, остался, будто чувствуют, что он собирается навсегда покинуть их. Сердце Бобои сжалось от боли и жалости к ним и самому себе. На какую-то долю секунды он даже заколебался. Но тут же вспомнив разъяренное лицо хозяйки, ее последние слова, сопровождаемые решительным жестом, показывающим ему на дверь, стиснув зубы, стремительно направился к выходу, под тоскливое завывание дворовой собаки.

Бобои вообще исчез из города. Долгое время никто не знал, где он и что с ним. Некоторые поговаривали, что будто кто-то видел его в далеком Самарканде, что он женился и работает каменщиком на строительстве. Другие утверждали, что видели его в Тбилиси у здания вокзала, где он устроился чистильщиком обуви, и что живется ему не худо, во всяком случае намного лучше, чем когда он жил со своей хозяйкой.

Лишь много лет спустя, когда в старинной ханской цитадели Нарын-Кала рабочие и специалисты вели частичные реставрационные работы, стало известно о печальной судьбе Бобои. Оказывается, бедняга никогда из родного города не уезжал и никогда не был ни в Самарканде, ни в Тбилиси. Когда в крепости очищали ханский зиндон — подземную тюрьму, вырубленную в скальном грунте и напоминавшую темный глубокий колодезь, вместе с валявшимися там старыми камнями, мусором, грудой давно почерневших человеческих костей извлекли сохранивший-

ся полностью скелет в брезентовой куртке и брюках из того же материала. По одному этому не трудно было догадаться, что человека, которому принадлежал этот скелет, никак, нельзя было отнести к тем несчастным жертвам, которых деспотичные дербентские ханы бросали в этот зиндон, заживо погребая в нем, пока их там не настигала скорая смерть или они не сходили с ума.¹⁹⁵

Когда начали осматривать полуистлевшую брезентовую куртку, в ее внутреннем кармане нашли сморщенный, покрытый зеленоватой плесенью кожаный бумажник, а в нем — какую-то пожелтевшую бумагу с едва заметными полуистершимися буквами, написанными черной тушью, и со следами круглой печати. Обнаруженный листок, который сравнительно легко удалось прочитать и разобрать, оказался справкой, выданной дербентским батрачком на имя некоего Бобои Рахмонова о том, что он работает в качестве батрака у садовладелицы Марал...

Уход Бобои вначале не произвел особенного впечатления на Марал. Она даже почувствовала облегчение оттого, что его нет: слава Богу, избавилась, думала она; дальнейшее пребывание с ним под одной крышей грозило сделать ее жизнь совершенно невыносимой. Но такое настроение длилось сравнительно недолго. Понемногу она против своей воли начала скучать по нему, вспоминать его таким, каким знала раньше: тихим, спокойным, покладистым, слепо преданным и любящим. Сейчас, в разлуке, Марал ловила себя на том, что за годы одиночества она не только привыкла к нему, ставшему как бы неотъемлемой частью ее жизни, но и любит его. И что эта любовь жила в ней подспудно еще с тех пор, как она приблизила его к себе. Только теперь, с уходом Бобои, она по-настоящему, хотя и не сразу, поняла силу своего чувства. Марал постоянно ощущала какую-то болезненную пустоту в душе и вокруг себя, вспоминала темно-карие, жалобные глаза Бобои, его смуглое лицо с печальным выражением. Временами она даже жалела, что сразу же после смерти Эбоя не сочеталась с ним законным браком. Теперь она имела бы не только мужа, но и детей, и судьба не столкнула бы ее, замужнюю женщину, с Шефик-пашой, и земляки не стали бы коситься на нее, относиться к

¹⁹⁵ Существует предание о том, что, когда русский царь Петр I во время Персидского похода в 1722 г. был в гостях у дербентского правителя, он, осматривая достопримечательности ханской цитадели Нарын-Кала, долго стоял в молчаливом раздумье на краю этого зиндона.

ней с насмешкой и презрением, а иные — с нескрываемой враждебностью. И очень возможно, что она со своим милым Бобои была бы счастлива, а счастье терять легко, но вновь обрести его очень трудно, порой — невозможно.

Но гордость богачки и красивой молодой женщины не позволяла ей снизить до брака со своим слугой, к тому же человеком некрасивым и глуповатым. А теперь ей оставалось только верить, надеяться, что, несмотря на последнюю их шумную ссору и взаимные оскорбления, Бобои не выдержит сколько-нибудь долгой разлуки, вернется, обязательно вернется к ней. И она тогда со своей стороны постарается, делает все, чтобы искупить свою невольную вину перед ним, излечить его сердечную рану, будет ему верной, нежной и преданной женой, заботливой матерью его детей. Но, видя, что время идет, а Бобои не возвращается, она в душе опять ожесточилась против него. При мысли о том, что он, не простив ей измену с турецким офицером, в которой она не считала себя виноватой, отверг ее, молодую, красивую и богатую женщину, столько лет согревавшую его на своей груди, уехал от нее, а может и женился, Марал чувствовала себя глубоко оскорбленной, униженной, покинутой и несчастной. Она сама теперь терзалась ревностью к воображаемой жене Бобои, проклиная его и свою судьбу. Казалось, что та самая роковая стрела, которой она, сама того не замечая, смертельно ранила невинное сердце бескорыстно и преданно любившего ее Бобои, теперь бумерангом вернулась к ней и тяжело ранила ее собственное сердце, причиняя ей мучительные страдания.

Марал была уверена в том, что это земляки внушили Бобои, будто его хозяйка — страшная женщина, ведьма. В том состоянии духа, в котором он находился последнее время, он мог поверить любому навету. И она решила назло им, назло этому глупому и неблагодарному Бобои (она еще не знала о его смерти) продать дом, виноградники и переехать в другой город, где не знают ни ее, ни ее прошлого, и там она сможет выйти замуж и начать новую жизнь.

Вскоре Марал предприняла такую попытку. Но местные органы власти, куда ей пришлось обратиться с этим вопросом, дали ей понять, что она не имеет права ни продавать, ни передавать в наследство кому-либо свои виноградники, ибо земля, на которой они расположены, является неприкосновенной государственной собственностью.

И как ни странно, потерпев неудачу в своей попытке. Марал, однако, нисколько не расстроилась, не огорчилась, напротив, она даже по-

чувствовала какое-то облегчение. Слишком большую власть приобрели над ее душой виноградники с разукрашенной каменной аркой, ее собственный дом с привычной обстановкой. Тем более она, как и многие другие крупные собственники, про себя еще продолжала верить, что рано или поздно наступят «старые добрые времена» и все будет так, как было при ее покойном муже.

Потеряв надежду на возвращение Бобои, Марал в конце концов смирилась с этим, как с очередным несчастьем, испытанием, ниспосланным ей судьбой. Вместо Бобои, во избежание новых сплетен и пересудов, она наняла кучером и дворником старого батрака, который долгие годы работал в винных подвалах ее покойного мужа. Арку она перекрасила заново. Для нее эта арка, что бы ни говорили новые власти, олицетворяла ее «вечное и незыблемое право» на свои владения. Кроме того, с ней была связана память о лучших годах ее жизни, ее молодости, замужестве...

Но с каждым годом крепнущая Советская власть упорно игнорировала эти «незыблемые» права крупных собственников, активно вмешивалась в их отношения с рабочими, батраками. Созданные в первые годы Советской власти батрачкомы строго следили за тем, чтобы хозяйева не принуждали батраков работать сверх восьми часов, платили за сверхурочную работу, предоставляли им оплачиваемые отпуска, снабжали за свой счет рабочей одеждой. Невыполнение этих требований грозило им наказанием в судебном порядке, а то и конфискацией собственности в пользу государства.

Больше всего Марал боялась и ненавидела финотдел и его агентов. В ее представлении финотделы, облагавшие кулацкие хозяйства всевозрастающими налогами, являлись безжалостными исполнителями злой воли новой власти по отношению к ним, богатым и знатым.

Как-то раз утром Марал, закутанная в большую клетчатую шерстяную шаль, с узелочком в руке шла в баню. Возле городского сквера она остановилась, увидев толпу людей, собравшихся посмотреть на какое-то веселое уличное зрелище.

Хотя Марал из неприязни к своим землякам, боязни их пересудов, старалась как можно реже попадаться им на глаза, особенно там, где они собираются вместе, но на этот раз любопытство и желание посмотреть на зрелище взяли верх и она не смогла удержаться от соблазна. Прикрыв лицо краем шали, Марал протолкнулась между ними. Посредине круга выступал с дрессированным медведем какой-то плечистый

коренастый мужчина-цыган с вихрастой черной головой. Дербентцы, не избалованные зрелищами, с большим интересом смотрели представление бродячего артиста.

Человек и медведь под громкий веселый смех и одобрительные восклицания зрителей сначала исполнили «Как дед с бабкой на радостях танцевали «Шолохо» — популярный у местных жителей задорный танец, затем — «Как бабушка домой воду таскала». Роль бабушки, завязанной темным скромным платочком, на потеху всем очень смешно и забавно исполнял медведь. Был в их репертуаре и номер на «злобу дня»: «Как богач испугался агента финотдела».

В этом номере косолапый изображал пьяного богача, который возвращался с веселой пирушки, выделявая кренделя и спотыкаясь на каждом шагу. Не в состоянии дальше идти, «богач» прилег на тротуар и сразу задал храпака. А артист, изображая случайного прохожего, в удивлении остановился возле него и принялся увещевать и стыдить «пьяного», чтобы он, такой солидный и важный из себя человек, не валялся на улице на виду у всех, сейчас же встал и пошел к себе домой, к жене и детям, которые, наверняка, беспокоятся, что его долго нет... Но «пьяный» и ухом не повел. Тогда, чтобы заставить его подняться, «прохожий» решил припугнуть его милицией. Но и это не возымело действия. В ответ косолапый, то бишь «богач», только вяло махнул лапой: отвяжись, мол, и тут же, как ни в чем не бывало, преспокойно повернулся на другой бочок. В третий раз мужчина, склонившись над ухом «пьяного», вроде тихо, но так, чтобы все слышали, произнес с притворным беспокойством и сочувствием:

— Ай богач, горе твоему отцу! К тебе направляется агент финотдела за подоходным налогом!

Едва артист произнес это предупреждение, как медведь сразу встрепенулся. Изображая сильный испуг и тревогу, он мигом вскочил на задние лапы и под оглушительный дружный хохот толпы, смешно переваливаясь, во все лопатки пустился наутек, то и дело опасливо оглядываясь по сторонам.

В отличие от других зрителей, Марал было не до смеха. Ей казалось, что это смеются над ней, над ее тревогами и страхами перед финотделом и его агентами, над ее бессильной злобой к ним. Она была так расстроена и подавлена, что не захотела уже идти в баню, поспешила обратно домой, словно убегая от погони, преследующей ее.

Да и в газетах, по радио теперь все чаще стали говорить о «насту-

плении на кулачество», о необходимости полной ликвидации кулацкого хозяйства, противоречащего природе нового строящегося социалистического общества и объединении крестьян в колхозы.

Потеряв совсем голову, Марал жила словно в ожидании самого для нее худшего несчастья, когда-либо случавшегося с ней. А когда весной тысяча девятьсот двадцать девятого года у нее, как и у всех местных кулаков, были отобраны земли, сады и виноградники и отданы вновь организованным колхозам, она целый месяц не выходила из дому, была как в трауре. Но скоро ей пришлось расстаться и со своим домом, в котором она жила одна. Его вместе с двором и принадлежащим ей имуществом передали в собственность одного из городских колхозов. В бывшем доме Марал разместили колхозную контору, а на воротах, над калиткой, в тот же день появилась вывеска с крупной яркой надписью: «Колхоз «Заря Востока».

Колхозники — вчерашние батраки и бедняки, несмотря на ее «дурную репутацию» и «буржуазное прошлое», не желая выбрасывать ее на улицу, предложили Марал, если, конечно, она согласна, перебраться в пристройку во дворе, где раньше жил ее слуга. Они даже обещали произвести в ней надлежащий ремонт. Но Марал, полная гнева и ненависти, усмотрела в этом недобрый умысел: желание унижить, оскорбить ее, посмеяться над ней, над ее несчастьем. Кроме того, жить там и видеть каждый день своими глазами, как они, чужие и ненавистные ей люди, отобравшие у нее виноградники, теперь хозяйничают в ее доме, было выше ее сил. И она с горделивым видом и нескрываемой злобой, едва сдерживая себя, чтобы не разразиться гневными, бранными словами в их адрес, отказалась от их предложения.

В тот же день, собравшись за несколько минут, Марал с двумя большими узлами — личными вещами — уже стояла на улице, рядом со своим, теперь бывшим двором. Хотя вокруг было много людей, спешивших по своим делам, но она вдруг почувствовала себя как человек, заблудившийся в глухом незнакомом лесу, и не знала, куда идти, как из него выбраться. Ей стало страшно. Вместе со страхом она вдруг почувствовала неимоверную тяжесть во всем теле и щемящую тоску в груди. Острый комок подступил к горлу. Она выронила узлы на землю, медленно опустилась на один из них и тут же, точно маленькая девочка, охваченная своим горем и обиженная на весь мир, спрятав лицо в колени, горько заплакала.

— Марал, что случилось? — вдруг услышала она голос человека,

которого когда-то знала, но сейчас не могла припомнить. — Почему ты здесь сидишь?

Она медленно подняла свое мокрое от слез лицо и внимательно посмотрела на человека, которому принадлежал этот голос. Марал узнала его — это был старик Шишет. Он стоял, опираясь на суковатую палку.

С тех пор, когда он среди ночи приходил к ним во двор с отчаянной мольбой, чтобы турецкий офицер или его аскер помогли ему доставить повитуху к его беременной невестке, прошло восемь с лишним лет. Шишет за это время совсем постарел. Худая спина согнулась дугой, глубокие морщины избороздили бледное лицо, а борода и кустистые брови были белы как снег, но надтреснутый голос старика звучал громко, даже бодро. Он смотрел на Марал с недоумением и сочувствием.

— Ах, это вы, дядя Шишет? — печально воскликнула она, вытирая рукой слезы.

Марал хотела объяснить, почему она очутилась на улице, но слова комом застряли у нее в горле. Голос ее дрогнул и сорвался. Она опять, уронив голову на колени, вздрагивая всем телом, бурно зарыдала. Наконец, немного успокоившись, Марал, устало показывая рукой на ворота своего бывшего двора, на которых красовалась ненавистная ей вывеска, всхлипывая, сказала:

— Меня эти безбожники и грабители лишили всего. Сперва отняли у меня мои виноградники, а теперь мой дом вместе с двором и всем моим имуществом. — Она минуту помолчала, переводя дыхание, а потом, продолжая жаловаться, добавила: — Разве, дядя Шишет, я виновата в том, что мой муж был богатым человеком? Разве можно из-за этого выгнать меня, одинокую женщину, без мужа и родных, как собаку, на улицу? Ведь не грабежом, не воровством или обманом мой покойный муж стал богачом? Богатыми были и его отец, и его дед...

Но Марал скрыла от старика то, что эти вчерашние безземельные батраки и бедняки, которых она называет «безбожниками и грабителями», предлагали ей остаться жить в своем бывшем дворе во флигеле, где раньше жил ее слуга, и дали возможность взять с собой оставшиеся у нее деньги, драгоценности, одежду и все то, что она может унести с собой.

Выслушав горестное сетование молодой женщины, старик, однако, не сказал ни слова в осуждение тех людей, которых она сейчас ругала, проклинала. Он очень хорошо знал бедственное положение батрацкого и бедняцкого населения Дербента. Те, что имели хоть небольшой кло-

чок сада или виноградника, или какое-нибудь ремесло, могли еще кое-как, ограничивая себя почти во всем, сводить концы с концами, остальные прозябали в нищете, жили впроголодь, ютились в основном в глинобитных лачугах со слепыми стенами с отверстием на потолке вместо окна. Они отчасти по принуждению, а еще больше под влиянием мощной широкомасштабной пропаганды о пользе коллективного хозяйства для трудового крестьянства согласились объединиться в колхозы в надежде на лучшую жизнь.

Старик Шишет, несмотря на то, что был человек скромного достатка, никогда не питал слепой ненависти или черной зависти к состоятельным людям. Среди дербентских богачей, которых он знал, таких, как братья Ха-нукаевы, Сефтер Ахундов, Овроом Дадашев, были и щедрые благотворители. Они проявляли милосердие к батракам, работавшим на их виноградных плантациях и рыбных промыслах, помогали деньгами, продуктами остро нуждающимся, аккуратно платили работникам за их труд. Но многие дербентские богачи проявляли жестокосердие к своим батракам. Они десятки раз заставляли их ходить к себе на поклон, чтобы вымолить причитающиеся им деньги за свой тяжелый труд, унижали их человеческое достоинство, держались с ними высокомерно. Он знал случаи, когда хозяин лишал батрака заработка лишь за то, что тот унес из его сада вязанку хвороста и сухих, никому не нужных лоз, чтобы растопить печку и сварить похлебку. Но желая как-то успокоить, утешить удрученную горем взволнованную женщину, старик уклончиво ответил:

— Не надо, дочь моя, так сильно предаваться своему горю. Бог милостив. Он поможет.

— А где этот Бог, дядя Шишет, где?!.. — кипит от злости, вскричала Марал как безумная. — Почему, если он есть, не низвергнет огонь и каменный град на нечестивые головы тех, кто отнял у меня мое добро, выбросил меня на улицу?!..

Богобоязненный старик, услышав такие слова, испуганно подался назад, словно кто-то изо всей силы ударил его по впалой груди.

— Не говори так, дочь моя, не говори! Не дай гневу помутить твой разум, — недовольно и осуждающе покачал он головой. — Есть Бог! Что бы ни случилось с человеком, он должен уповать на Бога.

Вдруг старик, словно спохватившись, замолчал и оглянулся вокруг. Увидев, что возле них собрались любопытные, он не на шутку возмутился:

— Чего собрались здесь, как на томоше?! — гневно воскликнул он, стуча в ярости кончиком своей суковатой палки по асфальту тротуара и потрясая седой бородой. Видя, что люди не расходятся, он совсем вышел из себя и, размахивая палкой, угрожающе закричал: — А ну-ка, все до единого вон отсюда!..

Когда люди разошлись и он немного поостыл, старик вновь ласково и сочувственно обратился к Марал:

— Если тебе некуда идти, вставай, пойдем к нам. У меня в доме, кроме меня и моей старухи, никого нет.

По дороге Шишет успел многое рассказать ей о своем сыне, невестке, о себе. Он сказал, что сын работает мастером на стекольном заводе в поселке Дагестанские Огни,¹⁹⁶ хорошо зарабатывает, помогает им, старикам. В поселке же живет и его семья — жена и их двое детей. А у него, старика, целый двор с садиком, небольшой одноэтажный дом. В одной половине он живет со своей старухой, а в другой — с отдельным выходом, где раньше жили сын с женой, — будет жить она. И плата за жилье ему не нужна.

Марал, глубоко взволнованная и тронутая вниманием и заботой старика в этот горестный, тяжелый момент ее жизни, с трудом сдерживая подступающие к горлу слезы, только и смогла вымолвить:

— Спасибо, дядя Шишет! Спасибо!..

... Если верить народной мудрости: «Бедняк, ставший богачом, сорок лет будет пахнуть бедностью, а богач, ставший бедняком, сорок лет будет пахнуть богатством». Но по отношению к бывшей богачке Марал эта поговорка оправдала себя лишь частично, можно сказать, с малой толикой.

Первые годы после раскулачивания Марал жила, хотя очень экономно и расчетливо, но все же безбедно за счет своих драгоценностей, которые ей всяческими правдами и неправдами удалось утаить от финорганов. А когда через несколько лет было продано последнее украшение, она впервые столкнулась лицом к лицу с настоящей нуждой и неотвратимой неизбежностью самой зарабатывать себе на пропитание. Но одна мысль о том, что ради хлеба насущного ей, еще недавно разъезжавшей на собственном фаэтоне, державшей батраков, слуг, придется трудиться в колхозе рядом со своими вче-

¹⁹⁶ Поселок (ныне город) Дагестанские Огни расположен в десяти-двенадцати километрах от Дербента. Здесь в середине двадцатых годов был построен крупнейший в стране стекольный завод.

рашними батраками и батрачками, больно уязвляла самолюбие и гордость бывшей богачки. Кроме того, она чувствовала себя среди своих земляков, с которыми ей пришлось бы встречаться чуть ли не каждый день, находиться всегда рядом, изгоем, отверженной из-за своего прошлого. Эта неприятная и тревожная мысль тоже удерживала ее от такого шага.

А годы летели своим чередом вдогонку друг за другом точно бистрокрылые птицы. Вместе с ними уходила и молодость, которая, как и жизнь, дается человеку один раз. Марал продолжала жить одна, все больше теряя надежду на то, что когда-нибудь у нее будет муж, появится семья, дети... А чтобы не умереть с голоду, она занялась вязаньем на дому теплых шерстяных платков, журабов, чему научилась, когда была еще девушкой, а потом от нечего делать увлеклась, будучи взрослой женщиной.

Но каждый раз, когда на Марал находил приступ тоски, душу будоражили воспоминания прошлых дней, ее тянуло за город к старой семейной арке. Она подолгу стояла перед ней, как завороченная, уносясь мыслями в мир своих грез. И каждый раз в такие минуты к ней возвращалась сладостная надежда на то, что когда-нибудь она опять станет владелицей всего того, что отняли у нее, и видела себя в мечтах гордо восседающей на собственном фаэтоне, управляемом собственным кучером, исполненной восторга, въезжающей через эту разукрашенную арку в собственные владения...

Вместо эпилога, или конец семейной арки

ва года спустя после моей случайной встречи с Марал у каменной арки и памятной беседы с дядей Юсуфом на виноградниках колхоза «Заря Востока» я переехал в столицу Дагестана — Махачкалу. За эти два года в моей жизни произошли одно за другим такие потрясения, которые на время начисто вытеснили из моей памяти так взволновавшую меня историю и заставили забыть о планах написать о ней свою первую повесть.

Несколько месяцев спустя после этой встречи, как гром среди ясного неба, над нашей газетой разразилась гроза, готовая разнести ее вместе с нами, сотрудниками, в пух и прах. В одной из опубликован-

ных в очередном номере статей, автором которой, по несчастью, был я, в имя «Сталин» вкралась ошибка, нелепая, но придававшая этому имени грубо-оскорбительный смысл.

Мы все были в шоке, ожидали суровой расправы, в первую очередь, конечно, я, как автор злополучной статьи. Но было бы неверным сказать, что мною и другими работниками редакции владело лишь чувство страха перед наказанием. Мы все испытывали одновременно чувство невыразимого стыда и позора перед самими собой, своей совестью. Ведь все мы — чего лукавить — начиная от самого редактора, старого коммуниста, участника гражданской войны, чудом избежавшего смерти от рук денкинских белогвардейцев, когда они оккупировали Дербент, кончая мной, самым молодым в коллективе (и по возрасту, и по стажу), вчерашним сельским пастушком, рядовым колхозником, — искренне и беззаветно любили нашего вождя, а имя его для нас было священо.

Ошибка в газете вызвала серьезное беспокойство и тревогу и у руководства райкома и обкома партии, чьим органом она была. Срочно была создана комиссия для выявления виновников этой «политической провокации».

Скрупулезно, как под микроскопом, проверили мою статью в оригинале в том виде, в каком она была направлена в типографию для набора. К счастью, там этой ошибки не было. И сигнальные экземпляры газеты, подписанные редактором «в свет» тоже оказались в полном порядке. Но дотошной комиссии все же удалось докопаться до истины. В процессе печатания газеты в типографии из имени «Сталин» каким-то образом вылетела одна буква, следующая за «С». Полупьяный и полуслепой печатник латыш (говорят, он был одним из красных латышских стрелков) второпях, по ошибке, на свою и на нашу беду вместо выпавшей буквы случайно втиснул совершенно другую букву (тогда литеры набирались вручную), придававшую имени вождя, как было сказано, грязно-оскорбительный смысл. Как бы ни критиковали сейчас Сталина, я не хочу, не могу повторить это слово хотя бы потому, что, как и миллионы наших воинов в грозные годы войны, с его именем ходил в атаку на фашистского врага, готовый отдать жизнь за Родину.

Хотя все были уверены в том, что ошибка — случайная, что ни один нормальный человек сознательно не пойдет на такое безумное дело, тем не менее печатник был осужден и отправлен в ссылку. Редактор со строгим выговором снят с занимаемой должности и направлен на низовую

работу. Остальным работникам редакции было сделано должное внушение в связи с этой «вражеской провокацией».

Но самое худшее ожидало нас впереди. Почти через год, когда уже, казалось, все мы успели забыть об этой печальной истории, в республиканской газете «Дагестанская правда» появилась статья с ошеломляющим заголовком «Буржуазные националисты в редакции газеты «Захметкеш». Вскоре последовали аресты тех, чьи имена фигурировали в ней.

И кто же были эти «буржуазные националисты»?

Один из старых сотрудников редакции, переводчик, на горе себе имел непривычное для слуха наших людей прозвище «Энгличон» («Англичанин»). Это был пожилой, коренастый, седеющий мужчина в больших роговых очках, с квадратным постным лицом, в прошлом рабочий-маляр. Это прозвище, накрепко прилипшее к нему, имело свою трагикомическую историю. В Первую мировую войну он — солдат царской армии — попал в плен к немцам и был заключен в лагерь для военнопленных. Но через некоторое время ему удалось совершить побег. После ряда злоключений и мытарств он очутился на Британских островах, где прожил семь лет вдали от родины. Все эти годы «энгличон» работал по своей старой профессии — маляром, состоял членом клуба маляров. За это время неплохо усвоил английский язык, чем, к слову сказать, очень гордился и даже важничал перед нами.

Но ни знание английского языка, ни его служба в армии не принесли ему не только сколько-нибудь жизненных благ, но даже скромной славы. Обремененный большой семьей наш «англичанин» жил в крайней бедности. Летом и зимой ходил в одной и той же просторной, темной толстой и длинной рубашке навыпуск, с широкими карманами на груди. А между тем главным обвинением его в буржуазном национализме послужило то, что он семь лет прожил в капиталистической Англии и говорит по-английски не хуже, чем на родном языке, к тому же носит прозвище «энгличон», которым наградили его насмешливые земляки.

Был арестован и бухгалтер редакции. Тот слыл большим любителем сальных анекдотов и обожателем прекрасного пола. Несмотря на то, что ему перевалило за четвертый десяток и он был отцом взрослых дочерей, наш бухгалтер любил похвастаться своими любовными похождениями, красочно живописуя их во всех подробностях. По этой части у него, можно сказать, был талант.

Последний, «свежий» анекдот, которым бухгалтер решил «уго-

ститъ» нас, был анекдот о Марал, чье имя, конечно, не как раньше, но все еще продолжала трепать народная молва.

Согласно этому анекдоту, на днях Марал, захватив черную рябую курицу и кувшинчик доброго вина, отправилась к фолчи, чтобы узнать, что ее ждет на том свете: райские блаженства или адские муки.

Во время встречи с фолчи Марал будто бы с кающимся видом рассказала о том, что когда была молодой и богатой, но одинокой и тоскующей вдовой, грешила с чужими мужчинами. Но она творила и добрые дела: помогала вдовам и сиротам, щедрой рукой раздавала садага,¹⁹⁷ не была ни жадной, ни завистливой, ни сплетницей, чем (чего, мол, греха таить) страдают многие представительницы прекрасного пола.

Фолчи, как и все шарлатаны, хитрый и лукавый мужик, выслушав Марал, благочестиво опустил очи долу, приложил полусогнутую ладонь к правому уху, будто внимает таинственным потусторонним голосам, подсказывающим ему верный ответ на ее исповедь. Затем он, поглядывая на все еще красивое лицо Марал и скользнув вожаделенными глазами по ее женственной фигуре, с притворным восторгом произнес:

— О несравненная Марал! Пусть возрадуется душа твоя! Добрые духи нашептали мне: твои добродетели намного превышают грехи твои. Поэтому место в раю тебе обеспечено, если позволишь и мне, езугу,¹⁹⁸ хоть один раз согрешить с тобой...

Нашего бухгалтера, несмотря на то, что имел приятную внешность, интеллигентные манеры, привычку всегда одеваться чисто и аккуратно, в коллективе не любили. Между собой сотрудники редакции пренебрежительно называли его коротко «бух», а чаще всего — «пух»¹⁹⁹ или еще — «бух-пух».

Я был уверен, что анекдот о Марал сочинен им самим. А совсем недавно от него же мы узнали о том, что он и есть тот самый «пакостный парень», который много лет назад был по уши влюблен в Марал, когда она ходила в девушках, но, не встретив с ее стороны взаимности, сочинил о ней пошлую песенку и распространял ее по городу.

Но нашего «буха» арестовали не за его похабные анекдоты или половую распущенность. В молодые годы он — сын состоятельного садовладельца — два года, при меньшевистской власти, учился на высших бухгалтерских курсах в Тифлисе. Среди преподавателей курсов были и

¹⁹⁷ Садага — милостыня, пожертвование в благочестивых целях.

¹⁹⁸ Езугъ — горемычный, бедняга, невинно страдающий.

¹⁹⁹ Пух — дерьмо, помет, кал.

бывшие меньшевики, которые, обучая его премудростям бухгалтерского учета, наверное, исподтишка могли внушить ему меньшевистские идеи.

Бывшего редактора арестовали за то, что год назад при его руководстве газетой был допущен «грязный, оскорбительный выпад» в адрес вождя и, кроме того, за то, что привлек к работе в газете «английского шпиона» и «меньшевистское охвостье».

Не избежали ареста и новый редактор, выдвиженец из рабочих, бывший помощник машиниста дербентского паровозного депо, молодой еще человек, а также ответсекретарь газеты. Им вменили в вину то, что в течение ряда лет были близки к старому редактору, ныне «врагу народа», способствовали засорению редакции «чуждыми элементами». Некоторые работники были уволены как «не внушающие доверия». Фактически произошел полный разгром единственной татской газеты²⁰⁰, от которого она больше не оправилась.

Исключение из партии и арест старого редактора, красного партизана и красного профессора, рикошетом ударило и по мне. Как раз месяца два назад я женился на его дочери, а через несколько дней после ареста моего тестя меня вызвали в райком комсомола, где вежливо, но твердо попросили, чтобы я серьезно подумал о своем «семейном положении». Я понял, что если я не разведусь с дочерью «врага народа», то мне придется расстаться с комсомольским билетом (в комсомол я вступил, когда еще жил в селении) и работой в газете.

Бедя не приходит одна. В это же время от скарлатины в селении скончался мой младший брат в возрасте шести лет, которому я заменял отца. Ему было всего полгода, когда умер наш отец, сравнительно еще молодой мужчина лет сорока. Мой братик, который носил имя моего покойного деда, был красивый, черноглазый, живой и на удивление смывленный мальчик. Бедный ребенок сильно тосковал без меня, все ждал, спрашивал, когда я «насовсем» вернусь домой. За три дня до его смерти я отправился в селение, чтобы повидать его. Купил ему гостинцев и игрушечное ружье. Когда я вошел в комнату, больной ребенок лежал с закрытыми глазами в полуобморочном состоянии на коленях сморщенной старухи — сельской знахарки. Ни врача, ни мед-

²⁰⁰ Газета «Захметкеш» была создана в мае 1928 г. За сравнительно короткое время своего существования она сделала очень много не только для просвещения отсталого, почти поголовно неграмотного в прошлом татского населения, но и для возникновения и развития молодой татской литературы, появления первых поэтов и писателей, пишущих на родном языке.

пункта ни в нашем, ни в соседних селениях — Молла Халиле и Салике — тогда не было.

Безучастный ко всему, тяжело больной мальчик, услышав мой голос, вдруг востепенел, ожил, потянулся ко мне со словами «Аззи! Аззи!»²⁰¹, но через минуты две опять обмяк и впал в беспамятство. Меня до сих пор мучает мысль: может, если бы я остался в селении, он бы не умер? И сейчас по прошествии многих лет, когда я вспоминаю о нем, слезы застилают мне глаза...

А в райкоме ждали моего ответа. Но как ни было мне дорого звание комсомольца и как ни обидно было расставаться с газетой, со своей мечтой стать профессиональным журналистом, а может и писателем, я твердо решил — не разводиться с женой, которая была тогда совсем юной и, как и ее отец, была ни в чем не виновата. Не дожидаясь, когда меня выдворят из редакции, я сам ушел.

Но, как говорится, нет худа без добра. Когда я считал, что участь моя решена и уже собирался готовиться к возвращению в селение, к привычному для меня с детства крестьянскому труду, я случайно узнал о том, что в Махачкале Дагестанскому научно-исследовательскому институту истории, языка и литературы требуется сотрудник по татскому языку и литературе. Не питая особой надежды на успех, я все же приехал в институт и представился его руководству. К моей несказанной радости меня без лишних расспросов и волокиты сразу зачислили на работу да еще выдали деньги, в виде подъемных, целых тысячу рублей. В то время это были хорошие деньги. Они оказались очень кстати. Мы с женой были совершенно без денег, последние дни жили впроголодь. Более того, нам дали во дворе института маленькую, но отдельную однокомнатную квартиру, где до меня ютилась многодетная семья сотрудника нашего института, известного кумыкского драматурга и фольклориста, погибшего на войне, чье имя сейчас носит Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр.

Вскоре, когда я начал работать на новом месте, нас с женой ожидала еще одна радость: мой тесть был признан невиновным и освобожден из-под ареста. А через несколько месяцев были выпущены на свободу «энгличон», «бух-пух» и другие арестованные сотрудники редакции. Лишь после этого я с большим увлечением приступил к написанию за-

²⁰¹ Аззи — дорогой; так нередко в татских семьях младшие братья называли старшего брата или старших братьев.

думанной повести о жизни Марал. Но, написав несколько глав, я вдруг поймал себя на мысли, что делаю что-то такое, что противоречит общепринятому понятию, подходу к классово-чуждым нам людям и лично моим идейным убеждениям. Богачка Марал, несмотря на некоторые свои слабости и недостатки, выглядит у меня в сущности хорошим человеком, вызывающим к себе невольное сочувствие и симпатию. Неплохим человеком выглядит и ее муж Ошир Тряпичный Котелок. Я описал их такими, какими они показались мне по рассказу их бывшего батрака, ныне колхозника, дяди Юсуфа.

Несмотря на свою молодость, я понимал, что не все богатые люди были злодеями и кровопийцами и не каждый рядовой труженик заслуживает уважения и преклонения, хотя к буржуазии, как классу, ее идеологии в целом я по-прежнему относился отрицательно. И все же я сомневался: имею ли право я, комсомолец, советский человек, изображать представительницу чуждого класса невинной жертвой, вызывающей к себе симпатию и сочувствие читателей? Усиливало мои сомнения и то, что богачка Марал должна быть по ходу развития сюжета не рядовой, а центральной фигурой, главной героиней. Я был уверен, что в таком виде повесть все равно не напечатают.²⁰² Но дать образ своей героини в ином свете, показать Марал и ее мужа не такими, какими они были в жизни, я не хотел и не мог.

За время работы в Институте я собрал и издал первый сборник татского фольклора,²⁰³ «Русско-татскую терминологию». Собрал много материалов, связанных с историей, этнографией, обычаями и традициями нашей народности, в течение долгих столетий жившей среди горских народов, переняв большинство признаков их материальной и духовной культуры, обычаи и традиции. Я уже работал над составлением русско-татского словаря, когда началась Отечественная война. В первый же день войны меня призвали в армию. И мне пришлось сменить кресло будущего ученого на жесткое седло кавалериста, перо — на саблю и автомат.

Вернулся я на родину четырнадцать лет спустя. Но все эти годы, особенно после войны, куда бы ни бросала меня военная судьба, я часто вспоминал историю Марал, которую рассказал мне колхозник Юсуф. Возможно, я так и не написал бы ее, если не следующий случай, кото-

²⁰² Несмотря на сомнения автора, повесть была напечатана, когда еще существовала Советская власть.

²⁰³ См.: Татский фольклор. Махачкала. 1940.

рый произошел с Марал, когда она была уже старой, беспомощной и совершенно одинокой, случай, должен признаться, взволновавший меня сильнее, чем вся ее прошлая история.

После демобилизации из армии я более десяти лет работал корреспондентом республиканской газеты «Дагестанская правда», выходящей на русском языке. Поэтому мне часто приходилось выезжать в различные районы и города республики, в том числе и в Дербент. Поездка в этот город всегда волнует меня. Она представляется мне увлекательным путешествием в далекий сказочный мир. Тот, кто хоть раз побывал в этом одном из самых древних городов мира, который древнее «вечного города» Рима и даже воспетой Гомером в «Илиаде» Трои, видел своими глазами гигантские крепостные стены с башнями и бойницами, сложенные из циклопических камней, и поражающую воображение своей грандиозностью, гармонией и грозным величием знаменитую цитадель Нарын-Кала с ее уникальными подземными сооружениями, бродил по живописным окрестностям Дербента, усеянным многочисленными памятниками далекого прошлого, — тот, если в душе хоть немного романтик, поймет меня. Я уже не говорю о том удивительном ощущении, которое охватывает тебя, когда поднявшись на Джалганскую гору, смотришь оттуда сверху на город, лежащий перед тобой как на ладони. Голова его, как у сказочного великана, покоится на горе, ноги упираются в море, а по обе стороны, сколько хватает глаз, словно густой низкорослый курчавый лес, тянутся виноградные плантации, привольно раскинувшиеся под горячим южным солнцем.

И каждый раз меня неудержимо тянет посмотреть, как на некое чудо, на знаменитую ханскую цитадель, на ее внутренние уникальные сооружения, постоять в скорбном раздумье у памятного «ханского зиндона», где было заживо погребено немало жертв ханского самовластья и где нашел вечное успокоение от своей несчастной любви бедный юноша Бобон.

Во время одной из своих очередных поездок в Дербент в начале лета тысяча девятьсот семьдесят первого года я после осмотра Нарын-Калы решил заглянуть в местный городской музей, который находился в одном из зеленых скверов в центре города. Весною и летом здесь довольно оживленно. Многие, особенно люди пожилого возраста, приходят сюда, чтобы в прохладной тени деревьев провести время в дружеской непринужденной беседе. Им, старикам, много видевшим, мно-

го испытывавшим на своем веку, всегда есть о чем поговорить, повспоминать и поспорить.

Когда я шел по дорожке, усеянной гравием, между зелеными, ровно и аккуратно подстриженными кустами, недалеко от здания музея, под высокой развесистой чинарой на длинной голубой скамейке сидели трое белобородых аксакалов. Я, поздоровавшись с ними, хотел было пройти, но невольно остановился как вкопанный. В одном из них я к своей несказанной радости узнал дядю Юсуфа — своего старого знакомого. Особенно поразило меня то, что он очень мало изменился. А ведь прошло так много лет. А он, как и в те годы, выглядел довольно бодрым, в отличие от своих собеседников, сидел прямо, не сутулясь, а в темных глазах светилась та же знакомая лукавая добрая усмешка. Только густая, некогда черная, как смоль, борода и усы, были белы, как молоко.

— Дядя Юсуф, это вы? Здравствуйте! — подойдя к нему, с волнением произнес я, протянув ему руку.

Старик неторопливо взял мою руку в свою, медленно встал и, точно озадаченный, долго всматривался в мое лицо, стараясь что-то вспомнить. Мне вдруг стало грустно оттого, что он не узнал меня.

— Не узнаете? — спросил я с улыбкой, пытаюсь скрыть свое смущение.

Он выпустил мою руку, вежливо взял меня за локоть, отвел немного в сторону и, продолжая разглядывать меня, молча, с сомнением покачал головой.

— Вроде кого-то напоминаешь мне, а кого — не могу вспомнить, — пожав плечами, с сожалением промолвил он.

Как только я назвал себя, дядя Юсуф сразу оживился, радостная улыбка озарила его смуглое лицо, которое в обрамлении белой бороды, казалось совсем черным. Он тут же сердечно, по-отцовски обнял меня.

— Прости, сынок, меня, старика, что сразу не узнал, — виноватым, взволнованным голосом проговорил он, потом, словно оправдываясь, добавил: — Я-то помню тебя совсем юношей, а ты поседел весь...

Дядя Юсуф вдруг умолк и, выпустив меня из своих объятий, опять посмотрел на меня, точно еще не совсем веря своим старым глазам, затем таким же взволнованным и удивленным голосом, произнес:

— Погоди, погоди, сынок! А я слышал, что ты погиб на войне. А ты, оказывается, слава Богу, жив!

Я коротко объяснил старику, что от одной из тяжелых ран, полу-

ченных на фронте, действительно мог бы умереть, но врачи, спасибо им, спасли мне жизнь.

Дядя Юсуф, опять взяв меня за локоть, предложил пойти к нему в гости, сказав, что никуда меня не отпустит.

Я чувствовал, что он рад не меньше меня этой неожиданной встрече. И, чтобы не обидеть старика, охотно согласился, тем более мне очень хотелось кое-что спросить у него о Марал, о ее дальнейшей судьбе.

Дядя Юсуф, кивнув своим друзьям, молча попрощался с ними, и мы, оживленно разговаривая, прошли через сквер, направляясь к нему домой.

Было около десяти часов утра. Ярко светило солнце. Воздух был чист и прозрачен, а небо ясное, голубое, без единого облачка. Под утро прошел короткий проливной дождь, поэтому деревья стояли умытые, со сверкающей под солнечными лучами листвой. Склоны гор, поднимавшиеся над городом, еще были зеленые.

Хотя мне не терпелось услышать от старика, что стало с Марал, я сначала, как это принято при встрече с близкими людьми, расспросил о его здоровье, семье, о том, как поживают его сыновья. Насколько я помнил, у него было трое сыновей, двое из них — близнецы.

Из рассказа дяди Юсуфа я узнал, что колхоз еще десять лет назад с почетом отправил его на пенсию. Но когда на колхозных виноградниках начинается обрезка кустов или горячий сезон уборки винограда, он работает вместе с другими колхозниками. И что младший сын его работает механизатором в том же колхозе, а старшие — близнецы — оба погибли на фронте.

Несколько минут он шел молча, низко опустив голову, погруженный в свои думы, забыв, наверное, что я иду рядом. Чувствовалось, что старику нелегко вспоминать об этой утрате, несмотря на то, что с тех пор, как его сыновья не вернулись с войны, прошло столько лет! Я тоже почувствовал себя как-то неловко, виновато, что нечаянно коснулся его раны, о которой не знал и которую время еще не залечило и, наверное, не залечит никогда. Потом дядя Юсуф, словно очнувшись от своих невеселых мыслей, вдруг вспомнив о чем-то приятном, хорошем, прервав молчание, весело сказал:

— А помнишь газету, в которой был мой портрет, и заметку, написанную тобою за моей подписью? Я до сих пор храню ее в рамке под стеклом. Придем домой — увидишь.

Откровенно говоря, мне это было приятно. Я невольно вспомнил

свои юные годы и то незабываемое, памятное для меня время, когда впервые, что называется, с колхозного поля пришел работать в газету.

— Дядя Юсуф, скажите, пожалуйста, ходит ли старуха Марал по-прежнему к белокаменной арке, жива ли она? — задал, наконец, я ему вопрос, который все время вертелся у меня на языке.

— Да, ходила, а теперь все — ходить не будет.

— Неужели умерла?! — невольно вырвалось у меня. Не скрою, мне стало жаль ее. Хотя молва о ней шла дурная, но она в моем представлении была все же скорее жертвой роковых для нее обстоятельств, предопределивших ее судьбу, жертвой предрассудков и собственных заблуждений, жертвой тупой, злобной людской молвы, о которой у нас говорят: «Лучше пусть в тебя вонзится собачий зуб, чем человеческий».

— А я разве тебе сказал, что она умерла? — перебив мои грустные мысли, словно удивленный моими словами, воскликнул старик. — Да и не такая уж она старая, как ты думаешь — семьдесят пять лет, примерно. Я на каких-нибудь четыре-пять лет старше ее. Разве это много?

Дядя Юсуф, точно забыв о моем вопросе, начал говорить о своих знакомых стариках, которым перевалило за девяносто и даже за сто и которым, как он сказал, сам годится в сыновья, а я — во внуки. И что один из этих долгожителей, который приходится ему двоюродным дядей, старик со строптивым характером, не ужившись с сыновьями и внуками, отделился от них и ... женился, притом не на старой женщине.

Я невольно улыбнулся, поняв, что дядя Юсуф твердо рассчитывает на такое же долголетие, и, представив себе его родственника, после ста лет решившего еще раз испытать «супружеское счастье», с трудом сдержал смех.

— А что касается Марал, то она жива, жива, — возвращаясь к теме нашего разговора, проговорил он и повторил опять: — Но она больше туда ходить не будет...

И вот что довелось мне узнать из рассказа дяди Юсуфа о дальнейшей судьбе Марал.

... Последние годы Марал не так часто, как раньше, но все же, несмотря на то, что была теперь старухой и не совсем здорова, продолжала ходить к старой арке. Некогда белые, гладкие, свежие щеки ее потемнели, впали, чистый мраморный лоб покрылся сплошь мелкими морщинками, живые обворожительные глаза, излучавшие свет и радость,

потускнели. У нее не было никого: ни мужа, ни детей, ни родных — одна как перст в целом мире.

Только одна радость, одно-единственное утешение было у старухи — это все еще чудом сохранившаяся семейная арка с изображением ее покойного мужа и священными надписями. Правда, краски на арке давно поблекли и стерлись, густая серая пыль, лишь временами смываемая дождями, точно паутиной, покрыла черты покойного Ошира Тряпичного Котелка и другие изображения на ней. Священные надписи поросли ржавым мхом, и теперь их почти невозможно было разобрать.

Но в потускневших глазах старой женщины, когда она приходила смотреть на арку, поблекшие краски вновь оживали в своей первоначальной свежести, а священные надписи приобретали свой прежний смысл и значение. Они, волнуя душу, вызывали в памяти сладостные и гордые воспоминания. Эти воспоминания приносили ее измученной душе какое-то облегчение, как выпланные слезы расстроенному сердцу, на какое-то время возвращали ей бодрое настроение, точно на крыльях мечты уносили ее в другой далекий, желанный мир, как все равно курильщика опиума — в мир сладостных грез.

Очень часто Марал, стоя перед каменной аркой, видела перед собой образы дорогих ее сердцу мужа и Бобои. Она, словно впадая в транс, обращалась к ним, точно к живым, то к мужу, то к Бобои, иногда одновременно к обоим. Для нее эти два образа были неотделимы друг от друга, сливались воедино. Случалось и так, что сквозь черты мужа вдруг, точно месяц из-за облака, явственно проступало печальное лицо безвременно ушедшего из жизни Бобои, который глядел на нее то с восторженной любовью, то с великой ненавистью. В такие минуты Марал поспешно закрывала лицо иссохшими руками, покачиваясь точно от нестерпимой боли, обливаясь горькими слезами, ругала, проклинала себя за то, что стала невольной причиной его безвременной смерти. Нередко в такие минуты она обращалась с горячей мольбой к Богу, чтобы он в своем великом милосердии простил бедному Бобои его смертный грех — самоубийство.²⁰⁴ Свое заступничество перед Всевышним она пыталась объяснить тем, что Бобои даже и тогда, когда стал взрослым, в душе оставался ребенком: наивным,

²⁰⁴ По поверью татов, добровольный уход человека из жизни является великим грехом перед Богом, поскольку он дал ему жизнь и только он, Всевышний, имеет право отнять ее у него через своего ангела смерти — Азраила. По народной традиции, самоубийца не должен быть похоронен на кладбище, а только за его оградой.

чистым, честным, доверчивым, легко ранимым и совсем не защищенным в этом сложном мире борьбы и страстей. Поэтому Марал молила Бога не судить его строго, проникнуться к нему состраданием и поместить его душу в раю.

Но в последний раз, когда Марал пришла посмотреть на фамильную арку, ее почему-то не оказалось на месте. Сначала она подумала было, что заблудилась и по ошибке пришла не туда, куда шла. Последнее время память нередко подводила ее, поэтому сначала она не очень удивилась. Но еще раз внимательно оглядевшись вокруг, она поняла, что ошибка исключена. Всего в нескольких шагах Марал к своему бесконечному горю и ужасу увидела на дне арыка, в который недавно прекратили подачу воды, несколько валявшихся камней и среди них — большой камень с обломившимися краями, с профилем ее покойного мужа.

Метрах в десяти-пятнадцати от того места, где стояла арка, оглушительно гудя мотором и сотрясаясь всем своим стальным туловищем, медленно передвигалась огромная машина-канавокопатель. За рулем сидел человек в замасленном темно-синем комбинезоне, с запачканным глиной лицом, похожим на лицо дяди Юсуфа в его молодые годы. То был его младший сын.

Последние годы колхозники на сотнях гектаров заложили новые широкорядные виноградные плантации.

Существующий до сих пор узкий и неглубокий арык уже не удовлетворял потребности все увеличивающихся площадей колхозных виноградников в поливной воде, и теперь колхоз расширял и углублял его. Но для этого будто бы было решено убрать и белокаменную арку, стоявшую на самом краю арыка.

На самом деле вовсе не это было причиной сноса фамильной арки. Несколько месяцев назад по рекомендации высших республиканских органов был избран новый председатель дербентского райисполкома. До этого он жил и работал где-то в другом районе. Сам по себе, по свидетельству знавших его людей, он в сущности был неплохой человек: честный, неподкупный, но наивный и фанатичный до смешного, до глупости.

Как-то раз новоиспеченный председатель райисполкома, прогуливаясь в городском сквере, обратил свой взор на мраморный бюст В.И. Ленина с датами его рождения и смерти. Указание даты смерти Ильича подействовало на него как красный лоскут на быка.

— Безобразие! — закричал он, искренне возмущаясь. — Кто этот идиот-скульптор или кто там, написавший, что Ленин умер?!..

На следующий же день дал указание — стереть с бюста дату смерти Ленина.

И вот спустя месяц после избрания на должность районного руководителя, он приехал на виноградники колхоза «Заря Востока», который был одним из передовых не только в районе, но и в республике. Он хотел на месте проверить, как выполняется план расширения площадей под новые виноградники.

Увидев возле дороги на краю журчащего арыка высокую красивую белокаменную арку, он очень обрадовался. Ему сразу пришла счастливая мысль: рекомендовать председателю колхоза повесить на верхней части арки парадный портрет Леонида Ильича Брежнева в сиянии золотых звезд, блеске многочисленных орденов и медалей, с ослепительными маршальскими погонами на гордых плечах. На фоне обширной зеленой виноградной плантации, справа от которой возвышается извилистая гряда гор с бархатными склонами, а слева простирается синее море до самого лазурного горизонта, портрет этот будет выглядеть, как ему казалось, необычайно эффектно и торжественно. Но, узнав, что эта арка была возведена бывшим хозяином раскинувшихся вокруг виноградников, что наверху красуется его изображение, а на стройных круглых столбах высечены изречения из священной книги, радость его сразу сменилась разочарованием. И он тут же приказал стоявшему рядом председателю колхоза, не откладывая это дело в долгий ящик, убрать с глаз долой этот памятник «проклятого прошлого и религиозного мракобесия». При этом выразил большое удивление, почему этот «каменный идол» до сих пор торчит на виду у людей.

Справедливости ради надо сказать, что за время существования колхоза «Заря Востока» здесь побывало немало руководителей районного и республиканского масштаба, которые видели эту арку и знали, что она собой представляет. Среди них были и люди с учеными званиями и убежденные атеисты. Но никому из них не приходила мысль о том, что следует убрать эту красивую арку. Многие из них видели в ней прежде всего предмет искусства, остальное для них не имело значения. Но председатель колхоза, не желая вызвать к себе нерасположение вышестоящего начальника, пригласил взрывников-специалистов, которые на закате, когда колхозники разошлись по домам, взорвали арку. Обломки ее были использованы для ремонта колхозного телятника.

Пока Марал стояла, страшно взволнованная и потрясенная увиденным, едва держась на ногах, стальная машина, послушная воле механизатора, со скрежетом вгрызаясь в темный грунт своим зубчатым ковшом, напоминающим могучую челюсть сказочного дэва с острыми мощными клыками, медленно, но упорно ползла и ползла вперед. Боясь, что машина вот-вот подойдет вплотную, выбросит со дна арыка камень с профилем ее мужа, как морская волна мертвую рыбу на берег, засыплет землей, и она больше никогда не увидит его, Марал в тревоге заметалась как безумная около него, не зная, что делать. Потом с отчаянием человека, кидающегося в пылающий дом, чтобы спасти ребенка, с несвойственной для ее возраста проворностью кинулась на черное илистое дно арыка. Скользя дрожащими ногами, она, торопясь и волнуясь, вцепилась судорожными пальцами в холодное твердое тело тяжелого камня. С трудом сдвинув его с места, — откуда только нашлись силы — она оттащила его в сторону, в безопасное место. И тут же, в полном изнеможении, молча, в глубокой печали и волнении тихо опустилась на колени. Даже не очистив камень от прилипших к нему комьев черной грязи, Марал припала к нему иссохшей грудью и крепко обняла его дрожащими руками, точно желая согреть своим дыханием, теплом своего тела, вдохнуть в него жизнь. На некоторое время старая женщина так и застыла в этой позе, словно сама, слившись с камнем, превратилась в некое изваяние. Потом вдруг закричала так дико и пронзительно, с такой болью и отчаянием в голосе, заглушая шум и треск бездушной машины, вся сотрясаясь от бурного рыдания, будто прощалась навеки с единственным, самым родным и близким человеком, а вместе с ним с этим суетным, непостижимым, превратным миром, где жизнь ее прошла как долгий, тягостный и запутанный сон...

Содержание

Предисловие (С.Х. Ахмедов)	5
Похождения хитроумного Шими Дербенди	11
Новеллы	
“Поздоровавшись с водкой, попрощайся с умом”	13
Подарок жене	14
Будуар для невестки Шими	16
И она черная... ..	18
Как Шими с женой поменялись обязанностями	19
Человек и обезьяна	23
Радость Шими	24
Горе Шими	25
Шими в больнице	26
Шими откладывает свои похороны	27
Как Шими перевоспитывал свою невестку	29
Шими на службе у государя императора	30
Как Шими был певцом на “тайной свадьбе”	34
Кинжал и хлеб	36
Как Шими замещал Худо	37
Как Шими испытал своего сына	43
Как осел Шими отомстил своему хозяину за... критику	45
Шими в роли ревизора	46
Человек-загадка	48
Шими и великий Фирдоуси	50
Чтобы плакать, тоже нужно настроение	54
Дружба наполовину с водой, наполовину с уксусом	55
Шими на свадьбе	56
“Похвальное” слово взяточнику	58
Петух-будильник	60
Осел на колодках	61

Любовь и борода (первое письмо Шими автору)	62
Интересная идея	67
Как однажды волки в лесу приняли Шими за осла	68
Модная невеста	70
Импортный осел	71
Соломоново решение	72
Как Шими оправдался перед женой	75
Когда бедняк покупает курицу	76
Не всякую правду можно сказать жене	77
Ум и богатство	81
“Чужой покойник кажется спящим”	81
Как Шими ехал на осле задом наперед	84
Сердце	85
Как Шими стал наполовину мужчиной, наполовину женщиной	85
Баран на шашлык	86
Могила хана	89
Любовное приключение Шими	91
Как Шими провел своих кредиторов-ростовщиков	97
Азраил за рулем	100
Новое проклятие	101
Три коварных свойства вина	102
Почти как у Насретдина	103
Заграничный кунак Шими	105
Шими-охотник	108
Средство от ожирения	110
Шими в командировке	112
Как Шими вместо овцы всучили пса	113
“Верь глазам, а не ушам”	115
Счастливый конец	117
“Не всякий выпачкавшийся мукой — мельник”	117
Нет лекарства от глупости	118
“Электронный дьявол”	119
Как Шими приняли за сумасшедшего	120
Как Шими поймал председателя в железный капкан	125
Шайтан	126
Взгляд в будущее	128

Вылечился от слепоты.....	129
Как Шими “разводился” со своей старухой (второе письмо Шими автору).....	130
Каждый сам себя лучше знает	134
Ослom поехал, ослom приехал.....	135
“На брыкание осла не обижаются”	136
“Один лает, другой кукарекает”	137
«С волком овцу съел, а с хозяином плачет»	138
Как Шими получил золотой червонец за то, что поцеловал великую княгиню	140
Как “Бог” подшутил над бедняком Шими	143
Бог велик.....	145
Как Шими давал “взятку”	145
Кровь жены	147
Осел с дипломом.....	148
Как Шими отказался от незаслуженной славы.....	149
“Покойник” с лошадиным храпом	150
Новогодняя индюшка	153
“Еще одно такое счастье...”	154
Как Шими враз проглотил две чубайсовские “Волги”	157
Обида	160
“Вторая свадьба” Шими (третье письмо Шими автору)	161
Гнев царя царей Хосрова Ануширвана	165

Встречи у родника

Рассказы

Встречи у родника.....	169
Как я писал диссертацию.....	176
Хабар и хинкал	182
Как муза стала Марусей	187
Сосед мой — враг мой	192
Как я воскрес	197
“Жених” бабушки Фатьмы	201
Фанфарон, или жертва одного поцелуя.....	207
Муж двух жен.....	212

Каверзные шутки проказницы весны	217
Совбол	224
Черные слезы.....	229
“Бриллиантовый мужчина”	234
“Проклятая история”	239
Мастер красоты	243
Телефон.....	248
Как я стал “неисправимым пьяницей”	252
Опасный гость	258
Пружины любви	266
Последний бокал	272
На белом коне — в Берлин (рассказ-быль)	277
Каинова печать (быль).....	282
Сказание о любви (татская легенда)	287
Невеста с сюрпризом	299

Фамильная арка

Трагедия одной красавицы (<i>роман</i>)	307
---	-----

Хизгил Давидович Авшалумов

ИЗБРАННОЕ

Редактор Н. Рагимова

Художник М. Левченко

Художественный редактор М. Левченко

Корректоры Д. Багдасарова, А. Кульгишиева

Технический редактор В. Гаджиева

Лицензия ИД 05334 от 10.07.01

Подписано в печать 25.03.09.

Формат 60х90^{1/16}. Бумага мелованная. №1. Гарнитура "AcademyC".

Усл. п.л. 29,0. Уч.-изд. л. 25,6. Печать офсетная.

Тираж 500. Заказ 30. Цена свободная.

ГУ «Дагестанское книжное издательство»
Министерства по национальной политике, информации
и внешним связям РД

367000, г. Махачкала, ул. Пушкина, 6

Отпечатано в ООО "Лотос".
367012, г. Махачкала, ул. Пушкина, 6



Дагестанское
книжное
издательство
Махачкала 2008